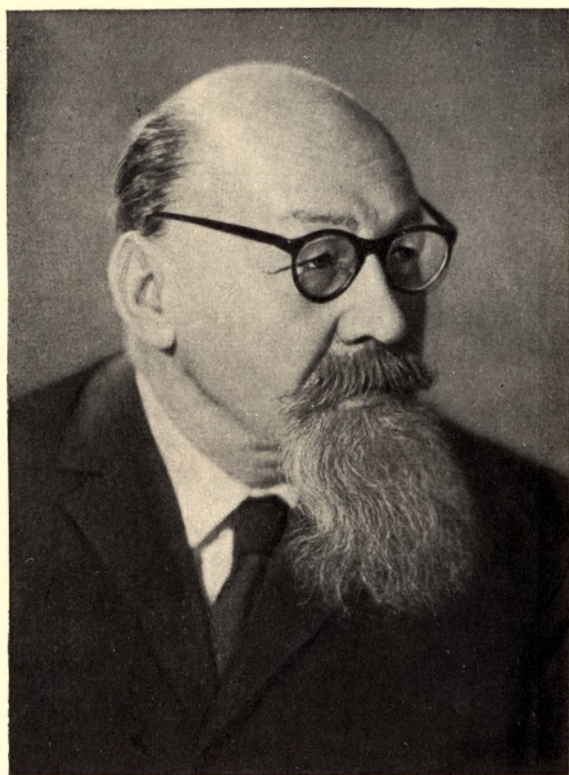


Фонетика
Фонология
Грамматика



A. A. Repovskiy

Академия наук СССР
Институт языкознания

Фонетика
Фонология
Грамматика

к семидесятилетию

А. А. РЕФОРМАТСКОГО



Издательство «Наука»
Москва 1971

В сборнике представлены статьи отечественных и зарубежных авторов в различных областях языкознания (фонетика, фонология, морфология, орфоэпия, стилистика и пр.).

Основная часть статей по своей тематике тесно связана с разносторонней научной деятельностью А. А. Реформатского.

Редколлегия:

члены-корреспонденты АН СССР Р. И. АВАНЕСОВ, Ф. П. ФИЛИН
(ответственный редактор), В. Н. ЯРЦЕВА;

доктор филол. наук Э. А. МАКАЕВ;

кандидаты филол. наук В. А. ВИНОГРАДОВ, И. А. МЕЛЬЧУК,
А. В. СУПЕРАНСКАЯ, Л. И. ИОРДАНСКАЯ; Р. Д. РАВИЧ

ОТ РЕДАКЦИИ

Название настоящего сборника и, соответственно, его тематика призваны отразить основные направления разносторонней и яркой научной деятельности А. А. Реформатского. Однако, хотя фонетика, фонология и грамматика охватывают значительную часть лингвистики, они все-таки далеко не исчерпывают всех областей, которыми активно интересуется А. А. Реформатский и в которых его работы оставили заметный след. Неудивительно поэтому, что среди статей, предложенных его друзьями и почитателями, оказалось много таких, которые не укладываются в названные выше рубрики. В связи с этим было сочтено целесообразным ввести раздел «Стилистика и проблемы поэтического языка», а также выделить несколько работ в общий раздел.

Следует подчеркнуть условность распределения ряда статей по разделам и в связи с этим весьма заметную неоднородность разделов. В особенности это относится к разделу «Грамматика», куда отнесены статьи и по общим вопросам морфологии, и по истории отдельных морфологических явлений, и по употреблению знаков препинания.

Кроме того, есть статьи, посвященные проблеме связей между разными уровнями языка (например, фонологии и морфологии), — и потому их помещение в любой раздел неизбежно оказывается более или менее произвольным. Если, однако, вспомнить о системном характере языка и о том, что понять его можно только в сложной взаимозависимости всех его уровней и ярусов (мысль, пронизывающая все лингвистическое творчество А. А. Реформатского!), то станет очевидной естественность и закономерность трудностей

разнесения полученных нами статей по заранее намеченным разделам.

Впрочем, как размещать гостей за праздничным столом— дело явно не первостепенное: важно, что празднуется и кто пришел на праздник!

Редколлегия сердечно благодарит всех коллег, откликнувшихся на приглашение и почтивших своим участием сборник «Фонетика. Фонология. Грамматика», который мы посвящаем семидесятилетнему юбилею дорогого Александра Александровича Реформатского *.

* В момент сдачи рукописи настоящего сборника в издательство редколлегия получила письмо от проф. Витольда Дорошевского (Польша), текст которого, в соответствии с пожеланием В. Дорошевского, приводится ниже: «Болезнь и пребывание в больнице, а потом в санатории, помешали мне принять в свое время участие в сборнике, издаваемом в связи с семидесятилетием Александра Александровича Реформатского, выдающегося ученого, труды которого я всегда читал с живейшим интересом и пользой. По случаю юбилея от души желаю моему старому другу многих лет здоровья и многих дальнейших столь же ценных трудов.

Витольд Дорошевский»

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕФОРМАТСКИЙ

- . . . Фонологическая теория.
- Проблема собственных имен.
- Фонетика в зеркале стиха.
- Техническая редакция книги.
- Взаимоотношения агглютинации и фузии.
- Топонимика.
- Словообразование; членимость слова.
- Лингвистика и математика.
- Законы и парадоксы словообразования.
- История языкознания.
- Система в лексике.
- Композиция новеллы.
- Нейтрализация языковых единиц.
- Письменность для дунган.
- Связь грамматики и фонетики.
- Типы тюркского сингармонизма.
- Теория пограничных сигналов.
- Орфоэпия пения.
- Грамматическая синтагматика.
- Теория письма.
- Понятие языковой структуры.
- Морфонология.
- Сущность термина и терминологии.
- Разграничение синхронии и диахронии.
- Экспериментальная фонетика.

Вот неполный (очень, очень неполный!) перечень тем, особенно близких А. А. Реформатскому. Размах поисков очень велик. Конечно, есть ученые, у которых еще шире разброс интересов, разбег тем. Но, увы, этот разброс обычно говорит об отсутствии стержневых стимулов научного творчества: нет ствола, широко разбра-

сывающего ветви. Есть широко разбросанный хворост. Эклектизм (который может быть даже талантливым) пробует свои силы на всем, потому что все по сути своей безразлично.

Нет, уж чего-чего, а такой апатичной всеядности у А. А. Реформатского искать нечего. В каждой его книге, статье, лекции, в каждом докладе и выступлении, во всем — что бы он ни говорил и что бы ни делал — чувствуется одно дело. Есть внутренняя целостность во всех его словах и делах. Если это помнить и сравнивать работы А. А. Реформатского с работами ученых, имеющих «стержень», целостную основу всех своих поисков, то станет ясно: эта широта предельна.

В чем же это единство? Чтобы понять это, надо подробнее рассмотреть научное творчество А. А. Реформатского.

Взгляды А. А. Реформатского складывались в 20-е годы. Позднее они менялись, обогащались, естественно разрастались, охватывая новые и новые области исследования — но оставались верны своим истокам. Исследователь всегда выступал (и в тех случаях, когда это требовало большого мужества и самоотверженности) борником взглядов новомосковской лингвистической школы. А. А. Реформатский, вместе с другими основателями этой школы — Р. И. Аванесовым, В. Н. Сидоровым, П. С. Кузнецовым, отстаивал взгляды, имеющие очень ясную родословную. Все четверо зачинателей были учениками учеников Ф. Ф. Фортунатова. Новомосковская школа продолжала дело московской, фортунатовской школы. Изучение языка как системы — вот что объединяет всех «новомосквичей» (и дает им право считаться наследниками фортунатовской линии в отечественном языкознании).

Система — это целостность, в которой каждый элемент определяется всеми другими элементами. Быть системой свойственно совокупности знаков. И язык в новомосковской школе (с самого начала ее истории) изучается именно как система знаков. Нет ли модернизации в таком понимании деятельности новомосковской школы 20-х годов? Не привносятся ли в ту эпоху намерения и pomysлы 60-х? Ничуть. Напротив: часто мы, в 60-е годы, оказываемся людьми с короткой памятью и считаем новоприобретением то, что было уже, в самом основном и главном, найдено в эпоху бурного лингвистического развития — в 20-е годы.

Мысль о системности языка всегда была основной мыслью А. А. Реформатского. Но у него свое место в четверке создателей школы. Изучение системных отношений в языке требует высокой абстракции. Можно строить эти отвлечения, полностью очищая их от конкретной языковой плоти. Резон есть: потом, когда будет найдена вся совокупность таких полнейших, последовательнейших абстракций, они в совокупности позволят вернуться от холода отвлеченности к теплу конкретного языкового явления. Но можно попытаться самую систему отвлечений построить так,

чтобы каждое обобщение сохраняло это тепло языковой реальной данности; притом построить ее так, конечно, не ценой непоследовательности, не ценой нарушения законов абстрагирования. Это трудно, но исследовательская интуиция, изобретательность, чувство меры (необходимое и в науке — не только в искусстве) помогают преодолеть и такой трудный путь. Это — путь А. А. Реформатского. Как бы ни были отвлечены его теоретические построения (иногда они крайне отвлечены), они сохраняют краски и запахи языковой реальности. Ни об одном из других лингвистов новомосковской школы этого не скажешь. Какой же путь лучше: хранить при самых высоких абстракциях отзыв, ответ конкретности или полностью, целиком отлететь в область «конструктов»¹? Вопрос бессмыслен. Что лучше: стиль Льва Толстого или Герцена? Стендаля или Ромена Роллана? Одни рисуют непосредственную, живую, наглядно-единичную реальность, в ней обобщая действительность (Толстой, Стендаль), другие эту картинность большей частью пропитывают эмоционально-понятийным обобщением, менее наглядны, менее «вещественны».

Советские языковеды 20-х годов стремились строить свои теории на марксистской методологической основе — одни более целеустремленно и последовательно, другие менее. Ученые новомосковской школы твердо стояли на материалистической основе и искали путей диалектического осмысления языковых фактов. Фонологическая теория ими с самого начала строилась как материалистическая. Разумеется, это не мешало им строить обобщения очень высокой отвлеченности.

Позиционно чередующиеся звуки следует объединять в одну функциональную единицу — фонему; вот одно из принципиальных положений московских фонологов. Обобщаются и понимаются как тождественные единицы звуки, акустически и артикуляционно совершенно различные. Такая степень абстрактности основной функциональной единицы в фонетике (фонемы) не свойственна ни одной другой фонологической теории.

Такая абстрагированная единица может быть установлена лишь при сопоставлении тождественных морфем². Это условие как бы возвращает фонологию конкретность и живость языкового факта: предельная отвлеченность устанавливается путем сопоставления конкретных, прямо-таки индивидуально-тождественных морфем. А. А. Реформатский, как и другие фонологи-«москвичи», пишет о необходимости морфологического критерия в фонологии; и пишет он об этом с особой страстью, так, что видно, как для него важно, строя Останкинскую радиобашню абстракт-

¹ Слово 50—60-х годов, но применимо и к теоретическим поискам более ранних десятилетий.

² О том, что привлечение понятия морфема к анализу фонологических фактов не ведет к порочному логическому кругу, написано уже немало. Нет надобности здесь говорить об этом подробно.

ных понятий, знать и видеть, на какую твердую почву она опирается.

Постоянно подчеркивается, что без ориентации на морфологию фонетическую сторону языка в ее функциональном аспекте и невозможно исследовать. Например, о явлениях сингармонизма в уйгурском языке говорится так: «Для выяснения соотношений фонетики и грамматики интересно сопоставить такие далекие явления, как «обратный» (для тюркских языков), т. е. регрессивный, сингармонизм уйгурского языка с аналогическим явлением в германских языках. Оба явления невозможно рассматривать вне морфологического аспекта, так как речь идет по преимуществу о взаимодействии вокализма корня и постфикса, а не «вообще» о взаимодействии гласных ...»³

А. А. Реформатскому принадлежит разграничение перцептивных и сигнификативных позиций. Нововведение не всеми было признано и даже оценивалось иногда как излишнее. Другие, считая это разграничение удобным (например, для вузовского преподавания фонологии), относили его все же к периферии фонологической теории. Наконец, у третьих новшество получило высокую оценку, поскольку оно доводило до конца то разделение понятий, которое было введено в науку с разграничением вариантов и вариаций фонем. Действительно, в словоформе *науке* звук [к'] — вариация фонемы, в словоформе *наук* (род. мн.) звук [к] — вариант той же фонемы /к/. В словоформе *тревоге* [г'] — вариация фонемы /г/, в словоформе *тревог* [к] — вариант той же фонемы. Вариация налицо тогда, когда фонема (в виде такой-то своей реализации) испытывает влияние позиции. Понятие же варианта двойственно: учитывается, что это такая реализация фонемы, которая обуславливает ее совпадение с другой фонемой. Деформированы ли реализаторы фонемы позицией, в которой выступает вариант этой фонемы, или не деформированы — остается не указанным. Термин «вариант» не дает такого указания: и [к] в словоформе *наук*, и [к] в словоформе *тревог* — одинаково варианты. Введение понятия сигнификативно слабых и перцептивно слабых позиций позволяет быть более последовательным: [к] в *наук* обусловлено перцептивно сильной, но сигнификативно слабой позицией; [к] в *тревог* — и перцептивно и сигнификативно слабой позицией.

Думается, не случайно это разграничение было выдвинуто А. А. Реформатским. Оно ориентировано на обостренное внимание к реальному звуку, к фонетической «плоти» языка. Учитывается не только функционально существенный результат (такие-то фонемы в данной позиции не различаются), но и тот страстный путь, которым прошел звук⁴, представляющий фонему, к тяжкой,

³ А. А. Реформатский. О соотношении фонетики и грамматики (морфологии). «Вопросы грамматического строя». М., 1955, стр. 105.

⁴ «Прошел» — в строгом синхронном смысле!

к ущербной роли варианта. Абстрактная теория здесь непосредственно и цепко увязана с конкретной данностью языка.

Конечно, и у всех фонологов-«москвичей» есть такая связь конкретности и отвлеченности, напрасно мы бы стали искать коренных различий в позиции А. А. Реформатского и, например, В. Н. Сидорова. Недаром они создатели одной фонологической теории и основатели одной научной школы. Но оттенки теоретических взглядов — различны, и В. Н. Сидорова трудно представить инициатором разделения сигнификативной и перцептивной «слабости» позиций.

Оттенки эти — не пустяк. В обостренном внимании к языковой конкретности кроется и интерес А. А. Реформатского к широкому орфоэпическому вопросу, к проблемам нормы. Здесь же исток постоянного и глубоко результативного внимания ученого к исследованиям в области прикладного языкознания. Становится понятным и деловой, профессиональный интерес А. А. Реформатского к экспериментальной фонетике (в течение нескольких лет он руководил экспериментально-фонетической лабораторией в МГУ).

Можно было бы привести немало других примеров, показывающих, как А. А. Реформатский высокую абстрактность лингвистической теории сочетает с любовью к «плоти», к мельчайшей конкретной данности языка, более того: это же устремление сказалось в стиле его научного мышления. Приведем один пример. Определенную языковую закономерность А. А. Реформатский любит показывать на парадоксальном, озадачивающем материале. То, что сущностно различно, демонстрируется на явлениях, материально (в случае фонетики — акустически и артикуляционно) совпадающем; то, что сущностно тождественно, — на различно выявленных материальных фактах. Примеров можно было бы привести немало⁵. В таких парадоксальных ситуациях острее обозначается закономерность, а вместе с тем подчеркнуто выявляются и диалектические взаимоотношения сущности и явления; внимание привлечено к этой строптивости, к активности явления (звука), выражающего сущность (фонему).

Работы А. А. Реформатского — книги, статьи, заметки, его лекции, доклады производят яркое эстетическое впечатление,

⁵ Еще характерный пример: «Для того, чтобы определить, какие элементы входят в структуру языка, разберем следующий пример: два римлянина поспорили, кто скажет (или напишет) короче фразу; один сказал (написал): *Eo rus* Я еду в деревню, а другой сказал: *П — Поезжай ...* Это самое короткое высказывание (и написание), которое можно себе представить...» Далее идет анализ, какие языковые единицы представлены в этом высказывании. Вывод: «Маленькое *П*, оказывается, заключает в себе все, что составляет язык вообще: 1) звуки... 2) морфемы... 3) слова... 4) предложения...» (А. А. Реформатский. Введение в языковедение. Изд. 4. М., 1967, стр. 28—29).

и это не в ущерб, конечно, их научной доказательности. И эта черта опять-таки, несомненно, связана с умением отвлеченное показать через остро понятое единичное.

* * *

«...Мне хочется рассмотреть некоторые вопросы русского консонантизма, памятуя, что язык есть общественное явление...»⁶. Такая постановка задачи типична для работ Реформатского.

Исследователи поэзии Пастернака говорят, что у него такой взгляд: непосредственно ближайший план — и сразу за ним план безмерно удаленный:

На тротуарах было скользко,
И ветер воду рвал, как вретиче,
И можно было до Подольска
Добраться, никого не встретивши.

Вероятно, эта черта была и личной собственностью поэта (его стиля), и даром всей эпохи. Ведь сам Пастернак это подчеркнул, взяв эпитафию из Гоголя (к стихотворению 1919 г.): «Вдруг стало видимо далеко во все концы света».

В 20-е годы стало видимо во все концы света и в науках; в языкознании — тоже. Все объединилось одним оком (мировоззрением и мироощущением). Взгляд А. А. Реформатского — уже в самых первых его исследованиях — от частного, близкого, прикладного разом переносится к далям, к самым общим основам науки. От некоторых вопросов русского консонантизма — к самому главному вопросу языковедения: к общественной природе языка.

Доклад об орфографии, о возможностях ее улучшения, Реформатский начинает словами Пушкина: «Да здравствует разум!». И это никому не показалось натянутым: в докладе шли лучи от частного к общему, к философии, к общественно важному.

Может ли книга о технической редактуре быть глубоким семиологическим трудом, намечающим перспективы развития науки о знаковых системах? Оказывается, может. Если эта книга написана А. А. Реформатским. Здесь⁷ предвосхищены важные положения теории информации.

В книге выдвигалась теория «избыточной и достаточной защиты». Понятие избыточной защиты ввел в теорию шахматной игры шахматист А. И. Нимцович. «...Если на какую-нибудь фигуру, пешку или вообще на какой-нибудь пункт (квадрат доски)

⁶ А. А. Реформатский. Согласные, противопоставленные по способу и месту образования... «Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР», 1955, № 8, стр. 3.

⁷ А. А. Реформатский. Техническая редакция книги. М., 1933,

направлено два нападения, нам необходимы две защиты (двумя пешками, пешкой и фигурой или двумя фигурами), — такая защита будет достаточной; если при тех же двух нападениях наш пункт защищен один раз (одной пешкой или одной фигурой), это будет защита недостаточная; если он защищен трижды (фигурами или пешками), это будет избыточная защита».

Эта избыточная защита была переосмыслена А. А. Реформатским применительно к печатному и устному тексту; она *implicite* содержала идею избыточной информации. В других его работах, посвященных полиграфической технике, уже прямо обсуждался вопрос о необходимых и достаточных показателях при реализации знаковых системных единиц.

В работе «Техническая редакция книги» нашли отражение сильные стороны научной деятельности А. А. Реформатского: его роль в формировании «невиданных», т. е. новых научных дисциплин, его умение наглядно раскрыть истины этих новых отраслей знания, его умение сочетать высокую отвлеченность («схема») с конкретным объяснением, полным примеров и применений.

* * *

В. Н. Сидоров вспоминал (шутливо) о первой печатной работе Реформатского: «Она была вся сплошь в формулах. Так что некоторые даже покупали, думая, что это книжка химическая, потому что Реформатские были известны как химики».

Стремление к точности в понятиях, к полной их определенности, к строгости научной мысли очень характерно для А. А. Реформатского. Такая строгость вовсе не требует непрременной математизации; более того: склонность к математическим одеяниям мысли иногда даже мешает мыслить лингвистически четко. Возникает уверенность, что формула (в которую затолкнули лингвистический материал) сама обеспечивает четкость мысли, сама «домысливает» ее до ясности. Этим можно объяснить самые неожиданные логические промахи именно в тех работах, где формул — роскошное преизобилие (но, конечно, в некоторых, не во всех таких «изобильствующих» работах). Свое отношение к математической лингвистике Реформатский высказал с полной ясностью и убедительностью: серьезное применение математических методов в языковедении очень желательно, но оно не создает особой науки, со своим особым объектом изучения.

Точность в работах Реформатского иного, не математического порядка: это полное соответствие понятия (так-то определенного) объекту, отраженному в понятии и заданному языковой действительностью.

Точность в работах филологов вообще специфична. Литературовед настаивает на том, что Л. Н. Толстой в произведениях позднего периода был выразителем взглядов патриархального

крестьянства. Понятие «патриархальное крестьянство» не поддается точной статистической проверке; провести перепись именно патриархального крестьянства не удалось бы. Куда определеннее понятия: однолошадные крестьяне, зажиточные и т. д. Но филологу они не нужны; объект, который необходимо выделить и определить, покрывается именно словами: патриархальное крестьянство. Имеется в виду общественная позиция, мировоззрение, имущественное положение — в их связи. Конечно, такая филологическая точность понятия допускает широкое использование интуиции; вряд ли это страшно.

Точность у лингвистов — иная, не та, что у литературоведов. Она предполагает постоянную экспериментальную проверку (эксперимент понимается в пешковско-щербианском смысле). Но это — филологическая точность; она включает значительную долю интуитивной оценки фактов; и она требует, чтобы интуиция нашла определения, точно, исчерпывающе точно покрывающие объект исследования.

Работы А. А. Реформатского дают блестящие образцы лингвистической точности мысли. Легче всего увидеть борьбу за точность, сравнивая разные издания «Введения в языковедение». Даже ключевые, главнейшие определения, оставаясь в принципе тождественными, все время оттачивались. В третьем издании говорится: «Фонемы — это минимальные единицы звукового строя языка, служащие для складывания и различения значимых единиц языка: морфем, слов, предложений»⁸. В последнем, четвертом, издании снято последнее слово в определении. Это значит, что идея об иерархическом, «пирамидальном» (а не только линейном) строении языка и речи стала теперь последовательно проводиться через всю книгу. Предложения не складываются непосредственно из фонем; фонемы (основание иерархической пирамиды языковых единиц) складывают морфемы (алломорфы); алломорфы сочетаются в слова (словоформы); словоформы образуют предложение. Фонемы — единицы основания пирамиды языковых единиц — непосредственно не входят в состав предложения (оно — вершина пирамиды)⁹. Изъятие одного слова из определения говорит о существенной доработке учебника, о более точной пригонке понятия «фонема» к другим научным понятиям, данным в книге, о более точной характеристике объекта изучения.

⁸ А. А. Реформатский. Введение в языковедение. Изд. 3. М., 1960, стр. 175 (название книги колебалось вслед за колебаниями вузовской программы).

⁹ Может быть, при изложении той фонологической теории, которая дана в книге А. А. Реформатского, следовало бы из определения убрать и слово «слов» (см.: Р. И. Аванесов. Фонетика современного русского языка. М., 1956, стр. 38). Но это вопрос спорный и побочный; методически, думается, лучше в учебнике для студентов не привлекать к нему внимания.

Первая работа Реформатского изобиловала формулами. Они точно передавали (должны были передать) сюжетное строение мопассановых новелл. Позднее, в лингвистических работах, формулы использовались более скупно. Требование к точному выражению мысли, к строгости в теоретических построениях осталось — но ушло в глубину, в самые принципы определения объектов изучения, в принципы оперирования с этими определениями.

Никакого научного импрессионизма, конструктивная ясность и четкость построения — очень важная черта теоретических работ А. А. Реформатского. Основы научного стиля у него складывались в 20-е годы, когда конструктивизм определял и художественные, и научные поиски. Отсюда — инженерность, точность, конструктивность лингвистических построений А. А. Реформатского.

В годы юности он брал уроки рисования у известной художницы Наталии Гончаровой. «Ничего не получилось из этого», — вспоминает А. А. Реформатский. Может быть, в частном этом случае влияние и не было результативным. Но в целом-то общий конструктивный настрой 20-х годов дал заряд всей научной деятельности ученого. И так же, как во многих других областях, в науке этот настрой, рожденный первыми годами новой социальной эпохи, оказался долговечным и на редкость плодотворным. Работы Реформатского подтверждают: и в языкознании.

«Habent sua fata libelli...». И эта книга имеет «свою судьбу»... Так начинается голубиная книга А. А. Реформатского — «Введение в языкознание»¹⁰.

В 1955 г. вышло второе, в 1960 г. — третье, в 1968 г. — четвертое издание книги. Она по-прежнему оставалась учебником; она стала книгой для всех. Для студентов, аспирантов, для языковедов, для всех, кого интересует языкознание.

Говорят иногда: для студентов книга трудновата. Надо добавлять: при плохом лекторе. Жанр учебника предполагает опору на уроки, на лекции, на практические занятия. Если они ведутся неквалифицированно, если они уводят от учебника, а не ведут к нему, то учебник становится трудным.

Книга нашла дорогу к студентам, об этом говорит ее тираж: в четвертом издании — 100 000.

Но это и книга для специалистов. Было бы интересно составить перечень тех исследовательских работ, где есть ссылки на книгу А. А. Реформатского: апелляция к его мнению, спор с ним, разработка идей, сформулированных во «Введении». Не одна сотня книг и статей вошла бы в этот список.

¹⁰ У каждого ученого есть одна либо две голубиные (любимые, стержневые) книги. У Реформатского их две; вторая — фонология русского языка. Она состоит из десятка статей, напечатанных в разных изданиях, но они явно составляют одно целое. Это — книга, хотя еще не собранная.

«Введение в языкознание» Реформатского соединяет, казалось бы, несоединимое: изложение общепризнанного, устоявшегося, проверенного (как и следует быть в учебнике) с исследовательским, индивидуально-авторским освещением всего материала. Она сочетает разумную традиционность — с предельной современностью, с учетом того, что сейчас делается в науке (и уже настолько проверено, что может считаться явным вкладом в нее). Стоит посмотреть любую главку в книге (хотя бы раздел о внутренней флексии), чтобы убедиться в этом. Книга сочетает строгость тона с яркой эмоциональностью в подаче всего материала. Эмоциональность дана не «поверх» научного содержания — нет в книге ни ахов, ни охов, — а впаяна в самое изложение науки, видна именно в строгом и точном стиле изложения.

Русская лингвистическая традиция знает несколько превосходных и очень разных учебников по введению в языкознание (Ф. Ф. Фортунатова, И. А. Бодуэна де Куртенэ, А. И. Томсона, Д. Н. Ушакова...). Но книга А. А. Реформатского выделяется даже и в этом ряду. Только она сочетает, органически и нераздельно, объективное воссоздание общепризнанного в науке — и исследовательское новаторство, традиционность — и внимание к самому новому в науке, научную строгость изложения — и эмоциональную яркость текста.

«Твердый. Меняющийся» — эти слова Маяковского можно отнести и к автору «Введения». В последнем издании освещаются такие вопросы: структура языка, язык как система; теория знака; знаковая система; язык и речь; перцептивная и сигнификативная функция языковых знаков; синхрония и диахрония. Когда, в каком издании книги впервые появились эти понятия? Легко ответить: скорее всего, в третьем (1960 г.); только к концу 50-х годов они стали в центре внимания советских лингвистов.

На самом деле эти понятия, притом как основные, ключевые в книге, были уже в первом издании 1947 г. В дальнейшем их выяснение становилось полнее, рельефнее, но принципы книги, построенной на основе этих ключевых понятий, оставались теми же. Да, именно: Твердый. Меняющийся.

Чем обусловлена эта стойкость? Определенностью позиции. Точными теоретическими основами, которые определяют научную школу. Взгляд на язык как на систему; на единицы языка как на величины, определяемые законами позиционного варьирования.

Ясность исходных позиций позволяет иногда предугадывать, как решит А. А. Реформатский тот или иной теоретический вопрос (иногда — т. е. в тех случаях, когда это решение не есть лингвистическое открытие). На заседаниях орфографической комиссии А. А. Реформатский высказался за сохранение двойных согласных в заимствованных словах (*суббота, комиссия* и проч.). Это мнение сразу учениками и последователями Реформатского было оценено как «антиреформатское»; дело не в игре слов: действительно,

Александр Александрович должен был занять, исходя из своих «главных» взглядов, прямо противоположную позицию. Редкий случай непоследовательности у Реформатского; и, из-за редкости таких случаев, из-за последовательности «реформатских» устоев в науке, это отступление легко было обнаружено (но Александр Александрович остался при своем «антиреформатском» мнении).

...Жюль Верн, Я. П. Полонский, Данте, В. К. Арсеньев, Лев Толстой, Маяковский, А. Дюма-сын, Крылов, А. Блок, А. Н. Островский, Евгений Петров, Пушкин, Огарев, Игорь Северянин, Гомер, Грибоедов, М. Горький, Мятлев, Ломоносов, В. И. Даль, Бестужев-Марлинский, Леонид Леонов, Лермонтов, Лесков, былины, Чехов, Достоевский... На них ссылается, их зовет на помощь, с ними спорит А. А. Реформатский только в одном из разделов своего «Введения в языкознание». Острое внимание к художественной речи характерно для большинства работ этого ученого. Некоторые даже целиком построены на истолковании фактов поэтического языка (вспомним замечательный этюд «Точьца, тачьца и пятачец»).

Но восприятие научных работ Реформатского как эстетически полноценных, как «искусства в науке» обусловлено не этими обращениями к художественной речи. Не ими в первую очередь. Сквозь каждую страницу исследования, строгую и точную, просвечивает эмоция исследователя. Другая причина, наверно,— в умении, поднявшись в самые верхи, в самый холод абстракций, сохранять тепло языковой конкретности (об этом уже говорилось).

Анатомические рисунки Леонардо да Винчи; нотовские инструкции Гастева, «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» И. П. Павлова, словарь Даля, зарисовки растений Дюрера, диалоги Галилея, лекции Ключевского, естество-научные труды Гете... Наука в самом своем истинном и чистом проявлении сочетается в этих человеческих творениях (очень по-разному сочетается, художнически-неожиданно) с подлинным искусством. Вещи А. А. Реформатского, не все, но многие, стоят в этом же славном ряду.

* * *

Мы бурно негодуем, если ценный станок простаивает без дела. Мы возмущаемся (может быть, менее энергично), когда талантливый артист (или, особенно, -ая артистка) в течение долгого времени не получает значительных ролей. Но мы совсем равнодушны, если блестящий лектор, преподаватель, учитель и Учитель — многие годы не ведет педагогической работы. Вот уже, пожалуй, более десятка лет А. А. Реформатский не читает лекционных курсов, и это очень жаль.

Реформатский-лектор, Реформатский-экзаменатор, Реформатский — наставник и воспитатель лингвистов окружен легендами, воспоминаниями (увы! воспоминаниями!), воспет в устных студен-

ческих преданиях. Судя по этим легендам — в основе своей они правдивы — Реформатский мог за шпаргалку поставить... пять. Он, наверное, единственный экзаменатор, который позволяет во время подготовки к ответу пользоваться учебником. «Вынул билет, вижу — не очень удачно. А тут сидят, готовятся, и перед каждым — книга Реформатского. Черт, — говорю, — забыл дома учебник ваш, Сан Саныч. «Погодите, — отвечает, — я-то, кажется, взял». Роемся, роемся, чуть не весь в портфель засунулся. Нашел. Дал»¹¹. Налет хлестаковской «легкости в мыслях» в таких рассказах разглядеть нетрудно, но также нетрудно увидеть, что они сохраняют достоверный (во всех основных чертах) облик учителя. Любимого — и крайне требовательного. Это ведь у Реформатского ходят сдавать введение в языковедение «до энного раза». Это он твердой рукой ставит тройку в зачетную книжку, сверкающую пятерками. И не менее твердой — «пять» в зачетку, уныло троечную. Убеждение, что студент понял «основ основное» (самое трудное!) — только это основание для отметки. Конечно, так и должно быть... Да, должно. И все же это — резко отличительная черта Реформатского-педагога¹². Учебником пользоваться разрешает, а щедростью отметок не славится. Студенты филфака МГПИ (в те счастливые годы, когда там читал лекции Реформатский) говорили: «У нас в студенты принимают два раза: первый — после вступительных экзаменов, а второй, по-настоящему, — после сдачи экзамена по введению [в языкознание] Сан Санычу».

Да, можно пользоваться учебником, записями лекций; но при ответе проверяется понимание основ науки. Это особое искусство экзаменатора — раскрыть, понят ли прочитанный (выученный, зазубренный, усвоенный, выдолбленный...etc) материал. Мнение студентов: «Учебник читать позволяет, но это ни к чему, если раньше не работал, не продумал. Только стыда больше, когда Реформатский покажет, как ты все недоделал» (sic!).

При такой системе ясно, шпаргалки ни к чему. И Александр Александрович к ним относится с полным самообладанием, больше: с равнодушием («непедагогично»? есть педагогика и есть высшая педагогика). Снова рассказ студента: «Отвечал тут один, получил четыре. Пошел к двери, а из него шпаргалка и выпала. Александр Александрович побряхтел, поднял шпаргалку. Тот ушел, не заметил. Саныч сидит, изучает. Потом зовет: кто мне

¹¹ Этот и следующие рассказы студентов записаны в 1951 г.

¹² Рассказ студента: «Приходят пересдавать Реформатскому. Он — каждому вопрос, и уходит в столовую чай пить. Пьет власть. Потом приходит, громко разговаривает в коридоре, около комнаты, где готовятся. Ногами стучит. Приоткрыл дверь, не входит, продолжает с кем-нибудь там говорить. Входит — всё, порядок, готовы отвечать. Казалось бы, тут всякий сдаст на пять. Не-е-ет, уж известно: условия готовиться — льготны, а отвечать... Если пришел наудачу — не пройдешь. Ведь срезаются! Ему подай понимание. Очень он своеобразный».

сейчас отвечал, пусть вернется. Тот уже понял в чем дело, вернулся. Красный. «Садитесь. Дайте зачетную книжку». Четыре зачеркнул, ставит пять. «Исправленному верить, Реформатский». «Такую шпаргалку мог составить человек, который очень верно и очень глубоко понял суть дела. Это — ювелирная работа, и все очень конструктивно. Одно у меня только «но»... Почему вы здесь поместили вот это под этим...» — и начинается чисто технический разговор. Напоследок: «Больше себе доверяйте». Отпустил. Вот как вышло. По правде сказать, это со мной было, но стыдно всегда говорить. То ли хвастаешь, то ли каешься».

Каждая лекция Реформатского оставляла нераздельное научное и эстетическое впечатление. Конечно, никакой театральности; скорее — антитеатральность. Полнейшая непринужденность; крайняя разговорность речи; притом: изумительное чувство аудитории, постоянный контакт с нею, постоянный обмен токами взаимопонимания. К сожалению, лекции Александра Александровича остались незастенографированными (а может быть, это удастся сделать?), но даже и точная стенограмма не даст того чувства эстетической полноценности, какое у всех вызывают «живые» лекции Реформатского: в любой стенограмме будет утрачена эта живая связь с аудиторией. Здесь ничего не поделаешь.

Чуть ли не каждая работа Александра Александровича Реформатского — событие в советском языкознании. Пожелаем, чтобы этих событий с каждым годом было все больше и больше.

Р. И. Аванесов, М. В. Панов

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЕФОРМАТСКОГО *

ЛИНГВИСТИКА

1933

1. Лингвистика и полиграфия.— В кн.: «Письменность и революция», сб. 1. М.— Л., стр. 42—58.

1936

2. Свод орфографических правил. Составлен Орфографической Комиссией при Ученом Комитете литературы и языка Наркомпроса РСФСР (проект). М., Учпедгиз, 87 с. [Состав орфографической комиссии: Д. Н. Ушаков (председатель), А. А. Реформатский, М. В. Сергиевский, А. М. Сухотин, А. Б. Шапиро. А. А. Реформатский — разделы: правописание согласных, прописные и строчные буквы, аббревиатуры, общая редакция].
3. Свод пунктуационных правил. Составлен Комиссией при Ученом Комитете литературы и языка Наркомпроса РСФСР (проект). М., Учпедгиз, 32 с. [А. А. Реформатский — разделы: ударение, перенос, общая редакция].

1937

4. Упорядочение русского правописания (статья первая).— РЯШ, № 1, стр. 63—70.
5. Упорядочение русского правописания (статья вторая).— РЯШ, № 6, стр. 76—84.

1938

6. Упорядочение русского правописания (статья третья).— РЯШ, № 1, стр. 93—101.
7. Ред.: Англо-русский словарь. Сост. Ф. Зильперт, С. Абрам. Переработ. Р. А. Зарецкой. М., ГИС, 280 с.

1939

8. Правила единой орфографии и пунктуации. С прилож. краткого словаря. 2-я редакция. (Проект). М., Учпедгиз, 136 с. (Составлен Комиссией по разработке единой орфографии и пунктуации русского языка при СНК СССР).
9. Своды орфографических и пунктуационных правил (проект). М., Учпедгиз, 96 с. (Составлен Рабочей подкомиссией, выделен. из состава Правительственной комиссии по разработке единой орфографии и пунктуации русского языка при СНК СССР).

* Составитель — Р. Д. Равич.

1940

10. Правила единой орфографии и пунктуации. С прилож. краткого словаря (проект). М., Учпедгиз, 152 с.

1941

11. Проблема фонемы в американской лингвистике. «Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина», т. 5, Кафедра русского яз., вып. 1, стр. 103—139.

1944

12. Русско-киргизский словарь. Сост. Х. Карасаев и др. [Руководство составлением русского словника и общая редакция].

1947

13. Введение в языковедение. М., Учпедгиз, 176 с.
То же, в пер. на корейский яз.— Пхеньян, 1949, 294 с.

1948

14. О культуре языка в пении. «Советский артист», 1948, 16 января, № 1 (412).

1950

Методические указания и руководство по современному русскому языку для студентов-заочников. М., 48 с. (Литературный ин-тут им. А. М. Горького при ЦСП СССР). Конспект лекций, ч. I [На правах рукописи].

1951

16. О методе установления языкового родства. «Тезисы докладов научных сотрудников Ин-та языкознания на объединенной сессии Ин-та этнографии, Ин-та истории материальной культуры...». М., АН СССР, стр. 3—8. [В соавторстве с П. С. Кузнецовым и Б. А. Серебренниковым.]

1952

17. К проблеме фонемы и фонологии. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», т. 11, вып. 5, стр. 469—473.
[Рец.:] Шаумян С. К. Проблема фонемы. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», т. 11, вып. 4, стр. 324—343.
18. Курс «Введение в языкознание» на филологических факультетах университетов и на литературных факультетах педагогических институтов.— ВЯ, № 4, стр. 59—69.
19. Лингвистические вопросы перевода. «Иностранные языки в школе», № 6, стр. 12—22.
20. Сопещение по методологии этногенетических исследований в свете сталинского учения о нации и языке. «Вестник АН СССР», № 1, стр. 105—114. [В соавторстве с В. Д. Левиным.]

1953

21. Новый дунганский алфавит.— ВЯ, № 5, стр. 129—132. Прил.: Проект нового дунганского алфавита, стр. 132.

1954

22. А. И. Смирницкий [Некролог]. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», т. 13, вып. 6, стр. 571—573.
23. Памяти профессора А. И. Смирницкого.— ВЯ, № 6, стр. 150—154.

1955

24. Введение в языкознание. М., Учпедгиз, 396 с.
См. также: 1947, № 13.
25. О соотношении фонетики и грамматики (морфологии). «Вопросы грамматического строя». М., стр. 92—112.
26. Речь и музыка в пении. «Вопросы культуры речи», вып. I. М., стр. 172—199.
27. Согласные, противопоставленные по способу и месту образования, и их варьирование в современном русском литературном языке. «Доклады и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», т. VIII, стр. 3—23.

1956

28. [О границах субстрата. Выступление на дискуссии о теории субстрата 17—19 февраля 1955 г. на Ученом совете Ин-та языкознания АН СССР]. «Доклады и сообщ. Ин-та языкознания», вып. IX, стр. 110—117.
29. Основные проблемы машинного перевода (вводная статья).— ВЯ, № 5, стр. 107—111. [В соавторстве с П. С. Кузнецовым и А. А. Ляпуновым].
То же, в пер. на английский яз.— «Joint Publications Research Service», № 68.
То же, в пер. на китайский яз.— «Языковые исследования», 1957, № 9, стр. 7—15.

1957

30. В чем разница между звуком и фонемой? (Ответ в отделе «Консультации») «Русский яз. в нац. школе», № 6, стр. 80.
31. Принципы синхронного описания языка. «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка». М., стр. 8—15 (ИЯЗ АН СССР).
Полный текст доклада см.: 1960, № 51.
32. Фонологические заметки.— ВЯ, № 2, стр. 101—102.
33. Что такое структурализм?— ВЯ, № 6, стр. 25—37.

1958

34. Географические названия как слова русского языка. «Транскрипция географических названий (тезисы докладов)». М., стр. 16—18 (Ин-т географии АН СССР).
Полный текст доклада см. 1960, № 48.
35. К вопросу о машинном переводе устной речи. «Бюллетень Объединения по проблемам машинного перевода» (I МГПИИЯ), № 6, стр. 31—33.
36. О корреляции «твердых» и «мягких» согласных (в современном русском литературном языке). «Cercetări de lingvistică», Cluj, anul 3, supl., стр. 403—407.
37. Обучение произношению и фонология. «Тезисы докладов на курсах повышения квалификации преподавателей русского языка вузов, работающих с иностранцами». М., стр. 20.
Полный текст доклада см.: 1959, № 43.

38. Перевод *sub specie structuralismi*. «Тезисы Конференции по машинному переводу (15—21 мая 1958 г.). М., стр. 52—53.
То же, в пер. на английский яз.— «Joint Publications Research Service», № 241.
39. De la neutralisation des oppositions. «Travaux de l'institut de linguistique», v. II. Paris, стр. 103—107.

1959

40. [Выступление].— В кн.: «Бюллетень коллоквиума по экспериментальной фонетике и психологии речи, I. Симпозиум по вопросам разборчивости речи». М., стр. 114—118 (I МГПИИЯ). Отпеч. множит. аппаратом.
41. Двустороннее соотношение фонологических систем языков при обучении произношению. «Тезисы конференции по использованию технических средств при обучении иностранным языкам» (11—16 мая 1959 г.). М., стр. 27 (I МГПИИЯ).
42. Обучение произношению и фонология. «ИДВШ, Филол. науки», № 2, стр. 145—156.
Тезисы см.: 1958, № 37.
43. *Точьца, тачьца и пятачец*. «Вопросы культуры речи», вып. 2. М., стр. 230—232.
44. Что такое термин и терминология. М., 14 с. (ИЯЗ АН СССР).
См. также: 1961, № 63.

1960

45. Введение в языкознание. [Изд. перераб. и доп.]. М., Учпедгиз. 431 с.
То же, в пер. на литовский яз.— Вильнюс, 1963, 431 с.
См. также: 1947, № 13; 1955, № 24.
46. Может ли быть математическая лингвистика? «Вестник МГУ», серия 7. Филология, журналистика, № 5, стр. 57—66.
47. Н. С. Трубецкой и его «Основы фонологии». — В кн.: Н. С. Трубецкой. Основы фонологии. М., ИЛ, стр. 326—361. [Послесловие].
48. О подаче и передаче географических названий на русских картах. «Транскрипция географических названий (Труды совещания, состоявшегося 28—31 января 1959 г.)». М., стр. 42—54 (Ин-тут географии АН СССР).
Тезисы см.: 1958, № 34.
49. [Омонимия и полисемия. Выступление на дискуссии по вопросам омонимии]. «Лексикографический сборник», вып. 4, стр. 89—91.
50. Практическая транскрипция иноязычных собственных имен. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», т. 19, вып. 6, стр. 529—534.
51. Принципы синхронного описания языка. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков». М., стр. 22—38 (ИЯЗ АН СССР).
Тезисы см.: 1957, № 31.
52. Транслитерация русских текстов латинскими буквами.— ВЯ, № 5, стр. 96—103, табл.
То же, в пер. на английский яз.— «Joint Publications Research Service», № 6598.
53. Число и грамматика. «Вопросы грамматики (сб. статей к 75-летию акад. И. М. Мещанинова)». М.— Л., стр. 384—401.
54. Ред.: Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., ИЛ, 436 стр. [Общая редакция и примечания].
55. [Ред.:] Мурзаев Э. М. Местные географические термины. «Транскрипция географических названий». М., 1960, стр. 95—96.

56. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова. «Понятие агглютинации и агглютинативного типа языков (тезисы докладов). Л., стр. 32—34.
Полный текст доклада см.: 1965, № 82.
57. Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонема-
тическая модель языка. «Вопросы теории языка в современной зарубеж-
ной лингвистике». М., стр. 106—122.
58. О некоторых трудностях обучения произношению. «Русский язык для
студентов-иностранцев». М., «Высшая школа», стр. 5—12.
59. «Словарь лингвистики Пражской школы». — ВЯ, № 3, стр. 126—129.
[Рец.:] Vachek J. Dictionnaire de linguistique de l'Ecole de Prague.
Utrecht-Anvers, 1960.
60. Термин как член лексической системы языка. «Тезисы докладов меж-
вузовской конференции по применению структурных и статистических
методов исследования словарного состава языка (21—25 ноября 1961 г.)».
М., стр. 13.
Полный текст доклада см.: 1968, № 94.
61. Фонетический минимум при овладении русским произношением нерус-
скими. «Русский яз. в нац. школе», № 4, стр. 7—10.
62. Фонология на службе обучения произношению неродного языка. «Рус-
ский яз. в нац. школе», № 6, стр. 67—71.
63. Что такое термин и терминология? «Вопросы терминологии (материалы
Всесоюзного терминологического совещания)». М., стр. 46—54.
См. также: 1959, № 45.
64. Ред.: Русский язык для студентов-иностранцев. [Сб. методических ста-
тей]. М., «Высшая школа», 220 с.

1962

65. О собственных именах, I. Имена людей. «Семья и школа», № 10, стр. 45—
46. [Подпись — А. Р.].
66. О сопоставительном методе. «Русский яз. в нац. школе», № 5, стр. 23 —
33.
67. Об одном издании Комитета технической терминологии АН СССР.—
ВЯ, № 4, стр. 142—145.
[Рец.:] Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терми-
нологии. Вопросы теории и методики. М., 1961, 158 с.
68. Так как же надо говорить? «Русский яз. в нац. школе», № 1, стр. 78—
83.
[Рец.:] Тимофеев Б. Н. Правильно ли мы говорим? Л., 1961, 191 с.
69. Топономастика как лингвистический факт. «Принципы топонимики (ма-
териалы к совещанию)». М., стр. 5—6.
Полный текст см.: 1964, № 81.

1963

70. Глагольные формы типа *хлоп*. «Изв. ОЛЯ, серия лит-ры и языка», т. 22,
вып. 2, стр. 127—129.
71. Иерархия фонологических единиц. «Конференция по структурной лин-
гвистике, посвященная базисным проблемам фонологии (тезисы докла-
дов). М., стр. 18—19.
Полный текст доклада см.: 1966, № 87.
72. К вопросу о фоно-морфологической делимитации слова. «Морфологиче-
ская структура слова в языках различных типов». М.—Л., стр. 60—76.
73. О перекодировании и трансформации коммуникативных систем. «Иссле-
дования по структурной типологии». М., стр. 208—215.

74. О собственных именах: 2. Фамилии. «Семья и школа», № 2, стр. 39—40.
См. также: 1962, № 65. [Подпись: А. Р.].
75. О собственных именах: 3. Псевдонимы. «Семья и школа», № 6, стр. 43.
[Подпись: Искандер Ислахи].
См. также: 1962, № 65; 1963, № 74.
76. Язык, структура и фонология. «Prace filologiczne», t. 8, cz. 1, стр. 105—111.

1964

77. Буква ё. «О современной русской орфографии». М., стр. 28—32.
78. Дефис и его употребление. Там же, стр. 146—150.
79. Из истории нормализации русского литературного произношения. К 90-летию со дня рождения Д. Н. Ушакова (1873—1942). «Вопросы культуры речи», вып. V. М., стр. 5—7.
80. Семиотика географической карты. «Лингвистическая терминология и прикладная топонимика». М., стр. 45—58.
81. Топонимика как лингвистический факт. «Топонимика и транскрипция». М., стр. 9—34.
Тезисы см.: 1962, № 69.

1965

82. Ред.: Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской школы. Пер. с франц., нем., англ. и чешского И. А. Мельчука и В. З. Санникова. М., Прогресс, 350 с.
Предисловие, общая редакция и примечания.
83. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова. «Морфологическая типология и проблема классификации языков». М.—Л., стр. 64—92.
Тезисы см.: 1961, № 56.
84. Орфография собственных имен.— В кн.: «Орфография собственных имен». М., стр. 5—10.
85. Памяти С. И. Ожегова. «Вопросы культуры речи», вып. VI. М., стр. 3—5.
86. Сергей Иванович Ожегов. [Некролог]. «Изв. АН СССР, серия лит-ры и языка», т. 24, вып. 2, стр. 186—188.

1966

87. Иерархия фонологических единиц и явления сингармонизма. «Исследования по фонологии». М., стр. 184—198.
Тезисы см.: 1963, № 71.
88. Неканоническая фонетика. «Развитие фонетики современного русского языка». М., стр. 96—109.
89. Перевод и транскрипция. «Конференция по топонимике Северо-Западной зоны СССР (тезисы)». Рига, стр. 204—207.
90. [ʹɯsʹ].— В кн.: «Вопросы культуры речи», вып. VII. М., стр. 119—121.

1967

91. Введение в языковедение. Изд. 4, испр. и доп. М., Просвещение, 542 с.
См. также: 1947, № 13; 1955, № 24; 1959, № 40.
92. «Ж».— In: «To honor Roman Jakobson», v. 2. The Hague, Paris, стр. 1650—1656.
93. О речи в устах артиста. «Русская речь», № 6, стр. 78—82.

1968

94. Термин как член лексической системы языка. «Проблемы структурной лингвистики. 1967». М., стр. 103—125.
Тезисы см.: 1961, № 60.

1969

95. Сингармонизм, ударение и просодия слова.— ВЯ, № 1, стр. 123—125.
[В соавторстве с В. А. Виноградовым].

1970

96. Петр Саввич Кузнецов (1899—1968).— В кн.: «Язык и человек». М., изд-во МГУ, стр. 18—30.
97. Сегментные и суперсегментные элементы фонологии.— В кн.: «Кузнецовские чтения». М., стр. 13—14 (тезисы докладов конференции по фонологии и морфологии).
98. Из истории отечественной фонологии. Очерк и хрестоматия. М., 527 с.
99. Книга о русском языке. „Русский язык в школе“, № 5, стр. 108 — 113.

ПОЭТИКА

1922

1. Опыт анализа новеллистической композиции. М., 20 стр. (Моск. кружок «Опояз», вып. 1).

1923

2. [Рец.:]. В. Виноградов. Стиль петербургской поэмы [Ф. М. Достоевского] «Двойник» («Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина. Пг., Мысль, 1922).— ЛЕФ, № 2, стр. 153—154.

ПСИХОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ, ТЕКСТОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ, КНИГОВЕДЕНИЕ

1933

1. Длина строки и гарнитура шрифта как условия удобочитаемости. «Полиграфич. производство», № 1, стр. 19—23.
2. Оформление стабильного учебника в нац. издательствах. «Просвещ. на циональностей», № 4, стр. 17—19.
3. Психологические основания внешнего оформления учебника. «Полиграфич. производство», № 7, стр. 17—21. [В соавторстве с В. А. Артемовым].
4. Техническая редакция книги, теория и методика работы. Под ред. Д. Л. Вейса, М., Гизлегпром, 41 с. [При участии М. М. Каушанского].

1934

5. Удобочитаемость и оформление книги. «Сб. статей на армянском яз.». Эривань, стр. 5—26.
6. К вопросу о длине строки, кегле шрифта и интерлиньяже. «Полиграфич. производство», № 3, стр. 22—25. [В соавторстве с А. С. Лизаревичем].

НЕНАПЕЧАТАННОЕ

1. Материалы к описанию языка «Истории о Великом князе Московском» А. М. Курбского. 1923, 120 с.
2. Стих и синтагма. Доклад, сделанный в ГАХНе. 1928, 25 с.
3. Структура сюжета у Толстого. Доклад, сделанный в ГАХНе. 1928, 120 с.
4. Словарь полиграфиздательской терминологии. 1933, 33 с. [Совместно с М. М. Каушанским, А. М. Сухотиным и Б. В. Горнунгом. Общая редакция словаря].
5. Вопросы географической транскрипции. 1935, 25 с.
6. Проблемы русской орфоэпии. 1940, 53 с.
7. Орфография и орфоэпия в трудах Д. Н. Ушакова. 1942, 28 с. [Стенограмма доклада в МГУ].
8. Труды В. А. Богородицкого в области русской фонетики. Тезисы, 1942, 10 с. (Доклад в Ин-те языка АН СССР).
9. Звуковые чередования. 1943, 102 с.
10. Оппозиции и позиции. 1944, 80 с.
11. Русские согласные, противопоставленные по твердости и мягкости. 1945, 70 с.
12. Русские согласные, противопоставленные по звонкости и глухости. 1946, 52 с.
13. Русские гласные. 1947, 60 с.
14. Как действует система в языке. 1964, 4 с.
15. Слоговые согласные в русском языке. 1969, 13 с.
16. Звук [ы] после гласных в русском языке. 1969, 3 с.

Н. Д. Арутюнова

О ФОНЕТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКА И ИЕРАРХИИ ЕГО ГРАММАТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

В работе, прекрасно показывающей необходимость уровневого членения языковой структуры, а также раскрывающей на конкретном материале методику перехода от физических сегментов к структурным единицам фонологической модели, А. А. Реформатский пишет: «Речь, выраженная через очередной речевой акт, «дробится» и тем самым сегментируется. Это, конечно, может быть каким-то показателем и для лингвистической стратификации. Но главная трудность в этом переходе от сегментации к стратификации состоит в том, что речь принципиально линейна, а язык не линейен, а структурен (тем самым речь предполагает «секуцию» вдоль, а язык проникновение внутрь)»¹. «Сегментация речи (как процесса) никак не равнозначна стратификации структурных элементов языка... С лингвистической точки зрения для понимания проблемы сегментации необходимо: 1) функционально осмыслить факты, полученные методикой любого сегментирования, 2) взвесить их в свете понимания уровней языковой структуры»².

Пользуясь этими рекомендациями, мы попытаемся ниже уточнить отношение системы грамматических единиц к фонетической организации речи. Начнем с фонетического субстрата, на базе которого формируются единицы грамматики. В звуковой субстанции языка выделим ряд последовательно увеличивающихся сегментов, на которые членится звуковой поток. Это звук речи (или фон), слог, фонетическое слово, речевой такт (или фонетическая синтагма) и фраза. Каждая из перечисленных единиц складывается из более мелких компонентов, к которым прибавляется некоторое

¹ А. А. Реформатский. Иерархия фонологических единиц и явления сингармонизма. «Исследования по фонологии». М., 1966, стр. 187.

² Там же, стр. 188.

фонетическое качество, придающее им цельность. Так, звук речи характеризуется признаком симультанности, объединяющим акустические черты, звуки речи соединяются в слог благодаря выдыхательному толчку (по другой теории — благодаря импульсу мускульного напряжения, по третьей — слогообразующей силой служит полнозвучие, сонорность), ударение создает фонетическое слово, группируя вокруг себя слоги (в тюркских языках аналогичную функцию выполняет сингармонизм³⁾), слова собираются в речевой такт благодаря делимитативным паузам (либо распределению логических ударений), наконец, синтагмы группируются во фразу при помощи интонации. Система фонетических единиц, разумеется, не во всех языках одинакова. Во французском языке, например, слово в потоке речи теряет ударение. Поэтому слово и синтагма неразличимы как особые фонетические единицы и объединяются в ритмическую группу.

Названные фонетические «привески» (природа их не вполне точно выявлена), определяющие место каждой единицы в общем строе, представляют собою просодические или суперсегментные черты. Суперсегментные признаки выполняют по отношению к сегментным единицам функцию объединения, а применительно к речевому потоку роль их при его последовательном членении. Суперсегментный признак некоторых составных единиц связан лишь с одним из их компонентов, например, выдыхательный толчок с гласным звуком слога, ударение с одним из слогов фонетического слова. Один из компонентов таких единиц выделяется в качестве их основы, их организующего центра, вокруг которого группируются подчиненные элементы, или спутники. Природа спутников может быть либо отличной от основного компонента (согласные, сравнительно с гласными звуками слога), либо одинаковой с ним (ударный и неударные слоги фонетического слова). Поэтому, будучи признаком большей единицы, просодическая черта оказывает отчасти воздействие на образующие эту единицу более мелкие компоненты, вызывая их варьирование.

Ранг фонетической единицы, ее место на «иерархической лестнице» зависит от суперсегментного признака, а не от ее сегментного состава. Один и тот же сегмент меняет свое качество сообразно сопутствующим ему просодическим «накладкам». Сегмент «рот» будет слогом в *ко-ро-т-кий о-бо-ро-т*, фонетическим словом в *закрой/р-от*, речевым тактом в *Ро-т он открывал редко*, и, наконец, фразой в *Ро-т!* (на вопрос *Что это?*). Постепенно аккумулируя все больше просодических черт, сегмент повышает свой ранг, причем его уровень определяется только одной чертой — высшим суперсегментным «знаком отличия». В фонетической форме латинского предложения I 'иди', сегментный состав кото-

³ См. об этом: А. А. Реформатский. Иерархия фонологических единиц..., стр. 192 (там же приводится суждение о сингармонизме Бодуэна).

рого ограничен одним звуком речи, собраны просодические черты симультанности, выдыхательного толчка, удара, фланговых пауз и интонации. Но из них только интонация существенна для выяснения места I в иерархическом ряду фонетических единиц: сегмент I имеет статус фразы и соотносится в потоке речи с другими фразами. Он может быть получен на первой же ступени сегментации (пример принадлежит А. А. Реформатскому).

В речевой реализации фонетической системы не может быть исключено ни одно из ее звеньев. Поэтому каждая единица непосредственно связана только с единицами, расположенными на смежных ступенях, входя в состав единиц следующего уровня, миновать который невозможно. Это простое положение полезно помнить потому, что оно определяет выбор термина описания каждой единицы. Так, фонетическое слово должно описываться в терминах слогов, слог — в терминах звуков речи, а эти последние через образующие их акустические черты. Неверно было бы описывать фразу непосредственно в терминах фонон или акустических черт. Состав единиц более низких рангов имеет косвенное отношение к характеристике более крупных образований. А. А. Реформатский, для которого «особенно характерно стремление прочно связать фонологическое отвлечение с фонетической конкретностью»⁴, хорошо показал на примере тюркского сингармонизма, что набор релевантных признаков в лингвистическом анализе меняется от уровня к уровню⁵.

Совместимость ряда просодических черт с одним сегментом обеспечивает фонетической модели возможность реализоваться в разном сегментном объеме. Один звук речи, вбирая в себя все больше просодических черт и тем самым взбираясь вверх по «иерархической лестнице», может достигнуть уровня фразы (ср. пример выше). В этом случае сегментный состав фразы свернут до одного фона. При свертывании ограничения налагаются только в отношении тех элементов, которые выполняют внутри сегментов большей протяженности роль спутников. Так, слог обычно сводим к гласному звуку, но не к согласному, выполняющему внутри слога периферийную функцию. Может происходить и обратный процесс, а именно — снятие просодических черт с фонетических единиц, ведущий к понижению их ранга (ср. англ. *Miss What-is-your-name* и *Miss, what is your name?*) или удлинению сегментного состава (ср. образование сращений типа *уменьшенный, местожительство* и т. п.). Разумеется, удлинение сегментного состава имеет некоторый фактический (физический) предел. Так, в русском языке рост фонетического слова ограничен 13 слогами.

Фонетические единицы, получающие различительную функцию, поступают в ведение фонологии как функциональной фонетики,

⁴ М. В. П а н о в. Русская фонетика. М., 1967, стр. 407.

⁵ А. А. Реформатский. Иерархия фонологических единиц..., стр. 196—198.

связывающей форму и значение, звуковой пласт и семантический ярус. Элементы, лишенные способности смыслоразличения, остаются в сфере фонетики. Слог в русском языке, вероятно, правильно считать единицей фонетической и описывать в терминах других фонетических единиц: звуков речи (фонов). Для строения слога, в частности, безразлично, что в слоге [кот], понимаемом как слово *код*, конечный согласный является вариантом фонемы /д/, а в слоге [кот], понимаемом как слово *кот*, реализована фонема /т/. Фонемы непосредственно не соотносимы со слогом в языках флективного типа, поскольку фонематический состав языка выясняется через функцию звуков внутри значимых единиц (морфем, слов). Слог к этой процедуре имеет опосредованное отношение. Те свойства, которые отличают фонему от звукотипа и определяют главным образом разницей в принципах отождествления этих единиц, несущественны для строения слога. В разной степени выполняют дистинктивную функцию просодические явления. Ударение способно к смыслоразличению либо в языках со свободным ударением, либо там, где присутствуют разные типы ударения (как, например, в литовском). Спорадически дистинктивную роль выполняет пауза. В русском языке, например, обособленное определение отличается от необособленного делением фразы на фонетические синтагмы. Ср. *Красная девица молчала* и *Красная, девица молчала*. Интонация несет, как известно, постоянную и большую фонологическую нагрузку. Как можно заметить, отношение к смыслоразличению фонетических единиц неодинаково и варьируется в языках разных типов.

Фонетическая модель языка оказывается в некотором смысле более полной и систематичной, чем функционирование собственно (прямо, непосредственно) дистинктивных элементов.

Перейдем теперь к вопросу об отношении фонетических единиц к единицам грамматики.

Предположим на минуту, что естественные языки устроены настолько совершенно и гармонично, что иерархия значимых единиц в них полностью совпадает с последовательным рядом фонетических сегментов. В таком случае морфема соответствовала бы слогу, грамматическое слово совпадало бы с фонетическим словом, грамматическая синтагма с речевым тактом, и наконец, фраза с высказыванием. Суперсегментные явления, наряду с ролью объединителей, могли бы выражать тот грамматический «привесок», который отличает каждую значимую единицу от элементов, находящихся на более низкой ступени. Тогда, во-первых, все фонетические единицы имели бы фонологический статус, и, во-вторых, не было бы нужды говорить отдельно об иерархии фонетических и грамматических единиц. В языке была бы одна иерархическая система, допускающая двоякую интерпретацию — в терминах формы и в терминах значения, причем эти интерпретации были бы взаимно обратимы. Кроме того, в определение каждой значимой

единицы можно было бы ввести указание на грамматический (дополнительный к лексическому значению, суперсегментный) признак и на просодическую черту, характеризующую ее форму. Значимые единицы, таким образом, были бы легко выделимы по формальным основаниям. На самом деле ситуация, сложившаяся в естественных языках, более или менее далека от идеала. Гармония обычно достигается только применительно к максимальной единице — высказыванию. Границы высказывания всегда совпадают с границами фонетической фразы, а грамматическая (добавочная) черта высказывания — его актуализованность, соотносённость с ситуацией, коммуникативность — передается суперсегментным признаком фразы — ее интонацией. Выделение высказываний в потоке речи поэтому опирается на формальный (фонетический) признак и не представляет особых затруднений. В других частях языковой структуры существует больший или меньший разрыв между иерархией грамматических и фонетических единиц. Морфема флективных языков не соотносима в принципе ни с каким фонетически определимым сегментом. Она не может быть ни выявлена, ни определена с опорой на форму. Правда, в некоторых языках имеются пограничные сигналы на морфемных швах. Так, в русском языке о морфемном стыке дает знать иногда отсутствие позиционного смягчения согласных. Ср. твердый согласный в *к Ире*, в *Италию* и мягкий в *Кире*, *Виталию* ⁶. В русском языке, впрочем, зарегистрировано и обратное явление. В заимствованных словах позиционное смягчение обязательно на границе основы и надежной флексии. Здесь поведение заимствованных слов ничем не отличается от собственно русской лексики. В то же время смягчение согласных может не происходить внутри заимствованных основ. В зависимости от того, произносится ли в русском языке слово *Данте* (например, в сочетании *Разговор о Данте*) с мягким или твердым [т], выводится форма именительного падежа: *Дант* (при произношении [Дант'el]) и *Данте* (при произношении [Дантэл]). В целом же явления стыка играют ничтожную роль при членении текста на морфемы. Отсутствие у морфемы формальной специфики, сильно затрудняющее морфемный анализ флективных языков, повело к постепенному расширению этой категории грамматических единиц. Если первоначально считалось необходимым, чтобы означающее морфемы складывалось из непрерывного ряда фонем, то позднее это требование было снято, и морфемой стали называть любое различие в форме слов, связанное с различием в их значении. Появились разрывные морфемы, морфемы-заместители, совмещенные морфемы, морфемы вычета, нулевые морфемы, морфемы, выраженные переносом ударения, чередованием и т. п. Пока морфема не покидала пределов словоформы, расширение этой катего-

⁶ См.: А. А. Реформатский, Введение в языковедение. Изд. 4. М., 1967, стр. 222.

рии не нарушало ее иерархического ранга. Скорее наоборот, оно исходило из понимания места этой единицы в ряду других грамматических единиц. Однако в дальнейшем был подорван принцип соподчиненности значимых элементов языка. Морфемой стали считать любой неразложимый далее лингвистический знак, в том числе и такой, который связан с образованием и грамматической характеристикой единиц более высоких уровней (интонацию, паузу, темп речи, фразовое ударение, порядок слов и т. п.). Американские лингвисты сформулировали и общее положение, резюмирующее подобную ситуацию. Оно получило название «морфемной заполненности (a total morphemic accountability) высказывания»⁷. Согласно этому положению все фонетически различимые явления, образующие высказывание, должны были быть распределены по морфемам. Тем самым упускалось из виду, что морфема представляет собою единицу определенного уровня иерархии. Поняв морфему как простой знак и выведя ее из иерархической системы грамматических единиц, американские лингвисты изъяли из нее элемент, в терминах которого следовало описывать внутреннюю организацию слова.

Таким образом, первая фаза расширения понятия морфемы была логически обоснована и определялась тем, что однородные значения, связанные с грамматической характеристикой флексивного слова, обслуживаются весьма различными фонетическими типами означающих. Грамматическое значение английского слова может передаваться и дифференциальным признаком одной фонемы (ср. *lend* — *lent*, *bend* — *bent*), и отдельной фонемой (ср. *book* — *books*), и рядом фонем (ср. *case* — *cases*), и слогом (ср. *go* — *going*, *do* — *doing*), и чередованием фонем (ср. *run* — *ran*, *foot* — *feet*, *mouse* — *mice*), и морфологическим нулем (ср. *deer* — *deer*, *put* — *put*), и всевозможными комбинациями названных явлений (ср. *shelf* — *shelves*, *long* — *length*, *child* — *children*). Все эти способы свободно сосуществуют в одной лингвистической системе.

Если в максимальной грамматической единице — высказывании — можно видеть пример наибольшей гармонии между иерархией фонетических и грамматических единиц, то в мельчайшей единице грамматики — морфеме — между ними обнаруживается максимальная дисгармония. Что касается промежуточных элементов, то и среди них можно наблюдать большее или меньшее несовпадение границ грамматических и фонетических единиц (ср. несовпадение грамматического и фонетического слова).

Подобного рода несоответствия имеют своим следствием неоднородность определений единиц грамматики. В определении морфемы флексивных языков указание на просодическую черту, которая обеспечивала бы цельность и выделимость этой единицы,

⁷ Ch. H o c k e t t. Problems of morphemic analysis. «Language», 1947, v. 23, стр. 322.

а также на ее фонетическую природу не может присутствовать. В определении слова признак формального единства (наличие ударения) играет второстепенную роль. В определении высказывания указание на интонационную законченность очень существенно, так как этот признак может служить надежным формальным основанием для выделения высказываний из речевого потока. Независимо от той роли, которую играет в определении грамматических единиц формальный (фонетический) признак, в каждом определении должно обязательно отмечаться общее грамматическое значение единицы, от которого зависит ее структурный уровень. Между тем это требование не всегда выполняется. В определениях слова, например, редко раскрывается в содержательных терминах его место в иерархическом ряду грамматических единиц (вероятно, это место обусловлено способностью слова образовывать с другими словами значимые связи, наличием у слова синтаксической валентности). Обычно указывают либо на лексическую специфику слова, взятого в совокупности его парадигматических форм (способность слова выражать понятие), либо на его отношение к предложению, когда имеется в виду один член парадигмы или словоформа. В последнем случае слово характеризуется как минимум предложением. В этом определении слову как бы приписывается грамматическое свойство, от которого зависит ранг другой единицы — предложения (соотв. высказывания). Вместе с тем в приведенной формуле содержится указание на очень важное свойство системы грамматических единиц — возможность их межуровневого переключения, сводимость одних единиц к другим единицам без изменения их сегментного состава. Этот тип отношений между грамматическими единицами аналогичен отношениям сводимости между единицами фонетическими. Более того, межуровневые переходы фонетических сегментов обеспечивают изменение ранга грамматических единиц, которое можно проиллюстрировать следующим рядом. Грамматическое значение актуализованности (отнесенности к действительности), свойственное высказыванию, может накладываться на ряд синтагм, одну синтагму и, наконец, одну словоформу, которая и составит для флективных языков предел свертывания высказывания. При сжатию этого типа происходит повышение ранга единицы: словоформа получает более высокий грамматический разряд высказывания. Возможно и обратное явление: «дисквалификация» единиц грамматики. Так, придаточное предложение утрачивает в составе сложного синтаксического целого свойство актуализованности, перестает быть отдельным высказыванием.

Пределы грамматической сводимости единиц неодинаковы в языках разных типов. В изолирующих языках, в которых мало грамматически связанных элементов, а морфема почти всегда совпадает со слогом, казалось бы, открываются большие возможности сводимости, при реализации которых каждая единица, обладаю-

щая лексическим значением, образовывала бы высказывание. Однако действительная ситуация во многих изолирующих языках более сложна и это отчасти объясняется взаимодействием грамматических и фонетических закономерностей сводимости. В китайском языке, например, границы простой значимой единицы (она соответствует понятию морфемы по признаку элементарности и понятию слова по признаку автономности) обычно совпадают со слогом. Можно было бы ожидать, что сводимость грамматических единиц простирается в нем дальше, чем в языках флективного типа, в которых морфема обычно бывает связанной единицей и в фонетическом, и в грамматическом отношениях. На самом деле положение оказывается несколько иным. Если в китайском языке ничто не препятствует ограничению высказывания простейшей значимой единицей со стороны грамматики, то препоны возникают со стороны фонетики, поскольку минимальная фонетически свободная единица в китайском языке, как правило, двусложна. Фонетическая автономность связана в нем с наличием ритма, требующего для своей реализации по крайней мере двух слогов — ударного и неударного. Свертывание грамматических единиц во многих случаях могло бы пойти дальше, но правила фонетики пресекают этот процесс на двуслоге. Какие же средства использует китайский язык, чтобы преодолеть это препятствие? Таких средств несколько, и они нередко состоят в «макулатурном», избыточном, с точки зрения значения, дополнении недостающего слога. На вопрос *zhe shi shenmo* 'Что это?' отвечающий ищет возможность дать двусложный ответ, даже если нужное слово односложно. Если необходимо сказать 'Это знаю', то к элементу *qi* 'знаю' прибавляют еще один слог и говорят либо *qizhi* (где *zhi* — архаичный и неупотребительный синоним *qi*), либо *qizi* (где *zi* — факкультативный показатель существительных), либо включают *qi* в словосочетание и говорят, например, *hongqi* 'красное знаю'⁸.

Таким образом, отношения межуровневой сводимости фонетических и грамматических единиц могут складываться по-разному. В языках флективного строя, в которых минимальной грамматически свободной единицей является слово, межуровневый переход фонетических единиц может оказаться сквозным, а повышение ранга грамматических единиц начинается только со второй ступени, занятой словом. В таком языке изолирующего типа, как китайский, напротив, сводимость грамматических единиц могла бы быть сквозной, т. е. протекать в диапазоне от мельчайшей до максимальной единицы. Однако возможности грамматической сводимости не обеспечены в нем со стороны фонетики, единицы которой конвертируются в меньшем диапазоне, ограниченном двусложной ритмической группой.

⁸ Я искренне благодарна Н. Н. Короткову за разъяснения, связанные со строем китайского языка, и приведенный здесь пример.

ЛАТЕРАЛЬНЫЕ СОГЛАСНЫЕ В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Одной из особенностей фонетической системы дагестанских языков является наличие латеральных согласных. Наиболее известна система латеральных согласных аварского языка, описанная в середине прошлого века П. К. Усларом. Латеральные согласные имеются также в языках андийской группы и дидойской, или цезской, а за пределами аваро-андо-цезских языков также в арчинском, принадлежащем к языкам лезгинской, или самурской, группы, и бацбийском, принадлежащем к чеченской, или нахской, группе. Одно слово с латеральным спирантом засвидетельствовано также в хиналугском языке, который предположительно принадлежит к лезгинской группе.

Теоретически можно предположить существование восьми латеральных согласных: трех спирантов и пяти аффрикат (спиранты: глухой краткий $л̥$, глухой геминированный $л̥̄$ и звонкий $л̣$; аффрикаты: глухой подгортанный краткий $л̣I$, глухой подгортанный геминированный $л̣Ī$, глухой надгортанный краткий $к̣$, глухой надгортанный геминированный $к̣̄$ и звонкий $к̣̄$)¹.

			Глухие	Звонкие
Спиранты		краткие геминированные	$л̥$ $л̥̄$	$л̣$
Аффрикаты	подгортанные	краткие геминированные	$л̣I$ $л̣Ī$	$к̣$ $к̣̄$
	надгортанные	краткие геминированные	$к̣$ $к̣̄$	

Какие же из этих звуков фактически представлены в дагестанских языках?

В северном диалекте аварского языка, который был описан Усларом, четыре латеральных: краткий спирант $л̥$ ($л̥икI$ —

¹ Ряд статей на эту тему принадлежит французскому исследователю Рене Лафону. Последняя появилась в журнале «Bedi Kartlisa» (Paris, 1964, № 45—46).

‘хороший’), геминированный глухой спирант $\overline{л}$ ($\overline{л}$ ин ‘вода’), геминированный глухой подгортанный аффрикат $\overline{лл}$ (ни $\overline{лл}$ ‘мы’ «инклюзивное»), геминированный глухой надгортанный $\overline{кь}$ ($\overline{кь}$ абизе ‘бить’).

Из южноаварских диалектов, описанных Ш. Микаиловым², андалальский диалект не имеет ни краткого спиранта $\overline{л}$, ни подгортанного аффриката $\overline{лл}$. В говорах сел Чадоколоб и Таши, являющихся частью анцухского диалекта, нет краткого спиранта $\overline{л}$. В гидском и карахском диалектах нет подгортанного аффриката $\overline{лл}$. В джарском диалекте аварского языка, расположенном на территории Азербайджанской ССР, латеральные вообще исчезли.

В цезских языках, иначе называемых дидойскими: цезский (или дидойский), бежитинский (или капуцинский), хваршинский, гинухский, гунзибский (или нахадинский), вообще нет противопоставления между геминированными и краткими, и латеральных там всего три: спирант $\overline{л}$, подгортанный аффрикат $\overline{лл}$, надгортанный аффрикат $\overline{кь}$.

Из языков андийской группы те же три латеральных имеют багулальский и ботлихский. Систему четырех латеральных, как и в северноаварском, имеют тиндинский, чамалинский, годоберинский и большинство диалектов андийского языка.

Некоторые же языки и диалекты имеют большее число латеральных, чем северноаварский. В 1923 г. Л. И. Жирков открыл в ахвахском языке пятый латеральный, который до того времени не был известен ни в одном из языков, — краткий надгортанный аффрикат $\overline{кь}$. Этот латеральный представлен, например, в словах *рекьа* ‘рука’, *кьала* ‘колос’. К сожалению, статья Л. И. Жиркова, посвященная ахвахскому языку, была опубликована лишь в 1949 г.³ Этот же латеральный в 1947 г. был открыт И. И. Церцвадзе в двух диалектах андийского языка: диалектах сел Конхидатль и Муни. Независимо от Л. И. Жиркова установила наличие «пятого латерального» в ахвахском, а также и в каратинском языках З. М. Магомедбекова⁴. Ш. И. Микаилов обнаружил краткий, противопоставленный геминированному, надгортанный аффрикат также в ряде диалектов аварского языка, в частности в говорах анцухского, гидского и карахского диалектов. Открытие «пятого латерального» имело большое значение для сравнительно-исторического изучения дагестанских языков. И. И. Церцвадзе установил закономерные соответствия ему в языках и диалектах аваро-андо-цезской группы⁵. Позднейшие исследования дали

² Ш. И. Микаилов. Очерки аварской диалектологии. М.—Л., 1959.

³ Л. И. Жирков. Ахвахские сказки. «Языки Северного Кавказа и Дагестана», вып. 11. М.—Л., 1949.

⁴ З. М. Магомедбекова. Ахвахский язык. Тбилиси, 1967.

⁵ И. И. Церцвадзе. Об одном латеральном согласном. «Сообщ. АН Грузинской ССР», т. XIII, № 7. Тбилиси, 1952.

возможность установить такие же закономерные соответствия ему и в других дагестанских языках.

3. М. Магомедбекова открыла в ахвахском языке также и шестой латеральный — краткий подгортанный аффрикат $лI$, противопоставленный геминированному $лI$: $лIадва$ 'три', $лIеса$ 'река'. Однако небольшое число слов с этим латеральным в ахвахском языке не дало возможности до сих пор установить закономерные соответствия ему в других дагестанских языках.

Седьмой латеральный — звонкий спирант $л̣$ из дагестанских языков отмечен только в арчинском языке; к тому же он является лишь позиционным вариантом надгортанного аффриката $к̣$.

Восьмой латеральный — звонкий аффрикат $к̣$, существование которого предполагал Н. С. Трубецкой, исходя из данных сравнительно-исторического анализа дагестанских языков, ни в одном из дагестанских языков до сего времени обнаружен не был.

Сравнительно-исторические исследования дагестанских языков заставляют считать, что латеральные согласные являются первичными для дагестанских языков, так как те соответствия, которые установлены для них, не могут быть сведены к каким-либо другим первоначальным звукам. Но это можно утверждать только по отношению к пяти латеральным: краткому и геминированному спирантам $л̣$, $л̣̄$, краткому и геминированному надгортанным аффрикатам $к̣$, $к̣̄$, а также звонкому аффрикату $к̣̄$. В отношении же остальных латеральных (подгортанные аффрикаты $лI$ и $лĪ$ и звонкий спирант $л̣$) пока нельзя привести никаких положительных данных, которые свидетельствовали бы об их исконности в общедагестанском языке.

Приведем некоторые материалы о звуковых соответствиях латеральным в различных дагестанских языках. Уже Трубецкой убедительно показал, что соответствия геминированному надгортанному аффрикату $к̣̄$ не совпадает с соответствиями другим фонемам. Число таких примеров в результате последних исследований может быть увеличено.

В цезских языках геминированный надгортанный аффрикат $к̣̄$ перешел в соответствующий подгортанный аффрикат $лI$; в лакском языке — в надгортанный заднеязычный смычный $кI$; в даргинском в начале и середине слова — в звонкий смычный $г$, в конце слова — в гортанный смычный $ъ$, в лезгинском — в заднеязычный надгортанный смычный в начале и середине слова — в $кI$, в конце слова — в $к$; в табасаранском — в непридыхательный $кк$; в аварском, андийском и арчинском исконный латеральный аффрикат сохранился без изменения.

Приведем примеры: ав. $к̣̄егIер$ 'ягненок', цез. $лIели$, лак. $чIи$ ($<^*кIи$), лез. $кIел$, таб. $ччил$ ($<^*кчил$), арч. $к̣̄ал$; анд. $рик̣̄ы$ 'мясо', цез. $рел̣̄$, лак. $дикI$, дар. $дӣ̣$, лез. $йак$, таб. $йакк$, арч. $ак̣̄$.

Также подтверждается материалами различных дагестанских

языков положение Трубецкого об исконности звонкого аффриката *къ*, рефлексы которого отличаются от рефлексов надгортанного аффриката в лакском и чеченском языках, где он дает *л*, в арчинском, где он в срединной позиции дал *лъ*; в лезгинском и табасаранском в срединной позиции *г/ж*. Приведу только один пример: ав. *къезе* 'дать', цез. *нелла*, лак. *дулун*, дар. *лугес*, лез. *гун*, таб. *гус*, арч. *лъус*. Трубецкой возводил латеральные спиранты к заднеязычному спиранту *хъ*. Однако обильный материал различных дагестанских языков показывает, что положение вещей гораздо сложнее, чем думал Трубецкой. В ряде случаев латеральные спиранты действительно восходят к *хъ*, но в ряде случаев приходится утверждать исконность латерального спиранта, соответствия которому не совпадают с соответствиями исконного *хъ*.

Так, например, аварскому *лъ* в лезгинском языке соответствует *й* (переходящий в соседстве с сонантами в *ж*), *г* (которому в яркинском диалекте соответствует спирант *г*) и *хъ*. Можно предполагать, что первое соответствие восходит к исконному латеральному спиранту *лъ*, второе — к звонкому заднеязычному спиранту *г*, а третье — к глухому заднеязычному спиранту *хъ*. Приведем примеры на каждый ряд соответствий, специально оговорив, что соответствие краткому и геминированному спирантам в большинстве языков совершенно аналогичны, а иногда и полностью совпадают: ав. *лъин* 'вода', анд. *лъен*, цез. *лъи*, лак. *цин*, дар. *шин*, лез. *йад*, табл. *шид*, уд. *хе*; анв. *белъине* 'варить', анд. *илъинну*, лак. *шашан*, дар. *илъис*, лез. *ругун* (ярк. *ругун*), таб. *ухъуз*; ав. *лъизе* 'сделаться', лак. *хъун*, лез. *хъун*, таб. *цуз*.

Остановлюсь далее на очень четких, но вместе с тем и на очень сложных соответствиях краткого надгортанного аффриката *къ*.

Напомню, что он существует в языках ахвахском, каратинском, а также в некоторых диалектах аварского и андийского языков.

В собственно андийском диалекте андийского языка, а также в багулальском и годобердинском языках ему соответствует сонант *л*; в тукитинском диалекте каратинского языка, в чамалинском, рикванинском и ашалинском диалектах андийского языка, в карахском и андалальском диалектах аварского языка (в конце слова) — *л*; в ботлихском языке, в карахском и андалальском диалектах аварского языка (перед гласными) — *ъ*, в хунзахском и анцухском диалектах аварского языка — *тI*, в цезских языках — *къ*. За пределами аваро-андо-цезских языков в лакском и даргинском, табасаранском, агульском, цахурском, арчинском *кI*, в лезгинском, рутульском, крызском и будухском — увулярный смычный *къ*⁶. Приведу примеры: ахв. *къара* 'колос', ав. *тIор*,

⁶ В практическом письме дагестанских народов для аварского языка *къ* обозначает материальный аффрикат, для лакского, даргинского, лезгинского и табасаранского языков он обозначает увулярный смычный. Это различие сохраняется и в нашей транскрипции.

лак. *чІали* (< *кІали*) лез. *кьил*, табл. *кІул*; ахв. *кьами* 'крыша', 'навес', ав. *тІам*, цез. *кьо*, лак. *чІаму* (< *кІаму*), лез. *акъан*; ахв. *акъа* 'пот', ав. *гІетІ*, лез. *гьекъ*, таб. *амкІ*.

Относительно соответствий другим латеральным, как я говорил выше, пока ничего определенного сказать нельзя. Нужно надеяться, что будущие исследования смогут выяснить, восходят ли они к общедагестанскому языку или возникли позднее в силу каких-то причин.

Л. В. Бондарко, Н. Д. Светозарова

О ВОСПРИЯТИИ БЕЗУДАРНЫХ СЛогов

Сформулированная А. А. Потебней¹ закономерность, в соответствии с которой существует строгая связь между степенью редукции любого гласного и его положением по отношению к ударному слогу, принимается многими лингвистами как абсолютная². Тем не менее модель, предложенная А. А. Потебней, вовсе не является универсальной для русского языка и соответствует только изменениям гласного [а]. В самом деле, как показали экспериментальные исследования русских безударных гласных, только этот звук характеризуется двумя степенями редукции, если под редукцией понимать сокращение длительности и изменение акустических характеристик³. Остальные безударные гласные с объективной точки зрения редуцируются одинаково как в первом, так и во втором предударном или в заударном слоге. Можно предположить, что причиной этого является сравнительно небольшая длительность ударных [i], [y], [u]; уже в первом предударном слоге сокращение длительности таково, что звучание гласного становится предельно коротким для нормального стиля произношения, и дальнейшее уменьшение длительности во втором предударном или заударном невозможно.

¹ А. А. Потебня. О звуковых особенностях русских наречий. «Филологические записки», вып. I. Воронеж, 1865.

² Р. И. Аванесов. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956; А. Н. Гвоздев. Современный русский литературный язык, ч. I. М., 1958.

³ Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая и Л. Р. Зиндер. Акустические характеристики безударности (на материале русского языка). «Структурная типология языков». М., 1966.— Заметим, что в этой работе показано также, что динамические характеристики безударных гласных зависят скорее от их положения в слове (начало, середина, конец слова), чем от расстояния до ударного гласного.

Для окончательного подтверждения вывода о том, что только гласный [a] подчиняется классической формуле о двух степенях редукции, авторами настоящей работы было проведено экспериментальное исследование восприятия безударных слогов типа СГ группой auditors, для которых русский язык является родным языком и которые не имели специальной фонетической подготовки.

Выбор слогов для предъявления аудиторам в опытах диктовался двумя соображениями. Во-первых, очень часто длительность безударного гласного, выделенного из слова, бывает настолько мала, что человеческое ухо не в состоянии произвести анализ предъявляемого звукового отрезка; длительность слога, включающего и согласный и гласный, естественно, всегда несколько больше. Второй причиной, заставившей выбрать для исследования именно слог, были данные, свидетельствующие о том, что безударность с акустической точки зрения характеризует не только гласный, но и слог в целом⁴.

Исходным материалом служили слова, содержащие слоги типа СГ со всеми согласными и с гласными [a], [u], [i], [ы]; каждый слог находился в слове в четырех позициях — под ударением, непосредственно перед ударным слогом, через слог перед ударным и после ударного (l'uba, l'u'bof', l'uba'vatca, 'pol'uška). В дальнейшем ударный слог обозначается как СГ₁, первый предударный — СГ₂, второй предударный — СГ₃, заударный — СГ₄.

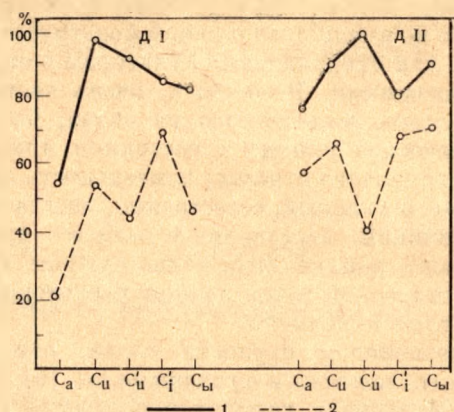
Все слова (их в списке было 278) были произнесены двумя дикторами и записаны на магнитную ленту. Один из дикторов — носитель московского варианта литературного произношения (преподаватель русской фонетики в УДН им. Патриса Лумумбы), второй — представитель ленинградского произносительного варианта (также преподаватель русской фонетики — в ЛГУ).

Группа auditors состояла из 40—50 человек. Им предъявлялись слоги, выделенные из записанных слов и переписанные на чистую ленту в разных последовательностях — в зависимости от задач каждого конкретного эксперимента.

В первом из опытов аудиторам предъявлялись две серии слогов. В одной серии слоги СГ₁ и СГ₂ с одним и тем же согласным и гласным следовали один за другим попарно (например, ta_1 и ta_2 , su_1 и su_2 и т. д.). В другой серии также попарно предъявлялись слоги СГ₃ и СГ₄. Аудиторы в своих анкетах должны были обозначать знаками + или — сходство или различие двух слогов в каждой предъявляемой паре. На рис. 1 в виде графиков представлены данные об идентификации слогов СГ₁ и СГ₂, с одной стороны, и СГ₃ и СГ₄ — с другой. Легко заметить, что первый предударный и ударный слоги воспринимаются аудиторам как одинаковые гораздо чаще, чем второй предударный и заударный, т. е. что раз-

⁴ Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая и Л. Р. Зиндер. Указ. соч.

личия в первом случае оказываются менее значимыми для слуха, чем во втором ⁵. Существенно также отметить, что минимальный процент отождествления ударного и первого предупредного наблюдается для *а*-слогов.



Р и с. 1. 1) идентификация $СГ_1$ и $СГ_2$
2) идентификация $СГ_3$ и $СГ_4$

Во втором опыте аудиторам предъявлялась одна серия слогов, в которой объединялись в пары первый и второй предупредные сло-

⁵ Расхождение в результатах опытов 1-й и 2-й серии является существенным, что доказывается статистической проверкой. Здесь для примера приводится оценка сравнения двух серий для одного из дикторов.

1-я серия

$$\bar{X}_1 = 22,2$$

$$S_1 = 2,05$$

$$\sigma_1 = 2,15$$

$$n_1 = 12$$

2-я серия

$$\bar{X}_2 = 11,8$$

$$S_2 = 3,66$$

$$\sigma_2 = 3,81$$

$$n_2 = 13$$

Гипотеза H_0 состоит в том, что средние из двух совокупностей (независимо от выборок) равны, т. е.

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = \delta_0, \quad \delta_0 = 0.$$

Гипотеза H_0 проверяется с помощью критерия, основанного на статистической характеристике:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - \delta_0}{\sqrt{\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}.$$

Применение этого критерия предполагает равенство дисперсий. Проверим это предположение по критерию F Фишера. Если верна гипотеза $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, то случайная переменная F имеет распределение Фишера-Снедекора с $n_1 - 1$ и $n_2 - 1$ степенями свободы.

$$F = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \quad F = \frac{3,81^2}{2,15^2} = 3,14.$$

ги (СГ₂ и СГ₃). На рис. 2 представлены графики идентификации этих слогов. Существенно, что *a*-слоги резко противопоставлены всем остальным: первый и второй предударные слоги с гласным [a] воспринимаются большинством аудиторов как разные слоги,

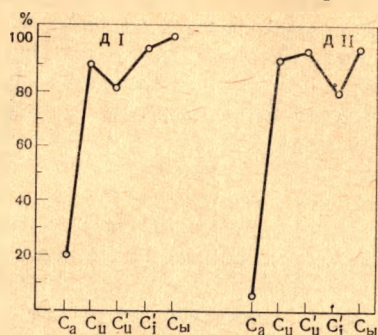


Рис. 2. Идентификация СГ₂ и СГ₃

тогда как слоги с остальными гласными идентифицируются аудиторами в среднем выше, чем в 80% случаев. Эти данные подтверждают упоминавшееся выше наблюдение, согласно которому только для гласного [a] можно говорить о существовании двух степеней редукции.

Таким образом, результаты опытов по отождествлению ударных и безударных слогов свидетельствуют о том, что среди *a*-слогов хорошо различаются ударные слоги, с одной стороны, и 1-й, 2-й предударные и заударные — с другой. Слоги с другими гласными, во-первых, меньше различаются по признаку ударный — первый предударный, а во-вторых, не различаются по степеням редукции (первый предударный — второй предударный).

Однако во всех случаях сохраняется противопоставление предударных слогов заударным: хотя по длительности второй

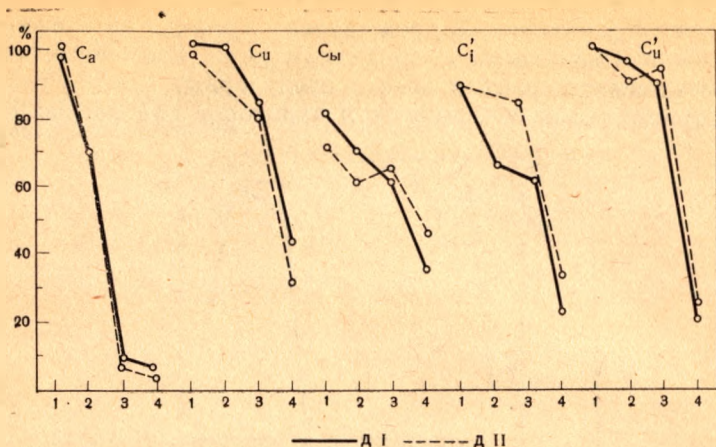
При 12 и 11 степенях свободы при уровне значимости 0,05 $F_{\text{табл.}} = 8,88$. Так как $F < F_{\text{табл.}}$, нет основания отвергать гипотезу о равенстве дисперсий.

Теперь проверяем гипотезу о равенстве средних:

$$t = \frac{22,2 - 11,8}{\frac{12 \cdot 2,05^2 + 13 \cdot 3,66^2}{12 + 13 - 2} \cdot \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{13} \right)} = 8,32.$$

Для степени свободы $n_1 + n_2 - 2 = 23$; $t_{\text{табл.}} = 2,07$; $t > t_{\text{табл.}}$. Поэтому нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза — среднее первой выборки больше среднего второй выборки, т. е. идентифицирование слогов СГ₁ и СГ₂ происходит гораздо чаще, чем идентификация слогов СГ₃ и СГ₄.

Авторы благодарят А. С. Штерн за проведенную статистическую обработку материала.



Р и с. 3. Процент правильного опознавания слогов.

1 — ударный слог; 2 — 1-й предударный;
3 — 2-й предударный; 4 — заударный.

предударный и заударный отличаются друг от друга меньше, чем, например, ударный и первый предударный, но воспринимаются как одинаковые эти слоги гораздо реже (ср. рис. 1 и 2). Это позволяет говорить о том, что заударные слоги представляют собой специфическое явление и характер редукции их не совпадает с характером редукции в предударных. Здесь следует напомнить, что все слоги брались из изолированно произнесенных слов, так что заударные слоги находились, естественно, в конечной части слова (но не в абсолютном конце).

Кроме опытов по идентификации, в которых аудиторы должны были только обозначать сходство или несходство слогов в предъявляемых парах, были проведены опыты по опознаванию этих слогов. В этих опытах слоги в случайном порядке были записаны на магнитную ленту и предъявлены аудиторам, которые должны были записывать, что именно они слышат.

На рис. 3 представлены данные о том, каков процент правильного опознавания слогов во всех четырех рассматриваемых позициях. Данные, приведенные на этом рисунке, демонстрируют следующее: во-первых, опознавание заударных слогов во всех случаях значительно хуже, чем предударных; во-вторых, слоги с гласным [а] сгруппированы по их опознаваемости таким образом, что второй предударный и заударный составляют одну группу, а ударный и первый предударный — вторую. В слогах с другими гласными только заударный противопоставлен другим слогам.

Следует особенно отметить совпадение результатов для обоих дикторов.

Полученные результаты противоречат данным, изложенным в работе о пограничных сигналах⁶. В этой работе показано, что спектрально-временные характеристики предударных и заударных гласных (кроме [а]) совпадают, так что характер редукции гласного во фразе не связан с местом словесной границы. Сопоставление этих данных с результатами восприятия слогов, выделенных из изолированно произнесенных слов, приводит к мысли, что противопоставление заударных слогов предударным связано именно с тем, что заударные слоги в этих условиях находятся максимально близко к паузе. В потоке речи, где паузы между словами чаще всего отсутствуют, происходит своеобразная перестройка ритмико-слоговых отношений, так что слог, являясь заударным в том слове, которому он принадлежит, по отношению к ударному слогу следующего слова выступает как предударный, что и приводит к иной степени редукции, чем в изолированно произнесенном слове.

Результаты настоящей работы еще раз иллюстрируют сложность тех взаимоотношений, которые существуют между лингвистическими представлениями и речевой реальностью.

В. П. Григорьев

ФИНАЛИ «СОГЛАСНЫЙ + СОНАНТ» В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Поэтическая речь едва ли не во всех своих измерениях содержит элементы, выступающие как экстранормальные по отношению к действующей норме общелитературного языка. Фонетика поэтической речи во всяком случае знает немало таких явлений, которые связаны с нелитературным просторечием и с традициями «поэтических вольностей». Но актуальность могут приобретать при этом и факты, еще недостаточно исследованные грамматикой общего языка в терминах «нормативность — ненормативность». Фактами такого рода могут служить, например, сочетания «согласный + сонант» на конце слова. Следует пожалеть, что соответствующий пункт Л. В. Щерба не включил в свое время в «список спорных пунктов русской грамматики»¹.

Литература этого вопроса не так уж велика, особенно если учесть, что здесь выступают во взаимной связи по крайней мере

⁶ Л. В. Бондарко, Л. Р. Зиндер, Н. Д. Светозарова. Разграничение слов в потоке речи. — ВЯ, 1968, № 2.

¹ См.: Л. В. Щерба. Спорные вопросы русской грамматики. — РЯШ, 1939, № 1, стр. 12.

четыре пары дифференциальных признаков как терминов возможного описания: 1) глухость ↔ звонкость конечного сонанта, 2) его слоговость ↔ неслоговость, 3) аллегроформы ↔ лентоформы и 4) индивидуальные нормы поэтической речи ↔ беллетристические (геср. общелитературные) нормы произношения². Первую из них невозможно вводить без опоры на экспериментально-фонетические исследования³. Для остальных трех ниже будут предложены некоторые наблюдения над стихотворной речью⁴.

* * *

Пока отсутствуют достаточно представительные словари и специальные грамматики, задача собирания и осмысления материала, относящегося к различным явлениям именно поэтической речи, оказывается почти непосильной для отдельного исследователя. Все же те далекие от полноты факты, которые удалось собрать в данном случае, уже дают, как кажется, некоторые основания для предварительной классификации.

Для введения в интересующий нас материал и его проблематику можно процитировать отрывок из статьи Б. Сарнова «Каждый раз — исключение» («Лит. газета», 26 мая 1966 г.): «...строки

² См., например: «Первое полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова» (в 4-х томах), т. IV. Под ред. М. К. Лемке. СПб., 1911, стб. 140 и 147; А. С. Б уд и л о в и ч. Микрофонология в применении к русской грамматике. [Рец. на кн.:] В. А. Богородицкий. Курс грамматики русского языка, ч. I. Варшава, 1887. — ЖМНП, 1888, V, стр. 201; Р. Ф. Б р а н д т. О лженаучности нашего правописания. Воронеж, 1901, стр. 6—7; Б. К и т е р м а н. Несколько соображений по физиологии речи. — ЖМНП, 1902, VII, стр. 39; В. Ч е р н ы ш е в. Законы и правила русского произношения. СПб., 1908, стр. 23; И. А. Б о д у э н д е К у р т е н э. [Рец. на кн.:] В. Ч е р н ы ш е в. Законы и правила русского произношения. Варшава, 1906. — ИОРЯС, 1907, II, стр. 497; О. Б р о к. Очерк физиологии славянской речи. СПб., 1910, стр. 182; В. Ш е р ш е н е в и ч. Carmina. Лирика (1911—1912). М., 1913, стр. 139 (примечания автора); О н ж е. От переводчика. — В кн.: Ш. В и л ь д р а к и Ж. Д ю а м е л ь. Теория свободного стиха (заметки о поэтической технике). М., 1920, стр. 4; Л. Р. З и н д е р. Общая фонетика. Л., 1960, стр. 107; И. В. А л ь т м а н, С. С. Б е л о к р и н и ц к а я, В. В. Ш е в о р о ш к и н. О разработке некоторых вопросов фонетики и фонологии в трудах Е. Д. Поливанова. «Материалы конференции «Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова», т. I. Самарканд, 1964, стр. 10 и 11; О. И. Б о г о с л о в с к а я. Соотношение народно-поэтической и народно-разговорной речи... (автореф. канд. дисс.). Пермь, 1965, стр. 15—16. — За указание некоторых библиографических ориентиров приношу глубокую благодарность М. В. Панову.

³ Разумеется, так же, как невозможно без таких исследований ответить на вопрос о носителе слоговости — сонанте или гласном пазвуке. Для простоты мы будем пользоваться выражением «слоговой сонант».

⁴ Общие соображения и популярно прокомментированные материалы к теме «Орфография и фонетика поэтической речи» см.: В. П. Г р и г о р ь е в. Язык, орфография и писатель. — В кн.: «Орфография и русский язык». Под ред. И. С. Ильинской. М., 1966.

Блейка: Tiger, tiger. Burning bright In the forest of the night... Бальмонт перевел так: Тигр, тигр, жуткий страх, Ты горишь в ночных лесах... А вот как то же стихотворение звучит в переводе Маршака: Тигр, о тигр, светло горящий. В глубине полночной чащи!»

Литературный критик сопоставлял общие художественные качества двух переводов, оставив в стороне частную оппозицию [тигр] ↔ [тигр] ⁵. Но правомерен и вопрос, нейтральны ли в стилистическом и эстетическом отношении эти варианты. Сопоставимы ли традиционные варианты типа *серебристый* — *сребристый*, например, в такой строчке И. Анненского:

В серебристую даль, на сребристую гладь —

с вариантами типа [жизнь] — [жизнь] в строчке В. Хлебникова:

Эта жизнь и жизнь та.

Любопытно, что едва ли не единственный поэт, открыто провозгласивший, что он рассматривает слова типа *корабль*, *сентябрь* как трехсложные, а слова типа *визрь*, *внутри* и *люстр* — как двухсложные, в своей стихотворной практике тем не менее употреблял слова *корабль* и *астр* и в противоречии с провозглашенной им теорией ⁶. Сознательно ограничив гибкость используемого языка, поэт не справился с этим, добровольно принятым, ограничением. Причину непоследовательности поэта надо искать в данном случае, по-видимому, не в индивидуальной слабости стихо-

⁵ Мы в свою очередь оставляем здесь в стороне некоторые крайние «поэтические вольности», в целом характерные для современного «беллетристического просторечия» (отдельные факты которого можно найти и у поэтов с высокой культурой языка): И в воскресение, часам к одиннадцати, Интеллигенция уже в лесу (Д. Гаврилин); ... взгляд исподобия земли (Ф. Чуев); ...они считали нас пиитами эпохиального масштаба (О. Шестинский); Туман в ущелиях клубится (А. Гарнакерьян); ...мужичьей тяжкостию ног, ...ни даже счастья не надо, ...на побережья вольготные (Г. Горбовский); Но высшую всегда имеют власть над гениями две страсти — два кумира... (Е. Евтушенко) и т. п. Ср. также варианты *история* в речи персонажа у Л. Мартынова, *счастие* у О. Берггольц (как примета трагикопатического стиля) и др.

Пушкин в разборе «Марфы Посадницы» М. Погодина (1830 г.) еще мог писать о формах *переговоров*, *подзревая*, *д'Иоанна* (=до Иоанна), *з'одно*, (=заодно) и т. п.: «И эта беда не беда» (см.: Г. О. Винокур. Избр. работы по русскому языку. М., 1959, стр. 351, сноска). Добролюбов за аналогичные факты уже высмеивал Шевырева, а Достоевский в «Бесах» включил форму *понмарю* (=пономарю) в анекдотические стихи капитана Лебядкина. Форма *биологья* играет не последнюю роль в создании известного сатирического образа у И. Ильфа и Е. Петрова: «А зубрила, бормоча (чтобы не позабыть): «Есть в нем скрытый мистицизм, *биологья* в нем видна», принимается за самую ответственную операцию (нечто вроде трепанации черепа) — вскрытие писательского лица».

⁶ См.: В. Шершеневич. Carmina, стр. 7 и 109.

творной техники, а в недостаточной «лингвистической бдительности» и — прежде всего — в искусственности, нарочитости самого ограничения.

Противоположного обязательства — последовательно использовать слова типа *корабль* только как двусложные, а типа *вихрь* — как односложные, — насколько известно, не принимал на себя ни один поэт (во всяком случае декларативно). Однако можно заметить, что стихотворная практика ряда поэтов (среди них Блок, Пастернак, Ахматова, Мандельштам, Антокольский, Луговской и многие другие) почти не знает отступлений от подобного внутреннего правила ⁷.

Напрашивается предположение, что варианты со слоговым сонантом для индивидуально-стилистического сознания, по крайней мере некоторых поэтов, не нейтральны и выступают как нежелательные поэтические вольности. С другой стороны, можно указать много фактов довольно безразличного отношения поэтов к таким вариантам. Вот примеры слов, употребляемых — если судить по метрической схеме — со слоговым сонантом, и поэтов, не избегающих такого употребления: ⁸ *центр* (Бальмонт и П. Коган), *цилиндр* (Сельвинский и Ю. Мориц), *бинокль* (Вс. Рождественский), *верь* (Заболоцкий), *мысль* (П. Коган), *корабль* (Я. Апушкин), *журавль* (Светлов), *кинотеатр* и *дирижабль* (А. Городницкий), *театр* (Г. Горбовский и В. Торопыгин), *метр* (В. Дагуров), *спектакль* (Винокуров), *воплъ* (В. Савельев), *смысл* (Ю. Панкратов), *терн* (А. Софронов).

Особенно часто слоговой сонант появляется в словах *жизнь*, *сентябрь*, *октябрь*, *ноябрь*, *декабрь*. Возможно, это связано с частотностью этих слов. Ср. орфографически различаемые варианты *вихрь* — *вихорь* (последний отмечен, в частности, у Грибачева), прилагательные типа *сентябрьский*, быстро прошедшую популярность слова *рок-н-ролл* (трехсложные варианты отмечены, например, у Вознесенского и Евтушенко), а также особое положение слова *джентльмен*, встречающегося со слоговым сонантом, например, у Блока и Заболоцкого, а в прозаическом «Трамвайном законе» И. Зверева транскрибированного так: *джэнтель-мен*.

При этом «беззаботность» поэта может выражаться, если и не так откровенно, как у Хлебникова в приведенной выше строчке, то все же достаточно определенно. Разные варианты слова *мысль* оказываются на соседних страницах «Торжества земледе-

⁷ У позднего Пастернака, например, едва ли не единственный случай — вариант [поросль], и то не в оригинальном стихотворении, а в переводе из У. Ралея. Значительно ограничил свою первоначальную свободу в этом отношении и поздний Заболоцкий. Строгая статистика, очевидно, покажет, что словоупотребления со слоговым сонантом представляют собой функцию и от возраста поэта.

⁸ Из-за недостатка места контексты не приводятся.

лия» Заболоцкого, варианты [контр-фагот] и [оркестр] Сельвинский употребил в соседних строчках стихотворения «Тайны Бетховена», а [недр] и [километр] Винокуров также сопоставил в «Облике мамы».

Вот типичный пример ритмического давления на выбор стихотворцем того или иного варианта:

Была в Останкине зима,
Декабрь, число тридцатое.
.....
Была в Останкине зима,
Декабрь,
Тридцать первое.

Позиция рифмующего слова для интересующих нас вариантов является обычно слабой, если учитывать распространенность неравносложных рифм. Ср. рифмы *мысль — чисел* у Сельвинского, *реестр — Нестор* у Винокурова, *губы — рубль* у С. Поликарпова, знаменитое *Твистер — министр* у Маршака и т. п. Ср. также сочетания с <в> в рифме *из букв — звуков* у Г. Горбовского⁹.

Амбивалентность таких слов у поэтов, пользующихся дольниками, «переменным» и акцентным стихом, может обнаруживаться не только в конце строки. У Асеева, например, кроме рифм типа *жандарм — недаром*, есть много других словоупотреблений, допускающих двойное толкование слогового состава. Ср. редкий случай распространения амбивалентности на слово *нервный* в «Маяковский начинается»

И нервный, точно котенок
(к плечу завернулась пола),
отряхивал лапки Крученых...

Однако даже в рифме встречаются, хотя и редко, примеры четкого устранения амбивалентности: ср. *смысл — числ* у И. Коневского и *жезел — грезил* у Хлебникова.

Довольно велики возможности столкновения вариантов в формах мужского рода кратких прилагательных типа *пошл* и *бодр*. Но варианты со слоговым сонантом встречаются здесь в стихотворной речи нечасто. Вот редкий современный пример (из стихов В. Цыбина).

Был неверным,
был и верным,
был я добр,

⁹ Такие пары слов, как *волхв — Волхов* и *бобр — бобёр*, случаи типа диалектного или просторечного *валес* «вальс», форма *мышец* (род. п. мн. ч.) у Коневского и многие другие факты показывают, что к перечисленным в начале статьи проблемам необходимо добавить и общую морфонологическую проблему «беглости гласных»,

был жесток.
Береги меня в заветном,
в моем хрупком, как ледок!

Написания *кругол* и *недобер*, отмеченные у Хлебникова, естественно не могут быть решающими свидетельствами в пользу появления слоговых гласных, зато вопрос о количестве слогов решается ими однозначно (ср. выше написание *жезел* у Хлебникова и формы типа *ветох* у Твардовского и *плосок* у Евтушенко).

Еще шире, пожалуй, потенциальный выбор из конкурирующих вариантов в формах род. падежа мн. числа типа *недр*, *игл*, *бездн*, *спазм*. Тем не менее реально встретившихся фактов и здесь немного. Наряду с двусложным *ремесл* у Пастернака и односложным *числ* у Винокурова (на фоне нормативных и обычных в современной поэзии *ремесел* и *чисел*), можно указать на такие случаи, как форма *игол* у Шершеневича, строчки «И *игор* подводных отвагу» и «У головешки из *искор* цветов» у Хлебникова. У Заболоцкого в рифме оказывается форма *ведем* («Торжество земледелия»):

Как будто стая мертвых *ведем*
Спасалась в Риме этом третьем.

Особое положение в системе и норме языка собственных имен, как кажется, не выделяет их в интересующем нас отношении из массы остальных слов. К хрестоматийным [Александр] и [Сильвестр] у А. К. Толстого и *Гайден* у Пушкина можно добавить еще [Александр] *Пушкин* у Сосюоры, [Нотр-Дам] у Евтушенко и [нотр-дамский] у Вознесенского. Несмотря на сетования Р. Ф. Брандта, поэты до сих пор в общем и здесь в большинстве случаев следуют скорее за своими предшественниками или за орфографией, чем за живой речью: обычны [Ярославль], [Петр] и т. п. Даже имя *Сартр* Вознесенский, например, употребляет как односложное, хотя у него же, между прочим, отмечено [Бодэлэра]¹⁰.

Многочисленные слова на *-изм*, как, впрочем, и вообще слова с *-м* в исходе, не дают в нашем материале ни одного (кроме *ведем*) достоверного примера развития слоговости¹¹.

Возвращаясь в заключение к вопросу об объективно-стилистической характеристике оппозиций типа [тигр] ↔ [тигр] и [жизнь] ↔ [жизнь] в общелитературном языке, отметим, что варианты со слоговым сонантом, по-видимому, следует рассматривать, как правило, в качестве разговорно-нейтральных, варианты с гласным пазвуком — как признак нелитературного просторечия. Интерпре-

¹⁰ В указанной работе Р. Ф. Брандт заметил, что в сочетании *Петр уехал* слово *Петр* в живой речи произносится односложно. Это наблюдение существенно для установления общелитературной нормы.

¹¹ У Антокольского отмечена рифма *открытым* — *ритм* (см.: «Орфография и русский язык», стр. 115).

тация вариантов с оглушением конечного сонорного только как приметы строгого стиля пока преждевременна ¹².

При описании же индивидуальных поэтических стилей и обилие таких разговорно-нейтральных и просторечных вариантов, и их (даже не совсем полное) отсутствие становится индивидуально-стилистической чертой. В этом смысле известная параллель со старыми и ныне почти полностью устаревшими вариантами типа *серебристый* — *сребристый* кажется уместной. Предпочтение или дискриминация того или иного варианта может служить также показателем эволюции индивидуального стиля и, вероятно, целых направлений. Сложное взаимодействие стилистики общелитературного языка и поэтики выступает здесь, в мельчайшей клеточке поэтической речи, достаточно наглядно и перспективно для того, чтобы привлечь к указанным фактам внимание всех интересующихся лингвистической поэтикой.

Едва ли случаен такой факт. Среди редких стихотворных вкраплений (явно пародического характера) в «Записных книжках» И. Ильфа только два содержат слова типа *тигр* и *жизнь* ¹³. И оба раза тонкий стилист-сатирик избрал двусложные варианты. В одном случае — в жизнелюбивой бытовой зарисовке:

За ней, как *тигр*, шел матрос.
Вплоть до колен текли ботинки.
Являли икры вид полен.
Взгляд обольстительной кретинки
Светился, как ацетилен.

В другом — в жестоко-романсовом моралите некоего «гиганта мысли и ювелира формы»:

Наша *жизнь* — это арфа.
Две струны на арфе той.
На одной играет счастье,—
Любовь играет на другой.

¹² Интересные соображения и материалы см.: М. В. П а н о в. Русская фонетика. М., 1967, стр. 172—177 и, особенно, 269—271.— Там же обширная библиография.

¹³ Отметим еще форму *бытёр* в раннем макароническом стихотворении Ильфа, подписанном: И. А. (sic!) Лермонтов (*Пселдонимов*).

К ВОПРОСУ О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПАЛАТАЛИЗАЦИИ ГУБНЫХ В НЕКОТОРЫХ АЛБАНСКИХ И БАЛКАНОРОМАНСКИХ ДИАЛЕКТАХ

К числу общих особенностей современных балканороманских и албанского языков принадлежит своеобразное явление из области диалектной фонетики, обозначаемое в литературе по румынской диалектологии термином «палатализация губных». Относящиеся сюда дакорумынские и македонорумынские факты достаточно хорошо известны, не раз уже были предметом специальных исследований и в освещении их сложилась определенная научная традиция. Поэтому кажется целесообразным начать изложение с менее широко известного албанского материала, анализ которого может представить известный интерес для понимания характера рассматриваемого явления.

В говорах восточной части среднегегской диалектной области, а именно — в говоре крайины Дибра (область среднего течения р. Черный Дрин) и в очень близких к нему гегских говорах албанских поселений северо-западной Македонии, наблюдается особое, не представленное в других албанских диалектах развитие сочетаний «губной + *j*». В первую очередь это касается губно-губных смычных (*p*, *b*, *m*, второй элемент сочетаний — среднеязычный спирант).

Сочетания эти претерпевают серию преобразований, в результате которых на их месте появляются среднеязычные смычные; последние могут в свою очередь заменяться переднеязычными аффрикатами. Последовательность переходов представляется в виде следующих схем:

$$pj > px' > ph' > h > ċ; \quad bj > bh > h > ġ; \quad mj > m\eta > \eta.$$

Отдельные фазы этого процесса обнаруживаются в живой речи в качестве вариантов.

Исходное сочетание «губной + *j*» имеет два источника происхождения:

1) сочетание «губной + *i*», в котором неслоговое *i* представляет собой первый элемент старого албанского дифтонга *ie*. Началом развития является превращение *i* > *j*, т. е. переход неслогового *i* в среднеязычный спирант. Сочетания *pj*, *bj*, *mj* представлены во всех албанских диалектах. Смягчение губного перед *j* является в них минимальным; после предшествующего глухого *j* оглушается.

Преобразования этих сочетаний, осуществляемые в восточно-среднегегских говорах, отчетливо обнаруживаются при сравнении с формами литературного языка: лит. алб. *pjek* 'пеку' — ср. зарегистрированные восточносреднегегские варианты *pjek*, *hek*, *ček*; лит. алб. *pjell* 'производить на свет (о животных)' — *pjel*, *phei*, *hei*, *čel*; лит. алб. *bješkë* 'горное пастбище' — *bješk*, *bhešk*, *hešk*, *gešk* 'горное пастбище; лес'; лит. алб. *mjekër* 'борода' — *peker*, лит. алб. *mjegulla* 'туман' — *pëgla*;

2) сочетания «губной + *l'*». Первой фазой изменения сочетаний *pl'*, *bl'* (также *fl'*) является переход *l' > j*, представляющий собой одно из проявлений широко распространенного в албанском языке фонетического процесса, захватывающего фонему /*l'*/ в различных сочетаниях. Сильно палатализованное *l'* имеет тенденцию переходить через фазу среднеязычности в среднеязычный спирант *j*.

Изменение *pl' > pj*, *bl' > bj*, *fl' > fj*, первоначальным очагом которого, по-видимому, была область Дибры, распространилось к северу, вниз по течению Черного Дрина и захватило некоторые из северногегских говоров в бассейне Большого Дрина. Однако дальнейшие преобразования, в основном затронувшие сочетания *pj*, *bj*, характерны лишь для восточносреднегегских говоров Дибры и смежных с ней районов северо-западной Македонии.

Зарегистрированные диалектные материалы обнаруживают значительную вариантность произношения:

лит. алб. *plak* 'старик' — вост. ср. гег. *pjak*, *pħak*, *ħak*, *čak*;
лит. алб. *pler* 'тополь' — *pjer*, *pħer*, *ħer*, *čer*;
лит. алб. *plot* нар. 'полно' — *pjot*, *pħot*, *ħot*, *čot*;
лит. алб. *bletë* 'пчела' — *bjet*, *bħet*, *ħet*, *ğet*.

Варианты *pħ*, *bħ* зарегистрированы в основном в гегских говорах Македонии¹. В Македонии же (говор селения Врпчиште, севернее Гостивара) зарегистрировано изменение *fj > fx'*: *fx'ok*, ср. лит. алб. *flokë* 'волосы'².

Независимо от источника своего происхождения, сочетания *pj*, *bj* подвергаются, таким образом, одному и тому же процессу преобразования. Фонетическое содержание этого процесса составляет прогрессивная ассимиляция: второй элемент сочетаний — среднеязычный спирант *j*, уподобляясь предшествующему смычному, превращается в среднеязычный смычный, соответственно глухой или звонкий. При этом первый элемент (губно-губной

¹ См.: C. Tagliavini. Le parlate albanesi di tipo ghego orientale (Dardaniae Macedonia nord-occidentale. Roma, 1942, стр. 60.

² N. Jokl. Vorläufiger Bericht über die im Auftrag der Balkan-Kommission d. Akad. d. Wiss. in Wien durchgeführten nordostgegischen Dialektstudien. «Sonderabdruck aus dem Anzeiger der Philos.-hist. Kl. d. Akad. d. Wiss. in Wien», 1915, № XIII, стр. 7.

смычный) может сохраняться и тогда остается малоустойчивое сочетание двух смычных — губного и средняяязычного: $p\check{h}$, $b\check{h}$. Но чаще губной элемент отпадает и средняяязычный смычный остается в качестве видимой замены бывшего двухфонемного сочетания: $pjak > \check{h}ak$ 'старик'; $bjet > \check{h}et$ 'пчела'. Согласно общей тенденции развития фонетической системы среднегегских говоров, на месте средняяязычных смычных могут появиться передняяязычные аффрикаты $\check{c}$, $\check{g}$. Таким образом, $\check{h}ak$, $\check{h}et$ далее преобразуются в $\check{c}ak$, $\check{g}et$.

Аналогичный путь проходит общеалбанское сочетание mj , в котором второй элемент превращается в средняяязычный носовой: $mj > m\eta$. Неустойчивое сочетание $m\eta$ легко утрачивает свой первый элемент.

Для характеристики фонетического содержания процесса важно то, что его исходной точкой является двухфонемное сочетание. Преобразованию подвергается сочетание в целом. Таким образом, появление средняяязычных смычных на месте губно-губных смычных не может считаться результатом фонетического изменения губно-губных под влиянием последующего j (так называемая палатализация губных); материальной основой образования средняяязычных смычных здесь является второй элемент сочетаний pj , bj — средняяязычный спирант j . Однако сама возможность подобного новообразования целиком связана с наличием определенного условия — с тем, что j выступает в сочетании с предшествующим губно-губным смычным, не палатализуя его. Отпадение первого элемента сочетаний $p\check{h}$, $b\check{h}$, $m\eta$ в свою очередь определяется неустойчивостью самих сочетаний такого рода.

Все фазы этого процесса отчетливо представлены в существующих вариантах произношения, характерного для говоров восточной части среднегегской диалектной территории³.

В существующей албановедческой литературе к фактам такого рода ни разу не был применен термин «палатализация губных».

Последовательность фаз развития сочетаний $p\check{l}'$, $b\check{l}'$, $m\check{j}$ была впервые намечена в небольшой заметке Н. Йокля, зарегистрировавшего это явление в говоре македонского села Врпачиште⁴. Ст. Младенов, отметивший соответствующие факты в гегских говорах различных районов северной Македонии, лаконично констатировал, что «в группе $p\check{l}'$ звуком k' заменяется звук l' : $k'ak$ ($p\check{l}'ak$)...»⁵. В исследовании К. Тальявини, посвященном восточногегским говорам, последовательность фаз преобразования сочетаний «губной + j » обильно иллюстрирована вариантами произ-

³ См.: А. В. Д е с н и ц к а я. Албанский язык и его диалекты. Л., 1968, стр. 185.

⁴ N. J o k l e. Указ. соч., стр. 7.

⁵ St. M l a d e n o v. Bemerkungen über die Albaner und das Albanische. «Balkan-Archiv», I. Leipzig, 1925, стр. 54.

ношения ⁶. Аналогичная трактовка вопроса дается также в работах албанских диалектологов ⁷.

Рассмотренная особенность восточнорумынских говоров албанского языка обнаруживает несомненное сходство с аналогичными явлениями румынской диалектной фонетики. Это наблюдение подчеркнул К. Тальявини, напомнивший о «так называемой палатализации губных» («la cosiddetta «palatalizzazione delle labiali»), характерной для многих румынских диалектов.

Отмечая полный параллелизм развития соответствующих процессов в албанском и румынском языках, он, однако, не применяет к албанским фактам термин «палатализация губных», принятый в романистике.

Анализ фактов показывает, что для албанского языка нет оснований говорить о явлениях, связанных с фонетическим процессом палатализации губных.

* * *

В обширной литературе, посвященной явлению палатализации губных в румынских диалектах, этим термином принято обозначать изменения, которым подвергаются сочетания губных (губно-губных и губно-зубных) согласных с *y* [j] ⁸, происходящим из первого элемента дифтонгов *ye*, *ya* или из *i*. В отличие от изложенных выше фактов албанской диалектной фонетики, старые сочетания губного с *l* в этом процессе не участвуют. Имеются в виду изменения типа *piatră* > *pk'atră*, *k'atră* 'камень', *aripi* > *aripk'*, *arik'* 'крылья' (ср. ед. *aripa*), *bine* > *bgine*, *g'ine* 'добро, счастье', *miel* > *pel* 'ягненок', *fier* > *h'er*, *ser* 'железо', *vier* > *yier*, *gier* 'кабан'.

Инновация охватывает значительную часть дако-румынских говоров — говоры восточной Валахии, южной Олтения, северной Кришаны, Марамуреша, северной и восточной Трансильвании, Молдовы, Добруджи, Молдавской ССР, Черновицкой области УССР. В дако-румынском ареале остаются не охвачены только юго-западная и западная его части (западная Валахия, центральная и северная Олтения, Банат, юго-западная Трансильвания, южная Кришана). В македоно-румынском диалектном ареале инновация осуществлена полностью; в меглено-румынских говорах — частично. Широта распространения этого явления в балкано-романских диалектах представляет значительный интерес с точки зрения лингвистической географии.

⁶ С. Tagliavini. Указ. соч., стр. 60 и сл.

⁷ В. Веси. E folmja e Reç-e-Dardhës së Dibërë. «Studime filologjike», 1964, № 4, стр. 147; Q. Haxhihasani. Vëzhgime gjuhësore në krahinën e Lurës. «Buletin i Univers. të Tiranës. Ser. Shk. Shoq.», 1963, № 4, стр. 124.

⁸ В дальнейшем изложении среднеязычный спирант *j* ¹ будет передаваться знаком *y*, принятым в исследованиях по романистике.

Согласно схеме акад. А. Росетти, фонетический процесс изменения развивался по следующим этапам:

$$\begin{aligned}
 p + y &> py > py^k > pk' > k' \\
 b + y &> by > by^g > bg' > g' \\
 m + y &> my > my^n > mn' > n' \\
 f + y &> fy > fy^h > fh' > h' \\
 v + y &> vy > vy^v > y \\
 &vy^g > vg' > g'^9
 \end{aligned}$$

Отдельные фазы этого процесса представлены в говорах, проводящих инновацию, целым рядом вариантов. Так, например, румынской литературной форме *picior* 'нога' соответствуют диалектные варианты: *pk'icor*, *pt'icor*, *pɕicor*, *k'icor*, *t'icor*, *ɕicor*¹⁰. Литературной форме *vrabie* 'воробей' соответствуют варианты: *vragb'ie*, *vragb'e*, *vragbd'ie*, *vragbd'e*, *vragbe*, *vrag'ie*, *vrag'e*, *vragd'e*¹¹.

Разнообразие вариантов и, в частности, значительная распристраненность двухфонемных сочетаний типа *pk'*, *bg'*, в которых еще сохраняются оба элемента исходного состояния (*p + y*, *b + y*), подтверждают правильность реконструкции схемы развития данного процесса, согласно которой среднеязычный смычный рассматривается как результат ассимиляторного преобразования элемента *y*.

Такое решение вопроса было предложено в 1877 г. А. Ламбриором, автором небольшого исследования, содержащего довольно четкое и последовательное рассмотрение фонетической стороны явления¹². Ламбриор подчеркнул, что звук *y*, участвующий в сочетаниях с губными, является не гласным, а согласным, и что именно этим обуславливается возможность его превращения в «подлинный палатальный согласный» (*une véritable consonne palatale*), с последующим отпадением стоящего перед ним лабиального¹³. Следы промежуточной фазы развития, сохраняющейся

⁹ Al. Rosetti. *Istoria limbii române*. București, 1968, стр. 401.

¹⁰ См.: Р. Я. У д л е р. Молдавские говоры Черновицкой области в сравнении с говорами Молдавской ССР, Закарпатской области УССР и других смежных областей дако-романского массива. Консонантизм. Кишинев, 1964, стр. 22.— В говорах Черновицкой обл., по наблюдениям Р. Я. Удлера, «п переходит в смычный заднеязычный глухой палатализованный к'', в смычный переднеязычный глухой палатализованный ч'', в аффрикатный переднеязычный глухой палатализованный ч'', а также в пк'', пт'' и реже в смычный губно-губной глухой палатализованный согласный п''» (там же, стр. 23). Вероятно, эту формулировку можно было бы дополнить указанием на то, что двухфонемные сочетания пк'', пт'', пч исторически отражают более раннюю фазу развития этого процесса в сравнении с к'', т'', ч''.

¹¹ Там же, стр. 35.

¹² A. Lambrion. *Du traitement des labiales p, b, v, f dans le roumain populaire*. «Romania». Paris, 1877.

¹³ Там же, стр. 445.

в виде сочетаний типа *pk'i*, *bg'i*, *vgi*, *fhi*, неоспоримо доказывают, что именно *i* (т. е. *y*) «явилось источником возникновения палатального согласного, а не лабиальный превратился в палатальный, как это обычно считают»¹⁴. Роль лабиальных в этом процессе выражалась, как полагал А. Ламбриор, в их влиянии на характер соответствующих палатальных согласных (качестве глухости или звонкости, смычности или спирантности).

Несмотря на ясность и убедительность объяснения, предложенного Ламбриором, в романистике продолжали существовать несколько неопределенные представления о характере рассматриваемого процесса, связанные с употреблением утвердившегося термина «палатализация лабиальных». Согласно этим представлениям, сущность явления иногда продолжала трактоваться как изменение самих лабиальных звуков под влиянием последующего *y*¹⁵.

С точкой зрения А. Ламбриора, в существенных моментах совпадают схемы последовательности фаз развития процесса, разработанные В. Мейером-Любке¹⁶ и в особенности акад. А. Росетти¹⁷. Как видно из приведенной выше схемы, А. Росетти тоже считает сочетания «губной + *y*» начальным этапом процесса. В частности, появление среднеязычных смычных трактуется им как непосредственный результат изменения звука *y* — в его сочетании с предшествующим губным. Однако, как и В. Мейер-Любке, А. Росетти сохраняет за рассматриваемым явлением название «палатализация губных». При этом речь идет не только о сохранении привычного термина, но также об определенном понимании сущности явления.

Расхождение с объяснением А. Ламбриора касается трактовки отправного момента реконструируемого процесса, в котором Росетти усматривает явление палатализации губного согласного в собственном смысле слова. «Явление палатализации губных смычных *p*, *b*, *m* и губно-зубных фрикативных *f*, *v* состоит в перемещении места артикуляции этих согласных под влиянием последующего палатального элемента»¹⁸. При этом А. Росетти исходит из того, что палатализованный согласный образуется с помощью дополнительной артикуляции (поднятия к нёбу средней части языка), которая затем, по-видимому, и становится источником образования палатальной фонемы *y* и всех ее дальнейших переплощений. Иначе говоря, двухфонемное сочетание «губной +

¹⁴ Там же, стр. 446.

¹⁵ Ср., например, формулировки в пособии по романистике Э. Бурсье (E. Bourciez. *Éléments de linguistique romane*. Paris, 1946; в русском переводе: Э. Бурсье. *Основы романского языкознания*. М., 1952, стр. 479).

¹⁶ W. Meyer-Lübke. *Palatalizarea labialelor*. «Dacoromania», II. Cluj, 1922).

¹⁷ Точка зрения акад. А. Росетти изложена в ряде его трудов, в частности, в «Istoria limbii române».

¹⁸ Al. Rosetti. Указ. соч., стр. 401.

+у» как бы заново возникает путем расщепления ранее палатализованной (под влиянием последующего у или i) губной фонемы.

Эта точка зрения, несомненно, имеет свои основания. Если объяснение, предложенное Ламбриором, кажется вполне оправданным для сочетаний «губной + у + гласный», ср. *piatră* > *pk'atră* > *k'atra* 'камень' (у здесь является первым элементом дифтонга), то для сочетаний «губной + i», ср. *bine* > *bg'ine* > *g'ine* 'добро', решение вопроса представляется более трудным. Заслуживает внимания объяснение, предложенное Фр. Миклошичем для фактов македонорумынского языка: «Изменения, которым подверглись звуковые сочетания *pi, bi, vi, fi, mi*, имеют источником появление паразитического *j*: результаты оказываются различными по их звуковому характеру в зависимости от качества предшествующего согласного. Из *pji* и *bji* возникают *t'i, d'i*; в других случаях первый согласный исчезает: *vji* превращается в *ji, fxi — xi* и *mnji — ni*¹⁹.

В отношении случаев типа *arípi* > *aripk'* > *arik'* 'крылья' (ед. ч. *aripă*), *lúpi* > *lupk'* > *luk'* 'волки' (ед. ч. *lup*) картина осложняется тем, что в дакорумынских диалектах, не проводящих так называемую палатализацию губных, формы множественного числа, действительно, имеют палатализованный губной в конечной позиции — *arip', lup'*. Если считать состояние, отраженное в формах типа *lup'*, первичным по отношению к зарегистрированным диалектным вариантам *luph', lupk', lupt', luk', lut'*, тогда фонетическое объяснение, предложенное А. Росетти, является решением проблемы. Если же элемент *-h', -k'* в подобных случаях можно считать непосредственно восходящим к конечному неслоговому *-i*, тогда отпадает необходимость определять данный процесс как палатализацию губного. При таком решении существенным моментом для дифференциации дакорумынских говоров можно было бы считать наличие двух вариантов развития сочетания «губной + i» (в конечной позиции): 1) *-pi* > *-p'*; 2) *-pi* > *-ph'* > *-pk'* > *k'*.

Речь здесь может, конечно, идти лишь о первичных очагах образования определенных фонетических явлений. Последующее распространение конкретных типов произношения относится к области ареальной диалектологии. Морфологического аспекта проблемы данная гипотеза не затрагивает, так как для морфологического выделения форм множественного числа существительных в румынском языке и его диалектах используются различные типы чередований конечных согласных, исторически связанные с отсутствием (в форме единственного числа) или с наличием (в форме множественного числа) конечного *i*.

¹⁹ Fr. Miklosich. Rumunische Untersuchungen, I. Istro- und Macedo-Rumunische Sprachdenkmäler. Wien, 1882, стр. 7.

Сопоставление албанских диалектных фактов с румынским обнаруживает полную аналогию развития в этих двух языках процесса изменения сочетаний «губного + *j*» в его основных фазах, начиная с двухфонемных сочетаний губного со среднеязычным и кончая различными вариантами отдельных среднеязычных и переднеязычных фонем.

Однако в условиях проведения этого процесса наблюдаются различия:

1. В румынских диалектах изменением охвачены все губно-губные и губно-зубные фонемы в сочетании с последующими *j* или *i*. В албанских говорах в процессе участвуют только губно-губные фонемы, притом только в сочетаниях «губной + *j* + гласный». До сих пор зарегистрирован лишь один случай изменения сочетания *ff*²⁰.
2. На албанской почве в изменении широко участвуют старые сочетания *pl*, *bl*, перешедшие в *pj*, *bj* в восточной части гегской диалектной территории. В румынском языке сочетания *pl*, *bl* не подверглись трансформации и остаются тем самым вне процесса.
3. В румынском соответствующие изменения совершаются в начале, в середине и в конце слова. В албанском изменение происходит в начальной позиции, где очень широко представлены соответствующие сочетания (общеалбанские *pj*, *bj*, а также *pl* > *pj*, *bl* > *bj*).
4. В румынском изменения сочетаний губных согласных с неслоговым *i* в конечной позиции связаны с морфологическими чередованиями фонем. В албанском языке такой связи нет, так как сочетания *pj*, *bj* никогда не бывают в конечной позиции.
5. Исследование албанских фактов не дает оснований рассматривать изменения сочетаний *pj*, *bj*, происходящие в восточно-среднегегских говорах, как результат палатализации губных. Изменения сочетаний «губной + *y* (*j*)», происходящие в румынских диалектах, принято считать результатом палатализации губных. Высказывалась, однако, и иная точка зрения.

По вопросу о хронологии явлений так называемой палатализации губных в румынских диалектах мнения ученых расходятся. В дакорумынских письменных памятниках соответствующие факты зарегистрированы начиная с XVI в. К этому времени А. Росетти, считающий это явление для дакорумынского языка сравнительно поздним, и относит его возникновение. Для македонорумынского языка он находит возможной более раннюю датировку и считает,

²⁰ Надо заметить, однако, что албанский диалектный материал до сих пор не обследован с достаточной полнотой. Албанские диалектологи (см. указания работ на стр. 52) уделили этому явлению в своих описаниях отдельных среднегегских говоров всего несколько строк.

что инновация появилась в разное время и развивалась независимо в дакорумынском, македонорумынском и мегленорумынском ²¹.

Существуют и другие точки зрения относительно времени возникновения данной инновации в балкано-романском ареале. Многие исследователи считают возможной значительно более раннюю датировку ²².

Отсутствие письменных свидетельств ранее начала XX в. не дает возможности установить время появления аналогичных процессов в восточносреднеггских говорах албанского языка. Можно думать, что и в настоящее время процесс изменения сочетаний «губной + j» в этих говорах продолжает быть, по-видимому, живым и действующим.

Степень распространения рассматриваемых диалектных явлений на балкано-романской и на албанской лингвистических территориях далеко не одинакова.

Процессы изменения сочетаний «губной + j» широко распространены в двух больших балкано-романских ареалах — в восточных и северных говорах дакорумынского языка и в македонорумынском. Эти территории не являются смежными.

В албанском языке соответствующее явление имеет очень ограниченный ареал. Оно распространено только в говорах восточной части среднеггской диалектной зоны. Так как этот диалектный район является окраинным и пограничным, естественно возникает мысль о возможных влияниях адстратного характера. Для болгарско-македонской речи, составляющей на этой территории ближайшую иноязычную среду, такого рода фонетические явления не характерны. Естественно было бы думать о влиянии македонорумынского языка. Однако ближайший район аромунских поселений расположен южнее (между Битодем и озерами Охридским и Преспой) и не граничит со среднеггским диалектным районом. У албанцев-гегов, говорящих на восточносреднеггском диалекте, условия для албано-македонорумынского билингвизма практически отсутствуют. Трудно сказать, существовал ли такой билингвизм в прошлом.

Остается признать, что возникновение сходных фонетических процессов в несмежных районах одного большого ареала, каким можно считать лингвистические территории балканской Романии и Албании, еще раз приводит к мысли о возможности действия общих внутренних тенденций развития, унаследованных от древних языков Балканского п-ва.

²¹ Al. Rosetti. Указ. соч., стр. 402 и сл.

²² Вопрос о хронологии и ареальном распространении явления так называемой палатализации губных в балкано-романских языках подробно освещен в диссертации С. П. Николаевой («Процессы палатализации губных и губно-зубных согласных в балкано-романских языках». Л., 1968). Автор предполагает, что возникновение этого процесса может быть отнесено к периоду между VI—XII вв.

МЕСТО УДАРЕНИЯ И ФОНЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЛОВА

(расстановка ударения в неизвестных словах
инострального происхождения)

I

Тот факт, что для русского языка нельзя говорить о так называемом фиксированном ударении, означает по существу, что вместо одного-двух факторов выбор места ударения в русском слове определяется множеством факторов. Факторы эти и многочисленны, и многообразны. Сюда относится и принадлежность слова к той или иной акцентологической парадигме, и наличие в слове морфемы определенного типа: так, существуют всегда ударные префиксы, всегда ударные суффиксы и т. д. Важно и наличие акцентируемой финали; играет роль и тип контекста, стилистическое чутье в выборе варианта; существенной бывает также и социальная принадлежность говорящего.

Сказанное относится к словам русского лексического состава. Однако место ударения в заимствованных словах также определяется множеством аналогий и ассоциаций. Ударение слова в языке-источнике сложным образом налагается на ударения в ранее заимствованных словах или на исконные русские акцентологические модели¹. Возникающие новые ассоциации закрепляются в сознании — так, человек, услышавший впервые слова *антаблемент* и *сигнарант*, наверняка прочтет их с ударением на последнем слоге. Однако в словах иностранного происхождения тоже возможны разночтения, отклонения от рекомендуемой нормы, причем иногда довольно упорные. Так, стойко держится *шбффер*, *дбцент*, *пбртфель*, *магазин*. Может быть, сдвиг ударения в этих словах объясняется тем, что ударение в заимствованных словах тяготеет к предпоследнему слогу? Эта гипотеза опровергается произношением слов типа *хабс* и *Форум*. И потом сдвиг ударения происходит не во всех словах с одним и тем же суффиксом: так, *шбффер* распространено, но *грймер* — нет.

Настоящая работа была задумана как попытка определить на очень ограниченном материале, не управляют ли выбором места ударения в заимствованных словах какие-то чисто фонетические принципы организации слова. С этой целью нами был произведен небольшой эксперимент. А именно — были отобраны слова из

¹ Насколько сложны и разнообразны пути таких акцентных столкновений см.: А. В. Суперапская. Ударение в заимствованных словах в современном русском языке. М., 1968.

«Словаря иностранных слов»² и даны для прочтения десяти информантам. Отобранные слова должны были быть неизвестными информантам (в случае, если слово оказывалось известным, оно исключалось из эксперимента). Кроме того, не привлекались к эксперименту также слова, хотя и неизвестные, но содержащие однозначно акцентируемые финали (морфемы) типа *-тура*, *-ант*, *-аж* и т. п. Выбор слова считался удачным, если оно не вызывало никаких акцентных ассоциаций или вызывало противоречивые ассоциации. Так, слово *рабат* могло ассоциироваться и с *Арбат*, и с *робот*; слово *мазар* — и с *мáзать*, и с *бáзár*.

Каковы были фонетические критерии, по которым обрабатывались полученные результаты?

1. Число слогов в слове (отбирались двусложные, трехсложные и четырехсложные слова).
2. Тип конечной огласовки — кончается слово на гласную или на согласную.
3. Тип гласных, входящих в состав слова: передние или непередние.
4. Тип согласных в слове: твердые или мягкие.
5. Имеется ли в данном слове зияние на стыке слогов?
6. Имеются ли в данном слове дифтонги?
7. Имеются ли в данном слове скопления согласных?

Фонетические особенности, указанные в пп. 3—7, могли по-разному реализоваться в слове, а именно — быть представленными в разных по месту слогов. При отборе слов мы старались учесть все возможные комбинации.

Всего для первичного эксперимента было отобрано 218 слов³. Число это объяснялось соображениями удобства проведения эксперимента — большее число слов дало бы более достоверные сведения, но тогда чтение из-за усталости информантов пришлось бы осуществлять в несколько приемов, что было бы нежелательно по психолингвистическим соображениям. В этом виде чтение с карточек 218 примеров занимало в среднем 10 минут.

Все отобранные слова неосторожно было бы называть заимствованными — большинство из них, конечно *Fremdwörter*, а не *Lehnwörter*. Итак, более точно, речь шла, как и сказано в подзаголовке, о расстановке ударения в неизвестных словах иностранного происхождения.

Какие требования предъявлялись к информантам первичного эксперимента:

Они должны были: 1) бегло и без запинки читать по-русски, т. е. сам процесс чтения не должен был вызывать затруднений.

Они не должны были: 1) знать иностранные языки (критерием

² Словарь иностранных слов. Под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова. Изд. 4. М., 1954.

³ Список слов в той последовательности, в которой осуществлялось чтение, приводится в приложении.

тут было самоосознание этого факта, так как иностранный язык входит в программу средней школы); 2) иметь высшее образование; 3) заниматься умственным трудом.

II

Единицей подсчета считалось одно произнесение. Каждое слово имело, таким образом, десять возможных произношений — по числу информантов: 218 слов дали 2180 произнесений.

По числу слогов отобранные слова распределялись следующим образом: двусложных слов — 110, трехсложных слов — 72, четырехсложных слов — 36.

1. *Критерий качества последнего звука слова — гласный или согласный.* Покажем полученные результаты поочередно для двусложных, трехсложных и четырехсложных слов.

Таблица 1

Двусложные слова

Число слов		Число произнесений с ударением	
		на последнем слоге	на предпоследнем слоге
на гласный	16	25	135
на согласный	94	594	346

Таблица 2

Трехсложные слова

Число слов		Число произнесений с ударением		
		на последнем слоге	на предпоследнем слоге	на начальном слоге
на гласный	25	52	183	15
на согласный	47	356	85	29

Какие наблюдения можно сделать на основании первого подсчета?

- 1) Ударение в основном осуществляется на последнем и предпоследнем слогах, т. е. акцентологически релевантной оказывается последняя часть слова.
- 2) Обнаруживаются различия между словами на гласный и словами на согласный, а именно:
 - а) в словах, оканчивающихся на гласный, отчетлива тенденция делать ударным предпоследний слог (так, все испытуемые читали *просперити*, *шнэка*, *пиасава*, *пиккбло*);

Четырехсложные слова

Число слов	Число произнесений с ударением			
	на последнем слоге	на предпоследнем слоге	на втором слоге	на начальном слоге
на гласный	22	1	169	50
на согласный	14	64	70	5

- б) в словах, оканчивающихся на согласный, различаются трехсложные и двусложные слова, а именно — для трехсложных более вероятно ударение на последнем слоге, для двусложных, а также и для четырехсложных слов, которые были представлены незначительным количеством, были равновероятны ударения и на последнем и на предпоследнем слоге.
- в) Приведенные цифры показывают значительное число отклонений от принципа ударения на предпоследнем слоге для слов на гласный и на последнем слоге для слов на согласный. Таким образом, критерий гласности/согласности, а также количественный критерий числа слогов для однозначного предсказания выбора оказываются недостаточными.
2. *Критерий зияния.* Проверялось, не притягивает ли ударение один из компонентов зияния. Зияние наблюдалось в следующих комбинациях на стыке слогов: *ea, ya, ia, oa, eo, io, аз, ау, уу, оу, ай.*

Не приводя табличные данные из-за небольшого их количества (зияние наблюдалось лишь в 33 словах), можно по поводу данного критерия сообщить лишь следующие наблюдения:

- 1) стык гласных (зияние), расположенный далее второго-третьего слогов от конца слова, не оказывает влияния на выбор ударения;
- 2) особо выделяется подгруппа сочетаний *ау, оу*, с тенденцией к ударению на первой части сочетания (*раут, гаусс, крауч, джауль, тбу, каупер*);
- 3) про остальные сочетания ничего определенного сказать нельзя.
3. *Критерий наличия сочетаний ай, ей*, являющихся дифтонгами в языке-источнике. При этом учитывалось положение данного дифтонга в слове.

Данные подсчета показали следующее:

- 1) *ей, ай*, расположенные в начале многосложного слова, как правило, не перетягивают ударения;
- 2) *ей, ай*, расположенные в последнем слоге слова, перетягивают на себя ударение. Так, например, *гризайль* давало результат

9 : 1, *дедвейт* — 9 : 1⁴ и т. д. Такие данные именно для двусложных слов существенны, так как по данным двусложных слов (табл. 1) число ударений на последнем слоге относится к числу ударений на предпоследнем слоге как 5 : 3, т. е. число ударений на предпоследнем слоге весьма значительно;

- 3) *ей, ай*, расположенные в предпоследнем слоге слова, также оказывали влияние на выбор ударения. Так, *кайман* дало 3 : 7, *стайер* — 0 : 10;
- 4) в словах с *ай, ей*, расположенных между (или перед) гласными, ударение чаще не падало на эти дифтонги. Так, *дуайен* — 7 : 3, *сабайон* — 8 : 2, *пайол* — 9 : 1.

Таким образом, наибольшее влияние оказывал дифтонг *ай, ей*, расположенный в последнем слоге слова, особенно трехсложного. Так, *плейстосейст* — 10 : 0.

4. *Критерий скопления согласных*. Таковы скопления в словах *ротанг, одельстинг, талреп* и т. д. Возможность «перетягивания» проверялась для всех трех ситуаций:

- 1) скопление согласных находится в конце слова — *реверс, салинг* и т. д.;
- 2) скопление согласных находится между последним и предпоследним слогом — *мертель, дарбар*;
- 3) представлены оба типа скоплений — *линкруст, нистагм* и т. д.

Всего таких слов со скоплением всех трех видов было представлено 50 для двусложных слов и 22 для трехсложных. Получены следующие результаты:

- 1) для двусложных слов оказалось 319 произнесений с ударением на последнем слоге и 181 произнесений с ударением на предпоследнем слоге;
- 2) для трехсложных слов оказалось 200 произнесений с ударением на последнем слоге, 18 произнесений с ударением на предпоследнем слоге и 2 произнесения с ударением на начальном слоге.

Таким образом, полученные данные не отличаются в своих пропорциях от общего распределения произнесений (см. табл. 1—3). Критерий скопления оказывается нерелевантным, так как изменение положения скопления — любая из описанных выше позиций — не оказало влияния на выбор места ударения.

5. *Критерий твердости/мягкости конечного согласного слова*. Рассматривалась возможность распределения произнесений с ударением в зависимости от типа конечного гласного слова. При этом получились следующие результаты:

- 1) двусложные слова были представлены 16 словами на мягкий согласный; из них было 98 произнесений с ударением на по-

⁴ Здесь и в дальнейшем цифры означают! следующее: первая цифра — число ударений (произнесений) с выбором последнего слога, вторая — число произнесений с ударением на предпоследнем слоге, третья — на третьем и т. д.

следнем слоге и 62 произнесения с ударением на предпоследнем слоге. В двусложных словах было 78 слов на твердый согласный; для них оказалось 496 произнесений с ударением на последнем слоге и 284 произнесения с ударением не предпоследнем слоге;

2) трехсложные слова были представлены 42 словами на мягкий согласный и 5 словами на твердый согласный. Для слов на мягкий согласный оказалось 311 произнесений с ударением на последнем слоге, 80 произнесений с ударением на предпоследнем слоге и 29 произнесений с ударением на начальном слоге. Для слов на мягкий согласный оказалось 45 произнесений с ударением на последнем слоге и 5 произнесений с ударением на предпоследнем слоге. Таким образом, и этот критерий не вносит принципиально ничего нового в общие данные о распределении ударений в двусложных и трехсложных словах.

6. *Критерий качества гласных в слоге.* Этот критерий был подобран на основании интуитивного противопоставления гласных переднего ряда (*e, u*) гласным непереднего ряда (*a, o, y*)⁵. Эти гласные обозначались через Н (непередние) и П (передние). Рассматривались четыре возможных комбинации Н и П в слове:

- 1) Н—Н, т. е. и в последнем, и в предпоследнем слогах представлены непередние гласные — *наваб, тургор, макадам, гастропор, анаколуф* и т. д.
- 2) П—П, т. е. и в последнем, и в предпоследнем слогах, представлены передние гласные — *мелис, мидель, кипрегель, интерим, тердесен* и т. д.
- 3) П—Н, т. е. в последнем слоге представлен передний гласный, в предпоследнем слоге представлен непередний — *салеи, домен, сподумен, цинубель, килопарсек*, и т. д.;
- 4) Н—П — в последнем слоге представлен непередний гласный, в предпоследнем — передний: *редан, тифдрук, стивидор, утлегарь, пролегомен*. Покажем в табличной форме полученные данные соответственно для двусложных, трехсложных и четырехсложных слов на согласный (см. табл. 4—6).

Т а б л и ц а 4

Двусложные слова

	Тип комбинации гласных в слове			
	Н-Н	П-П	П-Н	Н-П
Общее число слов	36	19	22	17
Число произнесений с ударением на последнем слоге	240	116	117	121
Число произнесений с ударением на предпоследнем слоге	120	74	103	49

⁵ Напоминаем, что речь идет об эксперименте по чтению заимствованных слов. Гласный *ы* в данных словах не был представлен.

Таблица 5

Трехсложные слова

	Н-Н	П-П	П-Н	Н-П
Общее число слов	13	9	15	10
Число произнесений с ударением на последнем слоге	114	66	94	82
Число произнесений с ударением на предпоследнем слоге	16	22	41	6

Таблица 6

Четырехсложные слова

	Н-Н	П-П	П-Н	Н-П
Общее число слов	5	2	6	1
Число произнесений с ударением на последнем слоге	28	6	21	9
Число произнесений с ударением на предпоследнем слоге	22	14	33	1

Этот критерий, в отличие от двух предыдущих, как будто бы дает новые факты распределения ударения, а именно — создается впечатление, что гласные переднего ряда оказываются «сильнее» гласных переднего ряда и перетягивают ударение на себя. Полученные впечатления необходимо проверить. Как было выяснено вначале, самая сильная тенденция для слов на согласный — это тенденция к ударению на последнем слоге. Если гласные типа Н являются действительно более сильными, то для разного типа комбинаций Н и П в последнем и предпоследнем слогах должны получиться также разные, причем заранее предсказуемые, результаты, а именно:

- 1) в сочетании Н—П, где сильные гласные представлены на конечном слоге, т. е. работают в одном направлении два сильных фактора, число произнесений с ударением на последнем слоге должно быть **значительно** больше числа произнесений с ударением на предпоследнем слоге;
- 2) в сочетании П—Н, где сильные гласные находятся в предпоследнем слоге и оба фактора работают в разных направлениях, распределение ударений на последнем и предпоследнем слогах должно быть примерно равным, с перевесом на последнем слоге

в трехсложных словах, в которых (см. табл. 2) фактор последнего слога наиболее сильный.

Проверяем полученные данные, извлекая их из вышеприведенных таблиц; первая цифра показывает число произнесений с ударением на последнем слоге, вторая цифра — число произнесений с ударением на предпоследнем слоге:

Н—П = 121 : 49 (двусложные слова); 82 : 6 (трехсложные слова); 9 : 1 (четырёхсложные слова).

П—Н = 117 : 103 (двусложные слова); 94 : 41 (трехсложные слова); 21 : 33 (четырёхсложные слова).

Таким образом, предполагаемые результаты как будто бы подтверждаются. Возможно, именно этим обстоятельством объясняются произношения *магáзин*, *пóртфель*, *дóцент*, *доку́мент*, *шóбфер* — гласные переднего ряда в предпоследнем слоге оказываются сильнее гласных переднего ряда в последнем слоге. Именно поэтому, возможно, новеллу П. Мериме называют «Лóкис», в противоречии с французским и литовским произношением, но царя Мидáса не называют Мй́дасом.

Однако это объяснение, хотя и говорит о силе действия данного фактора, не является универсальным. Им не объясняются случаи типа П—П и Н—Н, где имеет место такое же разнообразие произнесений. Здесь, вероятно, играют роль факты следующего, не уловленного нами уровня распознавания.

Окончательно подтвердил бы данную закономерность эксперимент со специально подобранными или придуманными словами, отличающимися по гласным, но не по согласным — типа *милас* — *малис*, *редан* — *раден* и т. д.

III

Таким образом, оказались существенными следующие черты;

- 1) наличие гласного или согласного в абсолютном конце слова
- 2) число слогов — для слов на согласный;
- 3) тип гласного в последних слогах — для слов на согласный;
- 4) наличие сочетаний *ай* и *ей* — для слов на согласный;
- 5) наличие сочетаний *ау*, *оу* — для слов на согласный.

Несущественными для расстановки ударения оказались следующие черты:

- 1) фонетика начала слова в многосложных словах (если не рассматривать особо проблему побочного ударения);
- 2) наличие скопления согласных в разных позициях;
- 3) твердость или мягкость последнего согласного — для слов на согласный.

Существенно также понять механизм иерархии для полученных позитивных признаков, так как раскрытие внутренних подчинений признаков помогает раскрыть и определить число возможных исключений.

В нашем случае критерии располагаются по важности следующим образом:

- 1) критерий гласности/согласности конечного звука;
- 2) критерий числа слогов — для слов на согласный;
- 3) и 4) критерий качества гласного и наличия сочетаний *ай, ей*;
- 5) критерий наличия зияния *ау, оу*.

Таким образом, важно определить соотносительное место третьего и четвертого критериев. Приведем примеры слов с разными комбинациями гласных переднего и непереднего ряда, с одной стороны, и наличием дифтонгов в этих же словах, с другой стороны. Полученные данные: *виндзейль* — 9 : 1; *кайман* — 3 : 7; *стайер* — 3 : 7; *дедвейт* — 9 : 1; *гризайль* — 9 : 1; *найтов* — 6 : 4; *клевейт* — 9 : 1; *свейтинг* — 6 : 4; *стейер* — 0 : 10; *крейтон* — 6 : 4; *сайзель* — 5 : 5. Создается впечатление, что эти критерии приблизительно равноценны. На основании приведенных данных можно сказать только, что каждый из дифтонгов оказывается сильнее, чем аналогичная гласная — *а* или *е* в другом слоге, см.: *стайер* — 3 : 7 и *стейер* — 0 : 10; *дедвейт* — 9 : 1 и *свейтинг* — 6 : 4.

IV

Все сказанное выше относилось к специфическому фрагменту языка — фонетике заимствований (чужой) лексики. О том, что фонетика иноязычных слов, а также соответствующая фонологическая система, составляет специфическую подсистему, писалось неоднократно⁶. При этом не исключено и дальнейшее расслоение этой системы. Так, в одном из последних исследований, посвященном чтению аббревиатур⁷, показывается устойчивая тенденция к чтению аббревиатур с произношением ударения на последнем слоге. Таким образом, МКХ (*эм-ка-ха*), несомненно, будет читаться с ударением на *ха*, но *эмкаха* как слово будет прочитано с ударением на *ка*.

Полученные данные очень сложным образом соотносятся с данными собственно русской акцентологии. Однако некоторое объяснение критерию непередних/передних гласных, быть может, мож-

⁶ См.: Е. Д. Поливанов. Фонетика интеллигентского языка. «Статьи по общему языкознанию». М., 1968; М. Я. Гловинская. Фонологическая подсистема редких слов в современном русском литературном языке (на материале заимствований). Автореф. канд. дисс. М., 1967; Л. Калынь. Организация фонемного состава иноязычных заимствований в диалектном языке. «Сов. славяноведение», 1968, № 2; V. Mathesius. K výslovnosti cizích slov v češtině, «Čestina a obecný jazykozpyt». Praha, 1947; Н. Куцера. Inquiry into coexistent phonemic systems in slavic languages. s'Gravenhage, 1958; Ch. C. Fries, K. L. Pike. Coexistent phonemic systems. «Language», 1949, XXV.

⁷ Г. А. Мамеев. Ударение в сложносокращенных словах. «Русская речь», 1968, № 5.

но предложить, основываясь именно на русских данных. Так, *а, о, у* — гласные, более длительные по абсолютной продолжительности звучания, чем *и, е*⁸. Между тем доказано, что именно длительность является ведущим фактором русского ударения⁹. Возможно, что произношение *шбфер, нбртфел* вызывается инстинктивным желанием «опереться» на более длительный гласный.

ПРИЛОЖЕНИЕ *

клевейт 9:1	тоу 0:10	думпар 6:4
дуайен 7:3:0	салинг 6:4	сапропель 8:2:0
метазоа 1:9:0:0	ланган 9:1	оксиморон 9:1:0:0
базилка 0:3:7:0	альпари 6:4:0	топинамбур 5:5:0:0
голоцен 10:0:0	гекахорд 10:0:0	кромлех 4:6
тотем 9:1	крейтон 6:4	кипрегель 9:1:0
веджвуд 10:0	эпифора 0:8:2:0	сайзель 6:4
свейтинг 6:4	килопарсек 2:8:0:0	маркато 0:10:0
маркетри 4:6:0	пролапс 9:1	талвег 8:2
празеодим 8:2:0:0	нанду 0:10	гомруль 7:3
виндрюэр 4:0:6:0	огон 9:1	зигоспора 0:10:0:0
гиатус 4:6:0	фалинь 6:4	стивидор 7:2:1
сизаль 7:3	микропила 0:9:1:0	миттель 6:4
инцухт 9:1	азалея 0:8:2:0	гуанако 0:10:0:0
сподумен 6:3:1	скрупул 7:3	катрен 6:4
аддендум 7:2:1	бейдевинд 9:0:1	скатол 6:4
нистагм 10:0	нобиль 4:6	каиц 5:5
мульда 2:8	пролегомен 2:8:0:1	аналест 8:2:0
ноумен 2:3:5	аллод 9:1	сарос 8:2
мангольд 8:2	дизажо 0:4:6:0	квицу 0:10
брокколь 5:5	ротанг 8:2	серум 7:3
шнека 0:10	облиго 1:8:1	дроссель 4:6
монтанвакс 10:0:0	каупер 1:0:9	полдер 3:7
пикколо 2:8	жеода 1:9:0	астраяга 0:10:0:0
мазар 7:3	тердеснен 2:8:0:0	паунус 3:7
преамбула 0:9:1:0	лори 0:10	гэнро 3:7
гаррига 0:9:1	тандем 7:3	скорбут 5:5
рабат 8:2	маракас 10:0:0	ордалия 0:7:3:0
окапи 2:8:0	примутрок 10:0:0	тобогган 10:0:0
цинубель 8:2:0	момме 3:7	вапа 0:10
корпускула 0:10:0:0	мидель 5:5	ойдиум 5:1:4
мелис 0:10	генро 4:6	ригодон 10:0:0
стейер 0:10	агреман 10:0:0	иксия 1:3:6
апраксия 0:4:6:0	базилик 3:7:0	берсим 7:3
гемоторакс 0:10:0:0	нотогоя 0:10:0:0	торако 8:2
салец 8:2	сезаль 9:1	раут 2:8
николь 5:5	аланбик 6:4:0	имаго 1:9:0
скудо 0:10	мелос 6:4	лаглинь 7:3
диплекс 7:3	эспарто 0:10:0	тургор 10:0

⁸ См.: К. Б о л л а. К вопросу о соотношении длительности гласных и фонетических структур слова. «Studia slavica». Budapest, 1968, t. 14 fasc. 1-4; Т. М. Николаева. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969.

⁹ Л. В. Златоустова. Фонетическая природа русского ударения (автореф. канд. дисс.). Казань, 1953.

* Первая цифра показывает число произнесений с ударением на первом слоге от конца, вторая — на втором и т. д.

мotto 0 : 10	гарига 0 : 9 : 1	плейстосейст 10 : 0 : 0
эпифиз 9 : 0 : 1	примас 5 : 5	наваб 10 : 0
пиасава 0 : 10 : 0 : 0	гилея 0 : 10 : 0	просперити 0 : 10 : 0 : 0
пайол 9 : 1	ступор 2 : 8	демурредж 10 : 0 : 0
дарбар 7 : 3	котиледон 9 : 1 : 0 : 0	тиффрук 6 : 4
диспаша 3 : 7 : 0	гевеа 1 : 9 : 1	габбро 6 : 4
зальбанд 10 : 0	польдер 3 : 7	флортимберс 10 : 0 : 0
бластула 1 : 7 : 2	крауч 2 : 8	сабайон — 8 : 2 : 0
гризайль 9 : 1	одељстинг 10 : 0 : 0	гасоропор 9 : 1 : 0
гевеа 0 : 10 : 0	валгалла 2 : 8 : 0	пиллерс 4 : 6
стопор 3 : 7	чайрикер 0 : 10 : 0	домен 3 : 7
жакерия 0 : 1 : 9 : 0	джауль 5 : 5	пончо 4 : 6
пентатлон 10 : 0 : 0	мадия 1 : 8 : 1	гезенк 5 : 5
найтов 6 : 4	реверс 6 : 4	аблаут — 4 : 6
пнтерим 9 : 1 : 0	югер 1 : 9	гарда 5 : 5
литота 3 : 7 : 0	ротор 0 : 10	анаколуф 2 : 8 : 0 : 0
донжон 7 : 3	диатриба 0 : 10 : 0 : 0	гавиал 10 : 0 : 0
неогей 0 : 10 : 0 : 0	махайродус 2 : 8 : 0 : 0	виндзейль 9 : 1
гаусс 2 : 8	фетва 0 : 10	инфикс 5 : 5
демпург 10 : 0 : 0	талреп 8 : 2	утлегарь 10 : 0 : 0
буриме 7 : 3 : 0	павдус 6 : 4	анабасис 1 : 9 : 0 : 0
мертель 5 : 5	спарринг 5 : 5	дрифтир 4 : 6
фольконер 8 : 2 : 0	вакуф 6 : 4	нониус 3 : 1 : 6
хедив 3 : 7	пагуа 6 : 2 : 2	оверарм 10 : 0 : 0
тримурти 1 : 9 : 0	синаopsis 5 : 5 : 0	дефибрер 7 : 3 : 0
декувер 7 : 3 : 0	битенг 4 : 6	дуплекс 5 : 5
колон 7 : 3	диастола 0 : 10 : 0 : 0	приор 8 : 2
гикорд 2 : 8 : 0	ботдек 5 : 5	кайман 3 : 7
эргастул 10 : 0 : 0	коннетабль 10 : 0 : 0	стайер 3 : 7
кильсон 8 : 2	геест 2 : 8	линкруст 5 : 5
эпидернис 6 : 4 : 0 : 0	панагия 0 : 4 : 6 : 0	пентаэдр 8 : 2 : 0
клаузула 0 : 10 : 0 : 0	рефери 6 : 4 : 0	дедвейт 9 : 1
макадам 10 : 0 : 0	археорнис 4 : 6 : 0 : 0	кунгас 8 : 2
ритор 2 : 8	редан 9 : 1	

Р. М. Фрумкина, А. П. Василевич

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ ТРУДНОСТИ» РУССКИХ ТРИГРАММ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

1. Постановка задачи

Вопрос, обсуждаемый в данной статье, возник в процессе исследования закономерностей зрительного распознавания изолированных элементов текста — слов и буквосочетаний, меньших, чем слово. Существует точка зрения, согласно которой предпола-

гается, что при распознавании элементов письменного текста происходит перекодирование информации, поступающей через зрительный анализатор, в информацию с опорой на «звуковой код»¹. Тогда логично было бы думать, что представление о сходстве или различии зрительно воспринятых речевых стимулов формируется на основе соотношений в пространстве не только графических, но и звуковых признаков. Таким образом, различие в результатах зрительного распознавания может определяться также звуковыми (фонетическими или фонологическими) характеристиками стимулов.

Имеется ряд данных, позволяющих считать, что одной из важнейших характеристик, обусловленных звуковой структурой стимулов и влияющих на такие процессы переработки речевой информации, как зрительное распознавание (а также запоминание), является «произносительная трудность», или «произносимость» стимула². Не будем пока как-либо определять это понятие, а попытаемся пояснить его содержание примером. Предложим человеку, для которого русский язык — родной, два буквосочетания: *йцх* и *сте* и попросим его указать, какое из них ему представляется более трудным для произнесения вслух. В подавляющем большинстве случаев первая триграмма будет названа более трудной. Если предложить выбрать из *нок* и *нко* более трудное сочетание, будет выбрано второе. Когда же выбор надо сделать между словом *дом* и словом *сад*, испытуемый (И) затрудняется, так как оба слова представляются ему одинаково легкими. Также трудно выбрать более трудную триграмму из пары *йцж* и *чжи* — обе они представляются очень трудными. Если же дать группе ИИ набор триграмм, включающий приведенные примеры, и предложить распределить их согласно тому, насколько возрастает их «произносительная трудность», то мнения ИИ в значительной степени совпадут. Следовательно, можно полагать, что поскольку носитель языка может оценить одни сочетания как «легко произносимые», другие — как «трудно произносимые», то имеется какой-то набор полезных признаков, используемых для принятия подобного решения. С другой стороны, эти признаки, по-видимому, являются общими (неясно пока, в какой мере) для разных лиц — носителей данного языка. Будем называть «произносимостью» (сокращенно Пр) данного буквосочетания (или слова) некоторую совокупность свойств, интуитивное знание которых позволяет носителям языка

¹ Мы не хотим этим сказать, что при восприятии текста имеет место собственно «проговаривание» — скрытое или явное. Об этом см., например: W. A. Wickelgren. Acoustic similarity and retroactive interference in short-term memory. «Journal of verbal learning and verbal behaviour», 1965, v. 4, № 1; R. Conrad. Acoustic confusions in immediate memory. «British Journal of Psychology», 1963, v. 5, № 6.

² О понятии «произносимости» см.: B. J. Underwood and R. W. Schulz. Meaningfulness and verbal learning. Chicago, 1960.

оценивать элементы текста как «более произносимые» или «менее произносимые». Проблема произносимости для авторов данной работы представляла интерес главным образом в связи с данными, полученными в ходе цикла экспериментов по изучению зависимости результатов распознавания элементов текста от некоторых их характеристик³. Поэтому вопрос о Пр рассматривался прежде всего применительно к тем буквосочетаниям, для которых в этих экспериментах были накоплены разнообразные данные. Эти буквосочетания представляли собой русские триграммы следующих типов: сочетания трех согласных графем⁴ (ССС) и сочетания согласных и гласных графем вида ГСС, ССГ, ГСГ и ГГС⁵.

Авторы стремились ответить на следующие вопросы:

1. Каковы суждения ИИ о Пр различных триграмм?
2. Какова связь между типом сочетания графем и оценками Пр?
3. Связаны ли оценки Пр со следующими характеристиками триграмм:

а) частотой, подсчитанной по письменным источникам (далее — «объективная частота» $F_{об}$); б) субъективными оценками частот триграмм ($F_{суб}$).

II. М е т о д и к а э к с п е р и м е н т а

1. Предварительный отбор стимулов.

В соответствии с планом эксперимента следовало отобрать группу стимулов, для которых были известны объективные и субъективные оценки их частоты.

В доступной авторам литературе не было найдено статистических данных о частотах русских триграмм, поэтому для получения объективных оценок частот триграмм необходимо было провести специальные подсчеты. Подсчеты проводились по выборке объемом 10,5 тыс. триграмм. По результатам подсчета было выделено 100 наиболее частых триграмм (с частотой по данной выборке от 15 до 63), которые и считались «объективно частыми». Любая триграмма, не засвидетельствованная в выборке (но разрешенная закономерностями русского языка), объявлялась «объективно редкой». Можно показать, что при данном объеме выборки полу-

³ Р. М. Фрумкина, А. П. Василевич и М. С. Мацковский. К вопросу о единицах принятия решений при зрительном распознавании элементов текста. — НТИ, 1968, № 5, сер. 2.

⁴ Здесь и далее авторы пользуются терминологией В. Н. Топорова, см.: В. Н. Топоров. Материалы для дистрибуции графем в письменной форме русского языка. «Структурная типология языков». М., 1966.

⁵ Авторы обращают внимание читателя на то, что они не используют понятие фонетического или фонологического слога и не рассматривают вопрос о правилах чтения данного буквосочетания. В частности, ИИ не сообщается место ударения в триграммах типа *ооо*, не говорится о наличии или отсутствии оглушения в триграммах типа *сав* и т. д.

ченное деление триграмм на группы «частые» и «редкие» является достаточно надежным⁶.

Далее следовало составить такой набор стимулов, в котором все пять интересующих нас типов буквосочетаний (ССС, ГСС, ССГ, ГСГ и СГС) были бы в равной мере представлены триграммами из групп «объективно частые» и «объективно редкие». Всего было отобрано по 6 триграмм каждого типа (3 «частых» и 3 «редких»). Набор, включающий, таким образом, 30 триграмм, представлен в табл. 1. «Объективно частые» триграммы в графе $F_{об}$ отмечены знаком плюс, а «объективно редкие» — знаком минус.

2. Получение субъективных оценок частот для отображенных триграмм.

Для получения $F_{суб}$ триграмм был применен метод шкалирования. Испытуемым предлагался набор стимулов, отпечатанных на отдельных карточках, и шкала употребительности следующего вида:

ник гда	очень редко	скорее редко, чем часто	не очень редко, но и не часто	скорее часто, чем редко	весьма часто	на каждом шагу
---------	----------------	----------------------------------	--	----------------------------------	-----------------	----------------------

Задача ИИ заключалась в том, чтобы соотнести каждую триграмму с некоторой категорией шкалы в соответствии со своим субъективным представлением о частоте встречаемости данной триграммы. В качестве ИИ в эксперименте участвовало 30 студентов МГУ.

По распределению оценок для каждой триграммы была вычислена медиана, которая и рассматривалась как субъективная оценка частоты данной триграммы, усредненная по всей группе ИИ. Медианы приводятся в графе $F_{суб}$ табл. 1.

3. Проведение эксперимента по получению оценок произносимости.

Для получения оценок Пр нами был применен метод шкалирования. Как и в описанном выше опыте по получению $F_{суб}$ частот триграмм, ИИ получали пачку карточек, на которых были отпечатаны стимулы (по одному на карточке). Кроме того, ИИ получали лист бумаги, разделенный на 6 ячеек, и инструкцию:

«Вам предстоит оценить данные трехбуквенные сочетания (триграммы) с точки зрения того, какие из них произносить „легче“, а какие „труднее“. Например, многие полагают (и мы с ними согласны), что сочетание *rho* произносить труднее, чем *xpo*, а сочетание *zoa* — труднее, чем *oza*, и т. п.

Вам будет дан лист бумаги, разделенный на ячейки. Чтобы

⁶ Подробно об этом см.: А. П. Василевич и М. С. Мацковский. Субъективные оценки как метод получения сведений о частоте русских трехбуквенных сочетаний. «Вопросы лингвостатистики и автоматизации лингвистических работ», серия 3. М., 1970.

Вы представили себе, что такое труднопроизносимые триграммы, мы поместили в ячейку № 1 два примера таких буквосочетаний: *йцх* и *шфж*. В оставшиеся пять ячеек Вы должны разложить предложенные Вам триграммы так, чтобы в ячейку № 2 попали наиболее труднопроизносимые из них (но более „легкие“, чем *йцх* и *шфж*); в ячейку № 3 — триграммы, которые произносятся легче, чем те, которые попали в ячейку № 2, и т. д. В последнюю справа ячейку попадут, таким образом, те буквосочетания, которые, с Вашей точки зрения, в пределах данного списка произносятся легче всего.

Для того чтобы решить, насколько трудно или легко произнести данную триграмму, прочтите несколько разных триграмм про себя и сравните их между собой. После этого приступайте к работе.

Разложив все карточки, проверьте еще раз Ваши оценки. Если Вы изменили Ваше мнение и хотите переложить карточки из ячейки в ячейку, это разрешается».

Экспериментатор зачитывал инструкцию, после чего ИИ приступали к работе. Время работы с карточками не фиксировалось. Всего в эксперименте участвовало 30 студентов-филологов.

Триграмма, помещенная испытуемым в данную категорию шкалы (ячейку на разграфленном листе), получала оценку, соответствующую номеру данной ячейки. В качестве средней оценки Пр данной триграммы вычислялась медиана распределения оценок.

Распределения оценок и вычисленные медианы для каждой триграммы набора приводятся в табл. 1.

III. Результаты и обсуждение

1. Оценки Пр.

Из данных табл. 1 следует, что ИИ без затруднений оценивают предложенные им триграммы по Пр, проявляя значительное согласие в оценках.

Шкала возможных оценок имела деления от 1 до 6. При этом до опыта авторы предполагали, что оценка 1 скорее всего не будет приписана ни одному из стимулов, так как все 30 триграмм представлялись более произносимыми, чем «стандартные» триграммы *йцх* и *шфж*, с помощью которых был задан левый конец шкалы. Однако 6 ИИ приписали некоторым триграммам оценку 1.

В большинстве случаев распределение оценок ИИ для данной триграммы имело выраженный максимум в одной точке, т. е. было одномодальным (см., например, *дст*, *мен* и *ане*), а разброс оценок вокруг максимума был незначителен. Если принять, что «единство мнений» ИИ характеризуется попаданием в два соседних разряда не менее чем 75% оценок, то единство мнений распространяется на 25 триграмм из 30,

Напомним, что ИИ не сообщалось, как следует читать предложенные им буквосочетания. В частности, это означало, что триграмма типа *анв* могла быть прочитана как [анв] и как [анф], триграмма *сав* — как [сав] и [саф] и т. д. Очевидно, что отсутствие инструкций на этот счет могло только усложнить задачу ИИ. Тем не менее при оценке Пр данных триграмм ИИ проявляли большое согласие между собой (см. табл. 1). Таким образом, следует думать, что либо ИИ читали триграмму одним и тем же способом (хотя мы не знаем, какие именно), либо они читали триграммы этого типа по-разному, но Пр отдельных вариантов оценивалась одинаково. Очевидно, что субъективное мнение ИИ о том, что данная триграмма обладает большей (меньшей) Пр, чем какая-либо иная триграмма, действительно основывается на некотором наборе признаков, который является общим для разных лиц — носителей русского языка. Несмотря на то, что мы не можем пока назвать эти признаки, несомненно, что они являются физической реальностью.

Несомненный интерес представляло бы получить данные о надежности оценок Пр, т. е. выяснить, насколько различаются между собой оценки, полученные от разных групп ИИ (но однородных с точки зрения степени владения языком). Объем описанного эксперимента не позволил нам этого сделать.

Полезно будет привести здесь данные о надежности оценок Пр, полученные Андервудом и Шульцем на материале английских триграмм⁷. Эти авторы получили оценки Пр для 239 триграмм, опросив 181 ИИ. Несколько позже для другого набора триграмм (на этот раз их было 95) были также получены оценки Пр — от другой группы ИИ (35 чел.). Общая часть двух наборов составила 31 триграмму. Коэффициент корреляции моментов произведений между оценками Пр этих триграмм в двух опытах оказался равным 0,98.

2. Связь оценок Пр с типом буквосочетаний.

Как мы указывали, в нашем наборе было представлено пять типов буквосочетаний: I — СГС, II — ГСГ, III — ССГ, IV — ГСС, V — ССС. В табл. 2 триграммы набора сгруппированы по типам. Из таблицы видно, что наименьшие значения медиан получены для триграмм типа V, что вполне согласуется с интуитивным представлением о сочетании из трех согласных как о труднопроизносимом. Для того чтобы сделать более содержательные заключения о влиянии типа буквосочетания на оценку Пр, необходимо провести статистический анализ полученных оценок. Если бы тип буквосочетания не был связан с оценкой Пр, то между оценками Пр отдельных типов не должно было бы наблюдаться статистически существенного различия.

⁷ B. J. Underwood and R. Schulz. Указ. соч.

Следует иметь в виду, что для проверки существенности различия полученных оценок Пр не могут быть использованы обычные параметрические критерии типа t -критерия Стьюдента, поскольку в качестве оценок Пр используются медианы, представляющие собой числа на порядковой шкале, и, следовательно, к ним не применимы линейные математические операции типа сложения и т. п. В силу этого для решения вопроса о том, является ли наблюдаемое в эксперименте различие между оценками Пр любых двух типов триграмм существенным или случайным, следует воспользоваться порядковыми критериями.

В нашем случае мы применили критерий Х Ван дер Вардена. Сущность этого критерия заключается в том, что после того, как две группы стимулов упорядочены по медианам, составляется общий вариационный ряд, где все стимулы располагаются по возрастанию их медиан. При этом обычно получается, что медианы стимулов сравниваемых групп в этом ряду до известной степени перемешаны. Нулевая гипотеза состоит в том, что медианы обеих групп принадлежат к одной совокупности. Для того чтобы проверить эту гипотезу, следует вычислить величину X , которая является функцией от степени чередования значений медиан двух групп в вариационном ряду. В том случае, когда эта величина превышает некоторое критическое значение, нулевая гипотеза отвергается⁸.

В нашем эксперименте критическое значение X составляет 2,86 для 95% уровня значимости и 3,29 для 99% уровня значимости. При сравнении медиан для типов III и IV было получено значение X , равное 2,32, что не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу⁹.

При сравнении медиан любой другой пары типов полученное значение X далеко превосходит 3,29, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу на более, чем 99% уровне. Итак, мы получили, что наиболее произносимыми считались триграммы типа I (СГС), далее следовали триграммы типа II (ГСГ), затем триграммы типов III (ССГ), IV (ГСС) и, наконец, наименее произносимыми считались триграммы типа V — ССС.

3. Связь оценок Пр с объективной частотой триграмм ($F_{об}$).

Из предыдущего раздела следует, что оценки Пр в значительной мере зависят от того, к какому типу сочетания графем относится данная триграмма. Очевидно, что при исследовании связи между оценками Пр и $F_{об}$ следовало бы учитывать тип сочетания, т. е. анализировать соотношение между $F_{об}$ и оценками Пр для каж-

⁸ Более подробное изложение процедуры подсчета X см.: Ван дер Варден н. Математическая статистика. М., 1960.

⁹ Поскольку полученный результат представлялся сомнительным, мы провели дополнительный эксперимент на значительно более обширном материале и получили, что оценки Пр триграмм типа III существенно выше оценок Пр триграмм типа IV.

дого из типов сочетаний в отдельности. В нашем случае это привело бы к тому, что в пределах каждого типа следовало бы сравнивать 3 частых по F_{06} триграммы с тремя триграммами, редкими по F_{06} . Однако применение порядковых критериев предполагает больший объем сравниваемых групп. Это вынуждает нас отказаться от сравнения F_{06} и оценок Пр по отдельным типам и попытаться выявить наличие связи между этими характеристиками для всего набора в целом. Такой подход в нашем случае оправдывается тем, что в нашем наборе частые и редкие по F_{06} триграммы представлены триграммами всех пяти типов в равной степени. Мы располагаем, таким образом, двумя классами триграмм, противопоставленными по F_{06} , и оценками Пр для множества триграмм, принадлежащих каждому из классов. Если бы оценки Пр и F_{06} были коррелированы, то в случае положительной корреляции класс «частых» триграмм имел бы в среднем большие оценки Пр, чем класс «редких» (а в случае отрицательной корреляции — наоборот, меньшие оценки Пр). Для сравнения оценок Пр, приписанных 15 «частым» триграммам, и оценок Пр, приписанных 15 «редким» триграммам, мы применили критерий медиан¹⁰. Принцип применения этого критерия состоит в следующем. Имеется две группы медиан (не обязательно равного объема). Для всего массива данных (в нашем случае — для распределения оценок всех 30 триграмм) подсчитывается «объединенная медиана» (в нашем случае она равна 4,24 — см. табл. 2). Затем выясняется, сколько медиан со значением выше и ниже полученного значения объединенной медианы имеется в каждой из двух групп. Нулевая гипотеза состоит в том, что обе группы медиан принадлежат к одной совокупности, и потому разность в числе медиан, превышающих величину объединенной медианы в каждой группе (и соответственно разность в числе медиан, меньших, чем объединенная медиана) не должна превосходить некоторой величины, обусловленной выбранным уровнем значимости. Если же эта разность превышает выбранную величину, то нулевую гипотезу следует отвергнуть на данном уровне значимости.

Расчет по критерию медиан показывает, что нулевая гипотеза не может быть отвергнута ($\chi^2 = 1,24$), что означает, что оценки Пр класса «частых» (по F_{06}) триграмм не отличаются от оценок Пр класса «редких» триграмм. Таким образом, в пределах всего набора в целом объективные оценки частоты триграммы и оценка ее Пр не коррелированы.

4. Связь между оценками Пр и оценками $F_{\text{суб}}$ триграмм.

Было показано¹¹, что индивид — носитель языка способен давать субъективные оценки частот триграмм на неслучайном уровне.

¹⁰ S. Siegel. Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York, 1956.

¹¹ B. J. Underwood and R. Schulz. Указ. соч.; А. П. Васильевич и М. С. Мацковский. Указ. соч.

Представляет интерес выяснить, связаны ли оценки Пр триграмм с их оценками по $F_{\text{суб}}$. Иными словами, нас интересует следующее: оцениваются ли более произносимые триграммы как субъективно более частые или, что для нашей постановки задачи равнозначно, оцениваются ли субъективно частые триграммы как более произносимые?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует, очевидно, рассмотреть группу триграмм, которые бы не отличались (или достаточно мало отличались между собой) по объективным оценкам частоты, и потому, при прочих равных условиях, следовало бы ожидать, что они будут достаточно мало отличаться между собой и по $F_{\text{суб}}$. Тогда, если связь между Пр и $F_{\text{суб}}$ существует, то триграммы, одинаковые по $F_{\text{об}}$, но разные по Пр, будут отличаться по $F_{\text{суб}}$ в силу влияния фактора Пр.

Чтобы показать это в эксперименте, следует располагать такими группами триграмм, относительно которых можно было бы утверждать, что они не различаются по $F_{\text{об}}$, т. е. по крайней мере различаются настолько мало, что это не может отразиться на субъективных оценках и что наблюдаемое различие в $F_{\text{суб}}$ заведомо не может быть отнесено за счет различия в $F_{\text{об}}$. Наши данные обеспечивают только надежное различие по $F_{\text{об}}$ между отдельными классами триграмм, именно — между классом частых и классом редких. Различие по частоте внутри этих классов, несомненно, есть, и оно может быть достаточно значительным, чтобы соответствующие $F_{\text{суб}}$ различались между собой на случайном уровне. Таким образом, мы не можем доказать, что различие по $F_{\text{суб}}$ между триграммами, которые в нашей работе считались одинаковыми по $F_{\text{об}}$, порождается их различием по Пр. Можно, однако, показать, что в классе объективно редких триграмм как субъективно более частые оцениваются более произносимые триграммы.

В табл. 3 приведены ранги по оценкам Пр и по $F_{\text{суб}}$ для класса «объективно редких триграмм», т. е. тех, которые в табл. 1 обозначены знаком (—). Подсчет коэффициента ранговой корреляции дает значение $\rho = 0,94$, т. е. значимую корреляцию на более, чем 99% уровне. Мы тем самым показали, что имеет место ковариация субъективных оценок частоты и Пр. Для того чтобы сделать более сильное утверждение, надо было бы показать, что если редкие по $F_{\text{об}}$ триграммы оцениваются как хорошо произносимые, то с большой степенью уверенности можно утверждать, что они будут оценены как частые по $F_{\text{суб}}$, и одновременно, что триграммы, частые по $F_{\text{об}}$, но имеющие низкие оценки Пр, будут почти наверное оценены как редкие по $F_{\text{суб}}$. Для доказательства этого положения нужно было бы предпринять особый эксперимент; наш материал дает возможность лишь привести отдельные примеры зависимости между Пр и $F_{\text{суб}}$.

Условимся считать «субъективно частыми» триграммы, имеющие по $F_{\text{суб}}$ ранг от 1 до 15 (в нашем эксперименте соответствует оценкам от 4,00 до 5,60) и обозначать их знаком (+) в графе $F_{\text{суб}}$. «Субъективно редкими» — обозначаем знаком (—) — условимся считать триграммы с рангами от 16 до 30 (оценки от 1,25 до 4,00) (см. табл. 4). Условимся далее считать «хорошо произносимыми» триграммы с рангами по Пр от 1 до 15 (оценки Пр от 4,60 до 5,44) — обозначены знаком (+) в графе Пр — и «плохо произносимыми» (оценки от 1,52 до 4,50) триграммы с рангами от 16 до 30 — обозначены знаком (—).

В табл. 4 показано, на какие группы распадается обследованный нами набор триграмм по значениям $F_{\text{об}}$, $F_{\text{суб}}$ и Пр.

В строках 5 и 6 приведены данные, говорящие в пользу гипотезы о наличии связи между $F_{\text{суб}}$ и Пр. Можно думать, что триграммы *дст* и *ств*, будучи объективно частыми, оцениваются как субъективно редкие из-за того, что они являются плохо произносимыми. Что касается триграмм *тар*, *ури*, *нав*, то здесь наблюдается как раз обратная картина: они оцениваются как хорошо произносимые, поскольку представляют характерный для русского тип слога, и потому, видимо, будучи объективно редкими, оцениваются как субъективно частые.

С другой стороны, в строках 3 и 4 мы имеем противоположные примеры. Сравнительно трудно произносимые триграммы *тво*, *обр*, *изв*, *стр* оцениваются тем не менее как субъективно частые, т. е. в соответствии с их объективной частотой. Также в соответствии с $F_{\text{об}}$ редкими по $F_{\text{суб}}$ оказываются легко произносимые триграммы *сав*, *исо*, *есе*, т. е. высокая оценка Пр не мешает ИИ оценить их как субъективно редкие.

Некоторые выводы

Авторы настоящей работы не ставили своей задачей получение оценок Пр русских триграмм в целом. Они не предполагали также дать сколько-нибудь полного анализа понятия Пр или найти его фонетические или фонологические корреляты. Представляется, однако, что полученные результаты позволяют сделать следующие выводы, которые в дальнейшем могли бы послужить отправной точкой для более глубоких исследований.

1. Оценки Пр, даваемые разными ИИ, основываются на некотором наборе признаков, который является общим для носителей русского языка и соответствует определенной физической реальности. Это позволяет ставить вопрос о составлении таблиц Пр русских буквосочетаний, которые могли бы быть использованы при проведении различных экспериментов, где фактор произносимости может играть существенную роль, и потому требуется или выравнять используемые стимулы по Пр, или определенным образом упорядочить их. Сюда относятся самые различные

Таблица 1

Тип	Триграммы	$F_{об}$	$F_{суб}$	Пр	Распределение оценок Пр					
					1	2	3	4	5	6
I СГС	<i>мен</i>	+	5,29	5,44	0	0	0	1	2	27
	<i>сав</i>	—	3,86	5,38	0	0	0	1	5	24
	<i>тар</i>	—	4,40	5,38	0	0	0	3	3	24
	<i>тав</i>	+	4,00	5,25	0	0	0	0	10	20
	<i>нав</i>	—	4,80	5,39	0	0	0	3	4	23
	<i>дес</i>	+	4,00	5,25	0	0	0	3	6	21
II ГСГ	<i>ова</i>	+	5,20	5,29	0	0	0	0	9	21
	<i>ово</i>	+	5,10	5,21	0	0	0	0	11	19
	<i>ири</i>	—	4,67	5,12	0	0	1	1	11	17
	<i>исо</i>	—	2,62	5,06	0	0	1	2	11	16
	<i>есе</i>	—	3,80	4,83	0	0	2	3	12	13
	<i>ере</i>	+	4,57	4,73	0	0	1	3	15	11
III ССГ	<i>сво</i>	+	5,60	5,06	0	0	3	4	7	16
	<i>сте</i>	+	5,10	4,78	0	0	1	7	9	13
	<i>тво</i>	+	5,41	4,50	0	0	2	8	10	10
	<i>ста</i>	—	2,57	4,08	0	0	6	8	12	4
	<i>сте</i>	—	2,60	3,90	0	0	6	10	11	3
	<i>тие</i>	—	1,75	2,57	1	6	14	8	1	0
IV ССС	<i>ост</i>	+	5,31	4,60	0	0	5	4	10	11
	<i>онд</i>	—	2,44	3,64	0	1	7	11	5	6
	<i>обр</i>	+	4,87	3,50	0	0	10	10	6	4
	<i>изв</i>	+	5,00	3,46	0	0	9	13	5	3
	<i>ано</i>	—	2,12	2,70	0	1	20	7	2	0
	<i>атв</i>	—	1,67	2,55	0	5	18	4	3	0
V ССС	<i>стр</i>	+	5,50	2,45	0	10	11	3	3	3
	<i>ств</i>	+	3,68	2,22	0	13	9	6	2	0
	<i>стр</i>	—	2,29	1,82	1	17	7	3	2	0
	<i>рст</i>	—	1,57	1,61	1	23	6	0	0	0
	<i>дст</i>	+	1,25	1,52	1	27	2	0	0	0
	<i>тбл</i>	—	1,33	1,52	2	25	3	0	0	0

задачи, где изучается запоминание неосмысленных слогов, их воспроизведение при распознавании и т. д.

2. Тип сочетаний графем существенно влияет на оценку Пр. В пределах нашего набора наиболее легко произносимыми оказались триграммы типов I (СГС) и II (ГСГ), а самыми трудно произно-

Таблица 2

Тип	Оценки						Медиана
	1	2	3	4	5	6	
V	5	115	38	12	7	3	1,73
IV	0	7	69	49	31	24	3,29
III	1	6	32	45	50	46	4,12
II	0	0	5	9	69	97	5,07
I	0	0	0	11	30	139	5,35
Объедин. данные	6	128	144	126	187	309	4,24

Таблица 3

Триграмма	Ранг по Пр	Ранг по $F_{суб}$	Триграмма	Ранг по Пр	Ранг по $F_{суб}$
<i>сав</i>	1—2	4	<i>онд</i>	9	9
<i>тар</i>	1—2	3	<i>анв</i>	10	11
<i>нав</i>	3	1	<i>тне</i>	11	12
<i>ири</i>	4	2	<i>атв</i>	12	13
<i>исо</i>	5	6	<i>втр</i>	13	10
<i>есе</i>	6	5	<i>рст</i>	14	14
<i>ета</i>	7	8	<i>тбл</i>	15	15
<i>ете</i>	8	7			

Таблица 4

№ п/п	$F_{об}$	$F_{суб}$	Пр	Триграммы	Число триграмм
1	+	+	+	<i>мен, дес, ова, ово, ере, сво, ств, ост</i>	8
2	—	—	—	<i>ета, ете, тне, онд, втр, анв, атв, рст, тбл</i>	9
3	+	+	—	<i>тво, обр, изв, стр</i>	4
4	—	—	+	<i>сав, iso, есе</i>	3
5	—	+	+	<i>тар, нав, ири</i>	3
6	+	—	—	<i>ств, дст</i>	2
7	+	—	+	<i>тав</i>	1

симыми — триграммы типа V (ССС). Представляется, что не-тривиальным результатом можно считать тот факт, что тип I оценивается как более легко произносимый, чем тип II.

3. Обследованный авторами материал не дает возможности сделать окончательных заключений о связи оценок Pr с $F_{об}$ и $F_{суб}$ триграмм. Есть, однако, основания полагать, что между оценками Pr и $F_{суб}$ существует определенная корреляция. Для более основательного изучения этого вопроса следовало бы провести специальный эксперимент, примерный план которого обсуждался нами выше.

Р. И. Аванесов

ЗАМЕТКИ ПО РУССКОЙ ФОНЕТИКЕ

О ФОНЕМЕ /Н/

Как известно, в русском языке фонема /н/ является переднеязычной по активному органу, зубной по пассивному. При этом русское /н/, как и другие зубные фонемы, носит дорсальный характер, т. е. образуется не кончиком языка, а примыкающей к нему передней частью спинки языка, которая смыкается с верхними зубами и нижним краем альвеол. Однако является ли признак переднеязычности постоянным и неизменным или он может в определенных позициях изменяться? По нашим наблюдениям, этот признак не является постоянным: в определенных позициях образование фонемы /н/ может отодвинуться назад, и тогда она реализуется не в переднеязычном [н], а в заднеязычном [ң] с преградой между задней частью спинки языка и мягким нёбом. В части позиций такая реализация фонемы /н/ является факультативной и притом относится обычно к разговорному, аллегровому типу произношения. В других позициях она необходима и характеризует устную речь в целом, ее фонетическую систему.

Переднеязычный согласный [н] произносится перед гласными, практически перед всеми согласными, кроме губных смычных¹, (смягчаясь перед некоторыми из них), а также на конце слова: [ныт'], [нэп], [нам], [нос], [ну]²; [в'интаво́й], [ба́ндъ], [с'в'инцо́вьй], [ава́нсъвьй], [ванза́т'], [сая́н'йвьй], [ха́ншъ], [ха́нжа́],

¹ О невозможности согласной /н/ перед смычными губными /п/, /п'/, /б/, /б'/ ввиду нейтрализации носовых фонем /н/ и /м/ перед смычными зубными и губными см.: Р. И. Аванесов. О соотносительном ряде носовых согласных по признаку «дентальность ~ лабиальность». — «Развитие фонетики современного русского языка». М., 1966, стр. 110—117.

² Здесь и ниже мы не касаемся соответствующей мягкой фонемы — /н'/, поскольку только твердая фонема /п/ может реализоваться в заднеязычном варианте.

[клѣва]; [тон], [сан], [сын], [лгун]. Выделим особо положение перед заднеязычными [к] и [г]³. Фонема /н/, следующая за ударной гласной, перед /к/ или /г/ с последующей гласной, как правило, сохраняет свое переднеязычное образование. Ср. [ба́нкъ], [дса́нкъ], [са́р'и́нкъ], [суко́нкъ], [на́нкъвы́], [то́нкъ], [са́нк'и]; [фа́лангъ], [ју́нгъ], [ту́нгъвы́], [ко́нгъ], [а́нг'ьл]⁴. При отсутствии последующей гласной, т. е. на конце слова при обычном переднеязычном [н], в небрежной аллегорической речи возможно также и заднеязычное [ң]. Имею в виду такие слова, как *ранг*, *фланг*, *бумера́нг*, *муста́нг*, *пе́ленг*, *тѣ́бинг*, *кре́кинг*, *ви́кинг*, *смо́кинг*, *бра́уни́нг*, *ши́лли́нг*, *ри́сли́нг*, *блѣ́минг*, *ринг*, *да́нсинг*, *ми́тинг*, *гонг*, *дифтѣ́нг*, *лѣ́зунг*, *ту́нг*, *Банду́нг*; *ба́нк*, *блѣ́нк*, *та́нк*, *э́вѣ́нк*, *ци́нк*. При обычном [н] — в одних из таких слов чаще, в других реже — встречается также [ң]. Заднеязычный согласный [ң] чаще встречается, кажется, в словах, несущих стилистическую окраску «иноязычных» слов, а также в словах, где фонема /н/ следует за одной из гласных заднего образования — /о/ или /у/. Ср. возможное в индивидуальном произношении [го́ңк], [ту́ңк], [дра́нгута́ңк], [ск'ѣ́т'и́ңк-р'и́ңк], [п'и́ңк-по́ңк], [в'ѣ́ткѣ́ңк] (*Вьетко́нг*), [гонкѣ́ңк] (*Гонко́нг*), [банду́ңк] (*Банду́нг*), [го́рнуң] (фамилия — *Горну́нг*). Заднеязычный [ң] встречается также нередко в конце заударного слога перед заднеязычной согласной на конце слова или перед гласной. Ср. возможное произношение [смо́к'и́ңк], [смо́к'и́ңгъ], [да́нс'и́ңк], [ста́рл'и́ңгъвы́зъ зо́ңъ], [кл'и́р'и́ңгъвы́зъ].

Во всех рассмотренных позициях согласный [ң] выступает факultативно наряду с [н]. Однако есть позиции, где употребление [ң] необходимо. Это прежде всего положение перед заднеязычной смычной (/к/ или /г/) + согласная /т/ или /ц/. Сюда относятся случаи с сочетанием носовой язычной + [кт] на конце слова ([инс'т'и́ңкт], [пу́ңкт], [ад'ју́ңкт] или перед гласной ([пу́ңкт'и́р], [инс'т'и́ңкт'и́внъ], [кѣ́нтра́лпу́ңкты́], [ку́ңкта́тър], [пла́ңкты́н]; [ва́шыңкты́н], [в'ѣ́л'и́ңкты́н], [рэ́м'и́ңкты́н]), а также случаи с сочетанием носовой язычной + [кц] перед гласной ([са́ңкцы́зъ], [пу́ңкцы́зъ], [фу́ңкцы́зъ], [сы́ңкцы́л'и́ръвы́т'], [фу́ңкцы́л'и́ръвы́т'], [пу́ңкту́ацы́зъ], [в'ѣ́ткѣ́ңкцы́]). Заднеязычный носовой обычно произносится также перед сочетанием /к/ или /г/ + /ск/ с последующей гласной в случаях типа [банду́ңкскы́], [фра́ңкскы́]. Отметим, что заднеязычный носовой [ң] закономерно появляется, видимо, только перед такими сочетаниями, которые не могут начинать собою слово, а именно — перед сочетаниями /кт/ (в начале слова имеется только *кто*), /кц/ или /гц/, /кск/ или /гск/. Если язычная носовая фонема находится перед таким сочетанием с /к/

³ Перед заднеязычной /х/ практически /н/ не употребляется. Ср. единичное [ша́нха́й].

⁴ Согласно старой норме было [а́п'г'ьл], а также [арха́н'г'ьл'ск] (с мягким [н]).

или /г/ в качестве первого элемента, которое встречается в начале слова, то она сохраняет свое переднеязычное образование. Например, [блѣкнѣты] (ср. [кнут], [кнѣбкѣ]), [блѣкрѣт] [аблѣкрѣт'илсѣ] (ср. [крот], [крѣскѣ], [ѣнгл'иѣ]) (ср. [гл'ѣнѣ]), [л'ѣнгв'ѣст], [п'ѣнгв'ѣн] (ср. [гвос'т'ѣ]).

Таким образом, фонема /н/ может реализоваться не только в звуке [н], но также и в звуке [ц]. При этом в одних положениях вариант [ц] характеризует индивидуальное произношение или отдельные слова с определенной стилистической окраской, в других он закономерен и необходим. Вариант [ц] закономерен и необходим в позиции, когда заднеязычная смычная фонема (/г/ или /к/) находится между переднеязычными зубными — после носовой /н/ и перед одной из пеносовых — /т/, /ц/, /с/. Именно в этой позиции приспособление артикуляции переднеязычной носовой фонемы /н/ к артикуляции заднеязычной смычной /г/ или /к/ оказывается необходимым. В устной небрежной речи такое приспособление может быть и в позиции, где фонема /н/ с последующей заднеязычной смычной находится перед гласной. Как видно из иллюстративного материала, описываемое явление встречается в словах иноязычного происхождения, книжно-литературных по своему характеру. Поэтому оно относится к литературному языку.

Само собою разумеется, что изложенные выше наблюдения требуют экспериментальной проверки.

Т. В. Булыгина

О РУССКИХ ДОЛГИХ ШИПЯЩИХ

Одной и той же совокупности реальных речевых событий может, как известно, соответствовать несколько различных фонологических моделей¹: так, одна и та же фонологическая система может быть описана в терминах разных единиц (например, дифференциальных признаков, фонем, фонологических слов, с одной стороны, а с другой — единиц, характеризующихся одинаковой «протяженностью», но более или менее существенно отличающихся друг от друга в силу различия исходных теоретических предположек исследования). В то же время выбор определенной еди-

¹ См.: Yen Ren Chao. The non-uniqueness of phonemic solutions of phonetic systems. «Readings in linguistics», I. Ed. 4. Chicago, 1966; В я ч. В с. И в а н о в. О приемлемости фонологических моделей. «Машинный перевод». М., 1961.

ницы описания (определенной — в обоих указанных смыслах) не снимает проблемы «неединственности фонологического решения». В целом ряде случаев одни и те же факты допускают различную интерпретацию даже в рамках единой фонологической концепции. В русской фонологической системе к таким фактам относятся прежде всего долгие шипящие, определение фонематической природы которых связано не только с решением общего вопроса об интерпретации геминированных согласных², но и с некоторыми специфическими трудностями. Как отмечает Мартине, решение этой проблемы в значительной степени зависит от позиции исследователя: перед теми лингвистами, которые придают понятию фонемы абсолютную значимость, считая, что вопрос «из скольких фонем состоит данное высказывание?» может получить лишь единственный правильный ответ, стоит задача выработки определенных критериев, позволяющих сделать тот или другой выбор; другие лингвисты, предпочитающие видеть в фонеме операционную единицу, определенный принцип анализа и классификации, хотя и отражающий языковую реальность, но в некоторых случаях допускающий произвольное решение, могут быть склонны считать долгие согласные в том или ином языке дистинктивными единицами, которые занимают промежуточное положение между простыми (краткими) согласными и гетерогенными консонантными сочетаниями. Положение меняется, как только исследователь переходит от фонологического описания определенного языкового состояния к функционально-структурной интерпретации звуковых изменений. Проблема долгих согласных, не изменяясь по существу, приобретает новый смысл и новую остроту, которых она не могла иметь на почве строго статической синхронии: речь идет теперь не о том или другом ярлыке, присваиваемом соответствующим единицам, но об обнаружении реальной роли геминат в том комплексе «давлений, притяжений и реакций», который можно назвать внутренней фонологической эволюцией языка³. Конкретно Мартине имеет здесь в виду выяснение вопроса о тенденциях развития долгих согласных, которые в определенный период языковой истории могут стремиться либо редуцироваться до согласных нормальной длительности и интенсивности (ср. *-tl-* в лат. *cattus* и *-nn-* в лат. *annus* и их испанские соответствия *-t-* и *-ñ-* в *gato* и *año*), либо, напротив, как можно более ярко проявить свою дуалистическую природу, обнаруживая, например, тенденцию к фонетической дифференциации двух компонентов долгих согласных (так, произношение [landā], вытесняющее в опреде-

² Вопросы, который, по словам Мартине, не был окончательно разрешен наиболее значительными авторитетами в области теоретической фонологии (А. Мартинет. *Du rôle de la gémination dans l'évolution phonologique. «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», 1959, Bd 12, Hf. 1—4.*

³ А. Мартинет. Указ. соч., стр. 223.

ленных социальных диалектах орфоэпическое произношение [lad-dā] французского *là-dedans*, является, как думает Мартине, знаком отрицательной реакции говорящих на возможность редукции соответствующей геминаты, не отличающейся в их сознании от любого другого сочетания согласных: /gd/ в *niguedouille*, /md/ в *samedi* или /rd/ в *mardi*.

Переходя к непосредственной теме нашей заметки, укажем теперь на специфические проблемы, возникающие в связи с фонологической интерпретацией тех фонетических сегментов, которым соответствуют на письме буквы *щ*, *сч*, *зч*, *жч*, *стч*, *здч*, *ждь*, *жж*, *жд* и которые реализуются в виде различных позиционных, а также временных и пространственных (в том числе социальных) вариантов [ш'], [ш'ч'], [с'ч'], [ж'], [жж], [ж'д'ж'], [жд'].

Из двух решений, предлагающих одинаковый и различный анализ рассматриваемых звуков, первое а priori представляется более привлекательным, так как соответствует так называемому критерию системной конгруентности⁴. Именно такое решение предлагается во всех известных нам описаниях фонематической системы русского языка: независимо от конкретных различий интерпретации долгих мягких шипящих, в пределах одной концепции и тому и другому приписывают одинаковый — монофонемный или бифонемный — статус. Между тем некоторые соображения, в том числе близкие к приведенным соображениям Мартине, заставляют усомниться в предпочтительности такого решения (об этом ниже).

Фонетическая реализация рассматриваемых единиц, соответствующая норме, признаваемой за литературную (т. е. так называемой московской норме), в принципе допускает несколько возможных способов их фонологического анализа (при условии одинаковой интерпретации глухого и звонкого):

1. Долгие мягкие шипящие рассматриваются как особые фонемы, обладающие признаками мягкости и долготы, но не коррелятивные («внепарные») по мягкости/твердости и по долготе/краткости⁵. Отсутствие соотносительных в строгом смысле слова фонем иногда подчеркивается употреблением специальных символов: /щ/ = [ш'] и /ж/ = [ж']⁶.
2. Релевантным (дифференциальным) признаком рассматриваемых фонем считается мягкость, а длительность интерпретируется как позиционно вызванный признак. Соответственно, в фоне-

⁴ Ср. замечание А. А. Реформатского о том, что «для <щ> нужна и фонологически, и морфонологически пара, чтобы система была более строгой» (А. А. Реформатский. <Ж>). «To honor Roman Jakobson». The Hague, 1967, стр. 1656).

⁵ См., например: Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров. Очерк грамматики русского литературного языка. М., 1945, стр. 61—62.

⁶ См.: А. А. Реформатский. Указ. соч.

матической транскрипции эти фонемы обозначаются без указания на долготу⁷.

3. Функционально значимым признаком считается, напротив, длительность, а мягкость рассматривается как признак, обусловленный окружением долготы. Фонематическая транскрипция, соответственно, не отмечает мягкости данных фонем⁸.
4. Долгие мягкие звуки [ш'] и [ж'] могли бы, наконец, интерпретироваться как сочетание двух аллофонов одной и той же фонемы /ш/ или /ж/, своеобразное качество которых (мягкость) является комбинаторным (т. е. обусловленным окружением друг друга)⁹.

Первый из упомянутых способов описания следует, по-видимому, считать по крайней мере неэкономным (он противоречит принципу «минимальных определений», по которому в содержание данной фонемы входят признаки, необходимые и достаточные для того, чтобы отличить ее от любой другой фонемы). Действительно, мягкость в комбинации с признаками передненёбности и фрикативности однозначно предсказывает (имплицитует) признак долготы, а долгота в сочетании с теми же признаками предполагает признак мягкости. Таким образом, один из этих признаков является, очевидно, избыточным. Ср. справедливые замечания М. В. Панова: «Если одно звуковое качество (или их совокупность) в данном языке влечет неизбежно другое качество, то это последнее фонематически несущественно, оно не должно приниматься во внимание при анализе системы языка как всякое вынужденное качество звука. Мягкость передненёбных фрикативных всегда влечет за собой их длительность — последнее качество должно быть снято как самостоятельный признак фонемы: оно лишь „подкрепляет“, подчеркивает другое качество — мягкость, а не выступает как особый различитель звуков»¹⁰. Следует в то же время заметить, что автор не обосновывает эксплицитно выбор мягкости в качестве релевантного признака рассматриваемых фонем. Ведь и длительность передненёбных фрикативных (если

⁷ См., например: М. В. П а н о в. Русская фонетика. М., 1967, стр. 103.

⁸ См., например: Л. И. Б о г о р а з. О нейтрализации и архифонеме в связи с согласными архифонемами русского языка. «Проблемы структурной лингвистики». М., 1963, стр. 153.

⁹ Ср. статью Л. Р. Зиндера «Фонематическая сущность долгого палатализованного [š':] в русском языке» («Филол. науки», 1963, № 2), в которой предлагается рассматривать глухой долгий шипящий как сочетание фонем /š/ и /č/. Вопросы о фонематической природе [ж'] автор не касается, хотя и отмечает, что в системе русского языка глухой и звонкий долгие шипящие «стоят совершенно особняком» (следует ли думать, что автор склонен давать звонкому монофонемную трактовку?). — Двухфонемная интерпретация иногда предлагается только в отношении варианта [ш'ч'] ([сч']), рассматриваемого в качестве реализации фонем /шч/, /сч/, /зч/ (см.: Г. А. Б а р и н о в а. О соотношении [ж'] и [ш']. «Развитие фонетики современного русского языка». М., 1966, стр. 153).

¹⁰ М. В. П а н о в. Указ. соч., стр. 311.

они находятся не на стыке морфем и не должны рассматриваться как двуфонемные сочетания) всегда влечет за собой их мягкость. Можно поэтому считать, что именно мягкость не является самостоятельным признаком фонем, а лишь «подкрепляет», подчеркивает другое качество — длительность.

Это последнее решение мы были бы склонны считать предпочтительным из тех двух, которые предлагают однофонемную трактовку [ш'] и [ж'] и при этом избегают избыточности описания. Оно, в частности, находилось бы в соответствии с интерпретацией признака мягкости/твердости как нерелевантного, избыточного и в других комбинациях признаков, а именно — в составе фонем /к/, /г/, /д/, /ч/ и /ц/, а также — при данном способе описания — фонем /ш/ и /ж/. Оно снимало бы, кроме того, необходимость специально обосновывать особое отношение между /ш/ — /ш'/ и /ж/ — /ж'/ по сравнению с отношением между другими, безусловно фонематически твердыми и мягкими согласными¹¹, как это приходится делать М. В. Панову, который, вполне убедительно опровергая некоторые из доводов против коррелятивности /ш'/ и /ж'/ с соответствующими твердыми по признаку мягкости/твердости¹², все же признает другие доводы достаточно основательными для того, чтобы говорить об определенной фонематической исключительности согласных /ш/ и /ж/, пусть отделенных от других твердых согласных «не каменной стеной», а всего лишь «листом папирусной бумаги».

В то же время интерпретация рассматриваемых единиц как фонологически долгих явилась бы объяснением того, «почему они позиционно ведут себя иначе, чем другие долгие согласные, которые надо считать сочетаниями фонем»¹³. Как кажется, проще предполагать, что определенные особенности поведения фонем связаны с фонологически существующим свойством, чем с «собственным, хотя и нерелевантным признаком», как квалифицирует долготу мягких шипящих М. В. Панов¹⁴ (это определение представляется нам не вполне ясным). Впрочем, особенности позиционного поведения, о которых идет речь (а именно возможность сочетания с другим согласным в пре-

¹¹ Об особенностях фонологического и морфонологического поведения /ш/ и /ж/ по сравнению с другими твердыми согласными см.: М. В. Панов. Указ. соч., стр. 311—315; А. А. Реформатский. Указ. соч., стр. 1653.

¹² К числу убедительных возражений против невозможности рассматривать [ш'] и [ж'] как реализацию фонем, прямо противопоставленных фонемам /ш/ и /ж/, относятся цитированные выше замечания М. В. Панова. Однако, как было сказано выше, сам факт коррелятивности соответствующих фонем еще не дает оснований для определения «марки корреляции», т. е. того единственного признака, который их непосредственно противопоставляет друг другу.

¹³ М. В. Панов. Указ. соч., стр. 88.

¹⁴ Там же.

делах одной морфемы), характеризуют только фонему, представленную звуком [ш'], в то время как ее предполагаемый звонкий коррелят, напротив, в пределах одной морфемы с другим согласным не сочетается¹⁵, т. е. «ведет себя» совершенно так же, как те «долгие» согласные, которые «надо считать сочетаниями фонем».

Это последнее обстоятельство заставляет внимательнее отнестись к четвертому из упомянутых выше возможных решений при определении фонематической природы долгого звонкого шипящего и рассмотреть возможность истолкования [ж'] как реализации двух аллофонов фонемы /ж/, оставляя за собой право на однофонемную интерпретацию [ш'].

Такое истолкование не только соответствовало бы упомянутому только что различию между [ш'] и [ж'] и сходству последнего с двуфонемными сочетаниями одинаковых согласных, но и явилось бы объяснением уже давно отмечавшейся исследователями тенденции к твердому произношению звонкого долгого шипящего, тенденции, прямо противоположной той, которая действует в отношении произношения [ш'], все еще продолжающего вытеснять произношение [ш'ч'] (в том числе иногда и на стыках морфем, т. е. в тех случаях, когда речь идет о сочетаниях фонем /зч/ или /сч/)¹⁶. Другие объяснения все более распространяющегося твердого произношения звонкого долгого шипящего, а именно: 1) изолированное положение фонемы /ж'/ в русской консонантной системе, 2) влияние написания и 3) выравнивание морфологических чередований¹⁷ — едва ли убедительны, так как все это имеет отношение и к соответствующей глухой фонеме, которая, однако, не обнаруживает стремления «ярче проявить свою дуалистическую природу». В самом деле: 1) степень изолированности предполагаемых фонем /ж'/ и /ш'/, очевидно, одинакова; 2) противоречие между произношением и орфографией наблюдается во многих случаях изображения [ш'] буквосочетаниями *сч*, *зч* — как в пределах од-

¹⁵ Расширительное толкование возможности сочетания сонорных с [ш'] как свидетельства об особенностях фонематической природы не только [ш'], но и [ж'] (ср.: М. В. П а н о в. Указ. соч., стр. 88) может быть объяснено лишь заранее принятой предпосылкой фонологической однородности рассматриваемых единиц.

¹⁶ Г. А. Б а р и н о в а. Указ. соч., стр. 33 и сл. — Впрочем, по наблюдениям С. Н. Боруновой (см.: С. Н. Б о р у н о в а. Сочетания /ш'ч'/ и /ш'/ на границах морфем. «Развитие фонетики современного русского языка», стр. 55—71), не противоречащим наблюдениям Г. А. Бариновой, в случаях ясного осознания морфемного шва двуфонемные сочетания /сч/, /зч/ реализуются в виде звукосочетаний [сч'] или [ш'ч']. Но это как раз является косвенным доказательством того, что и произношение [жж'] свидетельствует о двуфонемности соответствующей единицы.

¹⁷ Г. А. Б а р и н о в а. Указ. соч., стр. 36—37.

ной морфемы, так и на морфемных границах ¹⁸ (ср. *счастье, счеты, смазчик, извозчик* и т. п.); что касается того обстоятельства, что в русском алфавите для [ш'] имеется особая буква, а для [ж'] — нет, обстоятельства, которые некоторые исследователи склонны считать случайным, но оказывающим соответствующее влияние на сознание говорящих ¹⁹ и лингвистов ²⁰, то нельзя ли допустить здесь обратную зависимость, т. е. считать, что [ш'] потому и имеет специальное обозначение, что представляет одну фонему ²¹ — в отличие от единицы, которая реализуется в виде [ж'] или [ж] и является, по нашему предположению, двуфонемным сочетанием? 3) «выравниванию морфологических чередований» соответствовало бы не только произношение [ж] вместо [ж'], заменяющее «необычные для русского языка чередования <зд>/<ж'>, <зг>/<ж'> обычными морфологическими чередованиями <д>/<ж>, <г>/<ж> типа *сердить — сержу, двигать — движем* (ср. <јзд'им>/<јж'у>, <брызгал>/<брыж'у> — при произношении [ж'] и <јзд'им>/<јзжу>, <брызгал>/<брызжу> — при произношении [ж])» ²², но и произношение [ш'ч'] или [сч'] в случаях типа *искать / ищу, густо / гуще*, которое привело бы к замене «необычных» для русского языка чередований <ск>/<ш'> обычными чередованиями <к>/<ч>, <т>/<ч> типа *стук — стучу, крутой — круче* и т. п. ²³

Таким образом, названные причины не могут служить объяснением произношения [жж] (наталкивающего на мысль, что оно является реализацией двуфонемного сочетания), так как все они должны были бы влиять на аналогичное направление процесса реализации соответствующей глухой фонемы, что, однако, не имеет места.

Иная по сравнению со [ш'] фонематическая интерпретация [ж'] позволила бы также объяснить различные тенденции развития этих двух фонетических единиц в говорах (ср. интересные наблюдения Р. И. Аванесова об изменениях реализации глухого и

¹⁸ Можно было бы полагать, что произношение [ш'] вместо «более естественного» в данном случае [ш'ч'] или [сч'] объясняется влиянием реализации [ш'], представляющей широко распространенную фонему, /ш'/.

¹⁹ Ср. цитированное место статьи Г. А. Бариновой.

²⁰ Ср.: Л. Р. Зиндер. Указ. соч., стр. 137.

²¹ Кажется, то же имеет в виду А. А. Реформатский, когда, процитировав замечание Л. Р. Зиндера относительно того, что неверное, по мнению последнего, предположение о монофонемности [ш'] возникло «только благодаря тому, что в русской азбуке имеется буква *щ*», пишет: «Мы полагаем, что как раз наоборот» (А. А. Реформатский. Указ. соч., стр. 1652). Но тогда естественно было бы полагать, что отсутствие в русской азбуке особого обозначения соответствующего звонкого шипящего столь же значимо.

²² Г. А. Баринова. Указ. соч., стр. 37.

²³ Ср.: Л. В. Щерба. Теория русского письма. — В кн.: Л. В. Щерба. Избр. работы по русск. языку. М., 1957, стр. 171—172.

звонкого, из которых первый — внутри каждой данной системы — всегда как бы отстает на один шаг от второго ²⁴).

Наконец, двуфонемная интерпретация [ж'] (или [ж]) подвела бы префиксальные производные глагола *жечь* ([ж']) начинает корень только в формах этого глагола) под общую закономерность русской морфологии, по которой в приставочных формах глаголов с беглой гласной в корне наблюдается чередование «вокализованной» и «невокализованной» форм приставок — последняя фигурирует в тех случаях, когда приставка сочетается с корнями, начинающимися комбинацией согласных. Ср.: *разжигать, разжечь, но разожгу, разожжет, разожженный; разжигать, разжечь, но разожмет; расшивать, расшить, расшитый, но разошьет; растирать, растереть, растертый, но разотрет; рассчитывать, расчесть, но разоцтет* и т. п. Представляется, что различная фонематическая трактовка звуков [ш'] и [ж'] (чаще, однако, [ж]!) способна объяснить большее количество фактов, чем решения, которые исходят из предположения об их одинаковой фонематической природе. Решаясь высказать здесь это мнение (отличное от мнения А. А. Реформатского), мы, разумеется, помним, что «the chief obligation incurred by a controversial writer is towards those whose opinion he attempts to refute, nothing being more stimulating than to encounter assertions with which one does not agree» (A. Gardiner).

И. Вахек

ОБ ОДНОМ СДВИГЕ ГЛАСНЫХ В СТАРОЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ

В настоящее время плодотворность сопоставительного метода, при котором сравниваются факты неродственных или лишь отдаленно родственных языков, признается практически почти всеми лингвистами, в частности, его значение неоднократно подчеркивали многие советские языковеды, среди которых профессор А. А. Реформатский по-прежнему занимает одно из самых почетных мест. При этом сопоставительный метод оказывается полезным отнюдь не только при синхронном анализе современных языков. Практика показывает, что результаты, полученные при исследовании развития некоторых неславянских языков с помощью этого метода, могут (хотя бы в отдельных случаях) неожи-

²⁴ Р. И. Аванесов. О долгих шипящих в русском языке. «Доклады и сообщ. филол. ф-та МГУ», 1948, вып. 6.

данно по-новому осветить тот или иной спорный вопрос истории какого-либо славянского языка. Ниже мы вкратце рассмотрим один из таких вопросов, представляющийся нам особо интересным.

Вряд ли можно сомневаться, что одно из главных достижений Пражской школы (среди представителей которой немало близких друзей профессора А. А. Реформатского) в области исторической фонологии — это структуральное и функциональное объяснение знаменитого, но тем не менее загадочного «Великого сдвига гласных», сложного комплекса изменений в фонологической подсистеме долгих гласных английского языка, которые произошли в переходный период от среднеанглийского к новоанглийскому языку.

Взаимосвязь переходов ср.-англ. $\bar{e} > \text{ново-англ. } \bar{i}$, $\bar{o} > \bar{u}$, с одной стороны, и ср.-англ. $\bar{i} > \text{ново-англ. } ai$, $\bar{u} > au$, соответственно с другой, хорошо известна с конца XIX в. благодаря исследованиям К. Люика, составившим эпоху в английской диалектологии. Однако причины, лежащие в основе «Великого сдвига гласных», оставались неизвестными до середины 40-х годов нашего века. В 1946 г. пражский англист Б. Трыка, один из основателей Пражской школы, убедительно доказал, что первичной причиной данного комплекса изменений является структурное несоответствие между подсистемами долгих и средних гласных в системе среднеанглийского вокализма. В то время как в подсистеме долгих гласных различалось семь фонем, подсистема кратких насчитывала только пять, в результате долгие $\bar{i}$ и $\bar{u}$, не имевшие кратких соответствий, должны были выпасть из корреляции по количеству, а затем дифтонгизировались¹.

Параллельно с исследованиями в области англистики ученые Пражской школы продолжали заниматься исторической фонологией славянских и, в частности, чешского языка (этот аспект деятельности Пражской школы, очевидно, лучше известен широким кругам лингвистов). Прочный фундамент здесь был заложен пионерскими трудами Н. С. Трубецкого и особенно Р. Якобсона², на которые опирались в дальнейшей работе многие чешские и

¹ B. T r n k a. Fonologická poznámka k posunutí dlouhých samohlásek v pozdní střední angličtině. «Casopis pro moderní filologii», v. 29. Praha, 1946, стр. 162—165; О н ж е. A phonemic aspect of the Great Vowel Shift; «Mélanges F. Mossé», Paris, 1959, стр. 440—443; ср. также: J. V a c h e k. Notes on the correlation of vocalic quantity in the phonological development of English.— Там же, стр. 444—456.

² См.: R. J a k o b s o n. Pojem hláskoslovných zákonů a princip teleologický. «Casopis pro moderní filologii», v. 14. Praha, 1928, стр. 183—184 (см. также резюме на английском языке в кн.: «Jakobson's selected writings», I. 's-Gravenhage, 1962, стр. 1—2); О н ж е. Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves.— TCLP, 1929, t. 2; Н. С. Т р у б е т з к о у. Einiges über die russische Lautentwicklung und die Auflösung der gemeinslawischen Sprachereinheit. «Zeitsch. f. slaw. Phil.», 1925, № 1, стр. 287—319.

словацкие языковеды, среди которых назовем хотя бы Ф. В. Мареша, М. Комарека, А. Лампрехта и Ю. Паулини³. Однако, по нашему мнению, в этой области удалось бы сделать еще больше, если бы слависты и в особенности богемисты без колебаний применяли в своих собственных исследованиях по конкретным проблемам исторической фонологии некоторые результаты, полученные англистами. В этой скромной заметке мы попытаемся показать, как можно было бы изменить подобные результаты при решении проблем развития старочешской подсистемы долгих гласных фонем в средние века.

Один из основных тезисов англистики, который может оказаться полезным при решении проблем истории чешского языка, заключается в том, чтобы трактовать как отдельные фонемы старочешские дифтонги, восходящие к древним долгим монофтонгам (такие, как ст.-чеш. *ie*, *uo*, а также дифтонги *ai*, *au*, которые восходят к древним монофтонгам *y*, *ū* соответственно). Общеизвестно, что Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон уже в конце 20-х и начале 30-х годов считали бесспорным однофонемность некоторых чешских дифтонгов⁴. Заметим, что такие старочешские дифтонги, благодаря своей однофонемности, развивались каждый как единое целое, а не как сумма двух независимых кратких гласных фонем, что опять-таки представляет собой примечательную параллель развития дифтонгов в позднем среднеанглийском⁵.

Другой тезис англистики, также полезный для исследований по истории чешского языка, заключается в том, что изменения долгих гласных фонем в позднем ср.-английском и раннем новоанглийском должны иметь структурное и функциональное обоснование; аналогично можно объяснить изменения долгих гласных фонем в ст.-чешском. Уже указывалось, что основной причиной комплекса изменений в английском языке является структурное несоответствие между подсистемами долгих и кратких гласных фонем, точнее — отсутствие долгих *ī* и *ū* (хорошо известно, что ср.-англ. краткие *i* и *u* выступали скорее как соответствия долгих $\bar{e}$ и $\bar{o}$); в результате $\bar{i}$ дифтонгизировалось в *ii* > *ai* > *ai*, а $\bar{u}$ — в *iu* > *au* > *au*, освободив тем самым место для перехода древних $\bar{e}$ и $\bar{o}$ в $\bar{i}$ и $\bar{u}$.

³ F. V. Mareš. Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty. «Slavia», 1956, № 25, стр. 443—495 (англ. вариант статьи опубликован в кн.: «Michigan Slavic Materials». Ann Arbor, 1965); M. Komárek. Historická mluvnice česká, I. Hláskosloví. Ed. 2. Praha, 1962; О н ж е. Gebauerovo historické hláskosloví ve světle dalšího bádání (послесловие к новому изданию кн.: J. Gebauer. Historická mluvnice jazyka českého. Praha, 1963); A. Lampracht. Vývoj fonologického systému českého jazyka. Brno, 1966; E. Pauliny. Fonologický vývoj slovenčiny. Bratislava, 1962.

⁴ Ср.: N. S. Trubetzkoy. Grundzüge der Phonologie.— TCLP, 1939, т. 7, стр. 51 п сл.

⁵ J. Vachek. Указ. соч., стр. 151.

Рассмотрим с указанной точки зрения изменения старочешского вокализма. Взаимозависимость процессов $\bar{y} > \bar{a}i$, $\bar{u} > \bar{a}u$, с одной стороны, и $ie > i$, $ou > \bar{u}$, соответственно с другой, уже давно является очевидной. При этом исходной точкой указанных изменений обычно считают монофтонги i , $\bar{u}$. Мы, однако, полагаем, что это не так и что первоначальный толчок к названным переходам дали дифтонги ie и uo . Здесь важно подчеркнуть следующий факт, на который долго не обращали внимания: ie и uo в течение некоторого времени были единственными старочешскими фонемами, которые реализовывались дифтонгоидными гласными и как таковые не имели соответствий в подсистеме кратких гласных фонем старочешского языка. Напомним, что древнее дифтонгоидное краткое $\bar{e}$ перешло в недифтонгоидное e , причем предшествующий согласный палатализовался; соответствующего краткого uo никогда не было в системе кратких гласных фонем старочешского языка (хотя Р. Якобсон и М. Комарек пытались доказать его наличие)⁶.

Начнем с долгого uo . Эта фонема выпала из системы, сузившись в $\bar{u}$, в результате чего древнее u , чтобы сохранить свою независимость и не смешиваться с рефлексам древнего uo , должно было подвергнуться изменению в $\bar{a}u$ (что изображалось писцами как ou или au).

Здесь можно было бы резонно возразить, что при развитии восходящего дифтонга ie в i не было необходимости дифтонгизации древнего долгого $\bar{y}$ в $\bar{a}i$ (что записывалось как $e\bar{y}$ или $a\bar{y}$). Здесь скорее следовало ожидать дифтонгизации древнего долгого $\bar{i}$. Однако объяснить эту кажущуюся непоследовательность фонологического развития нетрудно. По-видимому, в игру вступил новый фактор. В конце XIV и начале XV в. наблюдалась явная тенденция свести три ряда гласных, противопоставленных по тембру (это противопоставление существовало только у гласных верхнего подъема), — передние, средние и задние, по терминологии Г. Суита, к двум рядам — передним и задним.

Указанная тенденция действовала также в подсистеме кратких гласных, где y продвинулось вперед и смешивалось с i . Можно было бы ожидать, что и долгое $\bar{y}$ также продвинется вперед и смешается с $\bar{i}$. Однако $\bar{i}$ уже смешалось с ie , и если бы произошло смещение еще и с древним $\bar{y}$, получившаяся фонема была бы крайне перегружена в функциональном отношении. Поэтому долгое y подверглось изменению в обратном направлении, а именно в том направлении, в котором развивалась другая, передняя долгая гласная $\bar{u}$, т. е. в сторону дифтонгизации. Естественно, что в результате этих изменений в фонологической системе старочешского языка появилось еще две монофонемных дифтонгоидных долгих гласных: $\bar{a}u$ и $\bar{a}i$. Как уже было указано, фонемы такого типа не

⁶ R. Jakobson. Remarques..., стр. 52; M. Komarek. Gebauerovo historické..., стр. 752 и сл.

были особо характерны (или, так сказать, «на месте») в фонологической системе старочешского — напомним, что изменения старочешского вокализма начались именно с исчезновения долгих дифтонгоидных *ie* и *ia*. Как и эти последние, оба новых дифтонга *ei* и *ai* также не имели соответствий в подсистеме кратких гласных. Подобные единицы не могли долго сохраняться в системе; они вскоре стали трактоваться как бифонемные сочетания *oi* и *ej*, тем самым оба представителя класса фонем, в принципе противоречащие структурным законам чешской фонологии, в конце концов исчезли.

Здесь будет уместно еще одно замечание по поводу исчезновения ст.-чеш. *y* и *ý*. Пользуясь терминами Гарвардской группы, можно сказать, что обе эти фонемы были единственными гласными фонемами, которые характеризовались одновременно по признаку «низкая тональность» (они выступали как низкие, противопоставляясь двум низким: *u* и *ú*) и по признаку «высокая тональность» (выступая как не-высокие в противопоставлении двум высоким: *i* и *í*). Совершенно очевидно, что утрата *y* и *ý* привела к существенному упрощению системы чешских гласных фонем: теперь гласные фонемы стали противопоставляться только по признаку «низкая тональность», но не по признаку «высокая тональность».

К сказанному можно еще добавить, что *y* и *ý* фигурировали в старочешском в качестве самостоятельных фонем лишь в течение очень ограниченного периода времени, между XIV и XV вв.⁷ Это также могло быть одним из факторов, обусловивших тенденцию к утрате старочешскими *y* и *ý* их фонемного статуса.

Мы, конечно, прекрасно сознаем, что намеченная здесь попытка объяснить изменения старочешского вокализма влечет за собой в ряде случаев пересмотр относительной хронологии, принятой для некоторых звуковых изменений. Так, например, до сих пор считалось, что переходы *ý > ej*, *ú > oi* произошли раньше, чем *ie > i* и соответственно *uo > ú*. Кроме того, признавалось бесспорным, что переход *y > i* мог осуществиться только после дифтонгизации *ý > ei*⁸; впрочем, в другом месте этот же автор допускает возможность параллельного осуществления обоих изменений⁹.

Следует, однако, признать (это подчеркивает и сам Комарек)¹⁰, что рефлексy звуковых изменений, которые можно извлечь из написаний XIV—XV вв., «мало способствуют получению четкой картины и установлению временной последовательности рассматриваемых изменений». Поэтому Комарек больше полагается на относительную хронологию соответствующих изменений. Мы в

⁷ Ср.: М. Комарек. Hláskosloví..., стр. 161; А. Лампрехт. Указ. соч., стр. 81.

⁸ М. Комарек. Gebauerovo historické..., стр. 757.

⁹ М. Комарек. Hláskosloví..., стр. 167.

¹⁰ Там же, стр. 171.

принципе придерживаемся такого же подхода к фактам, подлежащим интерпретации. Нам кажется, однако, что благодаря уроку, извлекаемому из анализа таких изменений, как «Великий сдвиг гласных», лингвисты могли бы рассматривать относительную хронологию этих изменений в рамках более интересных связей, чем это было до сих пор. Если это так — а серьезных возражений, по-видимому, не имеется, то сфера применимости сопоставительного метода оказывается значительно шире, чем это признавалось до сих пор.

Авторизованный перевод с английского
Прага

В. А. Виноградов

ОЗПЕРАНД [АС'П'ИРАНТ]. К ПРОБЛЕМЕ ГИПЕРФОНЕМЫ

Всякий раз, когда фонолог сталкивается со случаем неразличения того, что в других условиях различается, он волен поступить трояко: (а) констатировать с о в п а д е н и е (или частичное совпадение), обусловленное ограничениями на дистрибуцию различаемых единиц; (б) констатировать с н я т и е р а з л и ч и я, обусловленное позицией нейтрализации; (в) констатировать с п о н т а н н о е о т с у т с т в и е различия. Точки зрения (а) и (б) могут взаимно перекрещиваться, давая новые интерпретации: (г) констатация совпадения, обусловленного нейтрализацией; (д) констатация снятия различия, обусловленного дистрибутивными факторами («дефективная дистрибуция»). Каждая из приведенных интерпретаций отличается отнюдь не одной терминологией, а отражает принципиальное расхождение во взглядах на одни и те же явления. Поэтому с каждой точкой зрения может быть соотнесена определенная фонологическая школа, рассмотрением которых, впрочем, мы в данной статье заниматься не обязаны¹. Укажем только, что пункты (а) и (д) отражают взгляды, бытующие в американской дескриптивной фонологии, пункт (б) — пражскую концепцию нейтрализации, пункт (в) — так называемую ленинградскую школу, смыкающуюся с лондонской школой Д. Джоунза;

¹ Терминологические и теоретические расхождения и «частичные совпадения» различных школ во взгляде на фонему и ее поведение получили критическое осмысление в кн.: Г. А. Климов. Фонема и морфема. М., 1967; см. также сб.: «Основные направления структурализма». М., 1965.

пункт (г) — фонологическую концепцию Л. Ельмслева. Разумеется, есть и другие варианты и вариации указанных точек зрения, даже простое перечисление которых здесь невозможно.

Всем этим интерпретациям можно противопоставить такое понимание рассматриваемого случая, которое базировалось бы не на критерии тождества (совпадения), а на критерии различия. Очевидно, этот путь является естественным развитием тезиса Соссюра о том, что в языке нет ничего, кроме различий. Правда, Соссюр, по мнению Э. Бейссанса, допустил в этом пункте противоречие, утверждая далее, что различия есть лишь обратная сторона тождеств². Действительно, логичнее с точки зрения соссюрианства было бы сформулировать инверсное утверждение: тождества есть обратная сторона различий. Различимость в языке абсолютна, тождественность относительна. В фонологическом плане справедливость этого утверждения обуславливает фонологическую фиктивность так называемого частичного совпадения фонем (phonemic overlapping)³. Так, в датском языке противопоставленные гласные фонемы /y/ — /ø/ «частично совпадают», так как в позиции перед /n/ первая представлена вариантом [ø]. Но это тождество оказывается относительным и эмически мнимым, поскольку вторая фонема в той же позиции представлена вариантом [œ], схематически:

$$\begin{array}{l} [y]_1 - [\emptyset]_1 \\ [\emptyset]_2 - [\œ]_2 \end{array}$$

ср. synder [sønər] 'грехи' — sønner [sœnər] 'сыновья'; абсолютно значимым остается различие по степени раствора (компактности), которое сохраняется во всех позициях и которое заставляет отождествлять [ø] перед /n/ не с фонемой /ø/, а с фонемой /y/⁴, т. е. руководствоваться не критерием «звукотипа» (как результата абсолютизации тождества), а критерием «функционального типа», обусловленного абсолютной тенденцией к сохранению релевантного различия. Поэтому всякое тождество в языке есть в конечном счете функциональное тождество, т. е. частный случай различия. Позиционное отношение $[y]_1 - [\emptyset]_2$ в датском языке может восприниматься как тождество только потому, что отношение $[\emptyset]_2 - [\œ]_2$ воспринимается как различие, позиционно параллельное различию $[y]_1 - [\emptyset]_1$, заданному системой. Эта лингвистическая

² E. B u y s s e n s. Mise au point de quelques notions fondamentales de la phonologie. — CFS, 1949, 8.

³ Ср.: Р. Я к о б с о н, М. Х а л л е. Фонология и ее отношение к фонетике. «Новое в лингвистике», вып. 2. М., 1962, стр. 241.

⁴ Ср. обсуждение этого примера: Н. S p a n g-Hanssen. On the simplicity of description. — TCLC, 1949, t. V, стр. 66. — Параллельные изменения преобладают в указанной позиции и другие гласные: /i/ — /e/ > [e] — [ɛ], /u/ — /o/ > [o] — [ɔ].

специфика категории тождества-различия была замечена Н. Ф. Яковлевым еще 40 лет назад⁵.

Raison d'être фонем в системе языка лаконично определяется Р. О. Якобсоном и М. Халле: «Никакая фонема не означает ничего, кроме простого различия» (mere otherness)⁶. Данный афоризм отражает основной принцип эмического уровня: отличимость через противопоставленность. Естественно потребовать, чтобы интерпретация всякой единицы, определяемой как «эма», строилась на этом принципе. Между тем классическая теория нейтрализации, разработанная Пражской школой в предвоенные годы, определяет единицу, создаваемую нейтрализацией, — архифонему, через отсутствие различия, и только. В результате архифонема оказалась весьма противоречивым понятием, означающим эмическую единицу, несравнимую с фонемой ввиду их различного признакового состава, и одновременно входящую в один уровень анализа вместе с фонемой как фонологическая составляющая слова⁷. Попытка Трубецкого переформулировать корреляцию в терминах архифонем не только не упростила ситуацию, но внесла в нее новую двусмысленность. Члены противопоставления получали при этом «трансцендентальную» характеристику как маркированный и немаркированный, причем последний представлялся в виде «архифонема + нуль», а маркированный — в виде «архифонема + некоторый признак (марка)»⁸.

Очевидное несоответствие этой интерпретации определению фонемы в «Проекте» пражской фонологической терминологии⁹ послужило поводом для оживленной дискуссии на страницах TCLP, следствием которой явилось новое осмысление фонологической единицы как термина минимального фонологического различия¹⁰. Но и с этими дополнениями пражская теория нейтрализации оставляла почву для внутренней противоречивости. Формула немаркированного коррелята «архифонема + нуль», при отсутствии специального обсуждения семиотичности этого нуля, становится эквивалентной формуле «архифонема», ср.: «фонема типа *b* содержит две фонологические единицы — единицу *p* и единицу 'звонкость'»¹¹. Это в свою очередь провоцирует понима-

⁵ Н. Ф. Яковлев. Математическая формула построения алфавита «Культура и письменность Востока», кн. I. М., 1928, стр. 46; ср. также: A. Reichling. Feature analysis and linguistic interpretation. «For Roman Jakobson». The Hague, 1956.

⁶ Р. Якобсон, М. Халле. Указ. соч., стр. 237.

⁷ Остроумную критику этого противоречия см.: М. В. П а н о в. Русская фонетика. М., 1967, стр. 113.

⁸ N. S. Trubetzkoy. Die Aufhebung der phonologischen Gegensätze. — TCLP, 1936, t. VI, стр. 33—34.

⁹ См.: Т. В. Булыгина. Пражская лингвистическая школа. «Основные направления структурализма», стр. 79—80.

¹⁰ См.: И. Вахек. Фонемы и фонологические единства. «Пражский лингвистический кружок». М., 1967, стр. 90.

¹¹ И. Вахек. Указ. соч., стр. 91.

ние оппозиции как «архифонема»: «архифонема + марка», т. е. оппозиция фонем превращается в оппозицию части и целого. Таково следствие печеткости, вернее — недоговоренности, в формулировке Трубецкого: «... les termes d'une opposition supprimable se décomposent phonologiquement en 'archiphonème + qualité spécifique'»¹². Указанное противоречие было бы невыводимо из этой формулировки, если бы ноль интерпретировался как з н а ч и м о е отсутствие признака, т. е. тоже как «qualité spécifique», но это создало бы, в рамках комментируемой теории, трудности при определении маркированности, которая и была введена как «трансцендентальная категория», позволяющая переходить от фонемы в оппозиции к архифонеме в нейтрализации. При внесении же описанных коррективов определение маркированности стало бы сугубо эвристическим фактом¹³.

Принципиально иной подход к описанию нейтрализации декларирован Московской фонологической школой (МФШ). В противоположность упомянутым выше фонологическим направлениям, московская теория нейтрализации сосредоточивает внимание не на совпадении (отсутствии различия), а на сохранении различия, но на более высоком уровне, т. е. «на первый план выдвигается момент функциональной значимости»¹⁴. Центральной идеей этого подхода является идея г р у п п о в о й р а з л и ч и м о с т и, сформулированная А. А. Реформатским еще в начале 30-х годов, в период его увлечения лингво-полиграфической проблематикой¹⁵. В. Н. Сидоровым была введена специальная единица — самим автором, впрочем, нигде в печати не отраженная, — для уровня групповой различимости, названная гиперфономой. В европейской фонологии коррелятом данного понятия может быть архифонема, но лишь в чисто терминологическом аспекте. По существу же это понятие противоположно понятию архифонемы как в его отношении к понятию оппозиции, так и в отношении к уровню фонем вообще¹⁶. Среди европейских фонологов, пожалуй, только А. Мартине близко подошел в своей теории нейтрализации к понятию гиперфонемы, когда он, со свойственной ему тонкостью анализа, указал на ряд противоречий в пражской концепции и обосновал применение понятия архи-

¹² N. S. Trubetzkoy. D'une théorie des oppositions phonologiques. «J. de psychol. normale et pathologique», 1936, v. 33, № 1, стр. 13.

¹³ Ср.: С. К. Шаумян. Проблемы теоретической фонологии. М., 1962, стр. 138—139; С. Е. Вазелл. Three conceptions of phonological neutralization. — В сб.: «For Roman Jakobson».

¹⁴ П. С. Кузнецов. К вопросу о фонематической системе современного французского языка. «Уч. зап. МГПИ», 1941, т. V, вып. 1, стр. 148.

¹⁵ А. А. Реформатский. Лингвистика и полиграфия. «Письменность и революция», сб. 1. М.—Л., 1933, стр. 49.

¹⁶ А. А. Реформатский. De la neutralisation des oppositions. «Travaux de l'Institut de linguistique», II. Paris, 1957, стр. 105—106; О н ж е. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.

фонемы к таким простым фонологическим единицам, которые способны в определенных позициях расщепляться на два или более фонологически отличных элемента, но которые не тождественны ни с одним из этих элементов¹⁷. Что же касается понятия гиперфонемы, фигурирующего в фонологической концепции К. Пайка, то это — чистейшей воды омонимия, поскольку для Пайка гиперфонема — это фонологический контекст (слог, слово и т. д.), в котором исследуется поведение минимальной «бихевиоремы» — фонемы¹⁸.

Но, как это ни парадоксально, встречаемость понятия и особенно термина гиперфонема в трудах московских фонологов находится в обратной зависимости от его фундаментальности в фонологической концепции МФШ. Даже в исследованиях тех фонологов, которые сознательно стоят на позициях Московской школы, обычным является использование термина архифонема, причем вместе с вызываемыми им пражскими ассоциациями (ср., например, работы С. К. Шаумяна, И. И. Ревзина). Отчасти это объясняется фрагментарностью и спорадичностью описаний данного понятия в работах теоретиков МФШ (Р. А. Аванесов, например, вообще не пользуется терминами «нейтрализация» и «гиперфонема»), отчасти — некоторой двусмысленностью этих немногочисленных описаний.

С одной стороны, о гиперфонеме неизменно говорится там, где излагается теория нейтрализации, и при этом подчеркивается сохранение групповой различимости фонем, соотносимых с данными гиперфонемами; отсюда естественно было бы заключить, что всякий конкретный вариант принадлежит к определенной гиперфонеме и всякая нейтрализация есть гиперфонемная ситуация¹⁹. С другой стороны, употребление гиперфонемы неизменно иллюстрируется весьма замкнутым кругом материала — таким, как *баран*, *корова*, *собака*, где первая гласная определяется как гиперфонема А/О, или такими, как *где*, *кто*, где первая согласная определяется как гиперфонема К/Г; при этом подчеркивается, что во всех подобных случаях имеет место слабая позиция, не чередующаяся с сильной, т. е. констатируется неполный фонемный ряд²⁰. Поскольку иллюстрация впечатляет сильнее, чем декларация, имен-

¹⁷ A. Martinet. Neutralisation et archiphonème.— TCLP, 1936, t. VI, стр. 54.

¹⁸ K. L. Pike. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior, pt. II. Glendale (Calif.), 1955, стр. 41.

¹⁹ См.: П. С. Кузнецов. К вопросу о фонематической системе..., стр. 159; А. А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии, стр. 116.

²⁰ См.: П. С. Кузнецов. Об основных положениях фонологии.— ВЯ, 1959, № 2, стр. 35; Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров. Очерки грамматики русского литературного языка. М., 1945, стр. 44; Р. И. Аванесов. Фонетика современного русского литературного языка. МГУ, 1956, стр. 32—33.

но второе, суженное, употребление понятия гиперфонемы обусловило, [по-видимому, его незаслуженную непопулярность.

Между тем фундаментальность понятия гиперфонемы следует из сформулированной выше аксиомы: всякий звук речи представляет по крайней мере одну функциональную единицу более высокого уровня, т. е. соотносится с определенной гиперфонемой. Для русского вокализма в позициях после твердого согласного можно говорить о трех гиперфонемах, представленных звуками [ъ], [ы], [у]: в любой из указанных позиций данные «звукотипы» различаются. Это означает, между прочим, что в анализе выделение гиперфонем должно предшествовать выделению фонем²¹, так как последние связаны с более тонкой различимостью: если гиперфонемы различимы в любой позиции, то фонемы различимы лишь в некоторых специальных позициях. Таким образом, гиперфонемы образуют первичный результат второго лингвистического членения (в понимании Мартине). Содержание дальнейшего анализа определяется пониманием гиперфонемы как кодовой единицы для некоторой группы фонем и состоит в выяснении состава этой группы (которая может ограничиваться одной фонемой).

Очевидно, что при таком методе описания фонологической системы исходным материалом для анализа являются конкретные звуки в конкретных позициях в слове. Это обстоятельство снимает проблему релевантных-иррелевантных признаков на гиперфонемном этапе описания: релевантность признака, как и система фонем, не может постулироваться; это — остаток после снятия всех характеристик, которые обусловлены позицией. Набор дифференциальных признаков и набор фонем должен быть конечным результатом фонологического анализа, непосредственным объектом которого является набор гиперфонем.

Основным свойством гиперфонемы, подлежащим исследованию, является ее парадигматическая разложимость на фонемы; назовем это свойство разрешимостью²². Разрешимость гиперфонемы предполагает снятие нейтрализации, т. е. наличие таких позиций, которые допускают не только групповую, но и индивидуальную различимость фонем: эти позиции называются сильными. Остальные позиции являются слабыми, или позициями нейтрализации. Следует заметить, что как сильные, так и слабые позиции должны определяться в пределах одного и того же «морфемного ряда» — это краеугольный принцип

²¹ Этот тезис убедительно обоснован П. С. Кузнецовым на материале французского языка, см.: П. С. Кузнецов. К вопросу о фонематической системе..., стр. 163 и сл.

²² Данным термином пользуется Л. Ельмслев при описании различных типов синкретизма, см.: Л. Ельмслев. Прологомены к теории языка. «Новое в лингвистике», вып. I. М., 1960, стр. 347.

МФШ. Гиперфонемы, для которых в данном языке их морфемный ряд не содержит сильных позиций, являются неразрешимыми.

Приведем любопытный пример гиперфонемной ситуации, характеризующей одновременно и разрешимость, и неразрешимость гиперфонемы. Такая ситуация возникает в рамках англотаитянского двуязычия. В языке таити система согласных характеризуется обилием пустых клеток: смычные представлены фонемами /p/, /t/, фрикативные — фонемами /f/, /v/, /h/, сонорные — фонемами /m/, /n/, /r/. В условиях указанного двуязычия разнообразие английских согласных сводится в произношении таитянина к фонологическому минимуму родного языка, и, например, англ. /d/, /k/, /g/, /s/ сохраняют лишь свое групповое отличие, реализуясь в «гиперфонеме двуязычия» T²³. В результате какие-нибудь *cunt* и *dance*, столь контрастные с английской точки зрения, получают единообразное представление в виде *tanata*, так что во фразе «I like this...» понять, что же собственно нравится таитянину, можно только из «контекста ситуации». Гиперфонема T оказывается здесь разрешимой с точки зрения английского языка, но неразрешимой с точки зрения таитянского. Примерами с неразрешимой гиперфонемой в русском языке являются и упомянутые *nomina animalis* *корова*, *баран*, *собака*. Впрочем, относительно последнего уместно напомнить, что подругу Элочки Щукиной звали Фима С^ббак.

Для выяснения природы нейтрализации полезно сопоставить гиперфонему и ее разрешение, т. е. набор фонем и дифференциальных признаков. Из характера описанной процедуры следует, что набор признаков, представленных в гиперфонеме, не меньше набора признаков, представленных в ее разрешении. В качестве предварительного соглашения будем считать релевантными признаки, служащие основанием противопоставления фонем. Остальные признаки, сопутствующие релевантным, назовем избыточными. Такое понимание релевантности получило широкое распространение, и дальнейшее обсуждение призвано выяснить, насколько это понимание оправданно.

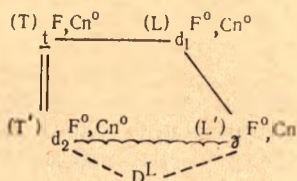
Всякому признаку приписывается бинарный характер; это означает, что признак может принимать два значения: + или — в обозначении *x* или *x*⁰, где *x* — символ некоторого признака. Для каждого релевантного признака можно определить его маркирующее значение: из двух значений *x* и *x*⁰ маркирующим является то, которое не входит в характеристику гиперфонемы. Фонема, обладающая в оппозиции маркирующим значением оппозиционного признака, является маркированной. Позиционное варьирование по релевантному признаку дает в а р и а н т; по-

²³ Ch. Vernier. Introduction à la langue tahitienne. Paris, 1959, стр. 14—15.

зипионное варьирование по избыточному признаку дает в а р и а ц и ю. В следующих ниже схемах отношение вариантов обозначено двойной прямой линией, отношение вариаций — волнистой.

Д а т с к и й я з ы к

В системе смычных фонем релевантным признаком признается напряженность — ненапряженность ($T-L$). Противопоставление фонем по этому признаку реализуется в позиции перед гласной ударного слога. Релевантный признак может рассматриваться как сложный, состоящий из базисного (аспирация — неаспирация, $A-A^\circ$) и избыточных: звонкость — глухость, $Vc-Vc^\circ$, и непрерывность — прерывность, $Cn-Cn^\circ$. Маркирующим значением релевантного признака является A . Признак звонкости — глухости является связанным: он целиком определяется базисным признаком — если A , то Vc° , если A° , то Vc . Поэтому в данной гиперфонемной ситуации оба признака можно рассматривать как единый, обозначив его $F-F^\circ$ (*fortis — nonfortis*): $F = A + Vc^\circ$, $F^\circ = A^\circ + Vc$. Особенностью нейтрализации (в конце односложного слова) является появление нового звукотипа, отсутствующего на фонемном уровне. Такой гиперфонемный уровень можно назвать расширенным.



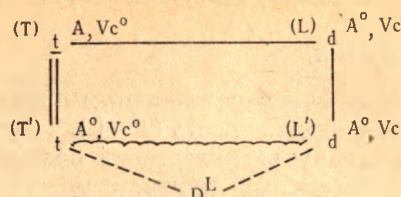
(Подчеркнут маркированный член)

Различие, заданное на уровне фонем ($T-L$), сохраняется на уровне гиперфонем ($T'-L'$), но реализуется оно не по базисному признаку, а по избыточному $Cn - Cn^\circ$. Следовательно, $[d_2]$ и $[ɔ]$ относятся друг к другу как вариации; $[t]$ и $[d_2]$ относятся друг к другу как варианты, поскольку их различие покоится на релевантном признаке. Гиперфонема (d_2), представленная в данной нейтрализации, является актуально расчлененной; ей соответствует виртуальная нерасчлененная гиперфонема D .

А н г л и й с к и й я з ы к

Релевантный признак для смычных тот же, $T-L$. Он разложим на базисный $A - A^\circ$ и избыточный $Vc-Vc^\circ$. В отличие от датского языка, здесь не происходит расширения гиперфонемного уровня; этот тип нейтрализации дает параллельный гиперфонемный уровень. Позиционные условия рассматриваются те же — конец слова. Признак глухости — звонкости относительно несвя-

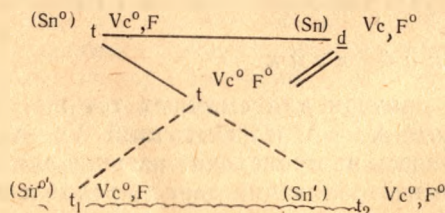
зап: возможны сочетания $A^\circ + Vc^\circ$ и $A + Vc^\circ$, но нет $A + Vc$.
Гиперфонема актуально расчлененная.



Сохранение парадигматического различия на уровне гиперфонемы здесь настолько очевидно, что это давало повод вообще отрицать нейтрализуемость смычных в позиции конца слова. Между тем нейтрализация есть, так как базисным элементом напряженности является аспирация. Различие в гиперфонеме здесь также покоится на избыточном признаке — глухость — звонкость. Однако роль этого признака настолько велика по сравнению с датским консонантизмом, что называть его иррелевантным нет никаких оснований. Особенно странно звучит это определение в устах тех, кто утверждает, что противопоставление по Т—L, физически реализуемое как аспирированность — неаспирированность, не нейтрализуется в конце слова, хотя аспирация здесь отсутствует.

Русский язык

Релевантным признаком для противопоставления смычных, нейтрализуемого в позиции конца слова, является глухость — звонкость. Сопровождающий его избыточный признак можно обозначить как $F - F^\circ$, соотносимый с позициями эксплозии (перед гласной) и имплозии (после гласной). Уровень нейтрализации представляет гиперфонему, которая определяется как актуально нерасчлененная. Можно полагать, что этой гиперфонеме соответствует виртуально расчлененная гиперфонема ($t_1 - t_2$), реализующая парадигматическое различие фонем. Это предположение является достаточно сильным, но не невозможным: роль признака силы (напряженности) отчетливо обнаруживается при восприятии шепотных согласных²⁴. Это позволяет



²⁴ См.: М. В. Панов. Указ. соч., стр. 158, 248.

объединить признаки $Vc-Vc^\circ$ и $F-F^\circ$ в единый признак $Sn-Sn^\circ$ (сонорность — несонорность).

Сопоставление трех схем нейтрализации позволяет обнаружить последовательно проводимый принцип: в гиперфонеме включается то значение релевантного признака, которое представлено в немаркированном члене оппозиции, и то значение избыточного признака, которое представлено в маркированном члене. Сама гиперфонема внутренне представляет собой вариацию, построенную на избыточных признаках, и может быть расчлененной и нерасчлененной актуально. Внешне же это — коррелят оппозиции, по признаку «релевантность — избыточность различающего признака». Таким образом, смысл нейтрализации сводится к сохранению противопоставления по другому основанию. Границы релевантности для признаков заданы уровнем фонем, поэтому нейтрализация не может переходить эти границы и вынуждена ограничиться варьированием лишь по избыточным признакам, которые в этом случае, не создавая новой оппозиции, воссоздают значимое противопоставление инвариантного уровня.

Отсюда естественно заключить, что квалификация недифференциальных (избыточных) признаков фонем как нерелевантных противоречит как фонологической логике, так и реальному положению дел. Указания на это также можно найти в работах теоретиков МФШ. О релевантности нельзя говорить вообще: то, что нерелевантно на уровне фонем, оказывается релевантным на уровне гиперфонем. И если полагать, что «источником оппозиций является нейтрализация», что «имеется внутренняя оппозиция, которая делает возможной внешнюю»²⁵, то придется признать существенным внутреннее противопоставление «дифференциальность — избыточность», благодаря которому возможна внешняя и с ним конгруэнтная оппозиция «корреляция — нейтрализация». «Избыточность» так же релевантна по отношению к «дифференциальности», как глухость релевантна по отношению к звонкости в системе русских смычных фонем.

²⁵ Ch. K. Ogden. *Opposition. A linguistic and psychological analysis.* London, 1932, стр. 27, 34.

УДАРЕНИЕ МОРФЕМЫ?

з д о р о в ъ (кр. ф. ср. р. от з д о р ъ в ы й, з д о р ъ в, з д о р о в ѧ, з д о р о в ы)
з д б р о в о (нар., прост. 'о ч е н ь'; 'и с к у с н о')
з д о р ъ в о (межд., прост. 'з д р а в с т в у й')
з д о р ъ в о (нар. от з д о р ъ в ы й)
з д о р ъ в о (кр. ф. ср. р. от з д о р ъ в ы й, з д о р ъ в, з д о р ѡ в а, з д о р ѡ в ы)

Акцентную организацию слов типа *tátatyk*, *tatátyk*, *tatatýk* (*tatat*- — лексическая морфема, *-yk* — формант) можно видеть в тернарной оппозиции

tátatyk ↔ *tatátyk*
 ↙ ↘
 tatatýk

Предполагаемая этой схемой однородность противопоставленных акцентных характеристик (а логика языковедного анализа требует сопоставления однородного) соответствовала бы языковой реальности, если бы в основе русской монотонии лежал счет по слогам, если бы место ударения устанавливалось только относительно иерархии одноплановых компонентов слова — слогов. Это предполагало бы морфемную нечленимость слова по отношению к ударению, отсутствие какой-либо акцентной выраженности морфемного строя слова, прямо связанного с организацией словаря в классы и косвенно отражающего разнообразие и иерархию синтаксических позиций, в которых могут быть слова. Тогда оппозиции типа *tátatyk* : *tatatýk* или *tatátyk* : *tatatýk* реализовались бы в основном на лексически и грамматически несоотнесенных словах и были бы чужды выражению противопоставленности словоформ в парадигме. Опровергающие факты разнообразны и закономерны, и это исключает возможность говорить о разноместности и подвижности ударения в русском слове исходя прежде всего и в основном из его синтагматического членения на слоги.

Иное — оппозиции слов с разноместностью ударения в пределах одной морфемы. Здесь основной областью демонстрации оппозиций типа *tátatyk* : *tatatýk* являются несвязанные друг с другом никакой языковой мотивацией слова в целостности всех их словоформ. Не удивительно поэтому, что основная масса экспонентов этой оппозиции представлена такими парами, где либо одно, либо оба слова — имена собственные: *Гѳмер* (амер. живописец) : *Гомер* (др.-греч. поэт); *Кѳллерман* (нем. писатель) : *Келлерман* (франц.

генерал); *Якобсон* (эст. писатель) : *Якобсон* (лингвист); *Ма́дурá* (Индия) : *Ма́дүра* (о-в, Индонезия); *Ма́нтурово* (Костром. обл.) ; *Манту́рово* (Курск. обл.); *Мбзель* (р., Франция) : *Мозель* (департ. Франция); *а́йр* (болотное растение) : *Ай́р* (плато в Африке); *Ко́рсаков* (фам.) : *Корса́ков* (город); *Ла́риса* (гор., Греция) : *Ла́ри́са* (имя); *ма́рсель* (парус) : *Марсе́ль* (гор., Франция); *кара́куль* (мех.) : *Караку́ль* (оз., Бухарская обл.); *Кро́кетт* (гор., США) : *кроке́т* (игра).

Если согласиться со сказанным, то неоднородность акцентовок *tátatyk*, *tatátyk*, *tatatýk*, объединенных в тернарную схему оппозиций, становится очевидной: если и *tátatyk* : *tatatýk*, и *tatátyk* : *tatatýk* определены на значимых, двухплановых компонентах слова — морфемах, то акцентовки *tátatyk* : *tatátyk* связывают в единство и противопоставляют друг другу одноплановые компоненты слова и морфемы — слоги.

Логически оправданной кажется иная арапжировка: *tátatyk* и *tatátyk* противопоставлены *tatatýk* не каждое в отдельности, а оба в целом. Более реалистичной предполагается двухплановая, двучленная организация, а не трехчленная, одноплановая организация. Один план здесь представлен оппозицией тех видов ударений, область отправления которых, используя терминологию теории функций, — одноплановые по своей знаковой природе фонологические слоги, а область прибытия — двухплановые единицы, входящие в состав слова, — морфемы: *tátatyk* : *tatátyk*. Другой план — оппозиция акцентных единиц, у которых область отправления — морфемы, а область прибытия — слово, тоже двучлановая единица.

Эту двучастность анализируемой организации описывает следующая скобочная запись:

(*tátatyk* : *tatátyk*) : *tatatýk*

Ее содержание раскрывает следующая схема:

		План морфемы			
Область отправления		Слоги	Слоги		
Область прибытия		Морфема	Морфема		
		(tátatyk : tatátyk)		: tatatýk	
Область отправления		Морфемы		Морфемы	
Область прибытия		Слово		Слово	
		План слова			

В плане слова *tátatyk* и *tatátyk* неразличимы: оба слова характеризует ударение на основе и оба они противопоставлены *tatatýk* с ударением на форманте. Последнее в силу постулата «одно слово — одно ударение» предполагает безударность основы. Собственность плана морфем составляют только те различия акцентовок, которые безразличны плану слова, именно соотнесен-

ность ударения в *tátatyk* и *tatátyk* с анлаутом и ауслаутом двусложной основы. Они, подобно различию наосновного и нафлексивного ударения слова, составляют содержание разных видов акцента морфемы: ударения анлаута морфемы и ударения ауслаута морфемы. Поэтому *tatatyk* характеризует нафлексивный акцент слова, а *tátatyk* и *tatátyk* не только ненаконечный, ненафлексивный акцент слова, присущий им обоим, но и особый для каждого из них акцент морфемы, анлаутный для *tátatyk*, ауслаутный для *tatátyk*.

Целостность (*tátatyk* : *tatátyk*) как члена противопоставления слову *tatatyk* позволяет рассматривать акцентовки для *tátatyk* и *tatátyk* как вариативные. В этом случае естественно считать наосновное ударение слова немаркированным членом противопоставления «наосновное ударение — нафлексивное ударение», о чем уже говорилось не раз. Если, исходя из сопряженности оппозиций *здорово* : *здорово* : *здорово* и *здорово* : *здорово́* или *вбрана* (род. ед. от *вброн*) : *вбрана* : *ворона́* (арханг., отверстие в корме для руля, ср. *воронка*) и *вороной* (тв. ед. от *ворона*) : *воронб́й* (прил. от *вброн* (?)), допустить соотношенность наосновного акцента слова анлаутному акценту морфемы, а нафлексивного акцента слова — ауслаутному акценту морфемы, то комбинаторным вариантом безударности следует признать и анлаутный акцент морфемы. Тогда содержание обсуждаемой системы оппозиций могло бы быть описано следующей схемой:

	(tátatyk : tatátyk)		: tatatyk
План морфемы	Безударная основа	Ударная основа	
План слова	Безударные слова		Ударное слово

Для слова эта ситуация аналогична японскому: *šōdžō* (безударное, 'симптом болезни') : *šōdžṓ* (ударное, 'орангутанг') или с краткостью *hana* 'нос' : *haná* 'цветок' соответственно, или в амбалави, диалекте хинди: *tāl* 'жарьте' : *tāĺ* 'дно' или *tām* 'стой' : *tāḿ* 'Вы' (ударное перед безударным).

Самостоятельность ударения морфемы еще не утверждает его независимости от ударения слова. Правомерность одной из двух очевидных гипотез предопределяют ответы по крайней мере на следующие вопросы, из которых первый относится к плану слова, а второй — к плану морфемы.

1. Верно ли, что обнаруживаемая в оппозициях разноместность ударения сопряжена как с наосновным, так и с нафлексивным словесным акцентом? Утвердительный ответ поддерживал бы гипотезу о независимости ударений слова и морфемы. Материал русского языка говорит об обратном: морфемное ударение обнаруживается только при акцентовке основы.

Можно, конечно, считать позицию нафлексивного ударения слова слабой для ударения морфемы, но это означало бы, что словесное ударение задает систему позиций для ударения морфемы, что в конечном счете опять говорило бы о предопределяющей роли ударения слова относительно ударения морфемы.

2. Верно ли, что разноместность ударения, обнаруживаемая в оппозициях слов, однородных в плане акцента слова, локализована только в тех морфемах, которые являются носителями словесного ударения? Для простых слов русского языка это безусловно так. Но в сложных словах это могло бы быть и по-иному: скажем, среди сложных слов с побочным ударением могли существовать такие композиты, противочленами которых были бы сложные слова без побочного ударения или с побочным ударением, но иной локализации. Оппозиции любого из этих типов указывали бы на независимость ударения морфемы от ударения слова. Но таких фактов для русского языка обнаружено не было. Здесь тоже можно было бы говорить о сильных и слабых позициях, но, встав на эту точку зрения, неизбежно нужно было бы говорить о том, что задает эти позиции, и, следовательно, о предопределенности ударения морфемы ударением слова.

Такой результат не является неожиданным: морфем вне слов не бывает, в предложении морфема участвует в составе и через посредство слова. Но есть и иная сторона: морфема, и прежде всего корневая, аккумулирует и выражает своей структурой ограничения на разнообразие форм, в составе которых она может быть в предложении. Недаром о категориальности ударения всегда говорят в связи с наличием тех или иных морфем. Важно и еще одно: за фонетическим словом с синтагматической градацией слогов на ударные и безударные всегда стоит его морфемная структура, включающая слово в систему языка, отражающая особенности его положения в системе ему подобных. И это нельзя не учитывать при характеристике особенностей связи ударения слова и ударения морфемы. Далее мы остановимся на одном проявлении этой взаимосвязи. Но прежде рассмотрим еще одно возможное предложение.

Оно состоит в том, что акцентовки однокоренных *tátatyk* и *tatátyk* можно считать разными реализациями двувершинной акцентовки на основе *tátátúk*: в одних лексико-грамматических условиях она представлена ударением типа *tátatyk*, а в других — ударением типа *tatátyk*. Такое объяснение, следующее из гипотезы о морфемной структуре слова как предельной области определения просодических средств языка, предполагает морфемное тождество. Оно хорошо проходит для *здорово*: *здорово*, *всёночная*: *всенёчная*, *вброд*: *ворбта* (*вбродный*: *ворбтный* соответственно), *магистерский* (<магíстр, глава ордена): *магистёрский* (<магистр, ученая степень) или *мётод*: *метбда*, *жаворонок*: *жаворбнок*

(уменьш. от *жаворонок*). Оно менее очевидно для обособившихся *артикул* (раздел, часть) : *артикул* (устав; ружейный прием), *капельный* (<*капля*) : *капельный* (<*капель*), *мякиш* (хлеба) : *мякиш* (мягкое яйцо без скорлупы). Наконец, такое решение не обладает достаточной общностью, не объясняя случаев с отсутствием связи между морфемами типа *атлас* : *атлас* с соответствием *атласный* : *атласный*, *бакан* (вариант — *бакен*) : *бакан* (лаковая краска), *барочный* (<*барка*) : *барочный* (<*барокко*), *кирочный* (<*кирка*) : *кирочный* (<*кирка*) : *кирочный* (<*кирка*), *камера* (часть канала ствола орудия) : *камера* (надстрочный знак).

К б л о с, -а, *к о л б с я*, *к о л б с е в*
к о л б с с, -а, -ы, -о в

В *колбс* неизменно ударение на одном и том же слоге основы. *Кблос* акцентовку на анлауте основы в ед. числе меняет на акцентовку ауслаута основы во множественном числе. В обоих случаях ударение наосновное. Отличие лишь в неизменности места ударения на ауслауте основы и в единственном, и во множественном числе для слова *колбс*. Таким образом, пара *колбс*: *колбс* иллюстрирует оппозицию двух разных видов ударения морфемы, подвижного и неподвижного. Полупарадигма единственного числа — сильная позиция, обе схемы ударения в этой позиции различаются. Полупарадигма множественного числа — слабая позиция, схемы ударения морфемы в ней не различаются, обе они представлены ударением на ауслауте основы. Поэтому в оппозиции «акцентовка ауслаута основы : акцентовка анлаута основы» первая должна быть признана немаркированной. С учетом сказанного выше о маркированности — немаркированности для оппозиции разных видов словесного ударения может быть составлена следующая схема, иллюстрирующая зеркальные отношения между последовательными уровнями акцентологического кодирования:

Типы ударения	Члены оппозиций	
	маркированный	немаркированный
Ударение слова	акцентовка флексии	акцентовка основы
Ударение морфемы	акцентовка анлаута основы	акцентовка ауслаута основы

Немаркированный член противопоставления разных видов словесного ударения был признан комбинаторным вариантом безударности. Тогда в силу зеркальности отношений между планами

слова и морфемы комбинаторным вариантом безударности для плапа морфемы следует считать акцентовку анлаута основы.

Таким образом, ударность и безударность могут быть в зависимости от плана либо маркированными, либо немаркированными членами противопоставлений. Но об обратимости марки говорить нельзя: будучи определена на безударности, она относит безударность — ударность к плану морфемы; будучи определена на ударности, марка относит оппозицию ударность — безударность к плану слова. Неверным представляется также вести «двойной счет», признавать, что есть два дифференциальных признака безударности₁ — ударности₁ для морфемы и ударности₂ — безударности₂ для слова (маркированный предшествует немаркированному). Естественнее исходить из представления о «свободе воли»: существует один дифференциальный признак ударность — безударность; существует, кроме того, независимо от этого и от других дифференциальных признаков оператор, называемый маркой, который, если индекс его приписан безударности, относит дифференциальный признак ударность — безударность в арсенал средств организации и выражения единства морфемы и который, если индекс его приписан ударности, относит дифференциальный признак ударность — безударность в разряд средств организации и выражения единства слова.

В этом случае акцентовка *кблос* — *колбсья* оказывается изофункциональной акцентовке *дом*, -а, -ā, -бв или *стрёма*, *стрёмени*, *стремѧ*, *стремѧн*, а акцентовке *колбсс* — *колбссы* в плане слова соответствует акцентовка *двор*, -ā, -ѧ, -бв или *орёл*, *орлā*, *орлы*, *орлбв*: сущность первых составляет чередование безударности и ударности, сущность вторых — сохранение ударности.

Пару *кблос* — *колбсья* характеризует наосновное ударение. Оно, казалось бы, относит производные прилагательные *колоснбй* и *колосовбй* к числу исключений из закона Хартмана, обобщенного на синхронию русского языка: в прилагательных от существительных с неизменной акцентовкой основы ударна та же морфема, что и в производящем имени существительном, ср.: *берёза* — *берёзовый*, но *кедр* — *кедрбвй*, *звук* — *звукбвй*; в прилагательных от существительных с неизменной акцентовкой флексии акцентуан суффикс, ср. *морж*, -ā, -ѧ, -ей — *моржбвй*, но *столб*, -ā, -ѧ, -бв — *столббвй*; прилагательные от существительных с подвижным ударением обладают акцентовкой флексии, ср. *род*, -а, -ѧ, -бв — *родовбй*, но *сад*, -а, -ѧ, -бв — *садбвй*, *дуб*, -а-, -ѧ, -бв — *дуббвй*.

Коренбй и *корневбй*, *колоснбй* и *колосовбй*, производные от *кбрень* и *кблос*, обладают идентичной акцентовкой. Идентичность акцентовки производных ставит в соответствие и акцентовку производящих, подвижную акцентовку слова для *кбрень*, *кбрня*, *кбрни*, *корнѧй* и подвижную акцентовку основы в *кблос*, -а, *колбсья*, -ев.

Схематически это соответствие может быть изображено так:

Подвижное словесное ударение про- изводящего существительного.	~	Неподвижное словесное ударение на флексии производного прилагатель- ного.
Неподвижное словесное ударение про- изводящего существительного с под- вижностью ударения в пределах основы.	~	Неподвижное словесное ударение на флексии производного прилагатель- ного.

Этому соотношению следуют еще и *пбвод*, *повбды* (при разг. *повода* и уст. *пбводы*) — *поводнбй*, *пблоз*, *полбзья* (при разг. *полоза*) — *полознбй*, *полозовбй*. Это позволило бы говорить о дополнительном распределении подвижного ударения морфемы и подвижного ударения слова относительно разных лексико-грамматических классов, если бы не соотношения *дѣрево*, *дерѣвья* — *деревянный*, *камень*, простореч. *камѣнья*, *камѣньев*, лит. *кѣмни*, *кѣнѣй* — *каменный*, *знѣмя*, *знамѣна* — *знамѣнный*.

Противоречащие примеры указывают на самостоятельность ударения морфемы. Можно думать, что в основе этой самостоятельности (при отсутствии независимости от ударения слова) — способность ударения морфемы функционировать в качестве оператора по отношению к ударению слова. Применение этого оператора дает вновь словесное ударение, но в одних случаях того же класса, что и ударение, подвергаемое действию оператора, а в других — ударение иного класса, например подвижное словесное ударение. Процесс этот и его результаты подобны образованию слов, в одних случаях — той же категории, что и производящие (*пѣвец* — *пѣвица*), в других — иной категории, нежели производящие (*пѣл* — *пѣвцу*). В качестве оператора ударение морфемы может быть и многозначным: данному типу ударения слова оно попеременно приписывает значимость одной из возможных акцентовок слова.

Рассмотрим в этой связи дублеты типа *озѣрный* — *озѣрнбй*, *ободбвый* — *ободнбй*. *Озѣрнбй* и *ободнбй* подобны *колоснбй*: акцентовки производных можно считать результатом применения третьей части закона Хартмана после приписывания акцентовкам производящих значимости подвижного ударения слова. Тогда акцентовки *озѣрный* и *ободбвый* (им сродни и не имеющее дублетов *знамѣнный*) — результат присвоения акцентовкам производящих значимости ударения неизменно на флексии, а после этого второй части закона Хартмана — в производных акцентирован суффикс, если он огласован, или предсуффиксальный слог основы, если он не огласован. По всей видимости, акцентовки *церкбвный*, *кухбнный* или *воздѣшный* при *цѣрковь*, *-и*, *-и*, *-ѣй*, *кѣхня*, *-и*, *-и*, *кѣхонь* имеют тот же источник. Отчуждение исходной значимости акцентовки производящего существительного при образовании от него прилагательного здесь, как и в других аналогичных случаях, является, по-видимому, тем собственно лин-

гвистическим фактором, который определил возможность появления для маркированного члена противопоставления по числу конкурирующей формы мн. числа *обода́* со сферой использования, суженной до разговорной речи.

Схема (*tátatyk* : *tatátyk*) : *tatátyk* (немаркированные предшествуют маркированным) одинаково описывает и *ко́лос* — *ко́лосья* — *ко́лосный* и *со́лен*, *со́лено*, *со́лены* — *соле́нный* — *соленá*. К последней примыкают серии форм для *весё́лый*, *дешё́вый*, *зеле́ный*, а также для двойственных по акцентуации в кратких формах мн. числа *холо́дный* (*хóлодный*), *голо́дный* (*го́лодный*) и во всех кратких формах, кроме формы жен. рода для *коро́ткий* (*кóроток*, *кóротка́*, *кóроткий*). Во всех этих случаях подвижность ударения морфемы предполагает подвижность ударения слова, но не обратно, ср. *дорогб́й*, *дброг*, *дорогá*, *дброго*, *дброги*.

Сопоставленные ряды различаются соотношениями акцентных и грамматических противопоставлений. В первом случае они совпадают: в оппозиции форм по числу маркировано мн. число, в оппозиции классов имен — прилагательное. Во втором случае грамматические и акцентные характеристики соотнесены не категориально, а парадигматически: грамматически однородные краткие формы прилагательного акцентно разобщены.

Все это свидетельствует об имманентности организации акцентовок слова и морфемы, служащих для фиксации различий и парадигматических форм одного слова и основных категорий слов, имен и глаголов, связанных и не связанных деривационными отношениями, ср.: *жа́воронок* — *жаворо́нок*, *четы́ре* — *чё́тверо*, *бронй́ровать* — *бронировáть*.

О фонологичности русского словесного ударения писалось не раз. Иное — ударение морфемы. Необходимость его изучения диктуется типологической проблематикой. Этого требуют и задачи исследования лингвистического механизма русского словесного ударения. Многие акцентологические правила, ориентированные на морфемную композицию слова и только на нее, сопровождаются обширными списками исключений. Естественно предположить, что подобная ситуация — результат действия ряда конкурирующих закономерностей акцентной организации словаря, таких, что одни связаны со словом, а другие — с морфемой.

К ПОНЯТИЮ «СИЛЫ» ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ

1. А. А. Реформатский уже несколько раз обращал внимание фонологов на особую важность понятия «фонологическая оппозиция» как центрального положения в фонологии. Ему принадлежит оригинальная классификация оппозиций, разработанная главным образом на материале русского языка. В конечном виде «реформатская» классификация оппозиций представлена небольшой табличкой в его «Введении...» (Изд. 3, стр. 218). Она удивительно легка и стройна, стройность ее обеспечивается принципом бинарности.

О п п о з и ц и и бывают:

- А. Н е к о р р е л я т и в н ы м и и
- В. К о р р е л я т и в н ы м и; эти можно подразделить на
 - І. з а м к н у т ы е и
 - ІІ. н е з а м к н у т ы е, которые в свою очередь могут быть
 - а) с т у п е н ч а т ы м и и
 - в) н е с т у п е н ч а т ы м и, последние подразделяются на
 - 1) ц е п о ч к и и
 - 2) п у ч к и.

Здесь трудно что-то добавить или что-то изменить. Сюда можно вписывать лишь конкретный материал конкретных языков. К сожалению, теоретической разработкой проблемы фонологических оппозиций в настоящее время весьма мало занимаются. А между тем проблема фонологических оппозиций, центральная и главная в фонологии, как-то постепенно уходит из поля зрения фонологов-теоретиков, постепенно забывается положение отца фонологии Н. С. Трубецкого о том, что «фонемный состав языка является по существу лишь коррелятом системы фонологических оппозиций» («Основы...», стр. 74). Из всех наших фонологов, пожалуй, только у А. А. Реформатского этот тезис основоположника фонологии находится в центре внимания: «Фонемы — всегда члены данной фонологической системы, свойственной определенному языку, и именно содержание каждой фонемы определяется ее [положением в системе. Для этого надо рассмотреть разные типы оппозиций в системе языка» (Изд. 2, «Введение...», стр. 217; разрядка моя. — В. Ж.).

2.0. Проблема фонологических оппозиций как теоретическая еще далеко не исчерпана. Думается, что А. А. Реформатский продолжает дальнейшую разработку этой проблемы (и если не сам, то его ученики, или совместно со своими учениками). В проблеме

фонологических оппозиций намечается, как кажется, проблема с и л ы фонологической оппозиции.

2.1. Так, например, в современном русском языке в позиции перед /э/ стали противопоставляться твердые и мягкие согласные, как показала ученица А. А. Реформатского С. А. Барановская. В русском языке перед /э/ стали возможны не только мягкие, но и твердые согласные: *критерий, синтетика, ателье, свитер, интернат, эстетика, нэпман, эсэовец, тэцовский, разэдакий* и т. д.¹ Спрашивается: при этом оппозиция твердости-мягкости в русском языке усиливается или ослабевает? Ведь теперь /э/ не «смягчает» автоматически предшествующий согласный, как прежде.

2.2. Другой пример. В современном украинском литературном произношении существует две нормы — более архаическая и более молодая. По более старой норме перед /i/ противопоставляются твердые и мягкие согласные. Если этот /i/ чередуется с /o/, например *стіл — стола*, то перед таким /i/ — согласный твердый. Если же /i/ и /o/ не чередуются, например *хліб — хліба*, то согласный перед таким /i/ мягкий. И другая норма: перед любым /i/, любого происхождения — согласный мягкий². В какой из этих норм фонологическая оппозиция твердости — мягкости сильнее? Эти нормы отражают и диалектные различия. Норма с последовательным смягчением перед /i/ встречается чаще в восточных говорах Украины. Правомерно задать вопрос: может быть, на востоке Украины (степенные говоры) последовательное смягчение согласных перед /i/ произошло под влиянием русского языка, где оппозиция твердости — мягкости согласных сильнее, чем в украинском языке?

Где найти критерии «силы» фонологической оппозиции?

Естественно, было бы желательно найти числовое выражение силы фонологической оппозиции.

3.0. Одним из показателей силы оппозиции может быть ч и с л о ч л е н о в, число коррелятивных пар, входящих в данную оппозицию. Очевидно, чем больше коррелятивных пар, тем оппозиция сильнее. Так, например, в стандартном английском языке противопоставление /θ/: /ð/, слабое само по себе, хорошо держится в системе, так как оно опирается на оппозицию глухих и звонких, имеющую самое большое число членов.

3.1. Если считать, вслед за Р. И. Аванесовым, что в русском языке оппозиция твердости — мягкости представлена 24 членами (12 парами), а оппозиция глухости — звонкости представлена 11 парами, можно сделать заключение о несколько большей силе

¹ С. А. Барановская. Корреляция твердых — мягких согласных в позиции перед /э/ в современном русском литературном языке. «Фонологический сборник». Донецк, 1968, стр. 204.

² О. Г. Лепешкова. Про пом'якшення приголосних перед /i/ в сучасній українській літературній мові. — Там же, стр. 189—190.

оппозиции твердости — мягкости, чем глухости — звонкости. Если же учесть, что появление /к'/ и других мягких задненёбных в позиции перед гласными переднего ряда типа /тк'опш/, а по говорам и /чайк'у, ван'к'а/ приводит к противопоставлению твердых и мягких задненёбных в этой позиции, то можно сделать вывод о тенденции увеличения числа пар, входящих в данную оппозицию, вывод об усилении оппозиций твердости — мягкости в современном русском языке. И наоборот, уход старой произносительной нормы русского языка в случаях типа *бога, богатство* с /γ/ фрикативным сокращает число пар, противопоставленных по глухости — звонкости /γ/ : /х/, ведет к ослаблению данной оппозиции.

3.2. С этой точки зрения оппозиция носовой — неносовой в русском языке слабее, чем в польском, где в эту оппозицию входят еще и две пары гласных фонем, противопоставленных по признаку назальности. Итак, можно сделать вывод, что сила оппозиции прямо пропорциональна числу пар (n), входящих в данную оппозицию.

4. Интуитивно также можно прийти к выводу о том, что «сила оппозиции», степень самостоятельности фонем может быть измерена числом позиций нейтрализации и позиций различения. Чем больше позиций различения и меньше позиций нейтрализации, тем сильнее оппозиция³. И, наоборот, с увеличением числа позиций нейтрализации ослабевает и оппозиция. Здесь уместно вспомнить высказывание А. Фурке: «.. from neutralisation to neutralisation the opposition disappeared completely»⁴.

Это значит, что сила оппозиции при прочих равных условиях прямо пропорциональна числу позиций различения («сильных») и обратно пропорциональна числу позиций нейтрализаций («слабых»).

Если обозначить буквой F силу фонологической оппозиции, буквой n — число пар, составляющих данную оппозицию, буквой D — число позиций дифференциации (сильных позиций), буквой N — число позиций нейтрализации (слабых позиций), то соотношение между ними можно выразить формально:

$$F = n \frac{D}{N}.$$

Читается: сила фонологической оппозиции прямо пропорциональна числу пар, противопоставляющихся в определенном числе сильных позиций, и обратно пропорциональна числу слабых позиций.

³ В. К. Журавлев. Предмет і метод діакронічної фонології української мови. «Фонологический сборник», стр. 59, тезис 2.42.

⁴ A. Fourquet. The two E's of middle high German: a diachronic phonemic approach. «Word», 1952, 8, № 2, стр. 132.

4.1. Эту формулу следует подвергнуть математической и фонологической проверке.

Как уже отмечалось выше, при уменьшении числа членов оппозиции, при уменьшении числа коррелятивных пар при прочих равных условиях сила фонологической оппозиции ослабевает, с увеличением числа коррелятивных пар оппозиция усиливается.

Так, в современном русском языке с появлением корреляции /к'/: /к/ число пар, противопоставленных по твердости—мягкости, возрастает на единицу, что выражается неравенством

$$n_1 < n_2, \text{ где } n_2 = n_1 + 1, \text{ тогда и } F_1 < F_2.$$

4.2. В случае ухода из произносительных норм современного русского языка корреляции /γ/: /х/ число пар, противопоставленных по глухости — звонкости, уменьшается на единицу, что приводит к ослаблению оппозиции глухости — звонкости. Ср.:

$$F_1 = n \frac{D}{N}; \quad F_2 = (n + 1) \frac{D}{N}; \quad F_3 = (n - 1) \frac{D}{N}.$$

Значит, при прочих равных условиях:

$$F_1 < F_2, \quad F_1 > F_3 \quad F_2 > F_3.$$

4.3. Если, например, в современном стандартном белорусском языке нет противопоставления по мягкости — твердости для /р/, то, видимо, по сравнению с предшествующим состоянием и с русским языком здесь имеем дело с ослаблением фонологической оппозиции твердости — мягкости (ра́ка — рака́ = русск. [ра́ка] — [р'ика́]). Или, например, в современном украинском языке губные согласные (б, п, м, в, ф) не противопоставляются по твердости — мягкости. И здесь по сравнению с русским или белорусским языками можно говорить об ослаблении оппозиции твердости — мягкости согласных.

4.4. Как показал проф. Ст. Стойков, усиливается процесс замены /л'/ → /j/ во многих западных говорах болгарского языка. Это означает, что оппозиция мягкости — твердости в этих говорах ослабевает, сокращаясь на одну пару (/л/: /л'/); именно там отмечаются и другие процессы, свидетельствующие об относительной слабости этой оппозиции и о тенденции ее ослабления.

4.5. Естественно, если какая-либо оппозиция представлена лишь одной парой ($n = 1$), то такая оппозиция окажется относительно слабее всех других оппозиций с большим числом коррелятивных пар ($n > 1$) и будет характеризоваться лишь отношением сильных и слабых позиций ($D : N$), т. е. при $n = 1$

$$F = n \frac{D}{N} = \frac{D}{N}.$$

5.1. И совершенно естественно, что при $n = 0$, т. е. при отсутствии коррелятивной пары, фонологической оппозиции не будет, сила ее будет равна 0. Это, по А. А. Реформатскому, — «некоррелятивная оппозиция».

5.2. Не будет фонологической оппозиции, сила ее будет равна нулю и при $D = 0$, при отсутствии хотя бы одной позиции дифференциации, позиции различения. Так, до появления случаев типа /тк'ом/ в русском языке, оппозиция [к] : [к'], несмотря на наличие противопоставления твердых и мягких согласных, несмотря на столетия существования мягкого [к'] после процесса *кы* → *к'и*, не была фонологической, была равна нулю, так как не было ни одной позиции дифференциации [к'] и [к]. Противопоставление закрытого и открытого [ê] и [e] в слогах типа *это* и *эти* не составляет фонологической оппозиции, несмотря на то, что акустическое различие между [ê] и [e] не менее значительно, чем различие между [y] и [o]. Дело в том, что в данном случае $D = 0$, т. е. нет ни одной позиции дифференциации, где бы противопоставлялись [ê] и [e].

5.3. С другой стороны, для наличия фонологической оппозиции необходимо и достаточно, чтобы число позиций дифференциации было больше нуля ($D > 0$), очевидно, в этой формуле и наличие отрицательной величины не только для D , но и для n не имеет смысла. Не имеет смысла число коррелятивных пар, равное, скажем, -1 , или -2 , не имеет смысла число позиций различения, равное, скажем, -1 , или -3 . Но уже достаточно наличия хотя бы одной позиции различения, чтобы можно было утверждать наличие фонологической оппозиции и говорить о ее силе. Правда, при $D = 1$, т. е. при наличии одной единственной позиции дифференциации, сила фонологической оппозиции будет измеряться лишь отношением числа коррелятивных пар к числу позиций нейтрализации:

$$\text{Если } F = n \frac{D}{N}, \text{ то при } D = 1 \quad F = \frac{n}{N}.$$

5.4. Естественно, с увеличением числа позиций дифференциации увеличивается и сила данной фонологической оппозиции. Так, в истории русского языка, после процесса *'ѣ* → *'а* → *'а*, позиция перед /а/ стала позицией различения для твердых и мягких согласных фонем. И далее, после процесса *е* → *'о*, число позиций различения увеличилось, оппозиция по твердости — мягкости согласных усилилась. Очевидно, в этом и заключается фонологический смысл ёканья, яканья, и т. п. В польском языке этот процесс пошел несколько дальше. Там в новом /е/ совпали прежние /e/, /ɛ/, /ɛ̃/, что также увеличило число позиций дифференциации. В польском языке не только положение перед гласными заднего ряда (как в русском), но и перед /е/ является сильной позицией для противопоставления твердых и мягких согласных. Так и процесс, ис-

следованный С. А. Барановской (см. выше), свидетельствует о появлении еще одной позиции противопоставления твердых и мягких фонем в современном русском языке, свидетельствует об усилении фонологической оппозиции твердых и мягких согласных фонем.

Естественно, что при

$$F_1 = n \frac{D}{N} \text{ [и } F_2 = n \frac{D+1}{N}, \quad F_2 > F_1.$$

5.5. Фонологический смысл, например, бодуэновской (так называемой третьей) палатализации задненёбных, вероятно, и следует видеть в необходимости увеличения числа позиций дифференциации для пучка /к/ : /č/ : /с/. Их дистрибуцию до и после третьей палатализации можно представить следующей таблицей:

	г	л	в	а	о	ѣ	е	у	і	ъ	ь	q	ѣ	и
к	+	+	+	+	+	—	—	+	—	+	—	+	—	+
č	—	—	—	+	—	—	+	—	+	—	+	+	+	+
с ₁	—	—	±	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—	—
с	—	—	±	+	—	+	+	—	+	—	+	+	+	+
с ₂	—	—	—	+	—	—	+	—	+	—	+	+	+	+

Итак, на синхронном срезе между второй и третьей палатализацией оппозиция /к/ : /č/ характеризовалась тремя позициями дифференциации: перед /а/ из /ā/ и /ā/ < /ѣ/, перед /и/ из /ai/ и /eu/ и перед /q/ в результате некоторых морфологических процессов. Остальные позиции были нейтральными, слабыми (11), сила оппозиции /к/ : /č/ могла быть измерена числом $F = D/N = \frac{3}{11}$.

Оппозиция /к/ : /с/ характеризовалась положительной величиной только в изоглоссной области восточных и южных славян (* kwoit = > swēt-), где позицией противопоставления была только позиция перед /w/: $F = D/N = \frac{1}{13}$. Оппозиция /č/ : /с/ измерялась положительной величиной в одной позиции; в позиции перед /і/ различались /č/ < (к + і) и /с/ < (к + оі), т. е. $F = \frac{1}{13}$. После третьей палатализации и в результате совпадения аллофонов с₁ и с₂ положение коренным образом изменилось, /с/ стал возможным перед многими гласными: дѣвнѣца, лнѣце, отѣць, дѣвнѣцѣ, отѣцоу. Тогда для старославянского языка оппозиция /к/: /с/ стала характеризоваться четырьмя позициями дифференциации и десятью позициями нейтрализации, $F = \frac{4}{10}$, т. е. по сравнению

с предшествующим состоянием возросло более чем в четыре раза:
 $F_1 = {}^1/_{13}$ и $F_2 = {}^4/_{10}$.

Оппозиция /с/ : /ѣ/ стала характеризоваться теперь семью позициями дифференциации и семью позициями нейтрализации, т. е. сила ее также возросла в несколько раз: $F = {}^3/_{11}$ и $F_2 = {}^7/_{7} = 1$.

6.0. Из этого примера видно, что обычно увеличение числа позиций дифференциации идет за счет уменьшения числа позиций нейтрализации, и наоборот, увеличение числа позиций нейтрализации обычно идет за счет уменьшения числа позиций дифференциации. В соответствии с этим и происходит усиление или ослабление фонологической оппозиции.

6.1. Так и в примере с последовательным смягчением согласных перед новым [i] в украинском языке (см. выше). Если до этого позиция перед /i/ была позицией дифференциации для твердых и мягких согласных, то теперь это позиция нейтрализации, число сильных позиций сократилось на одну, число же слабых — увеличилось, оппозиция ослабла.

$$\text{Если } F_1 = n \frac{D}{N} \text{ и } F_2 = n \frac{D-1}{D+1}, \text{ то } F_1 > F_2.$$

И здесь совершенно безразлично, произойдет ли нейтрализация в пользу мягкого или в пользу твердого члена корреляции, безразлично — все смягчаются или все отвердевают, с уменьшением числа позиций дифференциации оппозиция ослабевает.

6.2. И наоборот, как в примере с твердыми согласными перед /e/ в русском языке (см. выше), с увеличением числа позиций дифференциации ($D + 1$) уменьшается число позиций нейтрализации ($N - 1$) и оппозиция «мягкости» усиливается даже в том случае, если кое-где произойдет и отверждение мягких перед /e/. Действительно,

$$\text{если } F_1 = n \frac{D}{N} \text{ и } F_2 = \frac{D+1}{N-1}, \text{ то } F_2 > F_1.$$

6.3. В случае, если число позиций дифференциации равно числу позиций нейтрализации (см. выше о корреляции /ѣ/ : /с/), т. е. когда $D = N$, сила оппозиции измеряется лишь числом ее членов (коррелятивных пар).

$$\text{Если } F_1 = n \frac{D}{N} \text{ и } D = N, \text{ то } F_1 = n \frac{D}{N} = n.$$

6.4. Теоретически можно предложить и случай, когда данная оппозиция имеет только одну позицию нейтрализации, т. е. $N = 1$. Тогда сила фонологической оппозиции будет прямо пропорциональна числу членов и позиций их дифференциации.

Так, например, в некоторых русских говорах в позиции перед носовым согласным нейтрализуется противопоставление носовой — неносовой: /б/ : /м/ и /д/ : /н/, ср. *лѣнно*, *омманѣл*, *оннѣ*, *оммыл* и т. п. Здесь фонологическая оппозиция существует и измеряется числом членов оппозиции (числом коррелятивных пар = 2), умноженных на число позиций их различия.

При $N = 1$ $F = n \cdot D$.

7.0. Можно предположить и возможность случая, когда $N = \emptyset$, т. е. когда нет позиций нейтрализации. Тогда при $N = \emptyset$

$$F = n \frac{D}{N} = n \frac{D}{\emptyset} = \infty.$$

Деление простого числа на ноль не имеет математического смысла. Что же это означает в фонологии?

7.1. Рассмотрим конкретный случай. В польском языке есть оппозиция /т/ : /ѣ/, соответствующая русской оппозиции /т/ : /т'/. Аналогичная оппозиция существует и в белорусском языке /т/ : /ц'/, но в этих языках есть еще и оппозиция /ц'/ : /ц/, /ѣ/ : /с/, соответствующая русской оппозиции /т'/ : /ц/. С фонетической точки зрения коррелятивной оппозицией следует считать скорее /ц'/ : /ц/, /ѣ/ : /с/, чем /ц'/ : /т/, /ѣ/ : /т/. Однако именно нейтрализация фонологических оппозиций имеет решающее значение для оформления коррелятивных отношений между фонемами. В польском языке наряду с /т/ : /ѣ/ нейтрализуются /д/ : /дž/, /с/ : /ś/, /з/ : /ź/ и т. д., составляя оппозицию по твердости — мягкости, а не по признаку фриктивности. Ср. *pot:kość* и *potny-kostny*; *wod:mieź* и *wodnica-miednica*; *poseł:osioł* и *posła-osła*, *bielizna* и *bieliźnie* и т. п. Нейтрализации оппозиции /ѣ/ : /с/ в польском языке не наблюдается, т. е. $N = \emptyset$ для /ѣ/ : /с/, как и для /ц'/ : /ц/ в белорусском. А это и означает, что наличие хотя бы одной позиции нейтрализации дает рациональное число, измеряющее силу фонологической оппозиции с точки зрения математической и позволяет говорить о наличии фонологической коррелятивной оппозиции.

Если же нет позиции нейтрализации ($N = 0$), то с точки зрения математики это положение не имеет смысла, а с точки зрения фонологии не дает нам права утверждать наличие коррелятивной фонологической оппозиции. Очевидно, такая оппозиция, которая не нейтрализуется, будет относиться к числу некоррелятивных оппозиций. Здесь опять-таки уместно вспомнить А. А. Реформатского, давно утверждавшего, что «возможность нейтрализации присуща в с е м коррелятивным оппозициям данной фонетической системы, но для одних оппозиций данного языка нейтрализация существует реально, как некоторый действующий «звук-закон», а для других — лишь потенциально, и тогда она может проявляться в особых условиях (в речи детей, в лингвопатоло-

гических случаях, во многих диалектах того же языка или осуществляется в иную эпоху)⁵.

8.0. Думается, что совершенно правомерно различать понятия реальной и потенциальной фонологической нейтрализации.

В таком случае в вышеприведенном примере для польского языка нейтрализация $/t/ : /ć/$ будет реальной, а $/ć/ : /c/$ — потенциальной. В фонологию давно пора ввести два уровня — уровень реляционный и уровень реляционно-физический⁶. На реляционном уровне учитываются лишь чистые отношения, выводимые только из системы, из системы отношений. На этом уровне в качестве одного из важнейших критериев фонологически коррелятивных оппозиций и необходимо понятие реальной нейтрализации. На другом — реляционно-физическом уровне учитывается физически субстрат отношений, оппозиций. На этом уровне более существенными окажутся физические критерии, а с точки зрения физических критериев оппозиция $/ć/ : /c/$ более понятна, чем оппозиция $/t/ : /ć/$, ка ж у щ а я с я некоррелятивной.

В таком случае наша формула работает на р е л я ц и о н н о м у р о в н е, где критерием фонологически коррелятивной оппозиции является наличие реальной фонологической нейтрализации $/t/ : /ć/$, а на реляционно-физическом уровне фонологической оппозицией будет $/ć/ : /c/$ с потенциальной нейтрализацией.

8.1. В таком случае отношения $m : b = n : d$ в современном русском языке будут составлять коррелятивную оппозицию лишь на реляционно-физическом уровне, так как нет позиции нейтрализации, их нейтрализация является лишь потенциальной. В тех говорах русского языка, где имеется реальная нейтрализация этой оппозиции, следует считать эту оппозицию фонологически коррелятивной на реляционном уровне. Если учесть положение о том, что развитие фонологической системы осуществляется благодаря взаимодействию реляционного и реляционно-физического уровней, где учитываются не только дифференциальные, но интегральные (как потенциально дифференциальные признаки), то введение понятия потенциальной нейтрализации станет вполне понятным и логичным.

С этой точки зрения появление на реляционно-физическом уровне оппозиции $/ц'/: /ц/$ в белорусском и $/с'/: /с/$ в польском языке можно рассматривать как потенциальную для реляционного

⁵ А. А. Реформатский. Согласные, противопоставленные по способу и месту образования, и их варьирование в современном русском литературном языке. «Доклады и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», 1955, вып. 8, стр. 4.

⁶ В. К. Журавлев. Двухступенчатая теория фонологии и методика моделирования фонологических процессов. «Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным проблемам фонологии». М., 1963, стр. 17.

уровня, как потенциальную тенденцию включения оппозиции /ц'/ : /ц/ в ряды твердых и мягких фонем.

8.2. Рассматривая историю русского языка, можно заметить, что для оппозиции по твердости — мягкости согласных в древнерусском языке, по свидетельству В. В. Иванова ⁷, «отсутствовали позиции нейтрализации твердых — мягких согласных». А это означает в рамках излагаемой здесь гипотезы, что на реляционном уровне оппозиция твердых — мягких согласных в древнерусском языке была потенциальной фонологической оппозицией, как и нейтрализация этой оппозиции была потенциальной фонологической нейтрализацией.

Потенциальные возможности реализовались, нейтрализация из потенциальной превратилась в реальную, оппозиция по твердости — мягкости согласных стала фонологически коррелятивной оппозицией лишь в результате падения редуцированных, когда в позиции конца слова и перед согласными стали противопоставляться твердые и мягкие согласные, а в некоторых случаях появились и позиции их нейтрализации ⁸.

Для эпохи до падения редуцированных в славянских языках и оппозицию по глухости — звонкости ввиду чрезвычайной ограниченности нейтрализации, с точки зрения излагаемой здесь теории, не вполне корректно считать фонологически коррелятивной оппозицией для реляционного уровня. И эта оппозиция стала коррелятивной фонологической оппозицией на реляционном уровне после процесса падения редуцированных. До этого она была потенциальной фонологически коррелятивной оппозицией.

С этой точки зрения фонологический смысл процесса падения редуцированных, очевидно, и заключается в том, чтобы реализовать потенциальное, превратить потенциальные нейтрализации и оппозиции в реальные, а в некоторых случаях — усилить слабые фонологические оппозиции.

Итак:

1. Фонологические оппозиции — важнейшее понятие фонологии; являясь коррелятом фонологической системы, они служат основным орудием исследования фонемного состава данного языка и его фонологической системы в целом.
2. Нет «общечеловеческих» фонем, есть только фонемы — члены данной фонологической системы, выявляющиеся лишь на основании фонологических оппозиций, присущих данной системе.
3. Нет и «общечеловеческих» фонологических оппозиций, есть только фонологические оппозиции, свойственные данной фонологической системе.

⁷ В. В. И в а н о в. Историческая фонология русского языка. М., 1968, стр. 182.

⁸ См.: В. Н. С и д о р о в. Из истории звуков русского языка. М., 1966, стр. 50.

4. Внутрисистемным критерием фонологических коррелятивных оппозиций может быть нейтрализация фонологических оппозиций и число членов, входящих в такую оппозицию.
5. Отношение между числом членов фонологической оппозиции (числом коррелятивных пар) (n), числом позиций нейтрализации (N) и числом позиций дифференциации (D) данной оппозиции можно выразить формулой силы фонологической оппозиции (F):

$$F = n \frac{D}{N}.$$

6. Сила фонологической оппозиции и формальные критерии отсутствия — наличия фонологической оппозиции могут измеряться рациональным положительным числом. Отрицательное значение чисел n , D , N не имеет фонологического смысла. Формула имеет математический и фонологический смысл при условии $n > 0$, $D > 0$, $N > 0$.
7. Исходя из положения о двух уровнях в фонологии (реляционном и реляционно-физическом), понятия реальной и потенциальной нейтрализации, положения о дифференциальных и интегральных (потенциально-дифференциальных) признаках, следует разграничивать понятия реальной и потенциальной фонологически коррелятивной оппозиции. При этом потенциальная оппозиция остается на реляционно-физическом уровне.
8. Итак, сила фонологической оппозиции прямо пропорциональна числу коррелятивных пар, различающихся в определенном числе позиций дифференциации, и обратно пропорциональна числу позиций нейтрализации.

Эту формулу можно уточнить, введя вместо числа пар число членов оппозиции (m), но в таком случае, ввиду того что члены выстраиваются в пары, $n = m/2$. Тогда эта формула примет такой вид:

$$F = \frac{mD}{2N}.$$

Можно также ввести в формулу понятия функциональной нагрузки, число минимальных пар, их частотность и т. д. Это лишь уточнит характеристику силы фонологической оппозиции, но не изменит ее основной характер.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛАРИНГАЛИЗАЦИИ — ФАРИНГАЛИЗАЦИИ В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ *

1. Типологическая характеристика. Под ларингализацией — фарингализацией в современных енисейских диалектах понимается (в соответствии с открытием Г. К. Вернера) суперсегментный фонологический признак слогов, произносимых при сужении зева и поднятии гортани с факультативной фарингальной или ларингальной смычкой¹. В одних и тех же формах встречаются факультативные варианты с фарингализацией (обозначаются посредством /h/), как, например, в югском² — «сымском кетском» xuhš чум³, и с ларингальной смычкой /ʔ/, как в югском xuvʔš 'чум' (записано автором в Ворогове 11 августа 1962 г. от Татьяны Семеновны Латиковой, 70 лет, югский язык родной). Это варьирование суперсегментного признака аналогично такому же варьированию конкретной (фарингальной или ларингальной) артикуляции фонемы типа /h/ в тех языках, где такая фонема противопоставлена только ротовым; подобное варьирование фонемы /h/ убедительно разобрал А. А. Реформатский в одном из своих содержательных выступлений в секции речи Комиссии по акустике Академии наук.

Согласно выводам Г. К. Вернера⁴, впервые изучившего данное явление в современных енисейских диалектах, в югском ла-

* Автор глубоко благодарен создателю сравнительной акцентологии енисейских языков Г. К. Вернеру за многочисленные чрезвычайно ценные советы и А. А. Москалеву за критические замечания и помощь в отношении данных тибето-китайских и тайских языков.

¹ Г. К. Вернер. Звуковая система сымского диалекта кетского языка (автореф. канд. дисс.). Томск, 1966; Он же. Сымско-кетская система слоговой акцентуации. «Труды кафедр гуманитарных наук Омского пед. ин-та». Омск, 1968; Он же. К фонологической интерпретации ларингального смычного в кетском языке. — ВЯ, 1969, № 1.

² Название «югский» предпочитается более распространенному в литературе «сымский кетский», во-первых, потому, что оно соответствует племенному самоназванию (Е. А. Алексеев. Кеты. Л., 1967, стр. 26, прим. 9), во-вторых, потому, что есть основание считать югский языком, отличным от кетского (см.: Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский. Кеты, их язык, культура, история. «Кетский сборник. Лингвистика». М., 1968, стр. 5; Г. К. Вернер. О диалектном членении языка сымских кетов. «Уч. зап. Омского пед. ин-та», 1969, вып. 52, стр. 155).

³ Г. К. Вернер. Звуковая система сымского диалекта кетского языка, стр. 18.

⁴ Г. К. Вернер. К фонологической интерпретации ларингального смычного в кетском языке.

рингализация — фарингализация комбинируется с другими суперсегментными признаками — долготой /краткостью, циркумфлексным/ нециркумфлексным контуром, высоким/низким регистром, образуя 4 тона: 1-й нефарингализованный краткий восходяще-ровный высокий, 2-й фарингализованный краткий восходяще-нисходящий высокий, 3-й нефарингализованный долгий восходяще-нисходящий высокий, 4-й фарингализованный долгий восходяще-нисходящий низкий, ср. такие противопоставления ⁵, как югск. *fas*¹ 'бубен': мн. ч. *fah: s*⁴; *faj*¹ 'весло': *fa?*² 'кедр'; *ы: t*³ 'чуман, короб': *ыh: t*⁴ 'весна'; *i?*² 'солнце': *ih:*⁴ 'день'. Поэтому югскую просодическую (суперсегментную) систему, различающую два фарингализованных тона (2-й и 4-й) и два нефарингализованных (3-й и 1-й), можно признать типологически сходной с другими симметричными системами, где число ларингализованных (или фарингализованных) тонов равно или кратно числу неларингализованных. По одному тону каждого типа засвидетельствовано в простейших системах — в латышских диалектах, противопоставляющих «прерывистую интонацию» ⁶ длительной или плавной (/lūoks/ 'окно': /lūoks/ 'лук'), в ливском языке ⁷, жемайтских говорах литовского языка и в реконструированной куршской «долатышской» (северно-балтийской) просодической системе ⁸, которая могла быть субстратом для всех трех перечисленных выше. На противопоставлении ларингализованного тона («толчка») неларингализованному строится датская просодическая система, а также сходные с ней диалектные норвежские ⁹ и рейнские немецкие ¹⁰ (противопоставление экстенсии коррекции). Такую же простейшую симметричную систему из двух тонов (ларингализованного и неларингализованного) можно предположить для тальского языка ¹¹.

Четырехчленная симметричная система, различающая два ларингализованных тона и два неларингализованных, кроме юг-

⁵ Тоны в югских словах ниже отмечаются посредством надстрочных цифр после слова согласно нумерации Г. К. Вернера. Везде, где это не оговорено, югские формы даются по Г. К. Вернеру.

⁶ В яч. В с. И в а н о в. О прерывистой интонации в латышском языке. «Сб. статей, посвященный Я. Эндзелину». Рига, 1959.

⁷ Примеры третьей («нисходящей») интонации в ливском настолько редки, что доказательство ее фонологической значимости едва ли возможно (F. de S i v e r s. Le coup de glotte en letton et en live. «Ceļi. Rakstu krajums», XII. Lundā, 1965, стр. 54).

⁸ В. М. И л и ч-С в и т ы ч. Следы исчезнувших балтийских акцентуационных парадигм. «Краткие сообщения Ин-та славяноведения», XVI. Славянская и балтийская акцентология. М., 1964, стр. 25.

⁹ С. Д. К а ц н е л ь с о н. Сравнительная акцентология германских языков, М.—Л., 1966, стр. 58.

¹⁰ Там же, стр. 213 и сл.

¹¹ В яч. В с. И в а н о в. Комментарий II.—В кн.: Е. Д. Поливанов. Статьи по общему языкознанию. М., 1969, стр. 333; А. П. Дульзон. Кетский язык. Томск, 1968.

ского, известна в тайтянском¹². Симметричной шестичленной системой является северно-вьетнамская, обычно описываемая как различающая четыре нефарингализованных тона и два фарингализованных (5-й восходящий — *sắc* и 6-й резко нисходящий — *ngang*). Но наличие факультативной гортанной смычки в третьем (нисходяще-восходящем) тоне (*hỏi*), позволяющее сравнить его с датским толчком¹³, заставляет думать, что фарингализацией — ларингализацией характеризуется и этот тон; тогда число тонов с этим признаком равнялось бы числу тонов без него¹⁴. Характерно, что в шепотной речи третий тон часто воспринимается как шестой, а пятый — как третий (и как шестой)¹⁵. Возможно, что это следует связать с выводом, по которому во вьетнамском, как и в югском, немелодические характеристики тонов, в частности фарингализация, в связной речи оказываются наиболее устойчивыми¹⁶. На территории Вьетнама известны и другие языки с шестичленными системами тонов, где два тона заведомо являются ларингализованными, а в третьем ларингализация факультативна: в языке нунг (тай, тайская подгруппа таи-чжуанской группы кадайских языков по недавней классификации Бенедикта-Одрикура¹⁷) ларингализованными являются высокий и низкий тоны, факультативно ларингализованным низкий нисходящий, неларингализованными высокий восходящий, средний ровный, низкий восходящий¹⁸. Типологически сходная шестичленная симметричная просодическая система может быть, по-видимому, установлена для «западносуданского» (гвинейского) языка тви, где три неларингализованных тона (высокий, низкий и средний) противопоставлены трем ларингализованным, ср. *Ká* 'оставайтесь, где вы находитесь': *Ká?* 'откусите кусок' (оба слога высокие), *nkwn tá* 'баранные палочки': *akwn ta?* 'зятья'¹⁹.

¹² M. Durand. Le système tonal du tahitien. «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», 1951, t. 47, fasc. 1 (№ 134).

¹³ М. В. Гордина. Основные вопросы фонетического строя вьетнамского языка (автореф. канд. дисс.). М., 1960, стр. 5.

¹⁴ Вяч. В. С. Иванов. О прерывистой интонации в латышском языке, стр. 139.

¹⁵ D. Miller. Word tone recognition in Vietnamese whispered speech. «Word», 1961, v. 17, № 1, стр. 14.

¹⁶ М. В. Гордина, И. С. Быстров. Признаки синтагматического членения и фразовая интонация во вьетнамском языке. «Уч. зап. ЛГУ», 1961, № 305. Серия востоковедческих наук, вып. 12. Языки народов Востока, стр. 23, 28.

¹⁷ A. G. Haudricourt. La langue lakkia. «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», 1967, t. 62, fasc. I, стр. 182.

¹⁸ N. E. Freiburger. A phonemic description of Nong (Nung). «Papers on four Vietnamese languages». Ed. by D. D. Thomas. Auckland, 1966, стр. 16—17.

¹⁹ J. Berry. A note on Twi accents. «Afrikanistische Studien». Berlin, 1955, стр. 296.

Симметричные системы указанных типов, подобные югской, отличны от асимметричных, где число ларингализованных тонов не равно или не кратно числу неларингализованных и обычно существенно их меньше. Трехчленные асимметричные системы представлены в архаичных латышских говорах, противопоставляющих ларингализованную прерывистую интонацию двум неларингализованным — длительной и нисходящей, и в древнебирманском, где двум неларингализованным тонам (ровному и тяжелому) противопоставлялся ларингализованный «скрипучий» с конечным гортанным смычным, передававшимся в древнебирманском письме посредством *a* малого ²⁰. По одному ларингализованному тону представлено и в таких асимметричных четырехчленных системах, как современная бирманская, лхасская тибетская ²¹, в пятичленной системе гуаньхуа (с одним ларингализованным тоном — жу шэном). Но именно благодаря асимметричному характеру этих систем, где один изолированный ларингализованный тон противостоит нескольким неларингализованным, за ним часто отказываются признать характер тона ²²; этот вопрос в синологии остается дискуссионным и по отношению к тем китайским диалектам, где внутри традиционных тонов имеется несколько жу шэнов (ларингализованных): 4 жу шэна в 10-членной системе тонов Бобай в Гуаньси (ср. сходную 9-членную систему Гуаньчжоу), 2 жу шэна в 7-членной системе тонов амойского и фучжоуского диалектов и т. п. Однако типологическое сравнение со всеми другими перечисленными выше системами не позволяет сомневаться в просодическом (суперсегментном) характере ларингализации во всех этих китайских диалектах. Еще более очевидным является этот характер в такой сложной асимметричной системе тонов, как в языке белых тай (подразделение тай внутри упомянутой выше тайской подгруппы), где число ларингализованных тонов (в отличие от всех описанных выше систем) больше числа неларингализованных: 4 ларингализованных тона — высокий, низкий восходящий, средний и низкий нисходящий — противостоят трем неларингализованным — среднему низкому, высокому восходящему и среднему ²³.

К четырехчленным асимметричным системам типа современной бирманской, включающим один фарингализованный тон, отно-

²⁰ E. C. Pulleyblank. An interpretation of the vowel systems of old Chinese and of written Burmese. «Asia major», 1963, v. X, pt. 2. стр. 245.

²¹ Цэ и Пыи. Цзяннуй лася-шигэдэ чэнду хуады би цзяо янь цзю (Сравнительное исследование диалектов Лхасы, Шикац'э и Чамдо тибетского языка. — На китайском языке). Пекин, 1958.

²² В я ч. В с. И в а н о в. О прерывистой интонации в латышском языке; P. K. Benedict. Tonal systems in Southeast Asia. «J. of the American Oriental Society», 1948, v. 68, № 4, стр. 184—191; R. K. Sprigg. Burmese orthography and tonal classification of Burmese lexical terms. «J. of the Burma Research Society», 1964, v. XLVII, pt. 2, стр. 430—433.

²³ J. Donaldson. White Tai phonology. Thesis, Hartford, Connecticut, 1963.

сятся недавно изученные Г. К. Вернером просодические системы кетских диалектов ²⁴, где долгота обычно не совмещается с фарингализацией. Основная трудность для описания кетской просодической системы заключается в том, что в очень большом числе слов гортанный смычный (часто вызывающий дифтонгизацию ²⁵, как и в югском и в некоторых других упомянутых выше языках, в частности латышском и жемайтских диалектах литовского) и долгота чередуются без видимых функциональных различий ²⁶: пак. *ki:n* 'червяк': бакл. *ki'n*; пак. *bi:l* 'далеко': кур. *bi'l*, *biel*; сур. *æ: jə* 'мешок': бакл. *ʔaj* (в этом случае, как и в некоторых других, ларингализация проявляется, возможно, в появлении начальной смычки); сур. кур. *s'e:s* 'река': сур. бакл. *s'e's*; сур. *ta:l* 'выдра': бакл. *ta'l*. Поэтому такие (в диалекте Бакланихи явно дифференцируемые) пары, как пак. *s'e's* 'лиственница': бакл. *s'e:s* 'река' (факультативный вариант *s'e's*) различаются не по долготой и не по фарингализации. Указанная мена гортанного смычного с долготой обычно происходит в односложных словах типа «согласный + гласный + согласный» (первый согласный может отсутствовать). В односложных словах с открытыми слогами отчасти сходное явление состоит в том, что рекурсия долгого гласного становится глухой: сур. *si:h* 'год', пак. *ba:h* 'кулик', сур. *hy:h* 'живот' ²⁷; соответствующие слова в югском произносятся, однако, не с фарингализованным, а с ровнотонным тоном ²⁸. Но в ряде кетских односложных слов при отсутствии конечного согласного конечная гортанная смычка, видимо, никогда не замещается долготой: бак. *dmʔ* 'шапка', бак. *diʔ* 'орел'. Поэтому можно думать, что в кетском во всяком случае для слов этого типа сохраняется противопоставление долготы ларингализации, хотя вместе с тем приведенные кетские данные можно истолковать как

²⁴ Г. К. Вернер. Слоговая акцентуация кетских говоров. «Уч. зап. Омского пед. ин-та», 1969, вып. 44. Вопросы диалектологии и языкознания; Он же. Слоговые тоны кетских говоров в свете некоторых экспериментальных данных. «Уч. зап. Омского пед. ин-та», 1969, вып. 52. Вопросы филологии (об экспериментальном подтверждении предлагаемого понимания просодических систем говоров типа бакланихского как асимметричных см. там же, стр. 164—165).

²⁵ Д. М. Сегал. Фонология кетского языка (пакулихинский говор). «Кетский сборник. Лингвистика», стр. 28—39.

²⁶ В приводимых ниже примерах пометы «бакл.» и «вер.» относятся к словам, записанным автором в 1962 г. в Бакланихе и Верещагине, другие пометы (пак.— Пакулиха, кур.— Курейка, сур.— Сургутиха) относятся к материалам, опубликованным А. П. Дульзоном (А. П. Дульзон. Кетский язык. Томск, 1968), помета «сул.» (Суломай) — к данным Е. А. Крейновича (Е. А. Крейнович. Глагол кетского языка. Л., 1968). Диалект Бакланихи, куда кеты недавно переселились из Пакулихи, не отличается от диалекта Пакулихи.

²⁷ M. A. Castren. Versuch einer Jenissei-Ostjakischen und Kottischen Sprachlehre. Petersburg, 1858.

²⁸ Г. К. Вернер. Звуковая система сымского диалекта кетского языка, стр. 18.

свидетельство перестройки асимметричной четырехчленной системы ср. историю латышских просодических систем, где происходит сходный переход от архаической асимметричной трехчленной системы к симметричной двухчленной.

2. **Диакроническая интерпретация.** При синхронном описании югского²⁹ и кетских диалектов выявляется морфонологическое чередование ларингализации (и долготы) с фонемами /k/ (g): югск. ih:⁴ 'день': мн. ч. ек-; i?² 'солнце'; кетск. бакл. i? 'день', кур. ?i?: мн. ч. бакл. ек?-п, кетск. i: 'солнце'³⁰. Формы i: 'солнце' и i? 'день', записанные автором в Верецагине у М. И. Баякиной, представляют особый интерес для диакронического анализа, так как в соотношении между двумя этими кетскими словами, обратном соотношению между югским ih:⁴ 'день' и i?² 'солнце', можно было бы видеть след древнего словообразовательного использования двух разных тонов в производных от одного корня, ср. связь значений 'день' и 'солнце' в культе кетского и югского бога Es' 'Эс', индоевропейские и другие мифологические параллели (ср. также форму мн. ч. ек-п 'громы' в югском, близкую к ек-п от 'день'). Поскольку в югском морфонологическое чередование гласных i:-/e- связывается с тоновыми различиями, вероятным представляется диакроническое объединение алломорфов /i:/, /i?/, /ek-/ , из которых наиболее древним следует признать последний (выступающий в связанной позиции в отличие от двух первых, представленных в абсолютном исходе). В пользу этой гипотезы говорит сравнение с формами мертвых енисейских языков: аринск. 'eга 'солнце', койб. 'eга, котск. 'eга, ассанск. öga, 'eга³¹; вместе с тем аринск. eja 'солнце' (там же) указывает на начало изменения заднеязычного, а аринск. ju 'день'³² свидетельствует о том, что дифференциация названий дня и солнца осуществлялась и в кетском, и в аринском (а следовательно, может быть и в общенисей-

²⁹ Г. К. Вернер. Звуковая система сымского диалекта кетского языка, стр. 18.

³⁰ О чередовании ларингальной смычки и долготы в разных формах этого слова и других слов со сходной фонологической структурой в кетском см.: Д. М. Сегал. Указ. соч., стр. 37.— Согласно любезному сообщению Г. К. Вернера в письме к автору, им была записана летом 1968 г. югская форма и и^x, день, где ^x «сходно в известной мере с немецким *ich-Laut*». Алломорф той же морфемы i? 'день' с конечным заднеязычным спирантом -y- представлен, вероятно, в позиции перед гласным в кетских глагольных формах типа iу-æ-j-væt 'он днюет' (Е. А. Крейнович. Глагол кетского языка, стр. 141), ср. diḡaḡ 'я — буду — ночевать' (от i? 'день') (Е. А. Крейнович. Медвежий праздник у кетов. «Кетский сборник. Мифология, этнография, тексты». М., 1969, стр. 63; ср. там же, стр. 62: siḡ- от si? 'оленья шкура-постель').

³¹ А. П. Дульзон. Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям. «Науч. зап. Томского гос. пед. ин-та», 1961, т. XIX, вып. 2, стр. 183

³² Там же, стр. 165.

ском). Такие же соответствия обнаруживаются при сравнении югск. *duh*² 'дым'³³, *du*²³⁴, кетск. кур. *du*[?], кетск. бакл. *du*[?], котск. *туг*, пумпокольск. 'дукар'³⁵; вероятной представляется этимологическая связь с индоевропейским **dhuH-* 'дым' (хеттск. *tuhh-ima*, др.-инд. *dhū-ma*, греч. *θυμός*, лат. *fumus*, лит. *dūmai*, сербо-хорв. *дим*, русск. *дым*), что можно было бы разъяснить как древнее ностратическое заимствование в енисейском³⁶, ср. вероятный миграционный характер евразийских названий огня. Если эта этимология подтвердится, в ней можно было бы видеть след отражения древних (индоевропейских и ностратических) ларингальных фонем в енисейской ларингализации (объясняемой иногда на основе типологического сближения с индоевропейскими ларингальными)³⁷. Для доказательства того, что -к- (-г-) в записях XVIII в. могло (хотя бы в ряде форм) обозначать реальные заднеязычные фонемы (а не было просто условным способом изображения ларингализации—фарингализации, как это можно было бы предположить на основании дублетов типа аринск. *ега*, *еја*, см. выше), особенно важны случаи (типа приведенных выше), где алломорф с конечным заднеязычным обнаруживается в связанной позиции и в современных диалектах. Заднеязычный может быть фрикативным γ, как в енисейском названии железа³⁸⁻³⁹: кетск. верещ. *е?* 'железо', кур. *?e:*, *ej*, *?e:* γə 'железный'; с изменением тона при сандхи в составе глагольных основ: *d'-ej-tæt* 'я куя', прош. заверш. вр. *d'-eγ-i-n-tæt* 'я ковал' [из 'железо бить'⁴⁰], где алло-

³³ Г. К. Вернер. Звуковая система сымского диалекта кетского языка, стр. 17.

³⁴ А. П. Д у л ь з о н. Кетский язык. — Синхронное чередование ?/g отмечается Г. К. Вернером в формах *du* 'дым': *du*gogbe 'через дымовое отверстие', ср. также *du*ʔavʔut 'дым кончится' (Е. А. Крейнович. Глагол кетского языка, стр. 30 и 51).

³⁵ А. П. Д у л ь з о н. Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям, стр. 166.

³⁶ В я ч. В с. И в а н о в. Комментарий II.

³⁷ Г. К. Вернер, независимо от автора предложивший это енисейско-индоевропейское сопоставление, видит в нем архаическую изоглоссу (Г. К. Вернер. К проблеме генезиса индоевропейского аблаута. «Уч. зап. Омского пед. ин-та», 1969, вып. 44; Он же. К вопросу о древних енисейско-индоевропейских лексических отношениях. «Уч. зап. Омского пед. ин-та», 1968, вып. 52, стр. 135; стр. также: В. Н. Т о п о р о в. Материалы к сравнительно-исторической фонетике енисейских языков. 1. Аринско-енисейские соответствия, ч. I. «Кетский сборник. Лингвистика», стр. 315).

³⁸ В я ч. В с. И в а н о в, В. Н. Т о п о р о в. Лингвистические вопросы этногенеза кетов в связи с проблемой вхождения их в циркумполярную область. «VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук». М., 1964, стр. 8.

³⁹ О других вариантах по разным записям см.: Д. М. С е г а л. Фонология кетского языка (пакулихинский говор), стр. 37.

⁴⁰ К. B o u d a. Die Sprache der Jenissejer. «Antropos», 1957, LVII, № 1—2. стр. 109; Е. А. Крейнович. Глагол кетского языка, стр. 158, 160.

морф/-eγ-/ , видимо, должен объясняться так же, как в прилагательном 'железный'; в XVIII в. имб. *e*, *eγ*; пумпокольск. *aγ*, эд. *ыγ* ⁴¹.

Для доказательства верности интерпретации графемы *γ* в записях XVIII в. как обозначения заднеязычного особый интерес представляет название ночи. Соответствующий глагол обнаруживает фарингализацию в югском: *sah*: *γ*⁴ 'ночевать' (<* *sagah*, по Г. К. Вернеру ⁴²), тогда как в суломайском диалекте наряду с *sa:l* 'ночевать' у одного информанта (старшего поколения) засвидетельствована форма *saγal*³, близкая к коттскому *чагал/сагал* ⁴³. Соответствующее имя существительное потеряло фарингализацию (возможно, благодаря тоновой дифференциации с глаголом, которая могла сказаться и в аблауте *a*: *i*): югск. *ši* ¹, кетск., кур. *s'i* 'ночь', но заднеязычный засвидетельствован в коттск. *шиг*, ассанск. *шиг* ⁴⁴ и подтверждается сравнением с др.-кит. **s(i)og*, **z(i)ag*, **dz(i)ak* ⁴⁵. Но в других случаях представляется очевидным, что графема *γ* в записях XVIII в. передавала не заднеязычную фонему, а ларингализацию (мнение о различении заднеязычного и ларингального в записях XVIII в. ⁴⁶ едва ли обосновано). Так объясняются остававшиеся до последнего времени загадочными ⁴⁷ формы енисейского названия камня, где фарингализации в югск. *č'γhs* ² 'камень' (исчезающей при сандхи в сложениях *sak-č'is* 'точильный камень', *bok-č'is* 'кремнь') и ларингализации в кет. кур. елог. *ты's* соответствует *γ* в нескольких записях XVIII в.: енис. имб. ост. *чыгс* ⁴⁸; след ларингализации можно видеть в дифтонгизации, отраженной в таких записях XVIII в., как имб. *'тыес*, ср. эд. *ту*: *γс*. Историю этого слова, восходящего к заимствованию из тюркского (др.-тюркское *ta*: *š* 'камень'), представляется возможным объяснить с помощью следующих последовательных перекодирований: 1) интерпретация древнетюркского долгого *a*: при заимствовании в енисейский как фарингализованного (ср. приведенные выше примеры мены долготы и ларингализации в кетском, а также приводимые ниже соответствия долготы в югском и ларингализованного в кетском);

⁴¹ А. П. Дульзон. Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям.

⁴² Г. К. Вернер. Звуковая система сымского диалекта кетского языка, стр. 22.

⁴³ Е. А. Крейпович. Глагол кетского языка, стр. 49, прим. 41.

⁴⁴ А. П. Дульзон. Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям, стр. 174.

⁴⁵ В. Н. Топоров. Из этимологии енисейских языков (к вопросу об одном ряде соответствий пумпокольскому *i*). «Этимология. 1965». М., 1967, стр. 319.

⁴⁶ А. П. Дульзон. Кетские наречия первой половины XVIII в. «Труды Томского областного краеведческого музея», т. VI, вып. 2. Томск, 1963, стр. 38—39.

⁴⁷ В. Н. Топоров. Из этимологии енисейских языков, стр. 316.

⁴⁸ А. П. Дульзон. Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям, стр. 168—169.

2) изменение тембра гласного под влиянием фарингализации, отчасти параллельное тем позднейшим явлениям, которые установлены в югском ⁴⁹: *ta : š > *taʔs > *tuʔs; 3) откуда в дальнейшем развитие *tuʔs > *tyʔs (типа умлауга) с 4) палатализацией *t* > *č* перед *y* в части диалектов. В тех случаях, где нет ни достоверных (внешне-этимологических, как в приведенном случае) доказательств древности ларингализации, ни столь же достоверных отражений заднеязычных фонем в современных диалектах, интерпретация записей XVIII в. остается более гадательной, так как *к* (*г*) в этих записях может истолковываться двояко. Это относится к таким соответствиям, как югск. дыʔ² 'шапка', кетск. кур. дуʔ, дыʔ, имб. (XVIII в.) *дыг*, ост. *дыг* ⁵⁰; югск. хеһ², хеʔ², хеа² 'большой', кетск. бакл. *qeʔ(s')* 'большой', имб. (XVIII в.) *хоегам*, *каигам* ⁵¹, где дифтонгизация указывает на ларингализацию (как в югских формах); югск. ti : ⁵², tiʔ⁵³ (чередование долготы и ларингализации, сходное с указанными выше названиями солнца и дня, ср. также югск. *ха* : ³ 'слово' : кетск. *қа*ʔ 'язык'), кетск. -ti : 'лодка побольше', *dil'-ti* : 'долбенка, ветка' (*ди*ʔ 'малыш, ребенок', ср. внутреннюю форму айнск. *пон-ципу* 'лодка, чёлн' при *ципу* 'корабль', *пон* 'маленький', *по* 'ребенок' с семантическими параллелями во многих языках Азии и Африки), пумпокольск. *тыг* ⁵⁴; кетск. кур. бакл. *ко*ʔ 'звезда', мн. ч. *кооп*, имб. 'коаго, ко'аго, коого, ост. *коген*, пумпокольск. *какен*, эд. *хог* ⁵⁵; югск. *аһ* : *η*⁴ 'веревка', кетск. кур. *ʔа* : *η*, елог. *ʔар*, имб. (XVIII в.) *һоганга* ⁵⁶. Генетические сравнения с тибетокитайскими языками не дают окончательных оснований для утверждения о том, была ли ларингализация во всех случаях результатом превращения фонемы (например, заднеязычной) в суперсегментный признак (как в приведенном названии ночи). Если близость югск. *ihp* : ² 'игла' (с долгим *п*, типологически напоминающим геминацию согласных при ларингализованном тоне в ливском), кетск. бакл. *ʔin*ʔ 'иголка' с современным бирманским *а*ʔ⁴ 'ингла' (с ларинга-

⁴⁹ Г. К. Вернер. Звуковая система сымского диалекта кетского языка; Он же. Сымско-кетская система слоговой акцентуации; Он же. К фоновологической интерпретации ларингального смычного в кетском языке.

⁵⁰ А. П. Дульзон. Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям, стр. 188.

⁵¹ Там же, стр. 158.— Как рефлекс заднеязычного можно объяснить *-y-* в позиции перед гласным в архаичных глагольных формах типа *кәү-а-җ-а-п* 'он станет большим', сохраняющихся только в языке представителей старшего поколения, и в формах типа *кәү-ә-җ-и-п* 'я мальчика выращу' (Е. А. Крейнович. Глагол кетского языка, стр. 126—127 и 139).

⁵² Г. К. Вернер. Звуковая система сымского диалекта кетского языка, стр. 19 (аналогичная югская форма записана автором в Ворогове).

⁵³ А. П. Дульзон. Кетский язык.

⁵⁴ А. П. Дульзон. Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям, стр. 171.

⁵⁵ Там же, стр. 167.

⁵⁶ Там же, стр. 159, 167,

лизованным тоном) можно было бы объяснить типологически сходным развитием ларингализации из исчезнувшей согласной фонемы в обеих группах, то в других случаях сопоставления можно истолковать иначе. Югск. $\check{c}'\acute{a}?$ ⁵⁷ 'соль' (с развитием $t' > \check{c}$, как в названии камня), кетск. бакл. и сур. $t\acute{a}?$ 'соль', кур. $to?$, имб. (XVIII в.) *чыыг*, *тый*, *то*, ост. *чыыг*⁵⁷, по-видимому, родственно др.-тибетск. *tschwa*, *tsha*, *tsho* 'соль', тангутск. * $ts'i$ ⁵⁸, = *tshi*⁵⁹, прабирманск. * $tsha$ ^{2 60}, древне-бирманск. *chāh* (где *h* — условное обозначение тяжелого тона⁶¹ атси *tshō*; мару *tsho*). Если принять гипотезу, по которой в написаниях с *-h* в древне-бирманском мог отражаться древний тибето-китайский ларингальный⁶², то данное соответствие можно было бы истолковать как свидетельство большой древности ларингального в данном слове.

Рассмотренные данные енисейских языков допускают двоякое истолкование. Согласно первому из них для общенисейского реконструируется ларингальная фонема⁶³ или древняя ларингализация⁶⁴; в таком случае *k* (*g*) в приведенных формах нужно объяснить как вторичное развитие из ларингального. Однако если отвлечься от чистых реконструкций ларингальной теории в индоевропеистике (которые, как упоминалось выше, повлияли и на это диахроническое построение в енисейском языкознании) и в сравнительно-исторической фонологии языков мунда, в истории большинства языков засвидетельствовано (в огромном числе случаев) развитие не от ларингального к заднеязычному, а обратное — «изнашивание» заднеязычных и других ротовых смычных, становящихся гортанной смычкой: в касимовском диалекте татарского языка⁶⁵, где все заднеязычные фонемы: *k*, *q*, *g*, *γ*, *ŋ*, *x* $> ?$, в финском, где *-k*, *-h*, *-t* $> ?$ (сохраняющиеся лишь в специфиче-

⁵⁷ А. П. Дульзон. Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям, стр. 183.

⁵⁸ Н. А. Невский. Тангутская филология, кн. 2. М., 1960, стр. 266; Вяч. Вс. Иванов. Комментарий II, стр. 338.

⁵⁹ М. В. Софронов. Грамматика тангутского языка, кн. 2. Материалы для фонетической реконструкции. М., 1968, стр. 340, иероглиф № 2826, второй тон.

⁶⁰ R. Burling. Proto Lolo-Burmese. «International Journal of American linguistics», 1967, v. 33, pt. II, № 2, стр. 92.

⁶¹ E. G. Pulleyblank. Указ. соч., стр. 215—219.

⁶² Там же, стр. 217.

⁶³ В. Н. Топоров. Из этимологии енисейских языков; Он же. Материалы к сравнительно-исторической фонетике енисейских языков; В. Н. Топоров, Т. Цивьян. Об изучении имени в кетском (некоторые результаты и перспективы). «Кетский сборник. Лингвистика».

⁶⁴ Г. К. Вернер. К проблеме генезиса индоевропейского аблаута.

⁶⁵ Е. Д. Поливанов. Фонетические особенности касимовского диалекта (Инт-Востоковедения Наркомнаца в Москве, серия турецких языков, вып. 1). М., 1923, стр. 4—5 и 13—18; Вяч. Вс. Иванов. О прерывистой интонации в латышском языке. — Ср. также о типологии развития фарингализованного смычногортанного 'из' *q* (W. H. Jakobson. Origin of Nootka pharyngeals. «International Journal of American linguistics», 1969, v. 35, № 2, стр. 107).

ских условиях), южноэстонском, ненецком, рожанском говоре словинского языка ($k > ?$), русской разговорной речи (нет $> нѣ?$ ⁶⁶), голландских говорах, английских диалектах и арго, языке мон, самоанском, цоу и некоторых других малайско-полинезийских языках, меланезийском языке о-ва Ротума и ряде других языков. В значительном числе языков за этим преобразованием ротовых смычных в ларингальную фонему следует (или происходит одновременно с этим) превращение этой фонемы в суперсегментный признак ларингализации или в ларингальный тон: в истории китайского языка, где жу шэны (ларингализованные тоны) развились из гортанной смычки, происходящей из конечных $-p$, $-t$, $-k$; в современном бирманском, где ларингализованный тон с конечной гортанной смычкой развился из слогов с древнебирманским конечным ротовым смычным ⁶⁷, в лхасском тибетском (ср. полный параллелизм истории ларингализации в лхасск. $te?$ ³ < др.-тибетск. $brgyad$ 'восемь' и родственном китайск. диалектн. сучжоуск. $po?$ 'восемь' < др.-кит. * pat , откуда японск. $haci$ < * $pati$). Второй этап развития — превращение ларингальной смычной фонемы (или спيرانта) в ларингальный тон — засвидетельствован, согласно Одрикуру ⁶⁸, во вьетнамском, где на основании соответствий типа вьетнамск. $sā$ 'рыба': рианг и кхму $ka?$, мунда курку $ka?$ можно в конечном счете предполагать развитие ларингального из древней заднеязычной смычной фонемы; такую же гипотезу можно выдвинуть и по отношению к тем малайско-полинезийским языкам (раде, джараи и чру), где «тон обусловлен долготой и гортанной смычкой» ⁶⁹ и в то же время осуществляется развитие $-p$, $-t$, $-k > ?$ В остальных случаях в тех же малайско-полинезийских языках и других (таких, как тагальский) ларингализованный тон возводится к древнему ларингальному, ср. типологически сходное развитие прерывистой интонации при исчезновении h в ливском. Типологическое сопоставление всех этих данных делает вероятным развитие ларингализации из ларингальной фонемы, в свою очередь развившейся из заднеязычных (и других ротовых фонем) и в енисейских языках.

В пользу предлагаемой гипотезы, помимо приведенных выше енисейских фактов и этимологий и типологических соображений, говорят еще следующие обстоятельства. Во-первых, развитие

⁶⁶ Пример указан независимо друг от друга Г. К. Вернером (Г. К. В е р н е р. Слоговая акцентуация кетских говоров) и М. А. Черкасским (устное сообщение). — Развитие $/r\lambda?/ \rightarrow /r\lambda?/$ отмечается для «тайного» английского языка молодежи (см.: S. J. Keyser and M. Halle. What do we do when we speak. «Recognizing patterns». Ed. by P. A. Kolers and M. Eden. Cambridge, Mass, 1968, стр. 72, 74).

⁶⁷ E. G. Pulleyblank. Указ. соч.

⁶⁸ A. G. Haudricourt. L'origine des tons en vietnamien. «Journal asiatique», t. 242, fasc. 1. Paris, 1954.

⁶⁹ D. M. Thomas. Proto-Malayo-Polynesian reflexes in Rade, Jarai and Chru. «Studies in linguistics», 1963, v. 17, стр. 61.

ларингальной фонемы из заднеязычной фонемы, сохраняющейся в начальном положении в аринском⁷⁰, в енисейских языках известно и в других позициях, где это развитие не приводит к возникновению тона, а исконность заднеязычного подтверждается этимологией такого миграционного термина, как кетск. кур. *ʔuós'e* 'береза', аринск *kuz* при сельк. *kua*⁷¹, нганасанск. *kua* и других уральских соответствиях с начальным *k-* (мар. *kue* и т. д.); поэтому гипотеза о древности начального ларингального именно в этом слове⁷² едва ли оправдана. Во-вторых, конвергенцию разных конечных (импловивных) согласных морфемы в *-k* (откуда?) можно предположить в ряде аномальных форм мн. ч. кетск. ед. ч. *ta:l'* 'выдра': мн. ч. *tak-ŋ*; *qud'* 'щука': мн. ч. *quk-ŋ*; *dit* 'глухарь': мн. ч. *dek-ŋ*, ср. также *xyj* 'филин': мн. ч. *xyk-ŋ* и указанное выше *tʔ* 'день': *ek-ŋ*. Вместо предположения о наличии в этих формах древнего ларингального⁷³ более естественным представляется предположение, что *-k* в конце морфемы, находящейся в морфологическом чередовании с? в абсолютном исходе в словах типа *tʔ*, рассматривалось как рефлекс импловивной согласной в связанном положении. В этих формах, следовательно, можно видеть косвенный след развития согласных типа *-k-* в?, которое позднее было переинтерпретировано как ларингализация.

С. Д. Кацнельсон

ФОНЕМЫ, СИНДЕМЫ И «ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ» ОБРАЗОВАНИЯ

Принятое в современном языкознании деление основных фонологических единиц на сегментные и суперсегментные, хотя и имеет под собой реальные основания, все же в некоторых отношениях неточно и сбивчиво. В основе такого разграничения лежит последовательная членимость речевого потока в плане выражения на сегменты различной величины, начиная от мало исследованных макросегментов, по своей протяженности превышающих фразу, и кончая мельчайшими сегментами, фонемами. Фонетические сегменты, образующие последовательность фонем, от слога и выше,

⁷⁰ В. Н. Топоров. Из этимологии енисейских языков, стр. 313.

⁷¹ В. Я. Ч. В. С. Иванов, В. Н. Топоров. Лингвистические вопросы этногенеза кетов в связи с проблемой вхождения их в циркумполярную область, стр. 5.

⁷² В. Н. Топоров. Из этимологии енисейских языков, стр. 313.

⁷³ В. Н. Топоров, Т. Цивьян. Об изучении имени в кетском (некоторые результаты и перспективы). «Кетский сборник. Лингвистика».

представляют собой определенные единства, на которые как бы накладываются просодические, акцентуационные и ритмико-интонационные контуры. Накладываемые на составные сегменты фонетические средства и принято называть суперсегментными.

Представление о наложении одних средств на другие, связанное с термином «над-» или «суперсегментный», отнюдь не безобидная и ни к чему не обязывающая метафора. Дуалистический образ двух линейных рядов, из которых один (сегментный) является базисным, а другой (суперсегментный) — надстроечным, наваян, без сомнения, алфавитной графикой, в которой знак акцента встает над словом, как внешний и малозначимый для него элемент. Этот образ определяет многие исходные положения современной фонологии. Он ведет к недооценке и поверхностному пониманию природы акцентуационных явлений. К тому же создается неверное впечатление, будто все фонологические средства однозначно распределяются между двумя рубриками.

Мысль о фонетическом параллелизме акцентуационного и сегментного рядов в неявном виде уже давно утвердилась в фонетике. Отчеканенные в американской дескриптивистике термины «сегментный» и «суперсегментный» лишь сделали эксплицитными представления, смутно высказывавшиеся и раньше. Распространенные в фонетике взгляды на сущность словесного ударения фактически уже содержат в себе как идею параллелизма линейных рядов, так и присущие ей недостатки.

Ударение определяется обычно как выделение одного из слогов слова или ритмического такта путем увеличения интенсивности и длительности, повышения тона и т. д. Такое определение учитывает словесную акцентуацию в ее одностороннем отношении к ударному слогу, отвлекаясь от ее отношения к безударным слогам. Практически фонетика уже давно различает ударные и безударные слоги, а также их соотношения. В теории, однако, из охватывающего слово акцентуационного контура берется одна лишь вершина, а контур в целом оставляется без внимания. В этом сказывается наваянное графикой представление, будто акцент — это накладка, выделяющая в слове один из его компонентов. Между тем выделяемая знаком ударения вершина акцентуационного контура является, хотя и важнейшей, но отнюдь не единственной его фазой.

К тому же ударение нередко гипостазировано в самостоятельную сущность, независимую от фонем и способную воздействовать на них. Так, например, говорят, что ударение «образует позицию» для фонем: попадая в «ударную позицию», фонема подвергается усилению и растяжению; в «неударной позиции» она, напротив того, ослабляется и подвергается некоторой редукции. Дуализм двух линейных рядов сквозит уже здесь. Единый линейный ряд как бы раздваивается на акцентуацию и ее отражение в фонемах. Между тем отражение акцентуации в сегментах и есть

сама акцентуация. Фонетически акцентуационный контур не образует особого линейного ряда. Как показали новейшие исследования, каждая фонема имеет свой порог громкости и длительности, превысив который она начинает восприниматься как ударная¹. Ударность, как и неударность, непосредственно заключены в сегментах, и только фонологический анализ вычленяет фонемы и акцентуацию из линейного ряда как две стороны единого процесса.

Речевой поток выявляется, таким образом, в единстве дискретных и непрерывных элементов. Фонемы, эти мельчайшие речевые сегменты, сочетаясь друг с другом, определяют возможность членения речевого потока на сегменты различного формата. Сама по себе последовательность фонем, без помощи несегментных средств, не обладает членимостью и, в сущности говоря, непроницаема. Чтобы реализовать потенциально заложенную в последовательности фонем многообразную членимость, необходимы дополнительные средства. В их число входят положительные и отрицательные пограничные сигналы, а также акцентуационные контуры различной протяженности, которые, перекрывая друг друга в речевом потоке, обеспечивают его единство и одновременно его многообразную членимость. Несегментные средства напоминают по своей функции скобки (прямые, квадратные и фигурные) в развернутом алгебраическом выражении. Сплачивая сегменты разного рода воедино и сигнализируя их границы, они как бы размечают сложную иерархическую структуру речи в плане выражения. Роль несегментных элементов в общем несравненно значительнее, чем можно было бы думать, исходя из их фрагментарного и непоследовательного отображения в письме. Несегментные единицы, выполняющие скобочную функцию в речевом потоке, мы будем в дальнейшем называть синдемами (от греч. *syndeo* 'связывать, соединять'). Синдема — это единство ритмико-акцентуационного контура и связанных с ним положительных и отрицательных пограничных сигналов. Как фонетически реализуется акцентуационный контур синдемы, не столь важно; он может быть выражен с помощью интенсивности, тона либо длительности или путем комбинации этих средств. Обычное разграничение ударения как динамического явления и фразовой интонации как мелодического контура действительно лишь для отдельных языков. В общем плане не следует поэтому жестко связывать тот или иной тип синдемы (т. е. синдему слога, слова, словосочетания и т. д.) с определенным способом ее фонетического обнаружения.

Выделяя синдему как фонологическую единицу рядом с фонемой, мы не просто заменяем термин «суперсегментная единица» другим. Предложенный нами термин отличается от старого не только внутренней формой, т. е. отсутствием намека на «надстро-

¹ Н. И. Жинкин. Механизмы речи. М., 1958, стр. 219—226; М. В. Панов. Русская фонетика. М., 1967, стр. 183—184.

ечный» характер акцентуационных явлений. Понятие синдемы разнится прежде всего тем, что, подчеркивая контурный характер акцентуационных явлений и их органическую связь с пограничными сигналами, оно не выделяет их в самостоятельный линейный ряд, а рассматривает как одну из сторон двуединого процесса развертывания речи. Вычленившись из единого линейного ряда, фонемы и синдемы необходимо дополняют друг друга и, взаимодействуя друг с другом, обеспечивают непрерывность речевого ряда и его иерархическую членимость. Вместе с тем фонемы и синдемы раскрываются как полярные типы, между которыми располагается ряд промежуточных образований.

Основной функцией фонем является, как известно, их дистинктивная значимость, их способность выступать в парадигматических рядах в качестве различителей лексических и морфологических единиц. В речи они выступают как минимальные сегменты, которые благодаря своей дифференцирующей функции содействуют узнаванию и отождествлению слов и грамматических форм. Основной функцией синдем является интеграция сегментов, их сплочение в единицы различного формата. Выполняя скобочную функцию, синдемы вносят в речь иерархическую структуру последовательной членимости. Соотношение типа фонологической единицы с его функцией здесь однозначное. Фонемы и синдемы противостоят друг другу как в фонетическом, так и в функциональном отношении.

Но кроме фонем и синдем существуют еще другие фонологические единицы, в которых соотношение типа единицы с функцией оказывается более сложным и нередко инверсионным.

К числу последних относятся прежде всего слоговые акценты, или просодемы. В полипросодических языках, как китайский, просодемы характеризуют каждый в отдельности корень-однослог; в монопросодических языках, как литовский или шведский, просодемы, как правило, характеризуют один лишь слог в слове, а именно ударный. Различие это не является, однако, абсолютным, так как в полипросодических языках отмечаются случаи монопросодии и, наоборот, в монопросодических языках — случаи полипросодии. Так, например, в китайском в определенных случаях неударный слог теряет свой индивидуальный тон², а в литовских диалектах встречаются случаи, когда все слоги в слове имеют на себе слоговые акценты³.

Соотношение типа фонологической единицы с функцией в просодеме неоднозначно. Американские дескриптивисты называют просодему «суперсегментной фонемой», что является оксюмороном, противоречивым сочетанием слов. В типовом отношении про-

² А. А. Драгунов. Грамматическая система современного китайского разговорного языка. Л., 1962, стр. 37.

Chr. S. Stang. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo, 1966, стр. 139.

содема действительно напоминает синдему, но в отличие от синдемы она, помимо интегрирующей функции, имеет еще и смысло-различительную функцию, что сближает ее с фонемой. В то же время, однако, назвать ее фонемой все же нельзя, поскольку перед нами не единица сегментного плана. Как же уживаются в просодеме ее противоречивые свойства?

Все дело в том, что в синдематическом плане просодемы избыточны. В китайском языке, согласно пекинской норме, существует система четырех просодем, выступающих здесь в виде тонов. Китайские тоны несомненно содействуют сплочению фонем внутри слога и объединению их в один составной сегмент. Но в качестве синдемы один тон ничем не отличается от другого. Для роли слоговой синдемы не требуется четырех тонов, каждый из них в отдельности мог бы справиться с нею. Как синдемы китайские тоны—это в сущности лишь этимологически обусловленные варианты одной синдемы. Что же тогда делает эти, казалось бы, избыточные варианты самостоятельными фонологическими единицами? Только их дистинктивная значимость, способность служить дополнительным средством различения морфем-однослогов. Ср., например, корень *янь*: в сочетании с высоким ровным тоном он означает 'дым', в сочетании с восходящим тоном он значит 'продолжить', в сочетании с нисходяще-восходящим тоном — 'глаз', а в сочетании с нисходящим тоном — 'ласточка'⁴. Просодемы, таким образом, совмещают в себе качества синдем и фонем. Они двулики; как гибридные образования они не могут быть зачислены ни в разряд фонем, ни в разряд синдем.

С некоторыми изменениями сказанное относится и к просодемам монопросодических языков. В таких языках просодемы могут расцениваться как варианты иктуса (вершины словесного акцентуационного контура). В шведском языке имеются два варианта иктуса, различающиеся темпом нарастания интенсивности в ударном слоге и характером ядра тонической кривой. В одном случае интенсивность резко нарастает в слоге, а вершина тонической кривой совпадает с иктусом, образуя «острое» ядро («акцент I»), во втором случае интенсивность нарастает медленно и вяло, а вершина тонической кривой заметно отстоит от иктуса, образуя как бы притупленное, или «размытое», ядро («акцент II»). В качестве словесных синдем акценты I и II функционально не различаются: это лишь морфологически или этимологически обусловленные варианты одной синдемы. Но именно благодаря своей синдематической избыточности они могут выполнять функцию добавочных смысловоразличителей, ср. шведск. 'regel' 'правило' (с акц. I) и 'regel' 'засов' (с акц. II). Избыточность в синдематическом плане компенсируется здесь релевантностью в особом функциональном плане, к которому синдемы прямого отношения

В а н Л я о-и. Основы китайской грамматики. М., 1954, стр. 9.

не имеют. Просодемы и здесь возникают на пересечении разнотипных признаков.

К «промежуточным» и «двойственным» явлениям следует далее отнести и так называемое свободное ударение. Чтобы выделить слово или ритмический такт, в сущности достаточно одного акцентуационного контура с раз навсегда фиксированным местоположением вершины. Что это верно, доказывает пример языков с фиксированным ударением, как польский или латышский. Там, где язык располагает акцентуационными контурами, различающимися местоположением вершины в слове, возникает избыточность, которая может быть использована в несвойственных синдеме целях. Русский язык с присущим ему свободным ударением изобилует примерами «двойственных образований», в которых словесные акцентуационные контуры выступают в роли лексемо- или морфеморазличителей, ср. *му́ка* и *мука́*, *ру́ки* и *рукй́*. Перед нами опять фонологическая единица, которая не может однозначно быть зачислена ни в разряд словесных синдем, ни в разряд фонем.

Гибридным образованием особого рода является также так называемое логическое ударение. Позволяя акцентировать различные слова, а иногда и части слов в предложении, язык создает множество фразовых контуров интенсивности, иррелевантных в собственно синдематическом плане. Но в плане функциональном эти контуры отнюдь не избыточны. Выделяя своей вершиной определенные слова, они приобретают чуждую синдеме синтаксическую функцию «ремизации» (т. е. превращения данной словоформы в «рему», или «ситуативный предикат» предложения). Ср.: *Им доставили газеты* (т. е. им, а не кому-либо другому), *Им доставили газеты* (т. е. именно доставили, не забыли доставить), *Им доставили газеты* (т. е. именно газеты, а, скажем, не журналы).

До сих пор мы имели дело с промежуточными образованиями, которые по типу фонетического выявления являются синдемами, а в функциональном плане смыкаются с фонемами (либо, как в случае логического ударения, с морфемами). Но существуют и смешанные образования противоположного типа, когда фонемами приобретают функциональные свойства синдем.

К явлениям последнего рода относятся случаи функционирования фонем в роли пограничных сигналов.

Фонемы, как показал Н. С. Трубецкой⁵, могут стать пограничными сигналами только как члены определенных смысло-различительных оппозиций. Если, например, в древнегреческом языке «придыхательный приступ» (*spiritus asper*) был сигналом начала слова, то только потому, что эта фонема фонологически противостояла тогда ближайшей родственной фонеме — «непридыхатель-

⁵ Н. С. Т р у б е ц к о й. Основы фонологии. М., 1960, стр. 304—302.

ному приступу» (*spiritus lenis*) только в начальной позиции. Нечто сходное имеет место в современном русском языке, где глухие смычные *п, т, к* в словах типа *боб, род, стог* выступают как сигналы конца слова. Непременным условием функционирования этих русских звуков в качестве пограничных сигналов является их парадигматическая связь с звонкими смычными, с которыми они могут чередоваться в рамках одной морфемы, ср. *стог* — *стога*, фонетически [сток] — [стога] в отличие от [сток] — [стока]. Таким образом, не всякий глухой смычный является сигналом конца слова, а только такой глухой смычный, который парадигматически чередуется с звонким смычным, образуя с ним единую морфему. Фонемы могут таким образом приобрести делимитативную функцию и входить в состав синдема не непосредственно, а только при посредстве «нейтрализуемых оппозиций», т. е. оппозиций, ограниченных срединной или периферийной позицией в слове. Приобретение новой, как правило, не свойственной фонемам функции происходит здесь за счет ущербной дистрибуции оппозиций, ограничения их смыслоразличительной силы. Выигрыш в одном плане предполагает проигрыш в другом плане.

Разграничение «основных» и «промежуточных», или, если угодно, «чистых» и «гибридных», типов фонологических единиц способствует уточнению фонологических понятий. Фонологический статус промежуточных единиц нередко служил источником многих недоразумений в науке. Так, например, просодемы монопросодических языков нередко определялись как словесные акценты. Много споров велось и по вопросу о фонологическом статусе фонем, выступающих в роли пограничных сигналов. Попытки сведения промежуточных типов к «основным», или «чистым», типам не могут увенчаться успехом в силу двойственной природы первых, не допускающей одностороннего определения.

ФОНЕМА ИЛИ РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК?

Так вот я спрашиваю всех вас:!
«Кто же вышел из-за открывшейся
двери: девушка или тигр?»

Ф. Р. Стокман

В общем виде нет ничего проще, чем отделить фонемы языка от различительных признаков. Известное определение, что фонема представляет собой пучок симультанно заданных различительных признаков, кажется ясным и недвусмысленным. Однако это определение неоператорно, ибо в ряде случаев мы не знаем, симультанно исследуемые нами признаки или нет. Так, если в сочетании типа [on] назальность «одновременна» с [o], перед нами фонема /ō/; если не одновременна, — то бифонемная группа /on/. Пока не преодолена трудность с «одновременностью», мы не можем решить, служит ли назализация признаком гласной фонемы или самостоятельной фонемой /n/. Легко видеть, что вопрос: фонема или различительный признак? — это несколько суженный вариант вопроса: одна фонема или две? Последний вопрос возникает не только при описании дифтонгов и аффрикат, но и при анализе так называемых дополнительных характеристик звуков, например назализации и фарингализации гласных, палатализации и веляризации согласных (ср. [on]: это /ō/ или /on/? [l']: это /l'/ или /lj/? и т. п.), но в последнем случае он всегда встает в своем втором обличье, а именно — фонема или различительный признак? Очевидно, что в приведенных примерах ([on], [l']) речь шла не столько о физической, сколько о фонологической одновременности тех или иных артикуляций.

Обстоятельства, припимавшиеся во внимание при определении моно- и бифонемности тех или иных фонетических комплексов, сводятся в общих чертах к следующему: 1) внутри фонемы не может проходить ни слоговая, ни морфологическая граница (поэтому русское /aj/, например, бифонемно, а английское /ai/ — дифтонг); 2) части монофонемного образования не вступают в противоположения, в которые вступают самостоятельные фонемы (например, немецкое /a/ может подвергаться умлауту, ср. Mann 'человек' — Männer, мн. ч., а немецкое [a], извлеченное из /ae/, умлауту не подвержено, ср. Kleid 'платье' — Kleider, мн. ч.); 3) монофонемные и бифонемные образования чем-то отличаются друг от друга фонетически: монофонемное образование либо звучит не так, как звучало бы «омонимичное» сочетание двух самостоятельных фонем (ср. нем. Apfel 'яблоко' и Abfall 'склон'), либо произносится единым артикуляционным усилием, либо короче, чем сочетание

фонем; 4) фонемы и сочетания фонем могут по-разному функционировать в системе и употребляться по разным фонотактическим правилам¹.

Как хорошо известно, перечисленные выше правила обладают разной доказательной силой и нередко вступают в конфликт друг с другом. Лишь одно из них, видимо, является необходимым, а именно — правило о морфемной границе². Внутри фонемы действительно не может проходить морфологический шов, но применение этого критерия затрудняется наличием «омонимов» типа *Apfel* и *Abfall*. Откуда известно, что [pf] в *Apfel* функционально отлично от [pf] в *Abfall*? Очевидно, лишь на основании какого-то другого правила. Но все остальные правила в лучшем случае факультативны, если не иллюзорны. Мы не можем, например, сослаться на различие звучаний [pf] в *Apfel* и *Abfall*, потому что существующую разницу в звучании естественнее всего приписать именно различию в позициях и сказать, что бифонемное [pf] потому и звучит в *Apfel* не так, как в *Abfall*, что только во втором случае внутри группы проходит морфологическая граница. Вывод о бифонемном /pf/ в *Apfel* искажал бы положение дел в немецком, но был бы логически безупречен. Ср. англ. *trite* 'банальный' и *outright* 'открыто': несомненно, что [tr] в *trite* и [tr] в *outright* резко отличаются на слух, потому что во втором слове /t/ и /r/ принадлежат разным морфемам; тем не менее /tr/ бифонемно не только во втором, но и, скорее всего, в первом слове. (Я сознательно взял для примера английское /tr/, так как его место в системе английского консонантизма вызывает споры; но ср. *pry* 'подглядывать' и *upright* 'прямой', *little* 'маленький' и *outlive* 'пережить кого-то', где разница в произношении обоих бифонемных [pr] и [tl] определяется морфологическим членением слов: *pry* — *up-right*, *little* — *out-live*).

Ниже я предлагаю одно несложное правило, позволяющее, как мне кажется, довольно верно определять фонологический статус дополнительных характеристик типа пазализации, фарингализации, палатализации и др. Вопрос, на который я попытаюсь ответить, будет формулироваться: фонема или различительный признак? Однако на практике выбирать приходится не из двух, а из гораздо большего числа решений. Так, например, в современном исландском существует явление, именуемое преаспирацией. Когда говорят о преаспирации, то имеют в виду, что в словах типа *uppr[yʰp:]* 'вверх' между гласным и согласным слышится легкое

¹ Ср.: Н. С. Трубецкой. Основы фонологии. М., 1960, стр. 62—68; Л. Р. Зиндер. Общая фонетика. Л., 1960, стр. 219—222; Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева. Историческая фонетика немецкого языка. М.—Л., 1965, § 9.

² Вопрос о том, может ли проходить внутри фонемы слоговая граница, остается открытым ввиду тех сложностей, которые сопутствуют фонологическому анализу геминат.

придыхание. Начиная фонологический анализ, мы стоим перед длинным рядом одинаково вероятных решений: придыхание может быть различительным признаком гласного /u/, входить в качестве глайда в состав дифтонга /yh/, быть различительным признаком согласного /r/, аллофоном какой-то уже известной фонемы исландского языка (например, фонемы /h/) или самостоятельной фонемой, оказаться явлением стыкового характера, формой слогового акцента (чем-то вроде толчка), может, наконец, вообще не выполнять никакой фонологической нагрузки. Все эти варианты должны быть тщательно проанализированы. Поэтому, ставя догматический вопрос, чем является комплекс [on]: носовому гласным [õ] или бифонемным сочетанием /on/, я сознательно упрощаю проблему. По сути дела я попытаюсь ответить ниже лишь на вопрос о том, не служит ли назализация в указанном образовании различительным признаком гласного. Положительный ответ сделает, конечно, ненужным дальнейшие изыскания, но отрицательный ответ («не является признаком») еще не будет означать, что перед нами фонема /n/, а не что-нибудь иное. В качестве материала для своего анализа я возьму назализацию в современном исландском языке.

В исландском языке есть, как принято считать, сочетания ротовых гласных с носовыми сонантами, например: /oun/ в *Jón* 'Йоун' (знак акцента над гласным означает дифтонг), /an/ в *land* 'земля', /en/ в *senda* 'посылать' и т. д. Фонологические трудности вызывают обычно лишь сочетания групп [an], [on] и др. перед спирантом или перед другим (неносовым) сонантом. В группах типа [ans] (ср. слова *dansa* 'танцевать', *anza* 'возражать') носовой сонант чрезвычайно ослаблен, и это обстоятельство дало повод к трем различным фонологическим толкованиям. Предполагали, что, несмотря на различие в произношении групп [an] и [ans], с фонологической точки зрения первые два элемента в них тождественны: [an]/-an/, [ans]/-ans/; но предполагали также, что [ans] в отличие от [an] следует представить либо как /ās/ (т. е. в виде сочетания носового гласного со спирантом), либо как /aš/ (т. е. в виде сочетания ротового гласного с носовым спирантом)³. Второе и третье решение в данный момент равнозначны для нас, так как основная черта отделяет первое решение (фонема) от второго и третьего (различительный признак).

Следует сразу же заметить, что перед нами стоит чисто фонологическая задача и что решить ее можно только при помощи фоно-

³ Ср.: J. Poiriot. Sur l'articulation des nasales islandaises. *Mélanges offerts à M. Charles Andler...* «Publications de la faculté des lettres de l'Université de Strassbourg», fasc. 21. Strassbourg, 1924, стр. 287—288; Sveinn Bergsveinsson. Nasal + Englaut bzw. Liquida im Isländischen. «Archiv für vergleichende Phonetik», 1938, Bd II, H. 1, стр. 30—40; Stefán Einarsson. Nasal + Spirant or Liquid in Icelandic. «The Journal of English and Germanic philology», 1940, v. XXXIX, № 4, стр. 462—464.

логических процедур. Нефонологические доводы (которых предлагалось по этому поводу множество) не имеют никакой доказательной силы. Так, например, степень назализации ничего не говорит о ее фонологической нагрузке. Несомненно, что в тех языках, в которых носовые гласные фонологически противопоставляются ротовым, назализация должна быть в принципе выражена ярче, чем в тех языках, в которых такого противопоставления нет. Но знакомство с различными звуковыми системами ясно показывает, что степень релевантной назализации может быть различной. Кроме того, как и всегда в подобных случаях, «порог» назализации едва ли поддается вычислению, так как он зависит именно от фонологических условий: чрезвычайно сильная назализация (как, например, американский *twang*) может, видимо, не восприниматься носителями языка, если она избыточна. С другой стороны, и слабого различия может оказаться достаточно для реализации фонологического противопоставления.

Аналогично и минимальные пары — это не более чем фонологическое сырье. То, что *dansa* 'танцевать' и *dasa* 'истощать' — разные и по-разному звучащие слова, ни у кого не вызывает сомнения. Неясно лишь, чем они отличаются: тем ли, что в *dansa* на одну фонему больше, чем в *dasa* (/dansa/ vs. /dasa/) ⁴, или тем, что в них хотя и поровну фонем, но разных (/dāsa/ vs. /dasa/ или /daša/ vs. /dasa/), т. е. неясно именно то, что и составляет предмет фонологического анализа.

И, наконец, само собой разумеется, что изучение кимограмм и осциллограмм в данном случае бесполезно: осциллограмма, даже если бы она была в состоянии показать разницу между носовым и назализованным гласным, не могла бы ответить на вопрос о фонологическом содержании исследуемого отрезка речевой цепи. Интерпретация остается делом фонолога. Становясь же на фонологическую точку зрения, мы всегда готовы признать, что отрезок цепи, почему-либо принимаемый нами за два элемента, равен одной фонологической единице, а отрезок, считающийся неделимым, равен сумме двух фонологических слагаемых.

Если взять отдельное исландское слово, то проблема носовых гласных обычно возникает в двух случаях: внутри производящей основы (как в *anpa*, *dansa*) и на морфологическом шве (как в *Jóns*, род. пад. ед. ч. от *Jón*). При этом бифонемность группы /oun/ в форме именительного падежа *Jón* очевидна: при словоизменении, когда границы слогов перестают совпадать с границами морфем, мы имеем форму *Jónar* [jou:-nar] (мн. ч.), где /n/, оставаясь частью морфемы *Jón-* из конечно-слогового превращается в началь-

⁴ В фонологических транскрипциях исландских слов оставляю долготу гласных и согласных необозначенной, поскольку придерживаюсь той точки зрения, что долгота в исландском не принадлежит к числу различительных признаков фонем. Просодические же характеристики, к которым и принадлежит исландская долгота, в данный момент нас не интересуют.

но-слоговой и тем вполне доказывает свою фонологическую самостоятельность⁵. Фонологический же статус [п] в *anda* 'дышать' установить сложнее, по сути дела так же сложно, как и статус [п] в *anza* 'возражать'.

Мой исходный тезис состоит в следующем: сколько бы мы ни сравнивали между собой слова типа *anda* и *anza*, мы не обнаружим в них никаких указаний относительно того, чем с фонологической точки зрения являются в них группы [an]. Действительно, мы знаем, что [п] в *anda* звучит сильнее, чем [п] в *anza*, но ведь эти два [п] стоят в разных позициях (одно перед слабым смычным, другое — перед спيرانтом), так что им вполне естественно произноситься по-разному (ср. сказанное выше о немецких *Apfel* и *Abfall*). Граница слога в обоих словах проходит после сонанта. На месте носового сонанта, между /a/ и /d/, может стоять и другой сонант: ср. *anda* и *aldur* 'возраст'; то же относится к позиции между /a/ и /s/: ср. *anza* и *valsa* 'вальсировать'. Исландские фонетисты, которые настаивают на том, что в *anza* обнаруживается носовой гласный, подчеркивают, что этот гласный долгот. Следовательно, [an] в *anza* и [an] в *anda* примерно равны по длительности. Фонологический статус группы [an] в обоих словах одинаково неясен, и единственный предварительный вывод об исландских носовых, который можно считать достоверным, проистекает из сравнительного анализа форм *Jón* — *Jónag*. Сравнение этих форм показывает, что в исландском языке существуют сочетания ротовых гласных с /n/. Этот вывод можно распространить на слова типа *anda*, а также на слова типа *anza*, потому что у нас нет никаких ф о н о л о г и ч е с к и х оснований предполагать, что [an] в *anda* и [an] в *anza* должны анализироваться по-разному. Тем не менее существует еще одна возможность проанализировать исландские слова с группой [ans]. В описании этой возможности и заключается основной смысл данной статьи.

Если признать, что в исландском языке существуют носовые гласные, то их придется выделять не только внутри слова, но и в сандах. Совершенно одинаковые процессы происходят в форме *Jóns* и в сочетании *Jón sá* 'Йоун видел'. Исследователь, анализирующий *Jóns* как [jõus] (или как [jou̯s̥]), должен соответственно транскрибировать *Jón sá* как [jõusau] (или как [jou̯sau]). Я вполне осознаю, что, говоря о тождестве произношений гласных и согласных в *Jóns* и в *Jón sá*, пользуюсь в какой-то степени запрещенным приемом, так как о тождествах и различиях можно говорить лишь на уровне фонем и дифференциальных признаков; на фонетическом же уровне неизвестно, что сравнить и что считать

⁵ Ср.: М. В. Горди на. О различных функциональных звуковых единицах языка. «Исследования по фонологии». М., 1966, стр. 177—178. — В этой же статье см. краткий, но очень содержательный обзор по проблеме моно- и бифонемности (стр. 172 и сл.).

одинаковым. Поэтому я ограничусь несколько расплывчатой ссылкой на пограничные сигналы и явления конца слова. Могло быть так, что исландский язык располагал бы какими-то фонетическими средствами различать *ein sog-* в *ein sogflaga* 'одна присоска' и *einsog* в *einsog flaga* 'так же, как и плита' (*einsog* делится морфологически *eins-og*) или *ein staka* 'один стишок' и *einstaka* 'отдельный' (в *einstaka* морфологическая граница проходит после *ein*). Однако никаких пограничных сигналов, позволявших бы отделить *ein sogflaga* от *einsog flaga* и *ein staka* от *einstaka*, не существует. На этом основании я и считаю возможным говорить, что назализация проявляется совершенно одинаково как внутри исландского слова, так и в сандхи. На мой взгляд, это сходство имеет первостепенное значение для фонологического анализа. Вспомним еще раз, что слова типа *anda* и *anza* не дают никакого материала для выяснения того, есть в исландском носовые гласные или нет. Для фонологического анализа эти слова не существуют: на них лишь следует распространить вывод, полученный из описания каких-то других форм. Сандхиальные же формы поддаются анализу сами по себе.

Очевидно, что в языке не могут существовать фонемы, встречающиеся только в сандхи. Фонемы выделяются как парадигматические элементы; сандхиальные же фонемы, если бы мы их выделили, не участвовали бы ни в каких противопоставлениях, кроме как в противопоставлениях другим сандхиальным фонемам, и обладали бы лишь делимитативной, т. е. типично синтагматической, функцией. Следовательно, немислимо положение, при котором в языке были бы, например, носовые гласные фонемы, встречающиеся только в сандхи. Если бы исландские носовые гласные предполагались только в сандхи, то можно было бы сразу сказать, что подобный анализ недопустим. Если бы относительно исландских *Jón* и *Jóns* было известно, что они представляют собой /joun/и /jouns/ (на самом же деле это известно лишь относительно формы *Jón*, ср. сказанное выше о чередовании *Jón* — *Jónar*), то и *Jón sá* следовало бы анализировать как /jounsau/. Другими словами, если бы в исландском не было форм типа *Jóns* и *anza*, то мы бы имели полное право заключить, что назальный элемент, отмечаемый в позиции после гласного, всегда должен рассматриваться как самостоятельная фонема /n/, а не как различительный признак носового гласного (конечно, если весь выбор вариантов сузить до альтернативы: фонема или различительный признак?). Но мы говорили, что форм *anda*, *anza* и т. п. для фонологического анализа не существует и что мы должны вести свое описание так, как будто их нет. Если бы этих форм не было, то исследование сандхиальной назализации заставило бы нас отвергнуть мысль о существовании носовых гласных и различительной назализации в исландском. Но, допустив, что формы *anda*, *anza* и т. п. иррелевантны для нашего анализа, нам придется при-

пать сформулированный выше вывод верным и для реальных фонологических условий исландского языка и сказать, что в исландском языке нет носовых гласных.

Подобный вывод представляется на первый взгляд логическим *salto mortale*. Чтобы убедиться, что это не так, бросим беглый взгляд на наши процедуры. Мы установили, что для решения стоявшей перед нами фонологической задачи весь языковой материал делится на две части: инертный и активный. Формы типа *anda*, *anza*, *Jóns* инертны в том смысле, что нет ни правил, ни постулатов, которые позволили бы сделать обоснованный выбор между решениями /āda/, /āsa/ (или /asa/) и /anda/, /ansa/. Формы типа *Jón* активны: чередование *Jón* — *Jónar* позволяет вполне определенно анализировать *Jón* как /joun/. Однако существует предположение, что *anda* и *anza* должны интерпретироваться по-разному: /anda/ vs. /āsa/ (или /asa/). Но так как обе формы (и *anza*, и *anda*) инертны, то это предположение невозможно проверить. Сандхиальные же формы активны и позволяют сделать вывод об отсутствии в сандхи носовых гласных. Выводы, полученные из исследования активного материала, мы распространяем на инертные формы (т. е. на весь оставшийся материал) и говорим, что назальность ни в каких случаях не бывает различительным признаком исландских гласных. Суммированные выше операции — не фонологический трюк, а результат жестокой необходимости; они означают открытое признание того, что правила Н. С. Трубецкого и другие аналогичные правила, не дают ключа к решению задачи о моно- и бифонемности.

Вывод, полученный нами на материале исландской назализации, допускает обобщение и может применяться при решении всех задач, аналогичных разобранной в этой работе. Мы обнаружили, что характеристика, возникающая не только внутри слова, но и в сандхи (в нашем случае назализация), не входит в набор различительных признаков фонем данного языка. Таково, видимо, и общее правило: различительные признаки могут быть обнаружены только в этимологических позициях; появление же той или иной характеристики и внутри слова, и в сандхи заставляет исключить ее из набора различительных признаков. Если бы в *Jóns* было носовое /o/ (т. е. фонема /ō/), то в *Jón sá* носового гласного не было бы.

Сформулированное правило относится только к тому материалу, на котором оно выведено, и применимо к случаям, для которых вопрос: фонема или различительный признак? — есть обратная сторона вопроса: одна фонема или две? Так, например, если мы усомнимся, чем является палатализация в русском — различительным признаком согласных или реализацией фонемы /j/, то достаточно сравнить формы *были* и — *был* и. Палатализация есть внутри слова, но не возникает в сандхи и, следовательно, может рассматриваться как различительный признак русского /l/.

Если попытаться осмыслить, почему различительный признак не проявляется в сандхи, то ответ будет, видимо, заключаться в следующем. Различительные признаки входят в систему языка как результат уже закончившегося развития, и потому возникновение того или иного пучка этих признаков в принципе закреплено этимологически и не зависит от постоянно возникающих и тут же распадающихся в процессе речи сандхиальных связей. Однако становление дифференциальных признаков — длительный процесс. На каком-то синхронном срезе те или иные признаки могут оказаться еще не полностью включенными в систему. Сандхиальные позиции чрезвычайно чутко реагируют на степень включенности признака. Но применение сандхиального теста в диахронии требует особого рассмотрения, и этой теме будет посвящена специальная работа.

М. И. Стеблин-Каменский

ЗАМЕТКА ПО САНДХИАЛЬНОЙ ФОНОЛОГИИ

Много написано рассуждений о рассуждениях. Что такое наука, как не рассуждение о рассуждениях? Вот и эта заметка — рассуждение по поводу интересного рассуждения А. С. Либермана о фонеме и сандхи в его статье (см. наст. сб., стр. 143—150).

Основная мысль в статье А. С. Либермана, насколько я понимаю, заключается в общих чертах в том, что регулярное возникновение (соответственно — невозникновение) звука в результате сандхи, т. е. фонетического изменения на стыке слов, следует считать признаком того, что данный звук не фонема, а сочетание фонем (соответственно — не сочетание фонем, а фонема). Так, в исландском *Jón sá* 'Йоун увидел' ([jõu:sau:] или [jou:sau]) [õ] или [s] — не фонемы, а сочетания фонем [on] или [ns], так как соответствующий звук регулярно возникает в сандхи. Напротив, в русском языке [ɫ'] — фонема, а не сочетание /ɫj/, так как [ɫ'] не возникает в результате сандхи в *был и* и т. п. А. С. Либерман обосновывает свою мысль интересными рассуждениями, к которым я и отсылаю читателя. Кажется, ее можно обосновать иначе.

Не сводится ли критерий, предложенный А. С. Либерманом, к тому, что в языках, из которых взяты примеры, т. е. в исландском и русском, стык слов не может проходить внутри фонемы? Такой закон действует, по-видимому, и в других языках, хотя возможно, что есть языки, в которых он не действует.

Правда, положение (как будто очевидное), что стык слов не может проходить внутри фонемы, подразумевает известное упро-

щение и нуждается в оговорках. Это положение не учитывает того, что звуки в потоке речи не образуют строго линейной последовательности. Элементы, участвующие в образовании того или иного звука, не обязательно должны быть одновременными с ним. Так, в приведенном выше исландском примере в образовании звука [õi] участвует и щелевость последующего [s] (такие назализованные гласные возникают только в положении перед щелевыми). Вместе с тем стык слов — это, так сказать, функциональная, или фонологическая, но, по-видимому, не обязательно фонетическая реальность, т. е. его наличие не безразлично для функционирования фонем, хотя он может не восприниматься на слух или при помощи аппаратуры (аналогично этому, по-видимому, маркированность и немаркированность фонем — это функциональная, но не обязательно фонетическая реальность).

Положение, что стык слов не может проходить внутри фонемы, надо поэтому переформулировать так: элементы, участвующие в образовании звука, являющегося одной фонемой, а не сочетанием фонем, не могут быть по разные стороны стыка слов. Ну, а из этого положения уже будет неизбежно следовать, с одной стороны, что звук, возникающий на стыке слов в результате сандхи из элементов, остающихся по разные стороны от этого стыка, не может быть одной фонемой, а с другой стороны, что звук, являющийся одной фонемой, не может образовываться на стыке слов в результате сандхи из таких элементов, что и требовалось доказать.

Возможен, однако, и такой случай: две фонемы сливаются в результате сандхи в звук, все элементы которого одновременны. Так, в норвежском языке есть альвеолярный глухой смычный [t], который возник в свое время из сочетания [rt] и регулярно возникает также в результате сандхи из этого сочетания¹. С точки зрения его фонологического содержания этот звук вполне можно представить как альвеолярную фонему, противопоставляемую ее денсальному корреляту /t/ и найти соответствующие минимальные тары. Однако [t] все же явно не фонема в собственном смысле слова, как это видно из ряда фактов: [t] часто противопоставляется /t/, но, как правило, не сочетанию /rt/, и может заменяться этим сочетанием в стилистических вариантах или в некоторых вариантах произношения. Дело в том, что [t] сочетает в себе различные признаки /g/ и /t/ (альвеолярность, глухость, смычность) и таким образом, будучи одним звуком, выполняет функцию сочетания двух фонем. Другими словами, двучленность [t] — это функциональная, но не фонетическая реальность. Боргстрём предложил называть такие единицы «кумулянтами»². Не удивительно,

¹ О норвежских альвеолярных см.: М. И. Стеблин-Каменский. Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1966, стр. 127 и сл.

² С. Hj. Borgstrøm. *Innføring i sprogvidenskap*. Oslo, 1958, стр. 165.

что внутри двучленной фонологической единицы стык слов может проходить.

Норвежские альвеолярные (их несколько, хотя здесь говорилось только об одной) не входят, таким образом, в систему *о д н о ч л е н н ы х* фонологических единиц, или фонем, но как *д в у ч л е н н ы е* фонологические единицы они, конечно, входят в норвежскую фонологическую систему. Поэтому неверно было бы предположение, что звуки, возникающие в результате сандхи, не могут входить в систему языка в силу своего происхождения. Правда, верно, конечно, что обычно фонемы — результат уже завершившегося, а не живого процесса, каким является сандхи. Но, как и всякое обращение к диахронии для объяснения синхронии, обращение к происхождению фонем едва ли объясняет, почему они не возникают в результате сандхи. Впрочем, это уже рассуждение, по поводу которого можно было бы написать другое рассуждение в другой раз.

В. Н. Топоров

О ДИСТРИБУТИВНЫХ СТРУКТУРАХ КОНЦА СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В этой заметке речь идет о дистрибуции фонем в русском литературном языке в *к о н ц е* слова (после последней гласной фонемы — V). Источником послужил «Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart» (Unter Leitung und Redaktion von Н. Н. Bielfeldt. Berlin, 1958); следует принять во внимание, что все слова этого словаря «прогонялись» по всем возможным для данного слова элементам парадигмы: отсюда — ряд уникальных, иногда явно экспериментальных примеров дистрибуции фонем. К сожалению, до самого последнего времени проблема дистрибуции фонем в конце слова не привлекала достаточного внимания¹; тем более оставались в тени вопросы соотношения дистрибутивных структур и морфологии, а также ряд других существенных (хотя может быть, и менее важных) вопросов.

В русском языке слово может оканчиваться следующим образом:

¹ См. теперь весьма важное исследование: С. М. Толстая. Начальные и конечные сочетания согласных в славянских языках (автореф. канд. дисс.). М., 1968. — Применительно к уровню графем см.: В. Н. Топоров. Материалы для дистрибуции графем в письменной форме русского языка. «Структурная типология языков». М., 1966.

-a, -e, -i, -o, -u;
 -b, -zb, -zb, -z'b, -jb, -lb, -l'b, -mb, -n'b, -rb, -r'b, -lčb, -lšb, -s'b, -t'b,
 -st'b;
 -b', -rb';
 -v, -zv, -jv, -kv, -lv, -l'v, -nv, -rv, -sv, -tv, -rtv, -stv,
 -bstv, -vstv, -gstv, -dstv, -žstv, jstv, -l'stv, -mstv, -nstv, -pstv, -rstv,
 -ssv, -tstv, -l'tstv, -ntstv, -fstv, -xv, -lxv, -čv, -šv;
 -v', -gv', -lv', -rv', -tv';
 -g, -zg, -lg, -l'g, -mg, -ng, -n'g, -rg;
 -d, -vd, -gd, -žd, -zd, -jd, -ld, -l'd, -nd, -rd;
 -d', -žd', -zd', -l'd', -rd';
 -ž, -dž, -nž, -rž;
 -z, -bz, -ndz, -l'z, -mz, -nz, -rz;
 -z', -l'z' -rz';
 -j;
 -k, -vk, -lk, -l'k, -nk, -rk, -sk, -rsk;
 -l, -bl, -gl, -zgl, -lgl, -dl, -zl, -rzl, -kl, -rkl, -skl, -pl, -rl, -sl,
 -tl, -xl, -šl;
 -l', -bl', -mbl', -vl', -gl', -ngl', -jl', -kl', -ml', -pl', -sl';
 -m, -gm, -d'm, -žm, -zm, -jm, -lm, -l'm, -nm, -rm, -r'm, -sm, -tm,
 -stm, -fm, -xm, -šm;
 -m', -dm';
 -n, -vn, -gn, -dn, -zdn, -zn, -jn, -ln, -mn, -rn;
 -n', -gn', -zn', -rn', -sn';
 -p, -jp, -lp, -l'p, -mp, -rp, -sp;
 -p';
 -r, -br, -mbr, -vr, -gr, -ngr, -dr, -ndr, -zdr, -džr, -jr, -kr, -nkr, -skr,
 -mr, -nr, -pr, -tr, -vtr, -ktr, -l'tr, -ntr, -ptr, -str, -nstr, -štr, -fr, -xr;
 -r', -br', -pr', -tr', -xr';
 -s, -bs, -gs, -nds, -js, -ks, -nks, -ls, -l's, -ms, -ns, -ps, -rs;
 -s';
 -t, -vt, -dt, -jt, -kt, -nkt, -lt, -l't, -mt, -nt, -pt, -rt, -st, -bst, -kst, -lst,
 -rst, -ft, -xt, -čt, -št;
 -t', -zt', -rzt', -jt', -lt', -rt', -st', -rst', -ft';
 -f, -jf, -l'f, -mf, -pf, -mpf, -rf;
 -f', -jf', -rf';
 -x, -vx, -jx, -l'x, -rx, -sx;
 -c, -jc, -l'c, -nc, -rc, -tc, -šc;
 -č, -nč, -rč, -tč;
 -š, -vš, -jš, -kš, -l'š, -mš, -nš, -pš, -rš, -strš, -ntš;
 -š', -bš', -lš, -rš².

В ряде случаев было сочтено возможным ввести в список сочетания согласных, которые возникают в нестандартных (большей частью пособий от-
 вергаемых) формах (например, *тюрьм*); то же относится к (эксперимен-
 тально) расширительному толкованию некоторых singularia tantum (*мада*,
камса, *лапша*, *лихва*, *недолга* и под.) и indeclinabilia (*завтра* и под.), от
 которых — соответственно — образуются формы множественного числа
 и формы разных падежей. При этом следует еще помнить, что в ряде слу-

В приведенном списке несколько менее 300 вариантов конца слова. Из них 38 имеет в исходе дистрибутивные структуры типа $-V + \#$ ($-a, -e, -i, -o, -u$) или $-V + C + \#$ ($-b, -b', -v, -v', -g, -d, -d', -z, -z, -z', -j, -k, -l, -l', -m, -m', -n, -n', -p, -p', -r, -r', -s, -s', -t, -t', -f, -f', -x, -c, -č, -š, -š'$ с предшествующими гласными фонемами). Иначе говоря, любая фонема русского языка может завершать (как, впрочем, и начинать) слово; к исключениям относятся две фонемы, употребительные только в периферийной части словаря, — g' и k' : они никогда не встречаются в конце слова, но отмечены в ряде случаев в середине и в начале слова (ср. *ткём, ликёр, маникюр, кювет, кюре, гяур, гюйс* и т. д., а также пары типа *Киш : кыш!*, *кинь : акын, Гюго : Гуго* и под.). Около 200 вариантов конца слова отвечает структуре $-(V +)C + C$. Наибольшей валентностью к присоединению согласных фонем перед собой в этих сочетаниях обладают $-m$ и $-t$ (по 15 фонем), далее $-b$ (14 фонем) $-v$ и $-r$ (по 12 фонем), $-l$ (11 фонем), $-s$ (10 фонем) и т. д. Наименьшая валентность у фонем $-j, -p', -z'$, которые перед собой не могут иметь согласных фонем; далее идут фонемы с минимальной в этом отношении валентностью: $-m'$ (1), $-f'$ и $-š'$ (по 2), $-ž$ и $-č$ (по 3), $-v', -d', -n', -r'$ (по 4) и т. д. (характерно, что ими оказываются, как правило, мягкие фонемы или фонемы, для которых признак твердости — мягкости несуществен, ср. $ž, č$). Структура $-(V +)C + C + C$ реализуется в немногим более 40 вариантах конца слов: 13 из них приходится на случай, когда в конце слова оказывается $-r$ ($-mbr, -ngr, -ndr, -džr, -nkr, -skr, -vtr, -ktr, -l'tr, -ntr, -ptr, -str, -štr$), по пяти на $-l$ ($-zgl, -lgl, -rzl, -rkl, -skl$) и на $-t$ ($-nkt, -bst, -kst, -lst, -rst$), по 3 на $-b$ ($-lčb, -lšb, -st'b$) и на $-v$ ($-rtv, -stv, -lrv$), по 2 на $-l'$ ($-mbl', -ngl'$), на $-s$ ($-nds, -nks$) и на $-t'$ ($-rst', -rzt'$), по 1 на $-z$ ($-ndz$), $-k$ ($-rsk$), $-m$ ($-stm$), $-n$ ($-zdn$), $-f$ ($-mpf$) и $š$ ($-nts$)³. Лишь в 16 случаях фиксируются конечные сочетания четырех согласных — $-(V +)C + C + C + C$; из них в 14 случаях последней фонемой является $-v$ ($-bstv, -vstv, -gstv, -dstv, -žstv, -jstv, -l'stv, -mstv, -nstv, -pstv, -rstv, -ssv, -tstv, -fstv$), 1 раз $-r$ ($-nstr$) и 1 раз $-š$ ($-strš$)⁴. Всего двумя вариантами (оба раза с конечным $-v$) представлена

чаев предпочтение отдавалось более редким (иногда лишь окказиональным) образованиям перед упорядоченными типами образований (*шаньз* вместо *шанез*, *тюрьм* вместо *тюрем*, *чукч*, ср. также *чукоч*, вместо *чукчей* и даже *хитр* и под.).

³ Допустимые в определенном стиле образования на $-š$ (жены лиц, обозначенных данным словом) позволяют расширить инвентарь дистрибутивных структур конца слова, ср. $-ktš$ (*автодидактш*, род. п. мн. ч.: *автодидакт* — *автодидактиша* 'жена автодидакта'), $-l'tš$ (*юрисконсультш*), $-ptš$ (*адептш*), $-rdš$ (*смердш*), $-rtš$ (*экспертш*), $-stš$ (*гимнастш*), $-xtš$ (*ландскнехтш*); таким же образом можно расширить и набор структур, отвечающих формуле $-C + š$ (*следопытш*) и даже $C + C + C + š$ (*пробстш, адъюнктш*) и $-C + C + C + C + š$ (*монстрш*).

⁴ Ср. еще *монстрш* ($-nstrš$).

конечная структура - (V +) C + C + C + C + C: -l'tstv (юрис-консульства) и -ntstv (интендантства) ⁵.

Обращают на себя внимание диагностические свойства конца слова в русском языке. Речь идет об идентификации слов по их концам в зависимости от их грамматической принадлежности или от их вхождения в «ядерную» или «периферийную» часть лексики ⁶. Что касается последнего критерия, то важно подчеркнуть, что гораздо больше трети всех вариантов конца слова встречается исключительно в словах периферийного характера (заимствования, экспрессивные слова и т. п.). Если же отбросить 38 элементарных вариантов конца слова (см. выше: -V + # и -V + C + #), то окажется, что несколько менее половины всех сочетаний согласных в конце слова отмечено только в словах, принадлежащих к периферийной лексике, ср.: -jb, -mb; -jv, -l'v, -nv; -mbl', -gl', -ngl', -jl', -kl'; -ng; -gd, -l'd, -nd; -dž, -nž; -ndz, mz, -nz; -vk, -l'k, -nk, -rk; -kl, -rl; -l'tstv, -ntstv, -fstv; gm, -žm, -zm, -rm, -r'm, -sm, -tm, -stm, -fm, -xm, -šm; -mn; -l'p, -mp; -mbr, -vr, -gr, -ngr, -ndr, -džr, -jr, -nkr, -mr, -nr, -pr, -ktr, -l'tr, -ntr, -ptr, -str, -nstr, -štr, -fr, -xr; -bs, -nds, -js, -nks, -ls, -l's, -ms, -ns, -ps; -vt, -dt, -jt, -kt, -nkt, -l't, -mt, -nt, -bst, -kst, -ft, -xt; -jt', -ft'; -jf, -l'f, -mf, -pf, -rf; -jf', -rf'; -vx, -jx; -l'c, -nc, -rc; -nč; -jš, -l'š, -mš, -nš, -rš, -strš, -ntš ⁷.

В плане грамматической идентификации наиболее многозначны гласные концы слов. Так, конечной фонеме -а могут соответствовать флексии им. п. ед. ч. ж. р., род. п. ед. ч. м. и ср. р., вин. п. ед. ч. м. и ср. р., им. п. мн. ч. м. и ср. р., вин. п. мн. ч. м. и ср. р. (у существительных); им. п. ед. ч. ж. р., род. п. ед. ч. м. и ср. р. (краткая форма), вин. п. ед. ч. м. и ср. р. (краткая форма) (у прилагательных); им. п. ед. ч. ж. р. (у неличных местоимений); им. п. ед. ч. ж. р. 3 л. (у личных местоимений), дееприч. несов. в., определенные наречные типы и т. п. Фонема -е в конце слова может служить флексией ⁸ им.-вин. п. ед. ч. ср. р., предл. п. ед. ч. м., ср. и ж. р., дат. п. ед. ч. ж. р. (у существительных); им. п. ед. ч. ср. р., им. п. мн. ч. м., ср. и ж. р., сравнит. степени (у прилагательных); предл. п. ед. ч. м. р. (у фамилий, являющихся по происхождению притяжательными прилагательными); им.-вин. п. ед. ч. ср. р., им.-вин. п. мн. ч. м., ср. и ж. р. (у неличных местоимений); некоторых наречных типов и т. д. Фонема -і в конце слова может быть флексией род., дат., предл. п. ед. ч. м. и ж. р., дат. п. ед. ч. ср. р., предл. п. ед. ч. м. и ср. р., им.-вин. п. мн. ч. м. и ж. р., тв. п. мн. ч. м., ср.

⁵ Ср. окказиональное *арбумпства* (-trstv) и лишь потенциально возможное *монствства* (-nstrstv: = C + C + C + C + C + C + v), заслуживающее внимания как возможный пример максимального сочетания согласных в конце слова.

⁶ См.: В. Н. Топоров. Указ. соч., стр. 96 и сл.

⁷ См. слова с перечисленными сочетаниями согласных в конце слова с теми же сочетаниями + -а в словаре Бильфельдта.

⁸ Или последней частью флексии.

и ж.р. (у существительных); им.-вин. п. мн.ч. м., ср. и ж. р. (краткая форма) (у прилагательных); им.-вин. п. мн. ч. м.ср. и ж. р., тв.п.мн. ч. м., ср. и ж.р. (у неличных местоимений), им. п. мн. ч. 3 л., тв.п. мн. ч. (у личных местоимений), 2 л. ед. ч. повел. накл., инфинитива, 1, 2, 3 л.мн.ч. прош. вр.; дееприч. прош. вр.; некоторых наречных типов и т.д. Фонема *-и* выступает в качестве флексии дат. п. ед. ч. м. и ср. р., предл. п.ед.ч. м.р., вин. п.ед.ч. ж.р. (у существительных); дат. п. ед. ч. м. и ср. р., вин. п. ед. ч. ж.р. (краткая форма), вин. п. ед. ч. ж. р., дат.п. ед.ч. м. и ср. р. (полная форма), вин. п. ед.ч. ж.р., дат. п. ед. ч. м. и ср. р. (у неличных местоимений); 1 л.ед. ч. наст. и буд. вр.; некоторых типов наречий и т. д. Фонема *-о* может быть флексией им.-вин. п. ед. ч. ср. р. (у существительных, кратких прилагательных, неличных местоимений); 3 л. ед. ч. ср. р. прош. вр.; некоторых типов наречий и т. д. Менее значительна грамматическая роль конечных согласных фонем, ср., например, *-в* (сослаг. накл.), *-v* (род. п. мн. ч. м. р., дееприч. сов. в., местоим. типа *таков, каков*), *-j* (им. п. ед. ч. м. р. прилаг. и некоторых местоим. типа *такой, другой, чей*; 2 л. ед. ч. повел. накл. и т. д.), *-l* (1, 2, 3 л. ед. ч. прош. вр.), *-т* (дат. п. мн. ч. м., ср. и ж. р., тв. п. ед.ч. м. и ср. р. у существительных; тв.п. ед.ч. м. и ср.р., предл. п.ед. ч. м. и ср. р., дат.п. мн.ч. м., ср. и ж. р. у прилагательных и местоимений; 1 л. ед. ч. наст. и буд. вр.; 1 л. мн. ч. наст. и буд. вр. и т. д.), *-п* (причаст. страд. залога — краткая форма и др.), *-s* (род. и предл.п. мн.ч. у личных местоимений), *-t* (3 л. ед. ч. наст. и буд. вр., 3 л. мн. ч. наст. и буд. вр.), *-t'* (инфинитив), *-x* (предл. п. мн. ч. м., ср. и ж. р. у существительных; род., вин. и предл. п. мн. ч. м., ср. и ж. р. у прилагательных и неличных местоимений, а также у личных местоимений 3 л. и т. д.), *-č* (инфинитив), *-š* (2 л. ед. ч. наст. и буд. вр.) и т. д. Таким образом, легко заметить существенно различную грамматическую нагрузку между гласными фонемами, с одной стороны, и согласными фонемами, с другой. Помимо этого, достойно внимания, что конечные гласные фонемы выступают прежде всего во флексии имени, тогда как конечные согласные фонемы предпочтительно используются в глаголе, а среди имен — во флексиях периферийных падежей (ср. *-т*, *-x*). Наконец, бросается в глаза то обстоятельство, что только менее трети согласных фонем в конце слова может быть интерпретировано грамматически.

В пределах описанного до сих пор соотношение дистрибуции фонем конца слова и их грамматической роли представляется вполне ясным, тем более что структура флексии в склонении и спряжении в русском языке достаточно проста: *-V* (*рук-а, нес-у*), *-C* (*игра-л*), *-CV* (*дверь-ми, игра-ю*), *-VC* (*рук-ам, без-ут*), *-VCV* (*рук-ами, ид-ете*). В связи с фонемной структурой флексии существенно напомнить, что ей чужды сочетания двух гласных или двух согласных фонем. Последнее обстоятельство (запрет на сочетание двух и более согласных фонем в конце слова в грамматически осмыслен-

ной флексии) имеет особое значение в связи с тремя категориями случаев, когда конец слов, выступающих в определенных грамматических формах, характеризуется (или, точнее, может характеризоваться), напротив, максимальными (для русского языка) конечными консонантными сочетаниями. Если бы можно было исключить эти сочетания согласных фонем в конце слов в этих трех категориях случаев, правила дистрибуции фонем в конце слова в русском языке оказались бы несравненно более простыми. В основном они укладывались бы в только что названные пять формул⁹. Строго говоря, именно так и следует, видимо, описывать процесс порождения дистрибутивных структур конца слова в русском языке с синхронической точки зрения. Случаи, нарушающие регулярные принципы дистрибуции, целесообразно перечислять списком (из него, между прочим, будет видно, какой большой процент исключений падает на периферийную лексику, см. ниже примеры). Три категории случаев, являющихся исключениями, состоят из форм с нулевой флексией: 1) им. п. ед. ч. м. и ж. р. существительных (соответственно — вин. п. ед. ч. м. и ж. р. неодушевл.) 2) род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существительных (соответственно — вин. п. мн. ч. ж. р. одушевл.), 3) им. п. ед. ч. м. р. кратких прилагательных.

Ниже следуют соответствующие списки.

В этом списке отмечено 155 вариантов концовок им. п. ед. ч. м. и ж. р. существительных (1), 150 вариантов концовок род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существительных (2) и 30 вариантов им. п. ед. ч. м. р. кратких прилагательных (3). В группе 1 есть 81 уникальная концовка, в группе 2 их 78, в группе 3 их 10. В группе 1 насчитывается 85 концовок, которых нет в группе 2¹⁰, в свою очередь в группе 2 существует 82 концовки, ни одна из которых не встречается в группе 1. За пределами этих трех групп остается совершенно незначительное количество уникальных концовок, состоящих из сочетания согласных фонем, ср. -l'z' (*вскользь*), -jt' (*фюйт*), -zt' (*лезть*), -rzt' (*отверзть*), tr' (*внутрь*), -dm' (*седьм*), -jf' (*дрейф* при *дрейфи*), -gm' (*зм*!), -kš (*ки*!).

Уникальное разнообразие концовок в указанных трех группах слов объясняется как раз тем, что эти концовки никогда не совпадают с грамматическими окончаниями, отличающимися, как было сказано выше, простотой и (учитывая обилие форм склонения и спряжения) относительной малочисленностью. Много-

⁹ Исключения статистически незначительны.

¹⁰ Если учесть, что им. п. ед. ч. м. и ж. р. может оканчиваться на мягкую согласную фонему (-С'; в списке таких случаев 33), а род. п. мн. ч. ср. и ж. р. не может, то станет понятной диагностическая роль конечных мягких согласных (ср., однако, *борщ*, но *тощ*, род. п. мн. ч. ж. р.). С другой стороны, конечные четырехконсонантные (и более) сочетания встречаются практически лишь в группе 2 (15 четырехконсонантных вариантов и 2 пятиконсонантных — при одном конечном сочетании четырех согласных фонем в группе 1: *монстр*); что же касается конечных трехконсонантных сочетаний, то в группе 1 их — 22, в группе 2 — 18, в группе 3 — 8.

Конечные сочетания согласных фонем	1. Им. п. ед. ч. м. и ж. р. существи- тельных	2. Род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существи- тельных	3. Им. п. ед. ч. м. р. кратких прилага- тельных	Конечные сочетания согласных фонем	1. Им. п. ед. ч. м. и ж. р. существи- тельных	2. Род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существи- тельных	3. Им. п. ед. ч. м. р. кратких прилага- тельных
-zb		служб		-pstv		папств	
-zb		изб		-rstv		изу-	черств
-z'b		резьб				верств	
-jb		шайб		-sstv		искуств	
-lb	столб	колб		-lstv		богатств	
-l'b		пальб		-l'tstv		юрискон- сульств	
-mb	нимб	дамб		-ntstv		пе- дантств	
-n'b		гоньб				графств	
-rb	горб	арб		-fstv		листв	
-r'b		гурьб		-xv			
-s'b		просьб		-lxv	волев		
-t'b		женитьб		-čv		почв	
-st'b		пастьб		-šv		подошв	
-lčb		алчб		-gv'	хоругвь		
-lšb		волиб		-lv'	мольв		
-rb'	скорбь			-rv'	червь		
-zv		язв		-lv'	ветвь		
-jv		айв		-zg	виzg	брюzg	
-kv		букв		-lg	долг	недолг	
-lv		молв		-l'g		пустельг	
-l'v		мальв		-mg		тамг	
-nv		канв		-ng	гонг	юнг	
-rv	нерв	стерв		-n'g		шаньг	
-sv		древ		-rg	четверг	кочерг	
-lv		клятв	мертв	-vd		правд	
-rtv		жертв		-gd	смарагд		
-stv		паств		-žd		надежд	
-bstv		рабств		-zd	поезд	звезд	горазд
-vstv		лукаств		-jd	офсайд	пройд	
-gstv		бегств		-ld	халд	щеколд	
-dstv		казно- крадств		-l'd	скальд	тильд	
-žstv		муже- ложств		-nd	зонд	легенд	
-jstv		красно- байств		-rd	бард	алебард	тверд
-l'stv		мучи- тельств		-žd'	дождь		
-mstv		упрямств		-zd'	звоздь		
-nstv		чванств		-l'd'	сельдь		
				-rd'	твердь		

Конечные сочетания согласных фонем	1. Им. п. ед. ч. м. и ж. р. существи- тельных	2. Род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существи- тельных	3. Им. п. ед. ч. м. р. кратких прилага- тельных	Конечные сочетания согласных фонем	1. Им. п. ед. ч. м. и ж. р. существи- тельных	2. Род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существи- тельных	3. Им. п. ед. ч. м. р. кратких прилага- тельных
-dʒ	коттедж	(мага- радж) *		-vl'	жураль		
-nʒ	флёрд- оранж			-gl'	кегель		
-rʒ	корж	бирж **		-ngl'	мангель		
-bz		кобз		-jɫ'	коктейль		
-ndz	ксенда			-kl'	бинокль		
-l'z		гильз		-pl'	воплъ		
-mz		лемз		-st'	мысль		
-nz	цена	фанз		-d'm		ведъм	
-rz	травера	мира		-z'm		пижм	
-rz'	феръ			-z'm	кубизм	призм	
-vk	томагавак			-j'm	сейм	обойм	
-lk	волк			-l'm	холм	чалм	
-l'k	тальк			-l'm	фильм	шельм	
-nk	банк			-n'm	сонм		
-rk	парк			-r'm	корм	казарм	
-sk	воск			-r'm		тюрьм	
-rsk	порск			-s'm	микро- косм		
-bl		собл	дрябл	-t'm	ритм		
-gl		игл	нагл	-s'm		астм	
-zgl			промоагл	-j'm	логарифм	рифм	
-lgl			волгл	-x'm		драхм	
-dl		падл	подл	-š'm		кошм	
-zl	жезл		облеал	-v'n	фавн		
-rzl			мерзал	-gn		стогн	
-kl	цикл		выпукл	-dn		бездн	
-rkl			прогоркл	-zdn	соблазн	тризн	
-skl			тускл	-zn		войн	
-pl			цупл	-jn	челн	солн	
-rl	перл	сверл	уэкогорл	-ln	гимн		
-sl	смысл		малоросл	-m'n	дерн	урн	
tl-			утл	-rn			
-xl			пухл	-gn'	огнь		
-šl			пошл	-zn'	жизнь		
-bl'	рубль			-rn'	чернь		
-mbl'	ансамбль			-sn'	песнь		
				-j'p	телетайп		

* Ср. возможные колебания в форме род. п. мн. ч. в словах раджа, магаараджа, сад-жа, но паранджа—паранджей, ханжа—ханжей (ср. лонжа, ронжа).

** Ср. барж: баржей.

Конечные сочетания согласных фонем	1. Им. п. ед. ч. м. и ж. р. существи- тельных	2. Род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существи- тельных	3. Им. п. ед. ч. м. р. кратких прилага- тельных	Конечные сочетания согласных фонем	1. Им. п. ед. ч. м. и ж. р. существи- тельных	2. Род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существи- тельных	3. Им. п. ед. ч. м. р. кратких прилага- тельных
-lp	столп	толп		-ks	суффикс	плакс	
-l'p	скальп	пульп		-nks	сфинкс		
-mp	темп	ламп		-ls	галс		
-rp	карп	нерп		-l's	рельс	рельс	
-sp		осп		-ms	рамс	камс	
-br	бобр	алгебр	добр	-ns	аванс		
-mbr	тембр	домбр		-ps	гипс		
-vr	лавр	плевр		-rs	ворс	бурс	
-gr	тигр	игр		-vt	терапевт		
-ngr	венгр			-dt	форш- тадт		
-dr	октаэдр	недр	бодр	-jt	войт	флейт	
-zdr		меандр		-kt	акт	сект	
-ndr	цилиндр	сала- мандр		-nkt	пункт		желт
-džr		гиджр		-lt	болт		
-jr	эскайр	мойр		-l't	культ	дельт	
-kr	акр	икр	мокр	-mt	почтамт		
-nkr	шанкр			-nt	бинт	доми- нант	
-skr		искр		-pt	адент	лент	
-mr		домр		-rt	торт	карт	мухорт
-nr	жанр			-st	хруст	невест	зубаст
-pr	шипр	копр	хитр	-bst	пробст		
-tr	ветр	палитр		-kst	текст	секст	
-vtr		застр		-lst	холст		толст
-ktr	спектр			-rst	перст	верст	отверст
-l'tr	фильтр			-ft	лифт	кофт	
-ntr	центр			-xt	кнехт	вахт	
-ptr	диоптр			-čt	причт	мачт	
-str	пластр	астр	пестр	-št	кошт		
-nstr	монстр			-lt'	полт		
-štr		муштр		-rt'	борть		
-fr	шифр	цифр		-st'	страсть		
-xr		вохр		-rst'	шерсть		
-br'	дебрь			-ft'	юфть		
-pr'	вепрь			-jj	шлейф		
-xr'	сихрь			-l'j	гольф	альф	
-bs	плебс			-mj	триумф		
-gs	загс			-pj		цанф	
-nds	хендс			-mpj	эумпф		
-js	рейс						

Конечные сочетания согласных фонем	1. Им. п. ед. ч. м. и ж. р. существи- тельных	2. Род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существи- тельных	3. Им. п. ед. ч. м. р. кратких прилага- тельных	Конечные сочетания согласных фонем	1. Им. п. ед. ч. м. и ж. р. существи- тельных	2. Род. п. мн. ч. ср. и ж. р. существи- тельных	3. Им. п. ед. ч. м. р. кратких прилага- тельных
-rʃ	торф	арф		-vʂ	кови		
-rʃʰ	верфь			-jʂ		гейи	
-vx	ниех			-kʂ		веки	
-jx	шейх			-lʰʂ		гене- ральи	
-lʰx		ольх		-mʂ		вами	
-rx	верх			-nʂ	ресани	великани	
-sx		пасх		-pʂ		лапи	
-jɕ	флейц	убийц		-rʂ	фарш	лифтерш	
-lʰɕ	зельц			-slʂ		рот- мистрш	
-nc	принц	инфляуэц		-nlʂ		музы- кантш	
-rc	терц			-bʂʰ			обиц
-tc		зряноуц		-lʂʰ			
-ʂɕ		мышц		-rʂʰ	борц	толиц	
-kɕ		чужц					
-nɕ	френч						
-rɕ	смерц						
-lɕ	скетч	притч					

образии и уникальность консонантных концовок в этих группах свидетельствует о н у л е в о й грамматической флексии.

Вместе с тем следует подчеркнуть существенное различие между консонантными концовками слов в группе 1 и в группе 2. В группе 1 эти концовки являются фактом реального языка, и все они легко могут быть найдены в обратном словаре. Что же касается консонантных концовок в словах группы 2, то здесь они являются в результате процесса, когда слова женского рода на -а и среднего рода на -о «прогоняются» через род. п. мн. ч. Такая операция во многих случаях весьма далека от автоматизма. Именно при ней чаще и резче всего приходится сталкиваться с проблемой потенциальности в грамматике, что имеет следствием наибольшее число колебаний в установлении формы род. п. мн. ч. ж. р. Грамматические пособия (включая пометы в словарях) во многих случаях по-разному рекомендуют образовывать указанную форму, а в целом ряде примеров, относящихся к числу наиболее сложных, вообще воздерживаются от каких-либо рекомендаций. В текстах же встречаются разные варианты, ср. *служеб* — *служб*, *чресел* — *чресл*, *домен* — *домн*, *ехиден* — *ехидн*, *свекол* — *свекл*, *кукол* —

кукл, тюрем — тюрьм, свадеб — свадьб и т. д.¹¹ Особенно много примеров таких вариаций в разговорной речи, где в отношении целого ряда слов вполне допустимы оба варианта (тип *магарадж* и *магараджей*). В ряде случаев слова с одинаковой консонантной концовкой употребляются с разными флексиями, ср. *ветел, метел*, но *титл* (от *титло*), *сёдел*, но *сверл* и т. д. Наконец, при последовательном порождении форм род. п. мн. ч. ж. р. возникает ряд слов, которые по своей фонологической структуре противоречат существующим правилам построения полнозначных слов, ср. случаи отсутствия гласной фонемы в словах *зга, мга, мзда, мгла, тьма, хна, ржа, тло, скло* и под.¹² при нулевой флексии в род. п. мн. ч. и отсутствии «беглого» гласного. Не случайно, что именно в подобных случаях употребление таких слов в род. п. мн. ч. избегается исключительно по основаниям, связанным с дистрибутивной структурой (ср. *мглам, згам, склам* и т. п., хотя и исключительно редко, но все-таки встречающиеся в текстах). В таких условиях возникает парадоксальная ситуация, когда принципы построения плана выражения влияют на неупотребление парадигматического (и к тому же весьма распространенного) элемента плана содержания. В наличии в этой форме максимальной неопределенности, полностью непреодоленной в узусе (или преодолеваемой путем игнорирования спорных случаев), следует видеть одно из наиболее влиятельных последствий падения редуцированных для склонения существительных в современном русском языке.

¹¹ См.: С. П. Обпороцкий. Именное склонение в современном русском языке, вып. 2. Л., 1927; А. А. Зализняк. Русское именное словоизменение. М., 1967 (в работе дано исчерпывающее перечисление всех сложных случаев и предлагаются правила образования форм род. п. мн. ч.).

¹² См.: А. А. Зализняк. Указ. соч., стр. 100.

М. М. Гухман

ЕДИНИЦЫ АНАЛИЗА СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ПОНЯТИЕ ПОЛЯ

Единицы, используемые при анализе и описании словоизменительной системы, разнородны по своему объему, по соотношению синтагматических и парадигматических связей, по типу своей соотнесенности с речевым материалом. Под единицами анализа словоизменительной системы понимаются не только единицы данного уровня — морф¹ или маркер словоформы² в качестве элементарных единиц и словоформа в качестве предельной единицы, но и вся иерархическая система элементов анализа, включая словоформу, парадигматический ряд, парадигму и словоизменительную грамматическую категорию. При этом важнейшим методологическим постулатом является положение о прямой зависимости используемых единиц описания от природы самого объекта и его

¹ Морф — мельчайшая единица морфологического уровня в целом, т. е. единица как словообразовательной, так и словоизменительной системы. Знаковая релевантность морфа не всегда одинакова: она определяется тем, выступает ли данный морф как единственный различительный признак осново- или формообразования или же два или более морфа объединяются в этой функции; ср. на уровне словоизменения, с одной стороны, противопоставление др.-в.-нем. tag || tagā 'день' — 'дни', с другой — gast||gesti 'гость' — 'гости'; в последнем случае возникает вопрос о знаковой иерархии маркеров (см.: М. М. Г у х м а н. Грамматическая категория и структура парадигм. «Исследования по общей теории грамматики». М., 1968, стр. 162—165).

² Маркер — дифференциальный признак словоформы как члена парадигмы. Он может равняться морфу (ср. приведенный выше пример tag||tagā), но может состоять и из нескольких морф (ср. gast||gesti, где маркером им. пад. мн. ч. является перегласовка + морф -i). Маркер—двумерная единица: план выражения реализуется набором морфов, содержательная сторона маркера представлена граемами. Во флективных языках маркер чаще всего включает несколько граем; ср. выше маркер -ā, включающий граемы им. пад. и мн. ч. Но возможны и иные случаи: ср. нем. Fisch-е-л, где -е- показатель мн. ч., -л — дательного падежа мн. ч.

сущностных характеристик. Иными словами, не только морф, маркер и словоформа являются элементами самой языковой структуры, но и парадигма и грамматическая категория.

Однако между названными единицами имеются и значительные различия. Единицы данного уровня: морф, маркер, словоформа могут изучаться и описываться в синтагматическом и парадигматическом аспектах, т. е. как элементы речевого отрезка и элементы системы, тогда как другие единицы являются прежде всего классами парадигматическими. С этим связано и иное не менее важное различие: единицы первой группы могут непосредственно наблюдаться в речевом отрезке или тексте; они вычлениаются на основе линейного анализа и сегментации речевого отрезка с последующим применением приемов отождествления этих единиц. Вторую группу составляют единицы, недоступные непосредственному наблюдению над текстом, их познание осуществляется в результате более сложных операций, причем решающим звеном здесь является построение моделей, адекватно отражающих важнейшие свойства единиц этой группы. Условно можно сказать, что единицы второй группы как бы надстраиваются над единицами первой группы, включая их в качестве своих компонентов; насколько, однако, такая формулировка является приблизительной и односторонней явствует из того, что сколько-нибудь полное понимание функции и позиции маркера или словоформы невозможно вне их включения в парадигму, т. е. без применения к ним и парадигматических параметров. Статус маркера, например, устанавливается и проверяется, с одной стороны, путем подстановки разных лексических единиц в разные контексты, так что постоянной величиной оказывается маркер, а переменной лексическая основа, с другой — путем его включения в парадигматическую систему однопорядковых словоформ, где постоянной величиной является лексическая основа, а переменной — разные маркеры. Поэтому различия эти отнюдь не тождественны соотношению «уровня наблюдения» и «уровня конструкторов» в лингвистической концепции С. К. Шаумяна.

Набор единиц, используемых при анализе словоизменительной системы, варьируется у разных исследователей в зависимости от общих принципов грамматической теории. Определяющую роль в этой связи играет рассмотрение соотношения эвристического и онтологического аспектов, единиц анализа и описания и единиц, присущих самому объекту описания. От общих принципов и методологии грамматики зависит и понимание специфики отдельных единиц, и установление их места в процедурах анализа и описания.

Достаточно в этой связи напомнить борьбу мнений вокруг понятия морфемы, тесно связанную с более широким или более узким пониманием содержания морфологии в целом и словоизменительной системы — в частности. Фактическое сведение описания

языка к анализу речевых отрезков в терминах дистрибуции и отождествления, что являлось основным стержнем классической модели американского дескриптивизма, обусловило исключение из практики анализа слова как потенциальной совокупности словоформ, и тем самым исключение и столь сложных единиц, как пара-дигма и грамматическая категория.

И в данной статье попытка использовать категорию поля для более всестороннего анализа и описания поведения и валентности словоизменятельных единиц обусловлены прежде всего двумя исходными моментами: 1) положением о знаковой природе грамматических единиц, а следовательно, и единиц словоизменятельной системы; 2) относительной строгостью критериев, позволяющих тот или иной факт рассматривать как единицу словоизменятельной системы.

Первое положение связано с признанием двумерности грамматических единиц в самом языке. Двумерность объясняет сложный характер иерархических свойств грамматической системы, а тем самым и определенную сложность и разноаспектность самого анализа и описания, предполагающего полноту описания как формально-строевых особенностей, так и значения, а следовательно, и закономерности функционирования этих единиц.

Второе положение предполагает более или менее последовательное отграничение единиц и процессов словоизменятельной системы от словообразовательных и синтаксических единиц и процессов даже в тех случаях, когда имеется известная близость или подобие плана содержания.

Отграничение словоизменятельных и словообразовательных единиц основывается не столько на материально-строевых, сколько на функционально-структурных особенностях. Известно, что даже во флективных языках можно наблюдать известную нейтрализацию противопоставления формативов словоизменятельных и словообразовательных процессов: поведение в немецком языке морфов, образующих маркеры мн. ч. существительного, в строевом отношении фактически не отличается от поведения словообразовательных морф, ср:

Land 'страна' Länd-er 'страны' Länd-er-n 'странам' и
Schule 'школа' Schül-er 'школьник' Schül-er-s 'школьника'.

При сравнении этих рядов существенным является не материальное совпадение словоизменятельного и словообразовательного маркеров, представляющее собой частное явление, но позиция обозначающих их морфов в падежных словоформах, представленных третьим компонентом каждого ряда.

Аналогичные особенности обнаруживают и другие единицы словоизменятельной системы ряда языков. В агглютинирующих языках словообразовательные и словоизменятельные прилепы в

материально-строевом отношении вообще не различаются, так что практически процедура разграничения основообразования и формообразования оказывается возможной лишь при наличии ряда допущений. Вместе с тем в языках разных типов нередко происходит проникновение единиц словообразовательной системы в словоизменительную парадигматику, подключение их к сети оппозиций, определяющих грамматический строй того или иного языка. В этих случаях может образоваться омонимия основообразующих и формообразующих морфов-маркеров³. Процессы интерференции особенно интенсивны в агглютинирующих языках.

Однако, несмотря на эту близость и даже как бы вопреки ей, в принципе статус единиц обеих подсистем, характер их функционирования различен. Типичным для словоизменительных единиц является наличие ведущей тенденции (не всегда получающей полную реализацию) к независимости их образования от лексического значения единиц, с которыми сочетаются те или иные словоизменительные маркеры. Отсутствие лексической ограниченности словоизменительных форм является определяющим фактором известной стандартности и универсальности в соответствующем языке как процессов их образования, так и самих моделей этих единиц; с этим связана и характерная для них предсказуемость, т. е. возможность образовать данную словоформу с данным значением от любой или почти любой лексемы определенного разряда. Так, например, образование падежных словоформ в немецком или русском языках не ограничивается и не зависит от лексического характера того или иного существительного, так же как в глагольной системе немецкого языка претерит и презенс образуются от любой глагольной лексемы. Впрочем, нередко подобная универсальность словоизменительной потенции в пределах данной категории нарушается частными исключениями: в немецком языке формы императива не образуются от глаголов типа *bluten* 'истекать кровью', а формы личного пассива от глаголов типа а) *haben* 'иметь', *besitzen* 'обладать', *erhalten* 'получать', б) *wissen* 'знать', что обусловлено смысловой структурой перечисленных глагольных единиц. Между тем не только императив, но и пассив представляют собой в немецком языке словоизменительные категории. К тому же отмеченные выше различительные черты словоизменительных единиц не во всех языках и даже не во все периоды истории одного и того же языка выступают с одинаковой определенностью.

В истории индо-иранских языков наблюдаются качественные изменения в принципах оформления глагольной парадигматики: если для древней поры характерным являлось отсутствие четкой противопоставленности моделей и процессов глагольного словоизменения и словообразования, так что позиция глагольных ос-

³ Об омонимичных маркерах см.: М. М. Г у х м а н. Грамматическая категория и структура парадигм, стр. 141.

нов в словоизменительной парадигме часто приближалась к соотношению членов словообразовательного гнезда, то в новоиндийских языках проявляется тенденция к последовательному обособлению словоизменительных моделей, к выработке новых парадигматических рядов, компоненты которых обладают той стандартностью и предсказуемостью, которые отличают словоизменительные процессы⁴.

Не менее сложным является и вопрос о критериях отграничения словоизменительных форм от разных моделей сочетаний служебного (частичного) и полного слова. О неоднородности этих последних неоднократно писали А. И. Смирницкий, В. Н. Ярцева, О. И. Москальская, А. М. Мухин и автор данной статьи. Но вместе с тем обращалось внимание на существенное отличие сочетания «частичное слово + полное слово» от сочетания двух полнозначных слов, поскольку они занимают разную позицию в пределах синтаксического уровня: в терминах классической грамматики второе сочетание представляет собой комплекс двух членов предложения, тогда как первое всегда оказывается одним членом предложения. Если считать, что словосочетание является элементарной единицей синтаксического уровня, то первый тип словосочетания занимает особое положение, не являясь «полноправной» единицей синтаксического уровня, но и не являясь единицей морфологического уровня, поскольку оно лишено цельнооформленности. Именно это особое положение подобных структур и определило подвижность их сущностных характеристик. Могут быть выделены два противоположных типа. К первому типу относятся сочетания, в отношении которых очевидным является преобладание черт, свойственных элементам синтаксических структур, — это находит свое выражение в многофункциональности одной и той же модели, зависящей от лексического значения опорного слова, в пестроте значений частичного слова, что препятствует регулярности оппозиций, а следовательно, их стандартности и что не допускает предсказуемости. Ко второму типу относятся словосочетания, у которых вопреки отсутствию цельнооформленности обнаруживаются черты, присущие словоизменительным единицам *par excellence*: реальная неразложимость, обобщенность дифференциальных признаков плана содержания, стандартность и, наконец, предсказуемость⁵.

В отличие от единиц синтаксического уровня этот второй тип сочетаний не порождается в речевом процессе по существующим в

⁴ M. L e u m a n n. Zur Stammbildung der Verben im Indischen. — IF, 1940, Bd 57, Hf. 3, стр. 205—238.

⁵ См.: М. М. Г у х м а н. Глагольные аналитические конструкции как особый тип сочетания частичного и полного слова. «Вопросы грамматического строя». М., 1955, стр. 339—349; А. И. С м и р н и ц к и й. Морфология английского языка. М., 1959; В. Н. Я р ц е в а. Проблема парадигмы языка аналитического строя. «Вопросы германского языкознания». М. — Л., 1961.

данном языке правилам моделирования, они являются «готовыми» единицами языка, тождественными в этом отношении со словоформами в узком значении этого слова. Именно это обстоятельство позволяет даже при наличии строгих критериев отбора словоизменительных единиц включать подобные структуры в словоизменительную парадигму.

Разграничение словоизменительных и синтаксических единиц, естественно, предполагает и применение строгих критериев к включению тех или иных явлений в систему маркеров словоизменительных форм: точно так же, как порядок слов не может служить маркером падежной словоформы, так и наречие не может выступать в качестве маркера глагольного вида или залога. Расширительное понимание словоизменения и таких единиц, как морфема или маркер, ведет фактически к отрицанию специфики этих единиц и тем самым к стиранию границ между разными языковыми уровнями, что вряд ли способствует адекватному пониманию языковой структуры.

Но вместе с тем было бы неверным отрицать существование в языке определенных функциональных узлов, где не только явления разных уровней оказываются объединенными дифференциальными признаками плана содержания, но (и это является особенно существенным) функциональная валентность единиц словоизменительной парадигмы раскрывается только на фоне соотносительных связей с понятийно близкими единицами другого или даже других уровней. Нередко соотношение собственно словоизменительных единиц и единиц других уровней связано с соотношением центральных и периферийных структур. Поэтому чем строже проводятся границы словоизменительной парадигматики, чем строже критерии, определяющие набор компонентов словоизменительных парадигм, тем более существенным оказывается дополнительное комплексное рассмотрение тех сегментов языковой структуры, где создаются предпосылки функционального сближения разноуровневых образований. Для анализа и описания этих функциональных узлов, в которых разноуровневые образования объединены не только понятийным содержанием, но часто и комбинаторной дистрибуцией, вводится понятие поля. Подобно парадигме поле рассматривается как определенное построение, схема, моделирующая отношение и связи, реально существующие в языковой структуре. Но в отличие от парадигмы оно не относится к единицам определенного уровня. Межуровневый характер является до известной степени его ведущей характеристикой. Однако это положение нуждается в известном уточнении.

Термин «поле» в последние годы все шире используется в грамматических описаниях языка. Пишут о морфемном поле (Э. А. Макаев), о функциональном поле (Л. В. Бондарко), о грамматиколексическом поле (Е. В. Гулыга и Е. О. Шендельс), о морфологическом поле (Г. С. Щур).

Очевидно и содержание, вкладываемое в этот термин, различно. Так, например, Э. А. Макаев под морфемным полем понимает совокупность категорий, образующих некоторую целостность в данном языке: в одно морфемное поле включаются артикль, прилагательные, местоимения и местоименные частицы (по-видимому, в качестве индикаторов некоторых категорий существительного)⁶. Понятие функционального поля ближе к тому использованию данной единицы, которое намечается в настоящей статье.

Следует при этом, однако, оговорить, что поле вводится нами для более полного и всестороннего изучения закономерностей функционирования словоизменительных категорий, поскольку употребление и сфера применения последних соотнесены часто с конкурирующими единицами других уровней или даже ограничены ими. Эта целевая установка определяет и качественную характеристику данной модели. Наиболее существенными оказываются поэтому следующие признаки:

1. Грамматическое поле моделирует некую микроструктуру, включающую в качестве ядра и организующего начала словоизменительную категорию; эта последняя должна обладать всеми параметрами, отличающими ее от образований, относящихся к другим уровням.
2. Поле включает иерархически «неравноправные» компоненты: помимо единиц, образующих его ядро и занимающих центральную позицию, оно охватывает разнотипные образования, расположенные на периферии в большей или меньшей близости к ядру, формирующему данное поле. К этим периферийным структурам относятся, например, словосочетания со служебными глаголами, не обладающие совокупностью признаков аналитической формы (ср. в немецком языке сочетание модальных глаголов + инфинитив или конструкции *ich habe es zu machen*; *es ist zu machen*), иными словами неморфологизованные словосочетания, которые могут быть более свободными или более связанными, и в зависимости от этого занимают позицию более близкую или более далекую по отношению к центральным единицам. Сюда же включаются и лексические группировки с обобщенно-грамматическим значением, близким по своему содержанию к значению единиц, формирующих ядро. За пределами ядра находятся и те словоизменительные единицы, которые включаются в данное поле в результате транспозиции, подобно немецкому футуруму, втянутому в сеть противопоставлений с формами разных наклонений.
3. Безусловно не являются компонентами поля разрозненные лексические единицы, даже в тех случаях, когда их значение оказывается близким содержанию определенных грамматических категорий.

⁶ Э. А. Макаев. Сравнительная, сопоставительная и типологическая грамматика. — ВЯ, 1964, № 1, стр. 4.

4. Членимость поля на центральные и периферийные субструктуры означает не только соотносительность их позиций в языке, но отражает определяющую роль словоизменительных парадигм, притягивающих в данное поле разноуровневые образования.
5. Формирующая роль словоизменительных парадигм проявляется наиболее четко в том, что без них невозможно и построение самого поля. Поэтому номенклатура полей даже в близкородственных языках не тождественна, так в английском языке существование противопоставления *I am doing* || *I do* позволяет моделировать видовое поле, тогда как в немецком языке отсутствие подобных форм исключает возможность построения данного поля.

Для структуры поля определяющим является то обстоятельство, что статус единиц, входящих в центральное ядро, и статус всех прочих единиц существенно различается, а следовательно, различается и их функциональная валентность. Объединяет только понятийная общность, именно она образует тот инвариант, который является базой данной модели.

Н. А. Еськова

О МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ФЛЕКСИЯМИ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

— Как правильно: «У рыбей нет
зубей, у рыбов нет зубов или у рыб
нет зуб?»

(Ходячая грамматическая шутка)

Известно, что противопоставление существительных по роду¹ и типу склонения во множественном числе выявляют (в определенных пределах) лишь два падежа — именительный и родительный.

В родительном падеже множественного числа выступают три флексии — *-ов* (орфографически — *-ов*, *-ёв*, *-ев*), *-ей* и нулевая

¹ Точнее, по морфологическому роду; об этом понятии см.: А. А. Зализняк. Русское именное словоизменение. М., 1967, стр. 146—147.

флексия. Распределение их регулируется несколькими закономерностями — морфологическими и морфонологическими. Среди этих закономерностей есть и абсолютно ненарушаемые, и такие, которые допускают отступления и нарушения, являющиеся источником появления вариантных словоформ. Рассмотрим соотношение флексий *-ов* — *-ей* и каждой из них с нулевой флексией.

1. Соотношение *-ов* — *-ей*. Распределение этих двух флексий регулируется морфонологической закономерностью, не знающей исключений в пределах современной литературной нормы. Выбор флексии определяется качеством конечной согласной основы существительного: флексия *-ов* выступает после твердых согласных фонем, имеющих мягкие пары, и после /к/, /г/, /х/, /ц/, /j/; флексия *-ей* выступает после фонологически мягких согласных и после шипящих — /ш/, /ж/, /щ/, /ж/, /ч/. Примеры: *супов, грибов, шкафов, рукавов, домов, зонтов, видов, лесов, грузов, слонов, столов, даров, очков, лугов, мехов, огурцов, кра/jo/e²; степей, голубей, верфей, червей, озимей, гостей, желудей, лосей, связей, клешней, полей, морей, мышей, ханжей, вещей, до/ж/ей, каланчей³*. Нарушение этой закономерности наблюдается в словоформах типа *рублёв, товарищев, этажов* и т. п., т. е. таких, которые вне всякого сомнения находятся за пределами современной литературной нормы.

Что представляет собой членение согласных, лежащее в основе распределения флексий *-ов* — *-ей*? Ясно, что оно не фонетическое (мягкий /j/ объединяется с твердыми согласными, а твердые /ш/, /ж/ — с мягкими) и не фонологическое (непарные по твердости — мягкости задненёбные, /ц/ и /j/ оказываются в одной группе, а тоже непарные по этому признаку шипящие — в другой). Это членение — морфонологическое, отражающее поведение согласных в качестве конечных элементов основ. В морфологическом описании существенно учитывать именно морфонологическую квали-

² Орфографические варианты флексии *-ов*, а именно: *-ов*, *-ёв* (точнее было бы ...)

-ев, т. е. *ёв* в «оптимальном» варианте русского письма, *-ев* — в обычном), *-ев* (в любом варианте письма) — ввиду непоследовательностей современной русской орфографии находятся в прихотливых соотношениях с вариантами *-и* — *-ы* флексии именительного падежа множественного числа. Представлены соотношения: 1) *-ы* — *-ов* (*грибы* — *грибов, огурцы* — *огурцов*), 2) *-ы* — *-ев* (*китайцы* — *китайцев*), 3) *-и* — *-ов* (*кулаки* — *кулаков*), 4) *-и* — *-ёв*, *-ев* (*ручьи* — *ручья, сараи* — *сарая*). Любопытно, что орфографическое изменение, идея которого вызвала столь сильный протест во время орфографической дискуссии 1964 г., несколько упростило бы эту систему. Вызывавшее так много нареканий соотношение *огурцы* — *огурцов* не создало бы новой рубрики, а перешло бы в рубрику 3; рубрика 2 была бы ликвидирована, а новое соотношение *китайцы* — *китайцев* пополнило бы рубрику 4.

³ Этот исчерпывающий перечень примеров, иллюстрирующий дополнительное распределение флексий *-ов* — *-ей*, состоит из 34 слов. Значит, в качестве конечных элементов основ в современном русском литературном языке может выступать такое количество самостоятельных единиц, которое соответствует количеству согласных фонем в описаниях русской фонетической системы, даваемых в «классических» работах московских фонологов.

фикацию согласных, для которой не существует, к сожалению, общепринятых терминов. (Это отражает, впрочем, отсутствие ясности и по существу вопроса.) В большинстве морфологических описаний в интерпретации морфологических фактов отсутствует необходимая точность. Особенно «не везет» йоту, который — парадоксальным образом — являясь фонетически «вплощенной мягкостью» (он — мягкость, превращенная в отдельную, самостоятельную артикуляцию!), морфологически оказывается твердым! Это обнаруживается, в частности, как раз в употреблении после основ на /j/ флексии *-ов*, а не *-ей*⁴. Далее в этой статье будут использоваться в необходимых случаях условные термины «морфонологически твердые согласные» и «морфонологически мягкие согласные», которые дают возможность коротко и точно называть две основные морфонологические группы согласных в русском языке.

Употребление нулевой флексии не определяется качеством конечной согласной основы, т. е. эта флексия возможна и в тех морфонологических условиях, где выступает *-ов*, и в тех, где выступает *-ей*. Соотношение каждой из этих флексий с нулевой флексией регулируется своими закономерностями.

2. Соотношение «*-ов* — нулевая флексия». Здесь действует неоднократно отмечавшаяся тенденция⁵ к установлению следующего соотношения между флексиями именительного падежа единственного числа и родительного падежа множественного числа:

нулевая флексия им. п. ед. ч. — ненулевая флексия род. п. мн. ч.
ненулевая флексия им. п. ед. ч. — нулевая флексия род. п. мн. ч.

В соответствии с этой тенденцией существительные мужского морфологического рода⁶ имеют как правило флексию *-ов* (*дом — домов*), а существительные женского и среднего морфологического рода — нулевую флексию (*стена — стен*, *слуга — слуг*, *дело — дел*). Но из этой морфологической закономерности есть исключения двоякого характера: 1) ряд слов мужского морфологического рода имеет нулевую флексию; 2) ряд слов среднего морфологического рода имеет флексию *-ов*. Слова, относящиеся к исключениям первого типа, необъединимы с точки зрения внешней структуры, но могут быть охарактеризованы семантически: они относятся к тем группам существительных, которые чаще употребляются во множественном числе (названия единиц измерения, народов, некоторых предметов одежды и др.⁷). К исключениям второго типа преимущественно относятся слова определенного внешнего строения: с исходными словоформами на *-ко*, на *-це*,

⁴ Ср.: S. K a r c e v s k i. Remarques sur la phonologie du russe. «Cahiers Ferdinand de Saussure», 3. Genève, 1943, стр. 13.

⁵ См. ссылки в работе: Л. К. Г р а у д и н а. О нулевой форме родительного множественного у существительных мужского рода. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка». М., 1964, стр. 185.

⁶ См. сноску 1.

⁷ См.: Л. К. Г р а у д и н а. Указ. соч., стр. 188—193.

на *-ье*; среди существительных последних двух групп многие имеют вариантные словоформы родительного падежа множественного числа: *зеркальцев* и *зеркалец*, *корытцев* и *корытец*, *одеяльцев* и *одеялец*, *побережьев* и *побережий*, *верховьев* и *верховий*, *кочевьев* и *кочевий* и т. п. Таким образом, отмеченная морфологическая закономерность носит нестрогий характер: в современной системе склонения существительных принципиально возможно соединение в одной парадигме нулевой флексии именительного падежа единственного числа с нулевой флексией родительного падежа множественного числа и ненулевых флексий тех же падежей.

Следует, однако, обратить внимание на то, что вторая возможность — соединение в одной парадигме ненулевой флексии именительного падежа единственного числа с ненулевой флексией родительного падежа множественного числа — реализуется в строго определенных границах: в системе современного литературного языка невозможно образование родительного множественного на *-ов* от существительных женского морфологического рода; такие формы можно найти только за пределами литературной нормы — в детской речи, а также в отчасти имитирующей ее нарочито ненормированной речи некоторых несомненных носителей литературного языка⁸. Флексия *-ов*, таким образом, информирует о «неженском» морфологическом роде слова. Есть, впрочем, «слабое звено», создающее предпосылки для проникновения флексии *-ов* в формы существительных женского морфологического рода: это слова женского морфологического рода, но мужского согласовательного рода, т. е. мужского рода в обычном смысле этого термина. По наблюдениям А. А. Зализняка, с флексией *-ов* образуются формы таких слов, как *вайшья*, *кшатрия*, *пария* и др., встречающихся при описании индийского быта⁹; но из них только слово *пария* выходит за пределы узкого круга употребления, и как раз у него имеются варианты: *парий* в именительном единственного и *парий* в родительном множественного, которые показывают, что это слово может изменяться и без нарушения морфологического стандарта: *парий* — *париев*, *пария* — *парий*.

Возможность соединения в одной парадигме флексий *-а* (именительный единственного) и *-ов* (родительный множественного) таится еще в контаминации вариантных парадигм типа *жираф* — *жирафа* — *жирафу* — ... — *жирафов* и *жирафа* — *жирафы* — *жирафе* — ... — *жираф*. Теоретически не исключено, что в результате борьбы вариантных словоформ «уцелееет» контаминированная парадигма с именительным единственного на *-а* и ро-

⁸ Такие формы любил, например, Маяковский: см. следующее свидетельство Л. Ю. Брик: «Родительный и винительный падежи он, когда бывал в хорошем настроении, часто образовывал так: кошков, собаков, деньгов, глупостев» («Маяковский в воспоминаниях современников». Гослитиздат, 1963, стр. 345).

⁹ См.: А. А. З а л и з н я к. Указ. соч., стр. 230.

дательным множественного на *-ов* (типа *жирафа — жирафов*). Практически, впрочем, гораздо вероятнее реализация обратной возможности: возникновение парадигмы со словоформами *жираф* и в именительном единственного и в родительном множественного, т. е. с таким соотношением флексий, которое уже представлено в русской морфологической системе. Таким образом, морфологический запрет соединять в одной парадигме флексию именительного единственного *-а* с флексией родительного множественного *-ов* достаточно строг в современном литературном языке ¹⁰.

Итак, распределение *-ов* и нулевой флексии в родительном падеже множественного числа не регулируется морфонологически; действующая здесь морфологическая закономерность в определенных границах оказывается нестрогой.

3. Соотношение «*-ей* — нулевая флексия». Здесь действует та же тенденция к «расподоблению» нулевых и ненулевых флексий в именительном падеже единственного числа и в родительном падеже множественного числа, но отступления от нее носят существенно иной характер. Соотношение «нулевая флексия в именительном единственного — ненулевая флексия в родительном множественного» (*конь — коней, степь — степей*) нарушается только в ненормативной словоформе *чуваш* (норма *чувашей*) — от *чуваш* и в варианте *сажен* (наряду с *саженей*) — от *сажень* (здесь имеет место чередование /н'/ — /н/).

Отступления от соотношения «нулевая флексия в именительном единственного — нулевая флексия в родительном множественного» (*баня — бань, убежище — убежищ*), в отличие от предыдущего случая (с флексией *-ов*), представлены не только у существительных среднего морфологического рода, причем совокупность этих «отступлений» образует некоторую частную морфонологическую закономерность. Выбор флексии родительного падежа множественного числа у существительных с основами на морфонологически мягкие согласные и с ненулевой флексией в именительном единственного (*-а* для женского морфологического рода и *-о* — для среднего) определяется типом ударения в парадигме соответствующего существительного, точнее — в косвенных падежах множественного числа. Практически удобнее всего ориентироваться на дательный множественного: если в этой словоформе ударение на флексии, родительный множественного образуется с ударной флексией *-ей*, если дательный множественного имеет ударение на основе, родительный множественного имеет нулевую флексию ¹¹. Примеры словоформ с флексией *-ей*: *культей, стезей*,

¹⁰ Остается выразить удивление по поводу некоторых рекомендаций словарей. В академическом «Словаре современного русского литературного языка» дается: Б о р ы, бв, мн. (ед. борá, ы, ж.). См. также в словаре под ред. Ушакова: з р á з ы, зраз (-зов устар.), ед. (редко) а, ы, ж.

¹¹ Эта закономерность установлена А. А. Зализняком (указ. соч., стр. 206). Здесь она сформулирована без привлечения введенного Зализняком понятия условного ударения.

западнѣй, головнѣй, клешнѣй, долѣй, соплѣй, полѣй, ноздрѣй, морѣй, пашѣй, левшѣй, ханжѣй, пращѣй, во/ж/лѣй, каланчѣй, епанчѣй (ср. соответствующие словоформы дательного множественного: *культѣям, стезѣям, западнѣям, головнѣям, клешнѣям* и т. д.); примеры словоформ с нулевой флексией: *героинѣ, пустынѣ, дынѣ, кѣхонѣ, башен* (с чередованием /н'/ — /н/), *недѣлѣ, кастрѣль, сабелѣ, бурѣ, потѣрѣ, груш, депѣш, кассирш, рогож, бирж, роц, толц, зрѣлищ, задач, встреч* (ср.: *героинѣям, пустынѣям, дынѣям, кѣхнѣям* и т. д.).

Но от этой морфонологической закономерности существует немало отступлений. Представлены и словоформы с нулевой флексией вместо морфонологически закономерной *-ей*: *деревѣнѣ* — ср. *деревнѣям*, *госпожѣ* — ср. *госпожѣям*, *простѣнѣ* — ср. *простѣнѣям*, *плечѣ* — ср. *плечѣям* (в последних двух случаях представлены и закономерные варианты *простѣнѣй, плѣчѣй*) и (в большем количестве) словоформы с морфонологически незакономерной неударной флексией *-ей* вместо нулевой: *офѣнѣй, мѣмлей, рѣспрей, юношей, чѣкчей*; см. также вариантные словоформы *тѣтей* и *тѣтъ*, *тихоней* и *тихонѣ*, *разиней* и *разинѣ*, *соней* и *сонѣ*, *пустомѣлей* и *пустомѣлѣ*, *постофѣлей* и *постофѣлѣ*, *грянѣулѣй* и *грянѣулѣ*, *ходулей* и *ходѣлѣ*, *каракулей* и *каракулѣ*, *оглоблей* и *оглобелѣ*, *тетѣрей* и *тетѣрѣ*, *рикшей* и *рикшѣ*, *притчей* и *притчѣ*, *предтѣчей* и *предтѣчѣ* и нек. др.¹² Появлению словоформ с морфонологически незакономерной флексией *-ей* способствует ряд факторов¹³, но предпосылкой его служит нестрогий характер самой закономерности, что тоже находит свое объяснение. Существительные, на которые распространяется эта закономерность, в силу ряда обстоятельств представляют очень мало возможностей для реализации тех противопоставлений, которые выявляют акцентную обусловленность флексии *-ей* в родительном множественного¹⁴. «Затушевыванию»

¹² У существительных, на которые распространяется эта морфонологическая закономерность, соотношение «*-ей* — нулевая флексия» в родительном множественного оказывается эквивалентным соотношению «ударная флексия — неударная флексия» в других падежах; это наиболее наглядно обнаруживается при колебании ударения, проходящем по всей парадигме существительного, например: *баржѣ, баржѣй, баржѣ, баржѣ... баржѣ, баржѣй, баржѣям... и баржа, баржи, баржѣ, баржѣ... баржи, баржѣ, баржѣям...* Соотношение *баржѣй* — *баржѣ* можно сопоставить с другими случаями соотношения вариантных словоформ с разными флексиями, выбор которых акцентно обусловлен, например, с соотношением *тракторѣ* — *тракторѣ* (ср. варианты парадигмы множественного числа *тракторѣ, -ов, -ѣм, -ѣми, -ѣх* и *тракторѣ, -ов, -ѣм, -ѣми, -ѣх*); но в то время как появление словоформ типа **тракторѣ* в именительном множественного совершенно исключается, словоформы родительного множественного типа *баржѣй* существуют.

¹³ См. об этом: А. А. З а л и з н я к. Указ. соч., стр. 230—231.

¹⁴ В современном литературном языке существительные с основами на морфонологически мягкие согласные и нулевой флексией в именительном единственного не очень многочисленны. Средний морфологический род, кроме слов на *-ище*, представляют только: *поле, дѣре, море, лѣже, еѣче плѣчѣ*

этой закономерности способствует также отсутствие параллельных соотношений между флексией *-ов* и нулевой флексией у существительных с основами на морфонологически твердые согласные: как уже говорилось, женский морфологический род исключает флексию *-ов*¹⁵, а у существительных среднего морфологического рода она появляется независимо от акцентного типа существительного.

Итак, в тех «морфонологических границах», где закономерна ненулевая флексия *-ей*, отступления от тенденции к «расподоблению» нулевых и ненулевых флексий носят иной характер по сравнению с тем, что наблюдается в сфере распространения флексии *-ов*. У существительных мужского морфологического рода нулевая флексия не вытесняет флексию *-ей*, тогда как *-ов* в опреде-

(здесь и далее сведения приводятся по «обратному» словарю Бильфельда). В женском морфологическом роде совсем не представлены основы на мягкие губные (исходные словоформы на *-ня*, *-бя*, *-фя*, *-вя*, *-мя*); единичны существительные с основами на /т'/, /д'/, /с'/, /з'/ (*ба́тя, те́тя, тятья, культя, тятья; хб́дя, дя́дя; сй́ся, бабу́ся, маму́ся; сте́зя, зю́зя*); среди существительных с основами на остальные морфонологически мягкие согласные, имеющих ударную флексию в именительном единственном, много *singularia tantum*; словоформы косвенных падежей множественного числа с ударными флексиями реально представлены у следующих слов: *голо́в-ня, рво́ня, запа́дня, лы́жня, разма́зня, броня́, цепня́, ступня́, четверня́, стерня́, шестерня́, пятерня́, мотня́, кашня́, кле́шня, пё́шня, просты́ня, дере́вня, дбо́ля, коно́пля, со́пля, тля́, пё́тля, ноздря́, пря́, слово́пря, фря́, паша́, левша́, шеба́риш, обжа́, саджа́, паранджа́, дежа́, межа́, ханжа́, госпожа́, ба́ржа, пра́ща, во́ж /а́, свеча́, каланча́, епанча́, карча́, бахча́. Обращает на себя внимание преобладание среди них основ, кончающихся на группы согласных; стечение согласных, по наблюдениям А. А. Зализняка, является фактором, способствующим использованию неударной флексии *-ей*, а наличие словоформ типа *ра́спрей, са́клеи, бу́клеи, ро́злей* мешает выявлению того, что в словоформах *разма́зней, ноздрей* или *бахчей* флексия *-ей* обусловлена акцентно.*

- ¹⁵ Поэтому у существительных женского морфологического рода с основами на морфонологически твердые согласные, имеющих в косвенных падежах множественного числа ударение (на флексии, словоформы родительного множественного образуются либо с «оттяжкой» ударения на последний слог основы (который может быть и единственным), либо с «замещением» ударения на флексии ударением на беглой гласной; ср., с одной стороны: *черта́м — черт, похва́лам — похва́л, швея́м — швей, ко́леям — ко́лей*, с другой: *кишка́м — кишёк, каба́реям — каба́рёк, кня́жнам — кня́жён, попада́ьям — попада́ей, статья́м — ста́тей*. В ряде случаев при образовании словоформ такого типа возникают затруднения, подобные словоформы могут избегаться, например: **мечт* (от *мечта́*), **балд* (от *балда́*), **егза́* (от *егоза́*), **башок* (от *башка́*). Сюда относится и ставшая популярной благодаря известному рассказу Зощенко грамматическая проблема: «Как образовать родительный множественного от *кочерга́*?» См. следующие стихотворные грамматические упражнения (в пародии А. Николаева на Е. Винокурова, напечатанной в журнале «Наш современник»):

Хочу я разобратся в этом строго,
у смысла много яростных врагов.
Вот кочерга одна, а если много,
то как сказать: кочерг или кочергов?
А может, кочергей или кочерег?

ленных категориях слов уступает место нулевой флексии. В то же время соотношение «-а в именительном единственного — ненулевая флексия в родительном множественного», невозможное в литературном языке с флексией *-ов*, довольно широко представлено с флексией *-ей*.

Можно вернуться теперь к эпиграфу этой статьи и дать исчерпывающий ответ на поставленный в нем шуточный грамматический вопрос: «Как правильно: у рыбей нет зубов, у рыбов нет зубов или у рыб нет зуб?» Первый вариант — «самый неправильный»: здесь дважды нарушена не знающая исключений морфологическая закономерность. Последний вариант — «самый правильный», так как в нем нет нарушения закономерностей, а нарушена лишь современная литературная норма для родительного множественного слова *зуб*; в начале XIX в. словоформа родительного множественного *зуб* была, как известно, в пределах нормы, ср. у Пушкина в «Домике в Коломне»: «...Стар, *зуб* уж нет». Второй вариант промежуточный: в нем один раз нарушена строгая морфологическая закономерность. -

Отметим в заключение, что среди флексий родительного падежа множественного числа меньше всего выявляет противопоставления существительных по морфологическому роду и типу склонения флексия *-ей*: флексия *-ов* исключает женский морфологический род, а из склонений — первое и третье, нулевая флексия исключает третье склонение, флексия же *-ей* не содержит даже отрицательной информации о роде и склонении, так как среди существительных всех трех морфологических родов и всех трех склонений есть такие, у которых *-ей* выступает морфологически закономерно. Нельзя не связать это с основным морфологическим условием употребления флексии *-ей*. Как известно, морфологически мягкие согласные в качестве конечных элементов основы способствуют нейтрализации морфологических противопоставлений существительных. Так, у существительных с основами на морфологически твердые согласные нулевая флексия в именительном единственного однозначно сигнализирует о мужском морфологическом роде и, следовательно, о втором склонении. У существительных же с основами на морфологически мягкие согласные нулевая флексия в исходной форме недостаточна для информации о роде и склонении, то и другое обнаруживается только в парадигме; ср. например: *недоросль — недоросля — недорослю — недорослем и водоросль — водоросли — водорослю*, а также: *благодетель — благодетелем и добродетель — добродетелью, любитель — любителем и обитель — обителью, нехристь — нехристом и нечисть — нечистью*.

О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ ФРАЗОВОГО УДАРЕНИЯ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

1. Фразовое ударение стоит как бы между языковой и логической структурой высказывания. Выделение основного, в плане содержания, слова тем самым подчеркивает, проясняет логическое членение высказывания. На формирование фразового ударения влияет непосредственно акт мышления и коммуникативная ситуация.

Фразовое ударение (как способ выделения в тексте элементов, несущих наиболее важную в смысловом отношении нагрузку) присуще как устной, так и письменной речи. Однако природа его обычно интерпретируется исследователями только применительно к устной речи¹. Это вызывает необходимость разобраться в специфике способов выражения фразового ударения в письменной речи².

2. При исследовании фразового ударения надо учитывать: 1) противопоставление устной и письменной форм осуществления языка; 2) противопоставление собственной («авторской», создаваемой в процессе общения) речи воспроизведению текста³. Эти противопоставления не параллельны, а пересекаются, что может быть выражено следующей схемой:

	Устная форма	Письменная форма
Собственная речь	+	+
Воспроизведение текста	+	

Как видно из первого противопоставления, устная форма осуществления языка включает в себя не только устную речь, но и устное воспроизведение письменной речи.

Второе противопоставление — противопоставление речи, создаваемой одновременно с ее произнесением (или написанием), и воспроизведения текста, отделенного во времени от его создания.

¹ Показательно в этом плане, что словари лингвистических терминов определяют фразовое (или логическое) ударение в статье «Ударение», указывая его «слышимые» признаки. Ср. анализ понятий фразового и логического ударения: П. С. Попов. О логическом ударении. — ВЯ, 1961, № 3.

² Некоторые из рассмотренных далее способов выражения фразового ударения в письменной речи описаны в кн.: В. В. Сокин. Логическое ударение. Томск, 1968, стр. 97—124.

³ «Следует различать произнесение своей собственной речи и произнесение «чужой» речи. В последнем случае имеется в виду исполнение литературного произведения...» (Н. И. Жинкин. Психологические основы развития речи. — В кн.: «В защиту живого слова». М., 1966, стр. 23).

Между созданием речи и ее воспроизведением стоит, как необходимый промежуточный этап, ее восприятие, но эту ступень мы вынуждены в данном случае исключить из рассмотрения, так как о восприятии речи в подобной ситуации мы судим по выражению этого восприятия, т.е. по ее воспроизведению.

Таким образом, мы имеем дело с функционированием фразового ударения в следующих сферах речевой деятельности: а) в собственной устной речи; б) в устной форме письменной речи, т. е. при чтении текста вслух; в) в авторской письменной речи.

Очевидно, четвертую сферу — письменное воспроизведение текста — можно из рассмотрения исключить, так как это представляло бы собой переписывание (или письменное воспроизведение по памяти) чужого текста.

Различным должен быть и подход к этим сферам речевой деятельности.

- 1) Фразовое ударение есть прежде всего функция смысла. Поэтому такие ударения, определяясь конкретным актом мышления в конкретной ситуации, составляют необходимый элемент всякой естественно протекающей устной речи. Для «авторской» устной речи бессодержательно говорить о правилах расстановки фразовых ударений. Здесь необходимо исследование объективных закономерностей постановки фразового ударения, действующих в речи говорящих.
- 2) Вторая сфера речевой деятельности — воспроизведение смыслового акцента при чтении вслух — нуждается, в отличие от первой, в разработке правил анализа смыслового членения текста и, в зависимости от смысловой структуры, правил расстановки фразовых ударений. Здесь следует различать: а) чтение вслух письменного (или печатного) текста, — в котором в свою очередь следует дифференцировать чтение, совпадающее во времени с первым восприятием текста, и чтение подготовленное, отделенное по времени от первого восприятия его; б) воспроизведение текста наизусть (область деятельности чтецов произведений художественной литературы). К этой же сфере следует отнести и тот случай, когда читающий является автором текста: во-первых, акт чтения обычно бывает отделен во времени от акта написания (например, чтение лекций, доклада по заранее написанному тексту); во-вторых, читающий в этом случае по существу стоит перед теми же проблемами перевода текста из письменной формы в устную.

Сложнее обстоит дело с выступлением на базе тезисов или конспекта. С одной стороны, у говорящего нет полного текста, т. е. такое выступление сходно с естественно протекающей («необработанной») речью. С другой стороны, тезисы (конспект) обычно содержат основные формулировки, и, следовательно, этот случай имеет общие черты с описываемой ситуацией — устным воспроизведением текста.

- 3) В третьей сфере речевой деятельности фразовое ударение рассматривается как факт письменной речи. Письменная речь — «речь в отсутствии собеседника», речь, в которой «ситуация должна быть восстановлена во всех подробностях, чтобы сделаться понятной собеседнику»⁴: именно эта ее черта способствует стремлению пишущего выделить присущими письменной речи средствами элемент, несущий на себе фразовое ударение⁵.

3. В связи с различием устной и письменной форм осуществления языка способы выражения в них фразового ударения различны.

Если в письменной речи для передачи данного содержания строго обязательен данный порядок элементов предложения (тема — рема, данное — новое, психологический субъект — психологический предикат и т. п.), так как именно данный порядок указывает на акцентуруемую часть предложения, то в устной речи мера такой обязательности в расположении элементов значительно меньше: здесь различными средствами «просодической интонационной фонетики» (А. А. Реформатский) может быть выделен любой из элементов, независимо от его положения по отношению к другим. Поэтому устная речь в значительно меньшей степени допускает возможность неправильного восприятия фразовых ударений, чем речь письменная. В последней нередко содержатся возможности двоякого толкования, связанного с тем, что одно написанное предложение может соответствовать различным по своим акцентно-интонационным рисункам предложениям устной речи. «... Если я желаю сообщить, что приходивший вчера вечером человек был Иван Иванович, я могу в устной речи сказать: *Иван Иванович приходил вчера вечером*, сделав логическое ударение на *Иван Иванович*; но написать так я не могу, так как в письменной речи это будет сообщение о факте прихода Ивана Ивановича вчера вечером. Чтобы выразить в письменной речи сообщение, что приходивший вчера вечером человек был Иван Иванович, я обязательно должен написать: *Вчера вечером приходил Иван Иванович*»⁶.

⁴ Л. С. Выготский. Язык и мышление. М.—Л., 1934, стр. 297, 211.

⁵ В данном случае, следовательно, мы имеем дело не с выражением фразового ударения устной речи в речи письменной (см.: Л. В. Щербачев. Избр. работы по русскому языку. М., 1957, стр. 118), а с фразовым ударением самой письменной речи. Однако практически способы выражения фразового ударения в авторской письменной речи и при письменном воспроизведении устной речи одинаковы. Поэтому далее в иллюстративном материале приводятся примеры как одного, так и другого типа.

⁶ Л. В. Щербачев. Указ. соч., стр. 118.— Ср. известный пример: *Karl fährt morgen nach Berlin*, который иллюстрирует возможность постановки логического ударения на любом знаменательном слове данного предложения (Г. Патель. Принципы истории языка. М., 1960, стр. 339).

Показательно в этом плане и свидетельство В. В. Маяковского: «В. И. Качалов читает лучше меня, но он не может прочесть так, как я. В. И. читает:

Но я ему —
на самовар!

Дескать, бери самовар (из моего «Солнца»). А я читаю:

Но я ему...
(на самовар)

(указывая на самовар). Слово «указываю» пропущено для установки на разговорную речь. Это грубый пример. Но в каждом стихе сотни тончайших ритмических, размеренных [sic!] и др. действующих особенностей, — никем, кроме самого мастера, и ничем, кроме голоса, не передаваемых»⁷.

Изменение фразового ударения в этом примере связано с различной синтаксической структурой предложения: в чтении В. И. Качалова часть *на самовар* представляет собой введенную предшествующим неполным предложением прямую речь (в этом случае здесь два предложения — 1) *Но я ему* [говоря], 2) *На самовар*); в авторском чтении здесь одно предложение, и слово *на* — не междометие (как в первом случае), а предлог.

Несмотря на неадекватность средств выражения фразового ударения в письменной и устной речи⁸, пишущий стремится к максимальной адекватности написанного текста его устной форме (или акцентировке внутренней речи). Это противоречие между возможностями разных знаковых систем и стремлением пишущего к их отождествлению, противоречие, до конца принципиально непреодолимое, пытаются преодолеть по-разному, факультативно используя для этого различные способы.

4. В письменной речи для выражения фразового ударения употребляются, кроме актуального членения предложения, различные канонические и неканонические средства. Эти средства могут либо усиливать фразовое ударение, подсказываемое актуальным членением предложения, либо выделять тем или иным способом часть высказывания, стоящую в тексте в «слабой» позиции («смещенное фразовое ударение», по А. А. Реформатскому⁹), например: — Записку он вам оставил, — сказала она,

⁷ В. В. Маяковский. Расширение словесной базы. «Полное собр. соч.» (в 12-ти томах), т. 10, М., 1941, стр. 290.

⁸ «Пауза устной речи может соответствовать и пробелу, и многоточию, и особому расположению строк. Тембровое и ритмическое выделение каких-либо слов высказывания может соответствовать и дефисно-послоговому написанию, и подчеркиванию, и курсиву» (А. А. Реформатский. О перекодировании и трансформации коммуникативных систем. «Исследования по структурной типологии». М., 1963, стр. 215).

⁹ См.: А. А. Реформатский. Введение в языкознание. Изд. 4. М., 1967, стр. 188, 309—310.

как-то многозначительно, выделив местоимение «он» (Б. Полёвой, Доктор Вера. «Знамя», 1966, № 6, стр. 120). Подобное смещение ударения может быть вызвано смысловыми и эмоционально-экспрессивными факторами; в дальнейшем изложении эти факторы не разграничиваются, так как это не оказывает влияния на способ выражения фразового ударения.

К каноническим средствам относятся «общепринятые знаки» письменной речи — некоторые знаки препинания в узком и широком смысле слова.

- 1) Обозначение фразового ударения знаками препинания в узком смысле слова.

А. Т и р е: Работа гримера, костюмера, декоратора, композитора в театре служит осуществлению замысла драматурга; объединяет всю эту деятельность разнообразных художников, вдыхает в них единую творческую волю — режиссер (Л. Чуковская. В лаборатории редактора. М., 1960, стр. 176) ¹⁰. Ср.: «Иногда тире используется для предупреждения читателя об особом распределении логических ударений» ¹¹.

Б. К а в ы ч к и: — Нам мешают — полбеда, ей будут мешать... — Ей? — и оператор назвал имя актрисы. — Нет, «ей», — и режиссер назвал имя героини (Л. Рыбак. 500 часов у Юлия Райзмана. «Искусство кино», 1967, № 2, стр. 42). Кавычки могут быть функциональным эквивалентом других средств, в частности — в данном случае — шрифтовых выделений.

- 2) Обозначение фразового ударения при помощи шрифтовых способов выделения (использование «активизации графики» — по А. А. Реформатскому).

А. Р а з р ы д к а: ... в пунктуации в с я к а я ошибка приводит в той или иной степени к искажению смысла текста (А. Б. Шапиро. Основы русской пунктуации. М., 1955, стр. 70); — Не вздумай ехать! — говорит жена. — То есть как? — Вот так! Ты знаешь, ч е м она больна? — Я знаю, что она б о л ь н а, и это единственно важно (Н. Дубов. Мальчик у моря. «Новый мир», 1963, № 6, стр. 41).

Б. К у р с и в: Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала перемена выражения на лице Кити... Степан Аркадьевич доброй сочинял меню обеда. — Ты ведь любишь тюрбо? сказал он Левину подъезжая. — Что? переспросил Левин. — Тюрбо? Да, я ужасно люблю тюрбо (Л. Н. Толстой, Анна Каренина, т. I, ч. 1, IX); — Рад познакомиться с вами, мистер Уинслоу, — сказал он. — Нет, нет, Генри, не так! — — перебил его Калейб Херберт. — Я же сказал тебе — доктор

¹⁰ Во всех примерах шрифтовые выделения принадлежат авторам текстов, послуживших источником иллюстративного материала.

¹¹ В. Ф. Иванова. История и принципы русской пунктуации. Изд-во ЛГУ, 1962, стр. 52. — Приведенный пример взят из этой же книги (стр. 33—34; см. там же и другие подобные примеры).

Уинслоу (Д. Дайс. Крупная игра. «Иностр. лит-ра», 1960, № 3, стр. 130, пер. с англ. Р. Бобровой и И. Гуровой).

В. П о л у ж и р н ы й ш р и ф т: Важно выяснить: как сказано (В. Михельсон. Счастье познания. «Лит-ра и жизнь», 23 мая 1962 г.)

Г. П р о п и с н ы е б у к в ы:— Так вот,— продолжал Кирилл Петрович, — могли ли ТАКОМУ (он подчеркнул это слово) агенту дать серьезное, ответственное задание? (Я. Наумов, А. Яковлев. Двуликий Янус. М., 1968, стр. 230).

Последний случай несколько отличается от предыдущих в связи с особыми функциями прописной буквы в позиции первой, начальной буквы слова (ср. в связи с этим написания с прописной буквы в инициальных аббревиатурах).

Д. Д е ф и с н о - п о с л о г о в о е н а п и с а н и е: «Экономический отдел преобразуется»... слушайте, слушайте! — «в отдел организации народного хозяйства»... Превосходно! Мы на верном пути! Страна, успокойся! Отдел *пере-имено-ван*» (В. И. Ленин. Борьба с разрухой посредством умножения комиссий.— Полное собр. соч., т. 32, стр. 117).

Основное требование, предъявляемое к шрифтовым выделениям, — это требование, чтобы выделяемое зрительно четко отделялось от остального текста (ср. замечание А. А. Реформатского о «широком использовании контрастных и броских графических признаков» при «акцентировке текста»¹²). В этом случае курсив, разрядка, полужирный, редко применяемая капитель и т. п. — на фоне светлого прямого строчного — выступают как равнозначные, взаимозаменяемые в разных текстах средства выражения¹³. Например, слово *ужасно* в приведенном ранее примере из «Анны Карениной» в одних изданиях выделяется разрядкой, в других — курсивом. См. и следующий пример: А дело именно в том, к а к написано и к а к увидено. А «что» уже производное этого «как». Но «как» увидеть явление — это и значит — «что» увидеть? Все зависит от художника — что и в каком свете для него важно в жизни. И все эти «как» и «что», и последние события, и куски повести, примерные прикидки и сравнения — все мешалось, выпихивая на поверхность одну ужасающую мысль: не так, не так, совсем по-другому надо писать! (М. Назаренко. Иду к тебе. «Сибирские огни», 1969, № 12, стр. 116). Здесь разными средствами — разрядкой (в первом предложении) и кавычка-

¹² А. А. Реформатский [при участии М. М. Каушанского]. Техническая редакция книги. Теория и методика работы. Л., 1933, стр. 116.

¹³ Ср. иное мнение: «Курсив, разрядка, тип и величина шрифтов — эти особенности график, играющие такую заметную специфическую роль во всяком печатном, а в особенности газетном деле, вовсе не «могут быть подставляемы одно вместо другого» без ущерба для содержания, как это казалось Бодуэну де Куртене...» (Г. Винокур. Культура языка. М., 1925, стр. 132).

ми (в третьем предложении) обозначено фразовое ударение. В то же время один знак — кавычки — употреблен здесь в двух функциях: для обозначения логического ударения и для указания на употребление слов *как* и *что* в значениях субстантивов (во втором и последнем предложениях) ¹⁴.

Показательны в этом отношении также случаи несовпадения пометы пишущего (при обозначении способа шрифтового выделения в приводимой цитате) и реально использованного способа: Павел Антокольский в своем стихотворении «Поэт и время» с бронзовой *чеканностью* (курсив мой. — Х. М.) писал... (Х. Х. Махмудов. Некоторые вопросы теоретической стилистики. «Филологический сборник», вып. IV, Алма-Ата, 1965, стр. 243; цитата из статьи К. Зелинского); Как на это послание ответил Хаммаршельд?... «Политические лидеры Конго и его народ не сумели воспользоваться *беспрецедентной* (курсив наш) международной помощью для создания нормальной политической жизни в стране» (К. Непомнящий. М-р Тимберлейк, наставник банды головорезов. «Правда», 16 дек. 1960 г.).

Наряду с этим существуют и случаи строгой однозначности того или иного шрифта, его специализации в определенной функции. Ср. дифференцированную однозначность разных шрифтов, например, в словарях (обычно: полужирный прямой прописной — для заглавного слова статьи, светлый строчной прямой — для текста статьи, светлый строчной курсив — для примеров и т. д.), ограничение функций курсива выделением примеров в академических лингвистических изданиях, функциональную тождественность полужирного для выделяемого в примере-предложении, набранном курсивом, в книгах издательства «Просвещение» и употребление в той же функции своего светлого в разрядку в журнале «Русский язык в национальной школе».

О привычности обозначения фразового ударения на письме с помощью шрифтовых выделений свидетельствует, в частности, тот факт, что интонация выделения способна вызывать ассоциацию с тем или иным «не-нейтральным» шрифтом. Например: — Вот. Повсюду — руки, ноги, головы, туловища... Прямо какое-то наваждение. Это неспроста. Тут что-то есть! — возгласил он — его интонации в печати соответствовал бы курсив (Джон Уиндем. Видеорама Пооли. «Библиотека современной фантастики», т. 8. М., 1966, стр. 295, пер. с англ. Р. Померанцевой); — Открою секрет. Вашу повесть уже читал сценарист О л ь ш а н с к и й. — Она произнесла эту фамилию «вразрядку» (Е. Микулина. Магический кристалл. — «Октябрь», 1969, № 1, стр. 187).

¹⁴ « § 193. Кавычками выделяются: слова, употребляемые не в своем обычном значении... » («Правила русской орфографии и пунктуации». М., 1956, стр. 108).

К прифтовым выделениям примыкает особый и весьма своеобразный случай обозначения фразового ударения цветом букв выделяемого слова, отличным от цвета букв других слов¹⁵, а также — в писанном (а не печатном) тексте — подчеркивание слов цветным карандашом: — И в заключение мне бы хотелось сказать и особо — ну, что ли красным карандашом — подчеркнуть вот что («Работница», 1969, № 3).

- 3) Обозначение фразового ударения постановкой знака ударения над словом: Это я фразу в кавычки взяла — цитирую (Т. Филатова. Лихие па... на бумаге. «Комс. правда», 15 сент. 1966 г.). По-видимому, этот способ употребляется главным образом для разграничения местоимения *что* и омографического союза. Ср. функционально эквивалентные средства выделения местоимения *что*: Но вопрос заключается в том, **что** заставляют делать героя (М. Матвеева. Кто перечеркнул эти кадры? «Лит. газета», 3 февр. 1962 г.); — Он привез ей из Нальчика в подарок ноты... Дышана Хамуразовна была довольна, и он не понял — тем, **что** он подарил, или тем, **что** он подарил... (Адам Шогенцуков. Назову твоим именем, ч. 2, гл. 4. «Дружба народов», 1968, № 12, стр. 163, авториз. пер. М. Дальцевой и Н. Атарова); — Я чувствую, **что** я могу, и у меня все сразу получается (А. Силецкий. Обыкновенный уникум. «Юность», 1968, № 12, стр. 52).

5. К неканоническим для письменной речи способам надо отнести использование в ней приемов, характерных для устной речи.

- 1) Выделение элемента предложения путем повторения, с использованием вводящих слов (*повторяю, подчеркиваю* и т. п.), фиксирующих это повторение и показывающих тем самым его неслучайность¹⁶: Команда ЦСКА, думается, по ходу игры с торпедовцами заслужила хотя бы очка. Повторяю, по ходу игры... (И. Бару. Футбол за неделю. «Веч. Москва», 10 окт. 1960 г.); Единственным оправданием было бы для нас с вами, подчеркиваю, было, то, что немецкая агентура проникла сюда еще до нашего прибытия на этот участок побережья. . . (В. Горбач. Четыре цвета времени. Махачкала, 1959, стр. 114).

- 2) Авторский комментарий, заключающийся в указании на интонационное выделение какого-либо слова в тексте; этот

¹⁵ См.: Е. В. П а д у ч е в а. Логическое ударение в текстах реклам и объявлений. «Научно-техническая информация», 1963, № 5, стр. 32.

¹⁶ Небезынтересно, что слово *подчеркиваю*, заимствованное в рассматриваемой функции из устной речи, пришло в нее в свою очередь, по-видимому, из речи письменной, представляя собой название процесса графического выделения слова в тексте. Ср. такие заимствования из письменной речи, как *скажу в скобках* и т. д. Как крайний случай можно отметить обратный перенос приема письменной речи из устной в письменную: Туризм закладывает в душе человека основы той романтики с большой буквы, без которой в конечном счете не было бы многих наших побед в покорении природы и научных открытий (Д. Т р и ф о н о в. Туристская тропка зовет. «Юность», 1959, № 5, стр. 109).

прием, естественно, встречается только при вводимой в авторский текст прямой речи, соответствуя отмеченным выше способам, традиционно употребляемым в авторской речи: Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна, — сказал он, ударяя на слове *фактам* (Л. Н. Толстой. Анна Каренина, ч. 4, XII); — Как ты был одет? — переспросила Линда, делая ударение на слове «ты» (В. Михановский. Двойники. «Искатель», 1968, № 2, стр. 90)

Ср. совмещение нескольких способов в одном контексте: Так что я вам посоветую: дайте свои стихи прочесть настоящему писателю. Понимаете, н а с т о я щ е м у. Он подчеркнул это слово... (В. Катаев. Трава забвенья. М., 1967, стр. 20). Здесь логическое ударение отмечается с помощью шрифтового выделения (разрядка), повторения, словесного подчеркивания (*Понимаете*) и словесного комментария (*Он подчеркнул это слово...*) — так создается избыточность в обозначении фразового ударения в тексте. (Ср. сходный случай, когда сочетания *в кавычках, с большой буквы*, возвратившись из устной речи в письменную, стали употребляться на письме одновременно с называемыми этими словами языковыми средствами, что вызвало к жизни появление избыточных по средствам выражения сочетаний типа «герой» *в кавычках*, *Человек с большой буквы*.) Впрочем, надо иметь в виду, что подобные случаи, несмотря на «загромождение письма», как писал А. Б. Шапиро, «большой частью не затрудняют читателя, а помогают ему быстрее и вернее разбираться в синтаксической структуре текста и в значениях, вложенных в него пишущим»¹⁷.

- 3) Препозитивный именительный падеж, «подхватываемый в ближайшем предложении словом *он* (или словом *этот* с повторением именительного): «*Эта романтическая литература начала XIX века в Германии, она влияла...*».

Такое выдвижение в препозицию именительного падежа слова, употребляемого далее в предложении, имеет целью «выделение данного представления, помещение его в фокус внимания независимо от предуготовляемой для него роли подлежащего». Как отмечал А. М. Пешковский, такие построения с независимым именительным свойственны устным формам речи. «Нам лично чаще всего приходилось слышать этот именительный от наших учителей в лекционные часы с университетской кафедры... По употреблению этот именительный, кажется, даже можно было бы назвать «лекторским» именительным: так часто он встречается в лекторской речи»¹⁸.

¹⁷ А. Б. Шапиро. Основы русской пунктуации, стр. 86.

¹⁸ А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7. М., 1956, стр. 404—405. Подобный независимый именительный может выступать как обозначение не только подлежащего, но и второстепенного

6. К неканоническим средствам принадлежит, например, «лесенка» в стихе Маяковского. А. А. Реформатский вспоминает: «Когда мне пришлось читать корректуру стихов Маяковского (1923), я удивился отсутствию „знаков препинания“ и спросил: „А где же запятые, Владимир Владимирович?“ Он ответил: Моя пунктуация — это „лесенка,“ а запятые пусть ставят редактор и корректор, как это полагается» (стр. 215).

Однако — отчасти ввиду своей неканоничности — это средство не всегда работает. Ср. распространенное чтение строк из стихотворения «Юбилейное»: «Я теперь свободен от любви и от плакатов. Шкурой ревности || медведь лежит когтист», при котором возникает загадочное выражение «шкура ревности». В действительности здесь скрытая ссылка на поэму «Про это» (1922): «скребущая ревность» превращает человека в медведя. Через два года поэт пишет, что «ревности медведь» лежит шкурой; выделение творительного сравнения подчеркнуто «лесенкой»:

Шкурой

ревности медведь

лежит когтист.

Но «лесенка» не препятствует повторению чтецами «шкуры ревности».

Средством выделения части предложения, постановки на ней фразового ударения может быть и использование так называемой присоединительной конструкции, что находит формальное выражение в постановке точки перед выделяемой частью: У нее было серое лицо и потухшие глаза. И губы серые (В. Панова). Нередко указывают, что при присоединении «второй элемент возникает в сознании как бы в самом процессе высказывания — дополнительно», что такая конструкция представляет собой «как бы добавочное суждение»¹⁹. В ряде случаев это справедливо. Но наряду с этим второй элемент такого построения может быть отделен с той целью, чтобы показать, что именно на него падает смысловой акцент. Комментируя приведенный выше пример, С. Е. Крючков справедливо замечает: «Приемом присоединения автор особо выделяет поразившую его деталь портрета героини»²⁰. Естественно, что в этом случае не приходится говорить о дополнительном (в смысловом отношении) характере присоединяемой части. См. и следующий пример: Иногда Передонов брал карты и со свирепым

члена предложения, см. разговорное: «Этот стол... его надо убрать отсюда». Ср.: «... перо свое питала Я кровью сердца. Этот сорт чернил... Проходит год — они все так же алы. Проходит жизнь — им цвет не изменил» (В. Инбер. Пулковский меридиан).

¹⁹ С. Е. Крючков. О присоединительных связях в современном русском языке. «Вопросы синтаксиса современного русского языка». М., 1950, стр. 400.

²⁰ Там же, стр. 403.

лицом раскалывал перочинным ножиком головы карточным фигурам. Особенно дамам (Ф. Сологуб. Мелкий бес, XXV).

7. В статье «О перекодировании и трансформации коммуникативных систем» А. А. Реформатский описал типы различных отношений между разными средствами передачи информации: от максимально простой системы перекодирования до сложного трансформационного соответствия систем в целом. К последнему типу он относит соответствие устной и письменной речи — «явление принципиально отличное (а не только количественно несоизмеримое) от перекодирования системы Морзе в алфавитные знаки, дипломатической зашифровки или транслитерации» (стр. 215).

Рассмотрение способов выражения фразового ударения в письменной речи на фоне изофункциональных средств устной речи является, как нам кажется, убедительной иллюстрацией этого положения А. А. Реформатского.

Л. П. Калакуцкая

К ВОПРОСУ ОБ АДЪЕКТИВАЦИИ ПРИЧАСТИЙ—ТЕРМИНОВ

Однако нельзя думать, что между терминологией и нетерминологией существует непроходимая пропасть, что термины состоят из иных звуков и не подчиняются грамматическим законам данного языка.

(А. А. Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967, стр. 111).

В последнее время в лингвистической литературе все более распространенным становится мнение, согласно которому причастия, включенные в терминологические сочетания, адъективируются: «.... тенденция к адъективации таким путем (в терминологическом употреблении. — Л. К.) у причастий настоящего времени развивается все сильнее», — пишет И. А. Краснов¹. «Большая продуктивность, в особенности в технической терминологии, действительных причастий настоящего времени со значением прилагательных, а также связанных с ними сложений и сращений с опорным причастием является, несомненно, новацией русского языка советской эпохи», — пишет В. В. Лопатин². «Определяющая часть

¹ И. А. Краснов. Переход причастий в прилагательные в современном русском языке (канд. дисс.), М. 1955, стр. 261.

² В. В. Лопатин. Адъективация причастий в ее отношении к словообразованию. — ВЯ, 1966, № 5, стр. 47.

может выражаться разными частями речи: прилагательным (*электрический автомобиль*), различными причастиями в функции прилагательного (*закаливается сталь, каляющаяся сталь* и т. п.), — говорится в книге Д. С. Лотте³.

Представляется, что само включение причастия в состав терминологического сочетания совсем необязательно должно означать его адъективацию или адъективность его значения. «На современном уровне развития науки каждая ее область имеет хорошо организованный словарь, состоящий из десятков и сотен тысяч терминов»⁴. Естественно, что при таком огромном словарном объеме терминов их грамматическое разнообразие должно быть очень велико. В состав терминов разных областей могут входить существительные и глаголы, наречия и образования наречного типа, прилагательные как отсубстантивные, так и отглагольные: *колено, палец, шейка, реакция, ассимиляция; приземлиться, подрессоривать, спустить на тормозах; в лапу, в зазор; суммарная ошибка, ракетное измерение, тормозной двигатель; спасательное оборудование, спасательная аппаратура, предохранительный канал, летательный аппарат* и т. д.⁵ В состав терминов могут входить и причастия, особенно часто действительные причастия настоящего времени: *активирующее вещество, адсорбирующее вещество, восходящий ветер, блуждающая волна, цементирующая машина, захватывающий крюк, зондирующий импульс, противодействующие витки, регулирующий винт, шлакующий материал, перемещающееся залегание, вращающийся искатель, скрывающийся лафет, компрессирующий костюм (космонавта), регистрирующая аппаратура* и т. д. и т. д. Если считать, что в составе терминологического сочетания причастия обязательно адъективируются, то тем самым следует одновременно и однозначно решить, то современной науке и тем самым различным терминологическим системам нужны только адъективные, т. е. застывшие, вневременные, «недейственные» определения, лишённые глагольных связей. О том, что это не так, можно судить хотя бы по следующему высказыванию Д. С. Лотте: «Весьма многие из существующих терминов подобного типа не вызывают возражений в отношении допустимости их применения, например *гребной вал* и т. п. Однако некоторые не могут быть рекомендованы. *Регулировочной гайкой*, на-

³ Д. С. Лотте. Основы построения научно-технической терминологии. М., 1961, стр. 82.

⁴ Л. А. Капанадзе. Взаимодействие терминологической лексики с общелитературной (автореф. канд. дисс.). М., 1966, стр. 3.

⁵ Термины здесь и дальше приводятся по словарям: «Англо-русский словарь по космонавтике». Под ред. Ф. П. Супруна и К. В. Широкова. М., 1964; «Политехнический словарь» («Politechnisches Wörterbuch»). Berlin, 1965; «Англо-русский биологический словарь». М., 1963; «Англо-русский медицинский словарь». М., 1958; О. С. Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 1966; см. также: Б. В. Некрасова. Курс общей химии. М.—Л., 1953.

пример, называется гайка, при помощи которой непосредственно осуществляется процесс регулирования. Вместе с тем термином *регулировочная гайка* обозначают и гайку, которая служит лишь в качестве стопорной закрепительной детали для другой, непосредственно «регулирующей» детали. Во втором случае термин *регулировочная гайка* является краткой формой других терминов, например *гайка регулировочного винта* и т. п. Таким образом, в погоне за краткостью нарушается требование точности: составляющая *регулировочный* употребляется в двух различных значениях. Между тем не представляет труда словесно дифференцировать эти значения. Например, можно ввести для обозначения активного участия в процессе «регулировки» иную составляющую — *регулирующий*, применяя *регулировочный* лишь для указания общего отношения к этому процессу (*регулирующий болт*, но *регулировочная гайка* — «гайка регулирующего болта») ⁶. Из приведенного высказывания Д. С. Лотте достаточно ясно следует необходимость причастия в его именно причастной функции для создания грамотного термина. В последнее время особенно много причастий требуется потому, что в терминологии все больше становится «расчлененных аналитических наименований, четко семантически делимых...».

«Стремление к аналитизму, к конструированию таких наименований, в которых общее значение составляется из фиксированных значений его компонентов, является главной характерной чертой всех современных терминологических систем.

Свободные сочетания слов могут состоять из двух, трех и более слов в зависимости от тех классификационных отношений, в которые вступает данный термин. Например: *пульсирующий ток*, *несущая частота*, *охлаждающая тяга с принудительной воздушной тягой* и т. д. Нетрудно заметить, что составные термины именно потому так распространены в разных терминологиях, что целиком покрывают понятийное поле данной системы...»⁷. Нетрудно также заметить, что во всех этих свободных терминологических сочетаниях весьма видную роль занимает определение того или иного явления или предмета по действию; без причастий при этом обойтись невозможно. Например, *отталкивающие силы* (хим.), *метод вращающегося кристалла* (хим.), *переохлажденная вода*, *перегретая вода* (хим.), *светящиеся составы* (ср. световые волны) (хим.), *дымящаяся серная кислота* (хим.), *светящиеся животные* (биол.), *вспыхивающая окраска*, *предостерегающая окраска*, *приманивающая окраска* (биол.), *распространяющийся разряд*, *повторяющийся разряд* (биол.), *хвощ зимующий* (биол.), *успокаивающее средство*, *обезболивающее средство* (мед.), *опоясывающая повязка*, *поглощающая (всасывающая) повязка* (мед.), *срезающий нож*, *наре-*

⁶ Д. С. Лотте. Указ. соч., стр. 147.

⁷ «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка». М., 1968, стр. 154—155.

зающий нож, снимающий нож (техн.), нория с качающимися ковшами (техн.) и т. д.⁸

«В терминологических сочетаниях типа *режущий инструмент, красящие вещества*, — пишет В. В. Лопатин, — причастия с адъективным значением употребляются только в одиночном виде, без подчиненных слов; при необходимости же уточнить действие указанием на его характер или на объект в терминологии используются словообразовательные модели прилагательных-сложений и сращений — с опорным причастием: *металлорежущий станок, кормоперерабатывающая машина, топливоподающая система, быстрорастваривающаяся каша, легковоспламеняющаяся жидкость* и т. п.; эти типы сложений и сращений с опорным причастием не менее продуктивны в современном языке, чем рассматриваемый тип причастий с адъективным значением»⁹. Между тем, хотя причастия в составе терминологических сочетаний действительно чаще всего не имеют зависимых слов, что, впрочем, необязательно¹⁰, они тем не менее выбираются для того или иного термина чаще всего именно потому, что обладают глагольными связями. Заметнее всего это можно проследить на причастиях, образованных от переходных глаголов. Приведем несколько примеров: *захватывающий крюк, облекающее залегание, склеивающая машина, перегибающий механизм, осаждающее вещество, сцепляющий механизм, сращивающий зажим, удлиняющая деталь, скрепляющая деталь, уплотняющая жидкость, смачивающее вещество, обволакивающее вещество* и т. д.

Все приведенные причастия образованы от переходных глаголов, и хотя в составе приведенных терминологических сочетаний отсутствует прямой объект, он практически существует, во-первых, в грамматическом значении глагольной основы и, во-вторых, в реальной действительности. *Облекающее залегание* (геол.) означает, что данное залегание облекает, обходит определенный почвенный пласт; *склеивающая машина* (типогр.) склеивает листы бумаги; *перегибающий механизм* (типогр.) складывает листы бумаги; *сцепляющий механизм* (техн.) сцепляет детали; *осаждающее вещество* (биол., хим.) осаждаёт какое-либо другое вещество и т. д. и т. п. Все эти реальные объекты действия причастий хоро-

⁸ Достаточно часто эти причастия, входящие в состав современных терминов, являются переводом английских причастий или соответствуют английским причастиям, например: *spreading* — *распространяющийся разряд* (биол.), *nitrifying* — *нитрифицирующая бактерия* (биол.), *phosphorescing* — *свещающееся животное* (биол. сл.), *anastomosing* — *анастомозирующий* (биол. сл.), *deleted* — *исчезнувший вид* (биол. сл.) и т. д., т. е. причастия входят и в состав английской терминологии.

⁹ В. В. Лопатин. Указ. соч., стр. 42.

¹⁰ Приведем примеры употребления в терминологии причастий с зависимыми словами: *убивающее клещей средство* (биол.), *цветущий ночью кустарник* (биол.), *растение, размножающееся делением* (биол.), *семя, прорастающее только в темноте* (биол.) и т. п.

по известны в каждом конкретном случае всем имеющим дело с данной отраслью науки и техники; так же, как хорошо известен всем объект действия причастий в сочетании *пьющий человек*. Сохраняют свою переходность, свои глагольные связи и причастия, образованные от переходных глаголов, употребленные в составе терминологических сочетаний. Сохраняя же глагольные связи, причастия не могут оторваться от системы глагола, а следовательно, не могут получить адъективных значений и адъективироваться.

Адъективация причастий — это процесс, происходящий в языке, терминология же, лишенная живых языковых связей, — совсем неподходящая почва для протекания столь сложного и многообразного явления. Иногда терминология может фиксировать результаты процесса адъективации, полученные в языке и лишь после этого перенесенные в терминологию: в сочетаниях *ведущая зона*, *вяжущее вещество* и под. причастия *ведущий*, *вяжущий* имеют адъективные значения, равнозначные: «основная зона», «терпкое вещество», но именно с этим адъективным значением данные слова были взяты из языка ¹¹.

Причастия же *противодействующий*, *фиксирующий*, *захватывающий* (не в переносном значении), *цементирующий*, *перемещающийся*, *вращающийся*, *дымящий* и др. в современном языке вряд ли кто сочтет адъективированными; между тем в составе терминов за ними легко признаются «адъективные значения». Но адъективные значения любая область терминологии может свободно получать от прилагательных; причастия же в терминологии необходимы для определения действенных признаков, с закрепленными за ними связями, сохраняемыми глагольной основой причастий ¹².

Достаточно широко употребляются в терминологии и страдательные причастия настоящего времени. Для терминологии весьма существенной оказалась способность этих причастий сохранять страдательный залог в одиночном употреблении: *поражаемая площадь* (воен.) (например: Смутно мелькнули в голове теоретически известные мне соображения о том, что атаковать самолет противника лучше всего сзади — сбоку — под ракурсом «три четверти», тогда его *поражаемая площадь* больше и меньше шан-

¹¹ О подобном случае пишет, например, Д. С. Лотте: «*Ведущий* — причастная форма (действительного залога настоящего времени) — в данном случае подчеркивает не действие или состояние в какое-либо определенное время, а назначение колеса, его свойство, отличающее его от других колес; таким образом, причастие *ведущий* употреблено здесь в функции прилагательного, что весьма распространено и в обычном языке» (Д. С. Лотте. Указ. соч., стр. 92).

¹² И. А. Краснов, признающий адъективность причастий в составе терминов, не может не отметить, что «процесс адъективации этих причастий сдерживается лексическим значением их основ. Эти причастия выступают в большинстве своем в прямом номинативном значении, которое характерно для процессуальных признаков» (И. А. Краснов. Указ. соч., стр. 261).

сов нарваться на ответный огонь.— М. Галлай, Первый бой мы выиграли); *Намагничиваемый металл* (физ.), *обжигаемый кирпич* (техн.), *управляемый снаряд* (воен.), *неразrabатываемый пласт* (геол.), *обрабатываемое изделие* (техн.), *навешиваемая крыша* (техн.), *погружаемый нагреватель* (техн.), *контролируемое разоружение* (полит.), *работающий спектакль* (актерский жаргон), *вычитаемое число* (матем.), *регулируемая скорость* (техн.), *свариваемая деталь* (техн.), *распыляемый порошок* (сельскохоз.), *перемещаемый груз* (техн.), *несжимаемая жидкость* (физ., биол.), *затопляемый участок* (сельскохоз.), *управляемое существо* (лингв.), *склоняемое существительное* (лингв.), *определяемое слово* (лингв.), *неисчисляемые имена* (лингв.), *ударяемый и неударяемый гласный* (лингв.), *повторяемый союз* (лингв.), *отнимаемые морфемы* (лингв.), *нейтрализуемые фонологические различия* (лингв.) и т. д.

Если следовать распространенной точке зрения, то эти причастия следует рассматривать как адъективированные единственно на том основании, что они входят в состав терминов и соответственно возможны только в одиночном употреблении. Особенно сопротивляются такому взгляду страдательные причастия настоящего времени. В большинстве из них в терминологическом употреблении достаточно определенно проявляется пассивность значения: *дробимое зерно*, *свариваемый металл*, *подталкиваемый маятник*, *поддерживаемый согласный*, *обрабатываемый материал*, *вычитаемое число*, *регулируемая скорость*, *управляемый снаряд*, *загружаемый материал*, *размалываемый материал*, *фильтруемый материал*, *центрифугируемый материал*, *промываемый материал*, *перемещаемый материал*, *прессуемый материал*, *выщелачиваемый материал*, *раздробляемый материал*, *смешиваемый материал*, *подталкиваемый материал*, *обжариваемый материал*, *шлифуемое место* и т. п.

Значительное количество среди приведенных терминов страдательных причастий настоящего времени, образованных от основы вторичных несовершенных глаголов, как правило, редко адъективирующихся, лишний раз свидетельствует против взглядов о непрременной адъективированности любого употребления причастий в терминологии.

Кроме того, в ряде случаев в терминологии сохраняется противопоставление действительных и страдательных причастий, ср.: *ведущий самолет* и *ведомый самолет* (авиаци.) (например: Карякин и Рябушкин занялись *ведомым «Фокке-Вульфом»* и оттянули его несколько в сторону от ведущего. *Ведущий «Фокке-Вульф»* стал беспомощно падать, переваливаясь через крыло.— Н. Чуковский, Балтийское небо); *нерегулируемый калибр* и *регулирующий клапан* (техн.), *распыливаемый порошок* и *распыливающее устройство* (сельскохоз.), *включаемая муфта* и *скользящая муфта* (техн.). «Под „перекрываемой составляющей“ или „перекрываемой состав-

ной частью термина“ понимается такая составная часть термина, которая выражает *поглощаемый* признак. Соответственно, „перекрывающей“ может быть названа составная часть, обозначающая *поглощающий* признак»¹³.

Достаточно часто используются такие противопоставленные по залогу причастия в лингвистической терминологии: *индуцируемая форма* и *индуцирующая форма*, *обуславливаемое предложение* и *обуславливающее предложение*, *определяемый член* и *определяющий член*, *поддерживаемый согласный* и *поддерживающий согласный*, *управляемое слово* и *управляющее слово*.

Вряд ли можно считать эти противопоставленные по залогу причастия перешедшими в разряд прилагательных, поскольку в таком употреблении причастий в терминологии ярко проявляется их страдательный залог: самолет не ведет за собой другие самолеты, а следует за ведущим; слово, не управляющее каким-либо другим, а слово, которым управляют и т. д.

Причастия, сохраняющие такую четкую противопоставленность по залогу, не могут адъективироваться. Но в таком случае оказывается неоправданным распространенный взгляд на причастия, используемые в терминологии, как на адъективированные формы¹⁴.

Основным аргументом в пользу этой точки зрения оказывается одиночное употребление причастия в терминологии. Однако одиночное употребление причастий не в терминологии еще не означает их адъективации, почему же одиночное употребление причастий в терминологии должно обязательно приводить к адъективации? Решая вопрос таким образом, приходится отказываться терминологии в процессуальном признаке, который она может получить только в виде причастия и в котором она нуждается. Существенно также и то, что, употребляясь одиночно в составе терминов, причастия сохраняют возможность противопоставления различных морфологических типов в пределах одной и той же терминологической системы, ср.: *обволакивающее вещество*, *набухшее вещество*, *опыляемое вещество*, *припыливающее вещество*; *ведомый валик*, *замыкающий валик*; *вызываемая линия*, *вызывающая линия*, *закороченная линия*, *занятая линия*; *опережающая крепь*,

¹³ Д. С. Лотте. Указ. соч., стр. 133.— Интересно, что Д. С. Лотте как бы тоже признает, что в терминологии причастия встречаются в адъективированном виде, во всяком случае в книге «Основы построения научно-технической терминологии» у него есть несколько высказываний подобного рода, приводившихся выше, но когда он в той же книге разбирает конкретные термины, то постоянно рекомендует использовать причастия вместо прилагательных для большей точности термина.

¹⁴ Так, И. А. Краснов пишет: «Сдвиг в семантике этих причастий заключается в том, что они закрепляются в языке в качестве терминов. Закрепление в качестве терминов нейтрализует проявление в них уже ослабленных глагольных свойств. Таким путем адъективируются большей частью причастия настоящего времени всех залогов, а также не имеющие форм залога» (указ. соч., стр. 260).

открытая (незамкнутая) крепь, расшатавшаяся крепь; количество снимаемой стружки, собранное количество, количество выпавшего дождя, количество высеиваемого зерна, количество captируемой воды, отбираемое количество, количество перемещаемого груза, вытекающее количество; захватывающий конец, обрезаемый конец, расклиненный конец, ввинчиваемый конец, замоченный конец; высушиваемый материал, выщелачиваемый материал, делящийся материал, загружаемый материал, заполняющий материал, изолирующий материал, молотый материал, обжигаемый материал, отожженный материал, перемещаемый материал, прессованный материал, прессуемый материал, промываемый материал, раздробляемый материал, размалываемый материал, связующий материал, смешиваемый материал, шлакующий материал, уплотняющий материал, фильтруемый материал, цементирующий материал, центрифугируемый материал и т. п.

Достаточно ярко проявляющийся залог и возможность противопоставления различных морфологических типов причастий не могут не препятствовать их адъективации. Все это, однако, не означает, что в терминологии не может быть адъективированных причастий, таких, например, как *мнимая величина*, но существенно то, что причастие *мнимый* адъективировалось в языке (*мнимый больной, мнимое величие*), а затем уже адъективированным, попало в терминологию (в отличие от неадъективированного терминологического *множимое число, размножаемая бактерия*).

Таким образом, современная терминология нуждается в причастиях, поставляющих необходимые ей «действенные определения». И поскольку, по словам А. А. Реформатского, терминология «подчиняется грамматическим законам данного языка», включение в нее для причастия не должно означать и не означает в действительности его непременно адъективацию и в составе терминов причастие может сохранять свойственные ему глагольные связи.

Г. А. Климов

СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИЗМЫ КАРТВЕЛЬСКИХ И АБХАЗСКО-АДЫГСКИХ ЯЗЫКОВ

На фоне ряда структурно-типологических или точнее — характерологических параллелизмов, объединяющих все три группы кавказских языков — картвельскую, абхазско-адыгскую и нахско-дагестанскую, обращают на себя особое внимание значительно более отчетливо выступающие черты общности, разделяемые только двумя первыми группами. Конечно, не случайно то обстоятель-

ство, что эти черты оказались уже в поле зрения таких пионеров кавказского языкознания, какими были Г. Розен, П. Чарая и Н. Я. Марр (при этом объектом наиболее настойчивого сопоставления с картвельскими явился, как известно, абхазский язык)¹. Однако более очевидными они стали в свете исследований последних двух — трех десятилетий, предпринятых преимущественно грузинскими лингвистами, даже попытавшимися (впрочем, без опоры на систему звуковых корреспонденций) в отдельных случаях отождествить некоторые из соответствующих экспонентов на уровне субстанции. При этом можно без преувеличения сказать, что типологические аналогии лучше исследованных картвельских языков в определенной мере способствовали адекватному пониманию структуры абхазско-адыгских языков. Ниже следует краткий опыт систематизации структурно-типологических параллелизмов, выявленных к настоящему времени между обеими группами и демонстрирующих их большую структурную близость².

Отдельные достаточно интересные сходства картвельских и абхазско-адыгских языков выявляются на всех уровнях языковой структуры. Однако наиболее ярко они проявляются в их грамматическом строе. Здесь в рамках общего для всех групп кавказских языков агглютинативного строя следует прежде всего отметить высокую степень синтетизма слова, особенно характерную для абхазско-адыгских языков, что делает их, согласно типологической классификации В. Скалички, яркими представителями так называемого полисинтетического типа (из картвельских языков к последнему наиболее приближается — особенно за счет богатейшего развития глагольной аффиксации — мегрельский: ср. *kə-mo-m-ʒʷon-a-s-ia* 'пусть-мол он мне преподнесет то'). В соответствии с этим обстоятельством глубина слова в абхазско-адыгских языках оказывается несколько большей, чем в картвельских (и тем более отдаляется от соответствующего параметра нахско-дагестанских языков).

Высокая степень синтетизма в обеих группах в значительной мере обусловлена характерным для них большим удельным весом префиксального строя, особенно характерного здесь для словоизменения глагола и в целом — для словообразования. Если в синхронии префиксация несколько больше развита в абхазско-адыгских языках, где возможны последовательности, включающие до девяти префиксальных морфем, то целый ряд факторов (например,

¹ Ср.: G. R o s e n. *Ossetische Sprachlehre nebst einer Abhandlung über das Mingrelische, Suanische und Abchasische*. Lemgo und Detmold, 1846, стр. 83—84; П. Ч а р а я. Об отношении абхазского языка к яфетическим. — МЯЯ, IV. СПб., 1912, стр. 63—70; Н. Я. М а р р. К вопросу о положении абхазского языка среди яфетических. — МЯЯ, V. СПб., 1912, стр. 24—27.

² Некоторые из них, хотя и под другим углом зрения, суммированы в ст.: М. М. Ц и к о л и я. Некоторые вопросы историко-сравнительного изучения абхазского и картвельских языков. «Труды Абхазского НИИ языка, лит-ры и истории им. Дм. Гулиа», XXXIII—XXXIV. Сухуми, 1963 (на груз. яз.).

элементы реликтовой субъектно-объектной префиксации в сванском, явление тмезиса в древнегрузинском, некоторые из общекартвельских словообразовательных типов) указывают на его большее развитие и в диахронии картвельских языков ³.

Интересно отметить, что наибольшее число структурных сходств между обеими языковыми группами наблюдается в области глагола. Именно здесь обнаруживаются довольно далеко идущие параллелизмы как в категориальном составе морфем, так и в аранжировке последних. Абхазско-адыгский и картвельский глагол в отличие от нахско-дагестанского объединяется по столь существенному признаку, каким является развитое личное спряжение (классные подразделения внутри форм 3-го лица составляют специфику лишь абхазско-абазинского глагола). Наиболее яркая черта этой общности состоит в полиперсонализме глагольной словоформы, достигающемся за счет включения в нее нескольких субъектно-объектных показателей. Если оставить в стороне тот факт, что в картвельских языках всегда, в отличие от абхазско-адыгских, субъектные показатели лица противопоставлены объектным, то различия обеих групп носят при этом количественный характер: в соответствии с большей степенью синтеза в абхазско-адыгском глаголе передается на уровне нормы до пяти лиц (при максимально четырех личных показателях), в то время как в картвельском глаголе — до трех (при максимально двух личных экспонентах) ⁴. В историко-типологическом плане в этой связи заслуживает внимания и следующее обстоятельство: являющееся для абхазско-адыгских языков очевидным прономинальное происхождение этих показателей считается вполне вероятным и для картвельских, вследствие чего Ал. Цагарели и Н. Я. Марром они даже квалифицировались соответственно как «местоименные элементы» или «местоименные частицы» (ср. картв. *men- 'я' при объектном показателе 1-го лица *m-, сван. nāj 'мы' (эксклюзив) при объектном показателе 1-го л. мн. ч. n-) ⁵.

Другое важное структурное сходство глагола обеих групп состоит в наличии в нем развитой префиксации, уточняющей субъектно-объектные отношения. Здесь получают свое выражение такие общие для рассматриваемых языков морфологические катего-

³ Ср.: А. С. Ч и к о б а в а. Картвельские языки, их исторический состав и характерные черты. «Иберийско-кавказское языкознание», II. Тбилиси, 1948, стр. 274 и сл.

⁴ См.: Г. В. Р о г а в а. Полиперсонализм в глаголах нижнеадыгейского языка. «Изв. ИЯИМК», 1942, т. XII, стр. 126—130; G. Deeters. Die Stellung der Kharthwelsprachen unter den kaukasischen Sprachen. «Bedi Kartlisa (Revue de kartvelologie)», 1957, v. 23, № 5, стр. 13—14.

⁵ См.: Ал. Ц а г а р е л и. О грамматической литературе грузинского языка (критический очерк). СПб., 1873, стр. 95; N. M a r r e t M. B r i e g e. La langue géorgienne. Paris, 1931, стр. 134; ср. также: В. Т. Т о п у р и я. Сванский язык, I. Глагол. Тбилиси, 1931 (2-е изд., 1967), стр. 25—29; К. Д. Д о н д у а. Категория инклюзива—эксклюзива в сванском и следы ее в древнегрузинском. «Памяти акад. Н. Я. Марра». М.—Л., 1939, стр. 137—138 и 146.

рии глагола, как версия, потенциалис, взаимность⁶. В соответствии с большим развитием префиксации в абхазско-адыгских языках, все эти категории представлены в последних несколько шире. Так, в них по сравнению с картвельскими внутри категории версии существуют некоторые дополнительные подразделения; в то же время категории потенциалиса и, особенно, взаимности представлены не во всех картвельских языках, будучи за немногими исключениями в основном ограниченными мегрельским и чанским (в других языках соответствующее содержание почти всегда передается описательно или — при отрицательной форме глагола — специфическими приглагольными частицами отрицания: ср. груз. *weg* и сван. *deš*)⁷. Обращает на себя внимание и тот факт, что в составе глагольной словоформы абхазско-адыгские префиксы потенциалиса занимают ту же позицию — непосредственно после соответствующего показателя лица субъекта, что и префиксальная часть коаффиксов потенциалиса картвельских языков (ср. абхаз. *sə-z-som* 'я не могу пойти', мегр. *m-a-škom-e-n* 'я могу есть').

Древнегрузинский, а отчасти еще и новогрузинский материал дают возможность указать еще на один параллелизм префиксального строя глагола в рассматриваемых языковых группах. Имеется в виду явление так называемого тмезиса, сводящееся к включению в глагольную форму на правах префиксов частиц преимущественно обстоятельственной семантики (ср., например, груз. *mo-ğaj-wida* 'когда он пришел', 'придя', *ga-we-xda* 'стало оно вновь', *mo-sa-kwda* 'умер он уже' и т. п.), напоминающее различные обстоятельственные префиксы абхазско-адыгского глагола (ср. абхаз. *ajta-n-t-aj-t^w-a-n* 'он налил вновь', *də-š-ğəlo* 'как он (человек) встает', адыг. *sə-zarə-k^wašt* 'как я пойду')⁸. В этой свя-

⁶ Ср.: К. В. Ломтатидзе. О категории «версии» в абхазском глаголе. «Труды ТГУ», 1947, вып. XXX—XXXI; G. Deeters. Das kharthwelische Verbum. Leipzig, 1930, стр. 72; W. Boeder. Über die Versionen des georgischen Verbs. Hamburg, 1967, стр. 53—55; К. В. Ломтатидзе. К вопросу о категории взаимности в картвельских языках. «Вопросы структуры картвельских языков», II. Тбилиси, 1961, стр. 211—220. — Опыты материального отождествления формативов обеих языковых групп см.: Г. В. Рогова. Притяжательный аффикс *i* в морфологических категориях глагола и имени (версии и-падежа) картвельских языков. «Вестник АН Груз. ССР», 1942, т. III, № 2; К. В. Ломтатидзе. Из грузинско-абхазской грамматической встречи. «Труды Абхазского ин-та ЯЛИ», т. XXVIII. Сухуми, 1957.

⁷ О категории потенциалиса в картвельском глаголе см.: А. С. Чикобава. К категории возможности (потенциалиса) в картвельских языках. «Изв. ИЯИМК», I. Тбилиси, 1937 (на груз. яз.).

⁸ В абхазско-адыгских языках имеются и префиксально-суффиксальный, и чисто суффиксальный типы образования обстоятельственных форм. Ср.: К. В. Ломтатидзе. Следы инфинитного образования глагола в древнегрузинском языке (предварительное сообщение). «Иберийско-кавказское языкознание» т. IX-X. Тбилиси, 1958 (на груз. яз.). — О тмезисе в грузинском см.: А. Г. Шапидзе. Основы грузинской грамматики, I. Морфология. Тбилиси, 1953, стр. 266-267 (на груз. яз.).

зи целесообразно упомянуть возможность употребления в некоторых первичных глаголах картвельских языков префикса категории ситуации, указывающей на совершение действия на поверхности чего-либо (ср. груз. *lex-s* 'ломает', *a-lex-s* 'ломает на чем-либо').

В заключение к сказанному выше необходимо добавить, что в целом обычная для картвельских языков аранжировка префиксов глагольной словоформы в составе преверба, морфемы лица и морфемы версии или потенциалиса (ср. груз. *mo-g-i-tana* 'он тебе принес то', чанск. *mo-m-i-nʒʷonit* 'пришлите мне то') совпадает с построением одной из моделей префиксации, функционирующей в абхазско-адыгском глаголе.

Среди суффицируемых элементов, специфических для глагола в обеих языковых группах, в первую очередь следует упомянуть показатель множественного числа прямого объекта. Если в абхазско-адыгских языках он широко употребителен (ср. абхаз. *i-qa-s-c-wajt* 'я делаю то (ед. число)' и *i-qa-s-ça-k-wajt* 'я делаю их (мн. число)', адыг. *q-a-ša-γ* 'он привел его' и *q-a-ša-γ-a-x* 'он привел их'), то из картвельских языков он известен лишь в сванском, где наличествует и в масдарах (ср. *li-zz-i* 'посылать (одного)', *Li-zz-əg-e* 'посылать (многих)' и т. п.) и грузинском (др.-груз. *ixila xej* 'увидел он дерево', *ixil-n-a xe-n-i* 'увидел он деревья', хевс. диал. *daabrune-nqewsur-n-i* 'верни хевсуров').

Вместе с тем общим достоянием глагола рассматриваемых языков является и постпозитивная частица вопросительного значения: ср. др.-груз. *xaq-a?* 'ты еси?', мегр. *gičkun-o?* 'знаешь ли?' при кабард. *das-a?* 'сидит ли?', *matx-a?* 'пишет ли?'. Любопытно, что в одном из картвельских языков — сванском — существует и ее вариация, несущая отрицательно-вопросительную семантику *-mo//ma*, аналогичная соответствующей форме абхазско-адыгского глагола (ср. абхаз. *dca-ma?* 'не пошел ли он?', кабард. *q^wa-ta?* 'не пошел ли он?')⁹.

Как определенную общность в структуре глагола обеих языковых групп следует рассматривать так или иначе проводимое в них морфологическое разграничение статических и динамических глаголов¹⁰.

Одно из наиболее интересных схождения картвельских языков с абхазско-адыгскими в области морфологии имени составляет образование в них так называемой сравнительно-превосходной степени сравнения прилагательных. Как известно, сопоставление таких фактов, как груз. *xuces-i* 'старец', мегр., чан. *u(n)čaš-i*

⁹ См.: С. Н. Джанашиа. Сванско-адыгейские (черкесские) языковые встречи (картвельско-адыгейские параллели, I). «Изв. ИЯИМК», т. XII. Тбилиси, 1942, стр. 266—267.

¹⁰ О разграничении статических и динамических форм глаголов в картвельских языках ср.: А. Г. Шанидзе. Основы грузинской грамматики, I. Морфология, стр. 323—332. Ср. также: Г. В. Рогава. Динамические и статические глаголы в адыгских языках. — ИКЯ, т. VIII. Тбилиси, 1956, стр. 459—467.

‘старший’, сван’хоа ‘большой’, сводимых к общекартвельскому *x-u-c₁-e ‘старше, больше его’ (где x- — префикс 3-го лица косвенного дополнения, а u- — префикс объектной версии), предполагающему сосуществование форм *m-i-c₁-e ‘старше меня’ и *g-i-c₁-e ‘старше тебя’, привело картвелистику к положению о том, что исторически имена в картвельских языках могли иметь формы словоизменения по лицам, аналогичные формам абхазско-адыгского имени (ср., например, абхаз. s-ajha ‘больше меня’, w-ajha ‘больше тебя’, j-ajha ‘больше его’) ¹¹.

Другое сходжение именной морфологии рассматриваемых языков состоит в относительно ограниченной — максимально тернарной (более строго выдержанной в абхазско-адыгских языках) — системе противопоставления указательных местоимений, соотнесенной с указанием на близость к 1-му лицу, ко 2-му лицу или на удаленность от обоих: ср. абхаз. a(b)ri ‘этот (близ 1-го лица)’ ~ груз. es, абхаз. a(b)ni ‘этот (близ 2-го лица)’ ~ груз. eg, абхаз. u(br)i ‘тот (близ 3-го лица)’ ~ груз. igi//is (для нахско-дагестанских языков характерной является более богатая, преимущественно пятеричная, оппозиция указательных местоимений, возникающая за счет разграничения конкретных форм, указывающих на пребывание в удалении на плоскости, наверху и внизу).

В области синтаксиса как будто намечается специфическое для обеих языковых групп соприкосновение по линии порядка слов в предложении. Есть основания думать, что в прошлом в картвельских языках существовала категория постпозитивных определений, подобная аналогичному разряду определений, по сей день присущему абхазско-адыгским языкам ¹².

Интересна в рассматриваемом плане возможность соединительной связи двух имен в сванском, посредством постпозитивной частицы -i, следующей за каждым из них (mi-i si-i ‘я и ты’), аналогичная обычной норме абхазско-адыгских языков (ср. абхаз. sa-ga-j wa-ga-j ‘я и ты’) ¹³.

Связана с синтаксическим строем предложения и подчеркнутая К. Д. Дондуа типологическая близость сванского отрицания отрицанию в абхазско-адыгских языках: «и тут и там строго диф-

¹¹ См.: А. Г. Ш а н и д з е. Показатель лица у склоняемых слов в картвельских языках. «Труды ТГУ», I, 1936 (на груз. яз.); К. Д. Д о н д у а. К генезису формы сравнительно-превосходной степени в картвельских языках. «Язык и мышление», IX. М.—Л., 1940, стр. 37; Г. И. М а ч а в а р и а н и. К генезису форм сравнительной степени в картвельских языках. «Труды ТГУ», 1958, т. 71, стр. 122—125 (на груз. яз.).

¹² Ср.: М. М. Ц и к о л и я. Абжуйский диалект абхазского языка. Имена. «Труды Абхазского НИИ языка, лит-ры и истории им. Д. Гулия», XXVII. Тбилиси, 1955, стр. 265 (на груз. яз.); Г. А. К л и м о в. К вопросу о порядке членов атрибутивного комплекса в картвельских языках. «Вопросы изучения иберийско-кавказских языков». М., 1961, стр. 268.

¹³ Ср.: Н. Я. М а р р. Из лингвистической поездки в Абхазию. «Изв. Академии наук». СПб., 1913, стр. 313.

ференцированы отрицательные частицы главного и придаточного предложений или повествовательной и вопросительной форм последних (resp. изъявительного и неизъявительного наклонений)¹⁴.

При наиболее существенных расхождениях, характеризующих фонологическую систему обеих рассматриваемых групп, и здесь можно остановиться на отдельных общностях. Так, например, с точки зрения парадигматики фонем есть некоторые основания предполагать, что на раннем этапе существования общекартвельского языка-основы в нем имелась более сложная и приближавшаяся к фонемному составу абхазско-адыгских языков система консонантизма с наличием серии свистяще-шипящих или палатализованных спирантов и аффрикат, отраженных дифференцированными (по признаку: свистящий — шипящий) по языкам рефлексами¹⁵, а возможно, и серии лабиализованных согласных¹⁶ (следует вместе с тем учитывать и то обстоятельство, что исключительно богатый состав консонантизма современных абхазско-адыгских языков, как полагают специалисты, в определенной степени получен за счет позднейшего усложнения). Следует отметить и то обстоятельство, что в отличие от характерной для нахско-дагестанских языков очень сложной системы морфофонологических чередований гласных и фонологических чередований согласных в обеих рассматриваемых группах прослеживается (в основном на правах архаизма) функционирование довольно простой системы аблаута.

Если специфические встречи обеих групп в области парадигматики фонем носят в основном историко-типологический характер, то в фонологической синтагматике имеется по крайней мере один яркий параллелизм чисто синхронного порядка. Имеется в виду наличие в обеих группах гомогенных, т. е. относящихся к одной и той же серии, комплексов согласных, состоящих из двух и реже — трех фонем (ср. картв. *bɣ*, *px*, *pɣ*, *zɣ*, *sx*, *sɣ* и т. п., абх.-адыг. *ps*, *pš*, *pɟ*, *tx*, *zɣ* и т. п.)¹⁷.

В сфере словообразования картвельских и абхазско-адыгских языков можно, по-видимому, констатировать две основные черты

¹⁴ К. Д. Дондуа. Грамматическое отрицание как проблема общего языкознания. «Язык и мышление», XI. М.—Л., 1948, стр. 17.

¹⁵ Ср.: Н. V o g t. Structure phonémique du géorgien.—NTS, 1958, v. XVIII, стр. 30 и сл.; Г. И. Мачавариани. Консонантизм картвельских языков. Тбилиси, 1965, стр. 101—108 (на груз. яз.); О н ж е. К типологической характеристике общекартвельского языка-основы.—ВЯ, 1966, № 1, стр. 8.

¹⁶ Ср.: С. М. Жгенти. К вопросу о лабиализованных согласных в картвельских языках. «Изв. ИЯИМК», т. X. Тбилиси, 1941 (на груз. яз.); Н. В. Юшманов. Фонетические параллели африканских и яфетических языков. «Africana» М.—Л., 1937, стр. 36; Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани. Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965, стр. 373 (на груз. яз.).

¹⁷ Ср.: Н. V o g t. Dictionnaire de la langue oubykh. Oslo, 1963, стр. 29—30; Г. П. Мачавариани. К типологической характеристике общекартвельского языка-основы, стр. 8.

общности. Во-первых, это — продуктивность префиксального и префиксально-суффиксального способов глагольного и именного словообразования. Она выражается, в частности, в наличии широко развитой системы превербной деривации (как известно, занимающей в нахско-дагестанских языках очень ограниченное место). В обеих языковых группах различаются категории превербов направления, ориентированных по отношению к говорящему (при этом отмечается тесная функциональная близость сван. *ap-* 'сюда' и *ad-* 'туда' и груз. *mo-* 'сюда' и *mi-* 'туда' к соответствующим им адыг. *qa-* и *na-*¹⁸ и абхаз.-абаз. *ḡa-/aä-* и *na-*) и чисто локальных превербов. В обоих случаях широкое употребление находят и образованные посредством сочетания и тех и других так называемые сложные превербы. Наиболее далеко идущие совпадения в превербной деривации существуют между мегрельским (и отчасти чанским), с одной стороны, и абхазском языком, с другой¹⁹. Уже в историко-типологическом плане заслуживает упоминания наличие и в той и в другой группах интересной категории производных имен преимущественно отглагольного происхождения с префиксом *m-/mV-*, прослеживаемой в абхазско-адыгских языках только исторически. Вместе с тем некоторые исследователи предлагают для прошлого картвельских языков наличие чисто префиксальной каузативирующей деривации, аналогичной абхазско-адыгской (допустима и материальная связь одного из соответствующих абхазско-адыгских префиксов, а именно *г-* с начальным *г* ряда картвельских глагольных основ переходной семантики: ср. груз. *g-ṣqaw-s* 'орошает' при *ṣqal-i* 'вода'²⁰, *a-g-ḡwḡew-s* 'исследует' при *ḡwal-i* 'след' и т. п.). Отмечается вместе с тем, что из картвельских языков префиксальное словообразование наиболее развито в сванском (ср., например, построение здесь различных отглагольных имен, *nomina agentis*, *nomina locis* и др.). Интересно, что комбинированный префиксально-суффиксальный тип словообразования, особенно развитый в картвельских языках и достаточно представленный в абхазско-адыгских, почти совершенно неизвестен в нахско-дагестанских.

Другой важной чертой, объединяющей обе группы в области словообразования, является развитое основосложение²¹ (к тому

¹⁸ Ср.: G. Deeters. Die kaukasischen Sprachen. «Handbuch der Orientalistik», Bd VII. Leiden-Köln, 1963, стр. 71—72.

¹⁹ Ср.: А. С. Чикобава. Морфологические встречи абхазского языка с картвельскими. «Изв. ИЯИМК», т. XII. Тбилиси, 1942; см. также: Х. Бгажба. Общие корни и основы в абхазском и картвельских языках. — ИКЯ, т. II. Тбилиси, 1948, стр. 38—39, сн. 2.

²⁰ См.: G. Dumézil. Recherches comparatives sur le verbe caucasien. «Bibliothèque de l'Institut Français de Leningrad», t. XV. Paris, 1933, стр. 88; В. Т. Топурия. Из словообразования картвельских языков, II. «Изв. ИЯИМК», т. V—VI. Тбилиси, 1940, стр. 539—540 (на груз. яз.).

²¹ Ср.: Г. В. Рогова. К вопросу об общих основах словопроизводства в картвельских и абхазско-адыгско-адыгейских языках. Сообщение III. —

же с тождеством некоторых его типов), как известно, особенно характерное для абхазско-адыгских языков, где композитами часто оказываются лексемы, обозначающие самые фундаментальные понятия.

Число структурных параллелизмов между обеими группами можно было бы несомненно увеличить. Так, например, здесь не были отмечены в целом менее показательные их общности негативного порядка (ср. нехарактерные для них грамматические категории инклюзива ~ эксклюзива и класса, напротив, составляющие довольно яркую характеристику нахско-дагестанского языкового типа). Тем не менее и приведенного выше материала, по-видимому, достаточно для следующих выводов.

При общем преимущественно промежуточном месте картвельского языкового типа между абхазско-адыгским, с одной стороны, и нахско-дагестанским, с другой, более глубоки и многочисленны его точки соприкосновения с абхазско-адыгским (более эффективны, на наш взгляд, и специфические материальные встречи обеих групп²²). В историко-типологическом аспекте особенно интересен тот факт, что реконструкция общекартвельской языковой структуры в некоторых случаях приводит к картине, засвидетельствованной еще в синхронном состоянии абхазско-адыгских языков: само это обстоятельство может, очевидно, послужить известным ориентиром для ведущегося сравнительно-генетического исследования кавказских языков. Вместе с тем не исключено, что впервые высказанная Н. Я. Марром и затем развитая С. Н. Джанашиа и К. Д. Дондуа мысль о том, что из картвельских языков именно сванский в типологическом отношении стоит наиболее близко к абхазско-адыгским языкам, найдет в дальнейшем более очевидное подтверждение²³.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

МЯЯ — Материалы по яфетическому языкознанию

ИЯИМК — Институт языка, истории и материальной культуры

ИКЯ — Иберийско-кавказское языкознание

Труды ТГУ — Труды Тбилисского государственного университета

NTS — Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap

«Сообщения АН Груз. ССР», 1941, т. II, № 5; Сообщение III.— «Сообщения АН Груз. ССР», 1941, т. II, № 8.

²² Ср.: Г. А. Климов. Абхазско-адыгско-картвельские лексические параллели. «Этимология. 1967». М., 1969.

²³ См.: С. Н. Джанашиа. Указ. соч., стр. 275—278; К. Д. Дондуа. Морфологическое выражение активного (эргативного) строя в адыгейской и картвельской группах кавказских языков. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1948, вып. 3, стр. 211.

О MORFOЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ОСНОВООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ

Характеризуя основные признаки морфологических элементов, служащих соединению отдельных компонентов слова, А. А. Реформатский указывает на то, что они, способствуя оформлению лексемы, обладают лишь структурной значимостью и собственного значения не имеют¹. Отсутствие же деривационных или реляционных значений ведет нередко к причислению подобных «прокладок» к группе аффиксов, лишенных морфемного статуса², и заставляет усомниться в возможности применения к ним термина *Verbindungs-morpheme* — «морфемы связи», предложенного еще Н. С. Трубецким³. Как подчеркивает, однако, и сам А. А. Реформатский, соединительные элементы могут стать в любой момент полноправными аффиксами. Таким образом, морфологическая роль, которую может играть в системе языка один и тот же структурный элемент, по-видимому, достаточно разнообразна. Выяснению этого вопроса и посвящается настоящая заметка.

Анализ проводится на материале готского языка, который до сих пор еще не служил предметом специального синхронного исследования и который изучался преимущественно с исторической точки зрения — в компаративных или диахронических целях. Можно продемонстрировать вместе с тем, что данные синхронного и диахронического анализа расходятся и что это положение относится в полной мере и к трактовке разного рода связочных элементов. В качестве последних в готском языке выступают старые основообразующие суффиксы, включая тематические гласные (в чистом виде или осложненные сонантами). Исконно служившие средством осуществления основообразования, эти суффиксы приобретают в готском языке грамматические особенности, им прежде не свойственные. Элементы, которые с этимологической точки зрения выполняли функции классного различения и на которые ориентировалось все именное, а в значительной степени и глагольное

¹ См.: А. А. Реформатский. Агглютинация и фюзия как две тенденции грамматического строения слова. «Морфологическая типология и проблема классификации языков». М. — Л., 1965, стр. 66—67.

² См., например: «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка». М., 1966, стр. 54—55; Е. А. Земская. Интерфиксация в современном русском словообразовании. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка». М., 1964, стр. 41; «Словообразование современного русского языка». М., 1968, стр. 40 и сл.

³ См.: А. А. Реформатский. Агглютинация и фюзия..., стр. 67; Он же. Введение в языковедение. Изд. 4. М., 1967, стр. 266—267.

формообразование, перестают являться опорными показателями морфологических разрядов.

С одной стороны, это происходит потому, что в силу целого комплекса причин фonomорфологического характера старые основообразующие элементы в ряде форм вообще более не представлены. Их исчезновение ведет, однако, не только к неразличению отдельных классов в серии падежных форм (ср. им. п. ед. ч. *a*-основ м. р., *i*-основ м. и ж. р., корневых основ м. и ж. р., типа *dag-s* 'день', *balg-s* 'мех (кузнечный)', *шкура* *anst-s* 'милость', *baurg-s* 'город', *reik-s* 'властитель', или соответствующие формы вин. п. ед. ч. *a*-основ м. и ср. р., *i*-основ м. и ж. р., корневых основ ж. р.), но и к проведению нового принципа членения этих форм.

Нетрудно показать, с другой стороны, что и там, где эти суффиксы сохранились, выполнению их исконных функций препятствуют иногда причины фонологического порядка. Так, в род. п. ед. ч. у существительных стерты различия между формами *a*-основ м. и ср. р. и *i*-основ м. р.; в им. п. мн. ч. — между формами *a*-основ м. р. и *ǝ*-основ ж. р. У прилагательных в сильном склонении более не дифференцируются формы им. п. мн. ч. *ja-*, *i-* и *u*-основ м. и ср. р., а также *jǝ-*, *i-* и *u*-основ ж. р. (ср. *midjai* 'срединные' как *hraiñjai* 'чистые' и как *hardjai* 'твердые' и соответственно в женском роде — *midjǝs* как *hraiñjǝs*, *hardjǝs*).

Можно констатировать, наконец, что и в тех случаях, когда сохранившиеся старые основообразующие элементы фонологически противопоставлены и когда они способны выполнять дистинктивные классные функции, роль подобных элементов все же существенно меняется. Параллельно назначению служить приметой определенного класса (формообразовательного — у имен и словообразовательного — у слабых глаголов) развиваются вторичные функции, разные по своему характеру и степени выражения. Так, в сфере существительного часть основообразующих суффиксов начинают играть роль словообразовательного средства. Ср. группу производных *a*-основ м. р. со значением действующего лица (модели типа *asneis* 'поденщик' от *asans* 'жатва', *hairdeis* 'пастух' от *hairda* 'стадо'); группу отглагольных существительных среди *ǝ*-основ ж. р. (модели типа *giba* 'дар' от *giban* 'давать', *uswairpa* 'отбросы' от *uswairpan* 'выбрасывать'); группу мутированных существительных ж. р. со значением действующего лица и т. д. Единственным показателем производности в этих сериях слов является именно основообразующий элемент, который с синхронной точки зрения и следует расценивать с учетом этой новой дополнительной деривационной нагрузки.

Перераспределение тех же функций — формообразовательной и словообразовательной — носит принципиально иной характер в слабом глаголе. Диахронически эти элементы рассматриваются здесь как подлинные примарные словообразовательные суффиксы; указывается вместе с тем, что «вопреки этой, казалось бы,

чисто словообразовательной функции подобные суффиксальные модели в значительной степени определяли построение словоизменительных рядов»⁴. Возможна, однако, и иная, синхронная интерпретация этих элементов.

Если полагать, что словообразовательная функция заключается в создании новой лексики как единицы с новым содержанием, а формообразовательная — в предопределении структуры парадигматических рядов, нельзя не признать, что профилирующей функцией у основообразующих элементов в слабом глаголе становится функция классифицирующая. Наличие классных показателей четырех типов позволяет не только отличить слабый глагол от сильного (ср. *drigkan* 'пить' — *dragk-j-an* 'поить'; *gatairan* 'рвать, разрывать, уничтожать' — *gataur-na-n* 'рваться, исчезать, кончаться'), но, главное, предопределяет образование четырех типов разных глагольных парадигм внутри группы слабых глаголов, т. е. обуславливает формообразовательную специфику в грамматическом моделировании этих глаголов.

Словообразовательная же значимость отдельных классных показателей оказывается неодинаковой. С одной стороны, среди трех первых классов слабых глаголов представлены как производные, так и простые, неппроизводные глаголы, и уже по одной этой причине говорить о деривационной функции как о главенствующей здесь не приходится. Эта функция ярко выражена в I классе у переходных и каузативных глаголов, в III классе — у глаголов, обозначающих состояние и непреходность, в IV классе — у глаголов, означающих становление какого-либо состояния и т. п. В ряде других случаев, однако, отношения производности выражены менее определенно. Мотивирующие и мотивированные единицы редко выстраиваются в четко противопоставленные структурные ряды, словообразовательные значения нерегулярны и расплывчаты, и т. д. Ведущим деривационным значением зачастую оказывается сама глагольность, т. е. мотивированная лексема отличается от мотивирующей не столько новым оттенком значения, сколько тем, чем отличается название состояния или действия от названия предмета или признака. Сравнивая такие образования, как *gredus* 'голод' — *gredon* 'голодать', *salba* 'мазь' — *salbon* 'мазать', *paida* 'одежда' — *paidon* 'одевать' и т. д., можно отметить, что словообразовательный акт сводится скорее к транспозиции основы, чем к подлинному словопроизводству. Не случайно поэтому, что в процессе образования слабых глаголов нередко используется дополнительно к примарной суффиксации расширение суффикса, префиксация, а иногда и аблаут. Все это свидетельствует о том, что словообразовательная «сила» указанных элементов вос-

⁴ См.: М. М. Г у х м а н. Готский язык. М., 1958, стр. 151; О н а ж е. Глагол в германских языках. «Сравнительная грамматика германских языков», т. IV. М., стр. 149.

принималась как недостаточная, и для более четкого оформления отношений производности требовались иные средства. Нельзя не подчеркнуть также, что выполнению деривационных функций данными элементами мешало их отсутствие в ряде форм (ср. нечеткое проведение суфф. *-aj-* в III кл. слаб. глаг.). Естественно поэтому, что определение функциональной нагрузки у каждого классного показателя чрезвычайно индивидуально и зависит от реальной противопоставленности данной формы другим родственным формам.

Меняется функциональная значимость рассматриваемых элементов и в чисто словоизменительном плане. Если раньше они принимают в словоизменении лишь косвенное участие, то теперь, попадая в конечное положение, они берут на себя прямые словоизменительные функции, маркируя род, число, падеж и т. п. данной словоформы. Показательными являются в этой связи формы вин. п. ед. ч. существительных или формы 1 л. ед. ч. през. инд. у глаголов. Последнее наблюдение заставляет обратить внимание на то, что вообще морфологическая значимость старых основообразующих элементов оказывается тесно связанной с их позицией в слове. Представляется возможным говорить о разной морфологической роли этих элементов в четырех разных позициях: I) в конце слова, II) в положении между корнем и флексией, III) в положении между корнем и другим суффиксом, наконец, IV) в положении между двумя корнями.

В первой группе случаев для элементов указанного рода характерно сочетание словоизменительной и основообразовательной функций. Они превращаются в морфемы, маркирующие одновременно известные грамматические значения и классную принадлежность слова. Так, формы типа *har-i* 'войско', *kun-i* 'род', *gib-a* 'дар', *sun-u* 'сына', *tugg-on* 'язык' и т. п. демонстрируют, что соответствующие окончания передают значения падежа (винительного), числа (единственного) и определенного класса существительных (принадлежности классу *ja-*, *ō-*, *u-* и слабых основ). Совмещение функций словоизменения и формообразования характерно и для основообразующих суффиксов, попадающих в конечное положение в глаголе. Так, в форме 1 л. ед. ч. през. инд. здесь представлены следующие окончания: *-ō* для II кл. слаб. глаг., *-na* для IV кл. слаб. глаг., *-a* для сильных глаголов. Первые из двух этих окончаний маркируют одновременно грамматические значения лица, числа, времени и наклонения, а также принадлежность к определенной группе глаголов. Тематический показатель *-a* передает все перечисленные грамматические значения в сильном глаголе и в этом своем качестве распространяется на группу слабых глаголов III класса, а также на группу глаголов I класса, где этому окончанию предшествует классный показатель *-j-* (ср. *nas-j-a* 'я спасаю').

Во второй группе, когда основообразующий элемент оказывается представленным между корнем и флексией, он может интерпретироваться двояко⁵: его можно рассматривать либо как самостоятельную морфему, либо как часть нового форманта. Ср., например, вин. п. мн. ч. типа *dag-a-ns* (*a*-осн. м. р.), *har-ja-ns* (*ja*-осн. м. р.), *balg-i-ns* (*i*-осн. м. р.), *anst-i-ns* (*i*-осн. ж. р.), *sun-u-ns* (*u*-осн. м. р.); *gib-ō-s* (*ō*-осн. ж. р.), *band-jō-s* (*jō*-осн. ж. р.), *tugg-ōn-s* (*ōn*-осн. ж. р.), *manag-ein-s* (*ein*-осн. ж. р.) и т. п.; ср. также формы дат. п. мн. ч. *dag-a-m*, *har-ja-m*, *balg-i-m*, *anst-i-m*, *sun-u-m*, *gib-ō-m* и т. п. Из двух решений (членения по моделям, предложенным выше, или по образцу *dag-ans*, *dag-am* и т. п.) предпочтительнее первое, ибо оно отвечает членению, проведенному на более строгих формальных основаниях, и позволяет более адекватно описать правила построения парадигматических рядов в готском языке. Предложенное членение позволяет, в частности, установить некий общий принцип в образовании парадигмы существительного: гласные окончания не требуют никаких специальных промежуточных прокладок и присоединяются непосредственно к корню; согласные, напротив, требуют вклинивания структурного элемента, связочной морфемы, между корнем и окончанием. Исключением из этого правила являются отдельные формы им. п. ед. ч. и некоторые реликтовые образования.

Аналогичные тенденции наблюдаются также при построении глагольных форм. Соединительные морфемы проводятся обычно и при образовании адъективных форм. Особенно показательны они, однако, именно для форм слабого глагола, где они характерны не только для отдельных серий форм, как у имен, но для всей парадигмы (и соответственно всего класса образований) в целом. Во всех этих случаях, следовательно, выделение морфем продиктовано как структурными соображениями, так и их способностью дифференцировать разные типы основ. Можно отметить вследствие этого, что в положении между корнем и флексией основообразующие элементы становятся подлинными структурными, соединительными морфемами, и им присуща прежде всего структурная функция (цементирование отдельных частей слова воедино). Не чужда им вместе с тем и роль классного показателя, ср., например, формы 2 л. ед. ч. през. слаб. глаг. *dom-ei-s* 'ты судишь' (I кл.), *salb-ō-s* 'ты мажешь' (II кл.), *hab-ai-s* 'ты имеешь' (III кл.), *full-ni-s* 'ты наполняешь' (IV кл.).

Совмещение тех же функций прослеживается и в тех случаях, когда основообразующие элементы попадают в положение меж корнем и каким-либо грамматическим показателем, но не флексией. Так, во 2 л. ед. ч. прет. слаб. глаг. классные показатели занимают место перед дентальным суффиксом, маркирующим претерит этих глаголов; в формах 2 л. ед. ч. презенса опатива соеди-

⁵ Ср.: M. D o k u l i l. *Tvoření slov v češtině*, 1. Praha, 1962, стр. 215.

нительная морфема занимает промежуточное место между корнем и показателем сослагательного наклонения. Однако в этих случаях функции классного различения выражены менее четко и на первый план выступают функции структурные — о р г а н и з а ц и я ц е л о с т н о й п а р а д и г м ы, обеспечение ее единства и т. п.

Наконец, четвертую группу случаев образуют основообразующие элементы, занимающие место между двумя основами сложного слова. Естественно, что именно в таком положении, когда суффикс маркировал первоначально тип основы первого компонента сложения, функции формообразования и классного различения отступали на задний план, ибо они оказывались с точки зрения словообразования иррелевантными⁶. Показатель основы легко превращался в особый словообразовательный аффикс, связочную морфему, выражающую идею соединения. О процессе подобной трансформации красноречиво свидетельствуют неорганические элементы на стыке двух морфем и известная универсализация соединительного *-a-*, проникающего в положение не только после *a*-основы, ср. образования *þiuþ-i-qiss* 'благословение' от *a*-основы (ср. р. *þiuþa* 'благое'), *hradin-ja-hairts* 'чистосердечный' от *i*-основы *hraini* 'чистый', с одной стороны, и образования *broþr-a-lubo* 'братская любовь' при наличии *r*-основы в готском *broþar* 'брат', *naht-a-mahts* 'вечерняя трапеза' при наличии корневой основы *nahts* 'ночь', *airþ-a-kunds* 'земной' при наличии *ō*-основы в *airþa* 'земля', с другой.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что основообразующий элемент уже не воспринимался более как показатель типа основы первого компонента сложного слова, но осознавался скорее как соединительный гласный; иными словами, он относился уже не к оформлению первого члена сложения, а к оформлению всего сложного слова. Таким образом, и здесь, как и в перечисленных выше случаях, происходит перераспределение первичных и вторичных функций основообразующих элементов: словообразовательные и формообразовательные функции как бы меняются местами, преобразуются; появляются и совершенно новые функции — словоизменительные и, главное, структурные. Под последними мы имеем в виду не столько функции связи, которые, конечно, тоже имеют место, сколько функции организующие, отвечающие общему назначению — осуществить целостность парадигмы.

Роль опорных примет парадигматических классов начинают все чаще играть не столько сами классные показатели как таковые, сколько схема аранжировки всей парадигмы в целом и соотношение отдельных звеньев парадигмы. В соответствии с этими новы-

⁶ Отсюда возможность модели сложных слов без основообразующего элемента, ср. *wein-basi* 'виноградная лоза' и *wein-drugkja* 'пьяница', *guda-faurhts* 'богобоязненный' и *gud-hus* 'божий дом, храм'.

ми принципами построения именных и глагольных парадигм меняется и морфологическая нагрузка рассматриваемых элементов. Не может не броситься в глаза в этой связи известный синкретизм значений у новых структурных морфем. Типичной его чертой оказывается не только само совмещение принципиально разнородных значений — формообразовательных (классифицирующих), словоизменятельных и словообразовательных (деривационных), но и выдвижение на первый план в разных сериях форм и разных противопоставлениях разных значений. Эта же картина характерна, по-видимому, для структурных морфем и в других языках. Ср. преимущественно словообразовательные функции у тематического гласного в русском языке в противопоставлениях типа *завтрак — завтрак-а-ть*, видовые функции в противопоставлениях типа *реш-и-ть — реш-а-ть* и, наконец, чисто классификационные функции, функции классного различения, в случаях типа *прос-и-ть, вел-е-ть, дел-а-ть*.

Интересно вместе с тем подчеркнуть также, что отмеченные индивидуальные особенности синкретических морфем (сочетание разнородных значений, выдвижение в разном окружении одного из них на первый план и т. п.) проявляются как в сфере имени, так и в сфере глагола. Иными словами, прослеживается достаточно четкий параллелизм синкретических форм в именной и глагольной парадигматике. За исключением тех случаев, когда основообразующие элементы превращаются в особое словообразовательное средство, выражая идею соединения в сложных словах, структурные морфемы являются обычно морфемами синкретическими. Это значит, что в системе языка они обладают особыми организующими функциями, передавая значения: а) классифицирующие, служащие опознаванию частных морфологических разрядов; б) словообразовательные, маркирующие отношения производности и частные деривационные группировки; в) словоизменятельные.

Конкретное значение каждой структурной морфемы и обуславливается сочетанием указанных значений, более четко выраженных в одних позициях и, напротив, менее ощутимых в других. Определение морфологического статуса таких единиц требует поэтому тщательного и всестороннего анализа.

К ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА ОПИСАНИЯ ПРИ НЕЕДИНСТВЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Язык при всей сложности своей структуры и неоднородности составляющих его элементов всегда образует целое, подчиняющееся действию единых внутренних законов его строя.

(А. А. Р е ф о р м а т с к и й. О соотношении фонетики и грамматики).

Одна из наиболее поразительных особенностей природы — многообразие возможных схем ее истолкования.

(Р. Фейнман. Характер физических законов. М., 1968).

В своей известной статье ¹ Чжао Юань-жень убедительно показал, что фонетическая сторона языка может быть вполне адекватно представлена в разных взаимоисключающих фонологических описаниях, выбор между которыми — иногда дело вкуса, а иногда зависит от целей исследования (для преподавания удобнее одно описание, для характеристики диалектов — другое). Позже на возможность разных, но равно приемлемых синтаксических описаний одних и тех же фраз указал И. Бар-Хиллел ². И вообще нет оснований исключать такую ситуацию, когда некоторое явление в том или ином конкретном языке может быть описано по-разному, причем все описания оказываются — в рамках принятой системы понятий — одинаково адекватными и (более или менее) одинаково экономными. В такой ситуации строго доказать (в точном смысле слова) неприемлемость одной трактовки или полное превосходство другой, не меняя исходную frame of reference, абсолютно невозможно. (К сожалению, подобные попытки делались и делаются; это всегда приводит к бесплодной полемике в виде чисто словесных контроверз.)

Тем не менее на практике лингвист часто бывает вынужден выбирать между альтернативными описаниями. Сразу же возникает

¹ Y u e n - R e n C h a o. The non-uniqueness of phonemic solutions of phonetic systems. «Bulletin of the Institute of history and philology (Academia Sinica)», 1934, v. IV, p. 4, стр. 363—397 (перепечатано в кн.: «Readings in linguistics». Ed. M. Joos. N. Y., 1958, стр. 38—54). — Разные фонологические трактовки одного фонетического явления см. также: R. T. N a s r. Phonemic velarization in literary Arabic. «Proceedings of the Ninth Intern. congress of linguists». The Hague, 1964, стр. 453—455.

² Y. B a r - H i l l e l. Language and information. Reading (Mass.) etc., 1964, стр. 196—198.

вопрос: если нельзя руководствоваться строго логическим доказательством, то на чем же должен базироваться этот выбор? Стремясь дать на указанный вопрос хотя бы весьма приблизительный ответ, мы рассмотрим четыре примера, иллюстрирующих принципиальную неединственность возможных решений в сфере морфологии. В каждом примере мы будем делать определенный выбор и попытаемся обосновать его; эти попытки составят материал для искомых выводов.

Пример 1

Интенсивная форма прилагательного в тюркских языках (каз. *қап-қара* 'очень черный', *уң-улкен* 'очень большой' и т. п.) может трактоваться либо как префиксальное образование («переменный» префикс *XҮ n-*, где *X* — начальный согласный, а *Ү* — первый гласный корня), либо как особый случай редупликации. Вопрос о том, что же мы имеем здесь «на самом деле» — редупликацию или префикс — неоднократно дискутировался³; однако он не допускает окончательного решения: редупликация и «переменные» аффиксы формально полностью эквивалентны, т. е. любое явление, которое можно описать в терминах одного способа, всегда можно описать и в терминах другого. Поэтому до к а з а т ь, что один из этих способов лучше, не введя заранее строгих критериев, пригодных в общем случае, нельзя. Тем не менее, мы выбираем вторую трактовку, т. е. редупликацию, и можем объяснить свой выбор: никаких других префиксов в тюркских языках нет, а другие случаи редупликаций вполне обычны, ср., например, каз. *шай-пай* 'чай и тому подобное', *нан-пан* 'хлеб и тому подобное', *жылқы-мылқы* 'всякие лошади' ('лошадё'), *кедей-медей* 'беднота' и т. д. (где, как и в интенсиве, вводится губной согласный), удвоение существительных для выражения множественности (*ауыл-ауыл* 'одни аулы', *жайлау-жайлау* 'одни летние кочевья...'), удвоение числительных при образовании разделительных форм (*екі-екіден* 'попарно', *бес-бестен* 'по пяти') и т. п.

Рассматривая «удвоение коренных» (ташдид) в арабском языке (например, II порода: *mazaқа* 'рвать' — *mazzaқа* 'рвать в клочья', *қата* 'а 'резать' — *қатта* 'а 'резать на куски' или 'алима 'знать' — 'allama 'обучать', 'akala 'есть' — 'akkala 'кормить') и рассуждая аналогичным образом, мы приходим к обратному выводу: ташдид мы склонны трактовать как переменный инфикс -X-, полностью уподобляющийся предшествующей согласной, но не как редупликацию, поскольку инфиксы разного рода вполне обычны для арабского языка, а редупликация ему совсем чужда.

³ Ср., в частности: J. D e n y. Existe-il des préfixes en turque?—BSL, 1938, v. 39, fasc. 1, стр. 51—65.

Таким образом, выбирая способ описания сходных явлений в тюркских языках и в арабском, мы стремимся прежде всего не нарушить целостной картины этих языков, посчитаться с «единицами внутренними законами их строя».

Несколько иначе обстоит дело с такими формами множественного числа в хауса, как 1) *ido* 'глаз' — *idanduna* 'глаза', *baki* 'рот' — *bakunkuna* 'рты', *dafi* 'яд' — *dafinfuna* 'яды' или 2) *malafa* '(соломенная) шляпа' — *malafofi*, *lori* 'грузовик' (< англ. *lorry*) — *lorori*, *tsutsa* 'червь' — *tsutsotsi*, *takarda* 'бумара' — *takardodi*. Их можно описывать либо в терминах переменных суффиксов *-anXuna*, *-unXuna*, *-inXuna* и *-oXi*, где X — последний согласный корня, либо как сложный тип редупликации (со вставками определенных фонемных сегментов перед удвоенным коренным) в комбинации с суффиксами *-una* и *-i*. И суффиксация, и редупликация достаточно характерны для хауса, поэтому здесь нельзя рассуждать так же, как мы делали это применительно к тюркским или к арабскому. Однако формулировка с «переменными» суффиксами настолько проще, что, по-видимому, следует предпочесть именно ее. Заметим, что образование страдательных причастий в хауса также гораздо проще описывается с помощью переменного суффикса *-aXXe*, где X — последний согласный корня: *rufa* 'закрывать' — *rufaffe* 'закрытый', *kare* 'кончать' — *kararre* 'законченный', *kai* 'нести' — *kaɣaɣe* 'принесенный'⁴.

Пример 2

Как неоднократно отмечалось в литературе, английские формы типа *take* — *took* или *spring* — *sprang* можно трактовать либо как инфиксацию — т. е. корни *t-k* и *spr-ng* плюс инфиксы *-ei/-* и *-i/-* 'наст. вр.' или *-u/-* и *-æ/-* 'прош. вр.', либо как значащее чередование, т. е. *took* = *take* + «*/ei/* → */u/*», а *sprang* = *spring* + «*/i/* → */æ/*». Обе трактовки можно сделать формально адекватными (все факты будут описаны верно) и непротиворечивыми. Однако инфиксация и прерывистые корни типа *t-k* или *spr-ng* в общем чужды английскому языку: их нет за пределами ограниченной группы сильных глаголов и нескольких существительных (вроде *foot*—*feet*). Чередования же представлены в английском гораздо шире: ср. *wife* — *wives*, *(the) house* /*haus/* — *(to) house* /*hauz/* или *(to) present* — *(the) présent*, не говоря уже о таких соотношениях, как *expressive* /*iksprésiv/* — *expression* /*iksprésn/*, *explode* — *explosive* — *explosion* и т. п., которые исчисляются сотнями. Все это и заставляет нас принять вторую трактовку⁵.

⁴ Описание образования причастий в терминах редупликации занимает в кратком очерке языка хауса (М. А. Смирнов. Язык хауса. М., 1960, стр. 45) несколько строк — против одного переменного суффикса *-aXXe*.

⁵ Ср. сходную аргументацию: Z. Harris. Structural linguistics. Chicago, 1963, стр. 167—168 (§ 12, 33 и сноска 25).

Вполне возможно, что в данном случае можно было апеллировать к строгим соображениям большей компактности описания. Английская морфология без инфиксов /ei/, /u/ и т. п. должна записываться более экономно, чем с ними; однако, чтобы утверждать это решительно, необходимо действительно построить оба описания, а затем сравнить их. До тех пор мы принимаем решение, опираясь на интуитивное (почти очевидное) представление об общих свойствах английского языка.

Пример 3

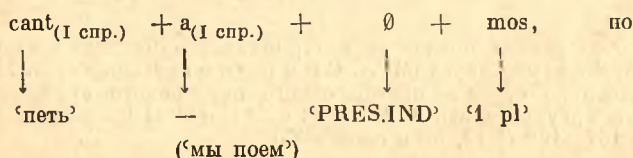
В испанском спряжении формы индикатива (IND) и конъюнктива (SUBJ) различаются в настоящем времени (PRES) следующим образом (для образца взяты формы 1 pl):

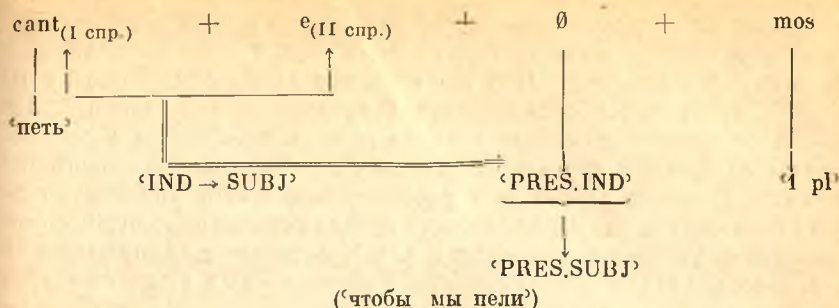
	I спряжение	II спряжение	III спряжение
	cant-ar 'петь'	com-er 'есть'	viv-ir 'жить'
PRES. IND	cant-a-mos	com-e-mos	viv-i-mos
SUBJ. IND	cant-e-mos	com-a-mos	viv-a-mos

Спрашивается, какому элементу этих форм следует приписать значения PRES. IND и PRES. SUBJ соответственно? (Распространенную точку зрения, в соответствии с которой «подобные значения присущи форме в целом — в той мере, в какой она противопоставлена другим формам», мы отвергаем, поскольку ее последовательное проведение означает необходимость хранить в памяти — целиком — регулярно образуемые формы всех глаголов.)

Можно, например, утверждать, что показателями PRES. IND vs. PRES. SUBJ являются противопоставленные (тематические) гласные *a* / *e* в I спряжении и *e/a*, *i/a* во II и III спряжениях. Ничто не мешает сделать такую трактовку полностью адекватной.

Мы, однако, предпочитаем иное описание: показателем PRES. IND считается нулевой модально-временной суффикс, следующий за темой, а показателем PRES. SUBJ — аналогичный нулевой суффикс плюс факт перехода глагола в другое, «не исконнее» спряжение, т. е. изменение сочетаемости основы. Итак:





Иначе говоря, сам факт соединения основы I спряжения с темой II спряжения (или основы II/III спряжения — с темой I спряжения) несет информацию SUBJ (точнее, указание «Заменить IND на SUBJ»), которая, воздействуя на информацию от нулевого аффикса, обеспечивает правильный результат: ‘PRES. SUBJ’.

Возможны (и предлагались в литературе) также и другие описания, которые мы здесь упоминать не будем, сосредоточившись на сопоставлении только двух данных трактовок.

Если считать что в *cantamos* ‘мы поем’ значение PRES. IND передается элементом *-a-*, а в *cantemos* ‘чтобы мы пели’ значение ‘PRES. SUBJ’ — элементом *-e-*, то приходится различать три омонимичных *-a-*: *-a-* (в *cantamos*) = ‘PRES. IND’, *-a-* (в *cantamos* ‘чтобы мы пели’) = ‘PRES. SUBJ’ и *-a-* (в *cantaba* ‘я/он пел’, *cantase* ‘чтобы я/он пел’ и т. п.) — пустая морфа. Далее, *-a-* в *cantamos* и *cantamos* оказывается функционально близким к таким модально-временным показателям, как *-ba-*, *-ra-*, *-se-*, и очень далеким от «пустого» *-a-* в *cantaba*, *cantara*, *cantase* и других аналогичных формах. При этом формы типа *cantamos/cantemos* и типа *cantaba* имеют совсем разное морфемное строение: во вторых имеется «пустая» морфема — тематический элемент, которого нет в первых.

Разумеется, подобные положения, вытекающие из принятия первой трактовки, не являются, строго говоря, доказательством ее неприемлемости — однако, если сама по себе она не вызывает явного протеста интуиции (по крайней мере у автора этих строк), то ее указанные здесь следствия представляются интуитивно неприемлемыми.

Вторая трактовка обеспечивает одинаковость морфемного строения всех простых форм глагола (кроме *Pasado Simple*, которое имеет специфические особенности при любой трактовке), а именно:

$$\{\text{основа}\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{тематический} \\ \text{элемент} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{модально-} \\ \text{временной} \\ \text{показатель} \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} \text{лично-} \\ \text{числовой} \\ \text{показатель} \end{array} \right\}$$

Все *-a-* и *-e-* (и другие элементы) рассматриваемого типа остаются во всех позициях тождественны сами себе, и здесь не появляется никакой омонимии. Что же касается выражения некоторого смысла изменением сочетаемости (значение конъюнктива передается соединением основы глагола одного спряжения с тематическим элементом другого спряжения), то признание подобного явления означает введение в рассмотрение новой лингвистической сущности: наряду с аффиксами и различными операциями (чередования, усечения, удвоения и т. п.), носителем информации — т. е. особым техническим средством естественных языков — приходится признать изменение сочетаемости.

Однако в этом, на наш взгляд, нет ничего неестественного. Не говоря уже о широкой распространенности указанного явления (т. е. конверсии в смысле А. И. Смирницкого) в английском и некоторых других языках, мы подчеркнем его особую типичность для испанского, где изменение сочетаемости (а не только парадигмы, т. е. конверсия в широком смысле термина) используется для передачи тех или иных значений в целом ряде случаев. Приведем примеры:

1. Непереходный глагол, соединяясь с прямым дополнением, получает добавочное значение каузативности. Так, *correr* 'бежать' — *correr algo/a alguien* 'двигать; гнать' (*la corría de su cuarto* 'гнал(а) ее из своей комнаты'), *dormir* 'спать' — *dormir a alguien* 'усыплять', *entrar* 'входить' — *entrar a alguien* 'вносить, вводить', *volar* 'летать' — *volar algo* 'взрывать' = 'каузировать, взлететь на воздух' и т. п.

2. Существительное женского рода, соединяясь с артиклем и прилагательными мужского рода (но не меняя собственной формы), получает, в частности, добавочное значение *poen agentis*:

la policía 'полиция' — *el policía* 'полицейский'

la defensa 'защита' — *el defensa* 'защитник' (спорт.)

la guardia 'гвардия, стража' — *el guardia* 'гвардеец; сторож'

la reserva 'резерв, запас' — *el reserva* 'запасной игрок'

la zampoña 'волынка' — *el zampoña* 'волынщик' и т. д.

Подобных случаев много; но еще больше случаев, когда то же самое формальное средство образует названия лиц путем метафорических (недостаточно регулярных) смысловых переносов:

la mosca 'муха' — *el mosca* 'шпик'

la gallina 'курица' — *el gallina* 'трус'

la cabeza 'голова' — *el cabeza* 'главарь'

и множество других аналогичных.

3. Основа существительного женского рода на *-a*, соединяясь с суффиксом мужского рода *-o* (и переходя в мужской род), полу-

чает следующие добавочные значения:

а) 'дерево, на котором растут...':

manzana 'яблоко' — manzano 'яблоня'

naranja 'апельсин' — naranjo 'апельсиновое дерево'

aceituna 'оливка' — aceituno 'олива' и т. д.;

б) 'небольшой':

banasta 'корзина' — banasto 'небольшая (круглая) корзина'

charca 'большая лужа' — charco 'лужа'

saca 'большой мешок' — saco 'мешок' и т. д.;

в) значение производного существительного связано со значением исходного одним из метафорических/метонимических переносов:

leña 'дрова' — leño 'полено'

cerca 'изгородь' — cerco 'обруч'

rueda 'колесо' — ruedo 'арена' и т. д.

4. Наконец, для испанского языка очень характерно образование глаголов от имен и имен от глаголов без специальных словообразовательных суффиксов — исключительно меной парадигмы (см. также следующий пункт).

По-видимому, можно не увеличивать число примеров. Тех, что были приведены, вполне, как нам кажется, достаточно, чтобы показать, почему именно вторая трактовка форм *cantamos/cantemos*, *cometemos/comamos* и т. п. представляется нам интуитивно более привлекательной.

Пример 4

Так называемое безаффиксное словообразование (русс. *ход, вывоз* — *рань, гниль* — *нейтрал, универсал* и т. п.; англ. *cook* 'варить' — *cook* 'повар') обычно описывается одним из двух способов⁶: либо в производных формах усматривают нулевой суффикс (*ходить* — *ход* + $\emptyset$, как *петь* — *пе* + *ние*, *ранний* — *рань* + $\emptyset$ как *поздний* — *поздн* + *ота* и т. п.), либо носителем добавочного значения в производном слове считается мена парадигмы, т. е. сам факт прибавления к глагольной или адъективной основе окончаний существительного (ср. выше, об использовании этого формального средства в испанском). Вопрос о выборе того или другого способа неоднократно обсуждался в литературе. При этом, однако, не был решительно подчеркнут следующий важный и достаточно очевидный факт: если к единице А, которая сочетает-

⁶ См.: В. В. Лопатин. Нулевая аффиксация в системе русского словообразования. — ВЯ, 1966, № 1, стр. 76—87.

ся только с единицами из набора $\{X_i\}$, присоединяется единица из набора $\{Y_j\}$, что изменяет значение единицы А на величину 'В', то это всегда можно описать с помощью (входящей в набор $\{X_i\}$) нулевой единицы $\emptyset$, которая несет значение 'В' и предполагает следование за собой некоторой единицы из $\{Y_j\}$. Иначе говоря, словообразование посредством парадигмы (конверсию А. И. Смирницкого) всегда заведомо можно представить и в терминах нулевой аффиксации. А раз обе трактовки в принципе одинаково возможны, остается сравнивать, как это мы уже делали, их следствия.

Вторая трактовка (конверсия) означает, как было только что указано, введение новой лингвистической сущности; в то же время нулевая аффиксация известна в русском языке и вне рассматриваемого круга явлений, так что ее допущение в данном случае не требует принципиального расширения запаса типовых средств языка. Более того, использование нулевого суффикса позволяет совершенно единообразно описать случаи *рань* + $\emptyset$ от *ранний* и *поздн* + *ота* от *поздний*, *cook* + $\emptyset$ 'повар' от *cook* 'варить' и *sing* + *er* 'певец' от *sing* 'петь' и т. п., что приводит, по крайней мере — локально, к более экономному описанию⁷. Однако надо еще выяснить, что представляет собой нулевой аффикс, постулируемый для аналогичных образований.

Не вдаваясь в весьма сложную теорию языкового нуля, отметим лишь, что нулевой элемент — «значимое отсутствие» — естественно вводить тогда, когда в некоторой позиции (в цепочке морф), где в соответствии с принятым описанием обязательно должно находиться что-то (из фиксированного набора), нет ничего. Так, нулевая флексия усматривается в *шнур* или *столик* потому, что после русских основ такого типа обязательно должна стоять флексия — так требует принятое описание; отсутствие физически выраженной флексии несет падежно-числовую информацию и справедливо признается нулем. Аналогично, в описании испанского глагола требуется, чтобы перед лично-числовым показателем обязательно помещался модально-временной показатель (см. выше) — *cant-a-ba-n*, *cant-a-se-n*, *cant-a-ria-n* и т. п.; поэтому мы усматриваем нулевой показатель в формах настоящего времени — типа *cant-a-n* или *cant-a-mos*.

Принимая первую трактовку безаффиксного словообразования (т. е. нулевой аффикс в производных типа *вызов* или *нейтрал*), мы оказываемся перед следующей дилеммой.

Либо мы хотим сохранить изложенное выше понимание нулевого элемента. Тогда, чтобы усматривать его в *вызов*, *ход*, *рань* и т. п., мы должны будем считать, что за основой в русском языке всегда должен следовать какой-нибудь классифицирующий сло-

⁷ См. упомянутую статью В. В. Лопатина.

вообразовательный аффикс, т. е. вводить нулевые аффиксы части речи и в такие формы, как *стул* или *красный* ⁸. (Приблизительно так и поступали многие древнеиндийские грамматисты, считая, что любое слово состоит из корня, словообразовательного аффикса, который часто бывает нулевым, и флексии.)

Либо мы не хотим считать словообразовательный аффикс, хотя бы нулевой, обязательным атрибутом любого слова. Тогда нам придется изменить представление о природе нулевого элемента и допускать его не только тогда, когда в «обязательной» позиции нет того, что должно было бы там быть, но и тогда, например, когда оказываются соединенными несоединимые единицы, т. е. использовать нуль как необходимую прокладку при нарушении законной сочетаемости. Однако при традиционном подходе нуль обнаруживается очень естественно: по пустоте обязательной позиции; а при расширительном толковании нуля он опознается только по нарушению сочетаемости. Таким образом, все равно реальным носителем информации оказывается это последнее, а нуль здесь — не более чем *Kunststück* описания.

Ни первое, ни второе решение дилеммы нас не устраивает, и мы выбираем описание безаффиксного словообразования в терминах конверсии (изменения сочетаемости) ⁹.

Приведенные примеры неединственности морфологических решений позволяют сформулировать следующие выводы (достаточно нестрогие и скорее импрессионистические по своему характеру).

Оказавшись перед возможностью альтернативного описания какого-либо морфологического явления, исследователь — прежде чем пытаться доказать неприемлемость одного и преимущество другого решения — должен выяснить, не имеет ли здесь место принципиальная неединственность трактовки, т. е. не являются ли альтернативные способы описания формально эквивалентными (в рамках принятой им системы понятий и средств) и одновременно — приблизительно одинаково простыми. При наличии подобной ситуации надо либо менять исходную систему понятий (добавлять новые критерии или требования и т. п.), либо смириться с невозможностью строго доказать необходимость какой-то одной трактовки.

⁸ Впрочем, можно считать, что классифицирующий словообразовательный аффикс обязателен не во всех основах, а только при корнях с абстрактным значением (действия, состояния, свойства и т. п.). Тогда в русском языке окажутся два совсем разных типа слов: а) конкретные (= «предметные») слова, состоящие из корня (принадлежащего к классу существительных) и флексии; б) абстрактные слова, состоящие из корня (который не имеет определенной части речи), классифицирующего суффикса и флексии.

⁹ Интересный анализ альтернативных морфологических решений (относительно морфемного строения притяжательных форм в одном из микронезийских языков) содержится в статье «Evaluation procedure in linguistic analysis». — В кн.: P. G a r v i n. On linguistic method. The Hague, 1964, стр. 36—43.

Тем не менее исследователь может и в этом последнем случае как-то обосновать свой выбор — доводами, которые, не являясь доказательствами в строгом смысле слова и, главное, не претендуя на это, могут быть достаточно убедительными. Для этого надо найти такие следствия из сравниваемых трактовок, которые связывали бы конкретное «локальное» решение с теми или иными особенностями данного языка в целом (*memento тезис Реформатского!*), и притом так, чтобы предпочитаемое описание фрагмента языка как можно лучше согласовывалось с интуитивными представлениями о самых общих свойствах этого языка, а также с принятыми представлениями общей лингвистики. (Большая простота *частичного* описания часто еще не является решающим доводом: в рамках полного описания, описания языка как целого, эта простота вполне может обернуться неоправданной сложностью.) Выбирая одно из равно возможных описаний, лингвист должен стремиться — имея в виду единую картину не только исследуемого языка, но и Языка как такового — обнажить интуитивную подоплеку своего выбора, указать в явном виде его важнейшие следствия, короче говоря, предъявить свой выбор на суд интуиции читателя в максимально удобной форме.

Т. Н. Мологина

ГЛАГОЛЫ PERFECTIVA/IMPERFECTIVA TANTUM В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ

Общеизвестно, что во всех славянских языках существует некоторое количество непарных, или дефективных, в отношении вида глаголов, т. е. глаголов, имеющих форму только одного вида. Классическими примерами из русского языка, которые приводятся во всех грамматиках и специальных исследованиях, являются perfectiva tantum: *грянуть, кануть, рухнуть, хлынуть* и пр. и imperfectiva tantum: *зиять, значить, тяготеть, чаять* и пр.¹ Если исходить из того, что глаголы совершенного вида с

¹ См.: А. А. Шахматов. Очерк современного русского языка. Изд. 4. М., 1941; В. В. Виноградов. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.—Л., 1947, стр. 538; О н ж е. Современный русский язык, вып. 2. М., 1938, стр. 423; И. А. Калинин. Категория вида в русских глаголах. «Труды Горьковского гос. пед. ин-та», 1940, вып. VIII; Ю. С. Маслов. Вид и лексическое значение глагола в русском языке. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1948, т. VII, вып. 4; М. А. Теленкова. Несоотносительные глаголы несовершенного вида в современном русском языке.

приставками и с суфф. -н-² являются не формами простых глаголов несовершенного вида, от которых они образованы, а самостоятельными словами и что видовыми грамматическими формами одного глагола являются лишь пары, состоящие из глагола совершенного вида и образованного от него с помощью суффикса имперфективации вторичного глагола несовершенного вида³, то в русском языке, как и в других славянских, окажется гораздо больше непарных глаголов, чем обычно принято считать. Так, глаголы *крикнуть*, *закричать*, *увидеть* и пр. не имеют форм несовершенного вида с тождественным лексическим значением, а глаголы *кричать*, *видеть*, *читать* и пр. не имеют форм совершенного вида (члены всех возможных видовых соотносительных пар типа *кричать* — *закричать*, *кричать* — *крикнуть*, *видеть* — *увидеть*, *читать* — *прочитать* отличаются друг от друга теми лексическими или лексико-грамматическими значениями, которые объединяются в так называемых совершаемых, или способах действия. Например, *закричать* отличается от *кричать* не только значением совершенного вида (целостность осуществления действия, достижение действием внутреннего предела), но еще и значением приступа к действию (начинательная совершаемость); *крикнуть* отличается от *кричать* не только значением совершенного вида, но и значением однократности (однократная совершаемость), а *прочитать* составляет грамматическую пару с вторичным несовершенным *прочитывать* и поэтому не является дефективным в видовом отношении.

Представляется целесообразным различать среди дефективных глаголов, как это предложил Ю. С. Маслов⁴, абсолютную и от-

ке. «Уч. зап. Московского гос. пед. ин-та», 1958, т. СХХХІІ, вып. 8; М. А. Шапи́ро. Видовые пары глаголов в русском языке. «Уч. зап. Тираспольского гос. пед. ин-та», вып. І. Кишинев, 1956.

² Обычно говорят о суффиксе -ну-; я же присоединяюсь к мнению тех, кто считает -у- показателем конъюгационного класса глагола. См.: Т. Н. Молошная. О морфологических средствах глагольной имперфективации в русском языке в сопоставлении с болгарским. «Структурная типология языков». М., 1965.

³ См.: S. Karcevski. Système du verbe russe. Prague, 1927; Ю. С. Маслов. Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке. М.—Л., 1963; Он же. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке. «Вопросы грамматики болгарского литературного языка». М., 1959; Он же. Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. «Исследования по славянскому языкознанию». М., 1961; Он же. Значение данных болгарского языка для общей теории славянского глагольного вида. «Славянское языкознание. Доклады сов. делегации. V Международный съезд славистов (София, 1963)». М., 1963.

⁴ Ю. С. Маслов. Заметки о видовой дефективности. «Славянская филология». Изд-во ЛГУ, 1964.

носительную дефективность. Глаголы, не имеющие форм противоположного вида и не входящие в состав неграмматических видовых пар, названы им **а б с о л ю т н ы м и perfectiva и imperfectiva tantum**. Примеры абсолютных perfectiva и imperfectiva tantum, кроме приведенных в начале статьи: 1) *запоминать, обезлюдет, отпрянуть, очнуться, присмиреть, сгнуться* и 2) *бездействовать, виднеться, долженствовать, зависеть, истязать, обладать, отрицать, полагать, предвидеть, пустовать, содержать, угрожать* и мн. др. К абсолютным imperfectiva tantum можно также прибавить сравнительно небольшое количество глаголов несовершенного вида с итеративными суффиксами, омонимичными суффиксам имперфективации, например: *вытворють* (нет **вытворить*), *наяривать* (нет **наярить*), *попахивать* (нет **попахнуть*), *пригарчивать* (нет **пригорчить*), *приплясывать* (нет **приплясать*), *присюсюкивать* (нет **присюсюкать*), *перешептываться* (нет **перешепнуться*). Глаголы, которые не имеют форм противоположного вида, но образуют коррелятивные неграмматические пары, названы Ю. С. Масловым **о т н о с и т е л ь н ы м и perfectiva и imperfectiva tantum**. К относительным perfectiva tantum принадлежат многочисленные бесприставочные глаголы с суфф. -н-, например *блеснуть, крикнуть, толкнуть, трахнуть*, и пр., и еще более многочисленные приставочные глаголы, например: *вмонтировать, вспылать, выстрадать, домчаться, закричать, измять, наврасть, осрамить, перепробовать, побезжать, проскучать, приютить, разжиреть, слечь, увидеть* и др. К относительным imperfectiva tantum принадлежит большое количество бесприставочных глаголов, например: *бежать, видеть, верить, гореть, гулять, жить, играть, кричать, лежать, молчать, пахнуть, писать, плакать, работать, спать, стоять, цвести, читать* и мн. др. В эту группу входят также отдельные приставочные глаголы с итеративными суффиксами, например: *напевать, переругиваться, перестукиваться, побаиваться, повиливать, покашливать, подгуливать, поддакивать* и др. Эти глаголы имеют нормальные морфологические соответствия совершенного вида (*напевать* — *напеть*, *покашливать* — *покашлять*, *переругиваться* — *переругаться*). Однако это не формы одного слова, образующие грамматические видовые пары, а разные слова, принадлежащие к разным совершаемостям. В этом смысле отношение между *покашливать* и *покашлять* подобно отношению между *читать* и *прочитать*, а не *прочитать* и *прочитывать*. Так, *покашлять* выражает ограничительную совершаемость (имеет значение ограничения действия на определенном отрезке — *покашлять* значит провести некоторое время кашляя), а *покашливать* — прерывисто-длительную совершаемость (обозначает действие длительное, прерывистое и нерегулярно расчлененное, не совершающееся с полной интенсивностью; в толковых словарях это значение обычно поясняется словами «делать что-либо время от времени», «делать что-

либо непостоянно или неоднократно», «делать что-либо не торопясь и не сильно»); *прочитать* и *прочитывать* оба выражают результативную совершаемость (обозначают законченность действия с достигнутым результатом⁵).

В неграмматические видовые пары могут объединяться как два относительно дефективных глагола (*кричать* — *закричать*, *толкать* — *толкнуть*), так и относительно дефективный глагол с глаголом, обладающим полной видовой парадигмой: *читать* (относительный imperfectivum tantum) — *прочитать/прочитывать*, *качать* (относительный imperfectivum tantum) — *выкачать/выкачивать* и пр.

Сказанное о различных случаях видовой соотносительности, в частности видовой дефективности, можно изобразить с помощью таблицы (см. стр. 224).

В графах, разделенных одной чертой, стоят глаголы, объединяющиеся в грамматические видовые пары, например *дать* — *давать*, *прочитать* — *прочитывать*; в графах, разделенных двумя чертами, — глаголы, объединяющиеся в неграмматические пары, например *видеть* — *увидеть*. Случаи I, II, III, IV иллюстрируют абсолютную видовую дефективность; случаи V и VI — относительную видовую дефективность; случаи VII и VIII — нормальную грамматическую видовую соотносительность. Как указывалось выше, в случае VI глаголы *кашлять* — *покашлять* и *покашлять* — *покашливать* составляют неграмматические пары, так как они принадлежат к разным совершаемостям, в отличие от *прочитать* — *прочитывать* (случай VII), принадлежащих к одной и той же совершаемости.

Причины видовой дефективности бывают семантические и формальные, или технические. Техническая причина — это невозможность присоединения к данной основе нужной морфемы. Семантическая причина состоит в том, что грамматическое значение каждого из видов может сочетаться не со всеми совершаемостями. Например, значение несовершенного вида не сочетается со значением приступа к действию (начинательная совершаемость), поэтому от *заплакать* нет **заплакивать*; значение совершенного вида несовместимо со значением длительности, прерывистости и нерегулярной расчлененности действия (прерывисто-длительная совершаемость), поэтому при *попазывать* нет **попазнуть*.

Существование абсолютных и относительных imperfectiva tantum обусловлено этими семантическими причинами. В этой

⁵ Подробно о приставочных perfectiva и imperfectiva tantum см.: Е. А. Земская. Типы одновидовых приставочных глаголов в современном русском языке. «Исследования по грамматике русского литературного языка». М., 1955; Л. А. Быкова. Несотносительные глаголы несовершенного вида в современном русском литературном языке. «Труды філологічного фак-ту Харківського держ. ун-ту», 1958, т. 6.

	Первичный беспри- ставочный глагол несовершенного вида	Глагол совершенного вида	Вторичный глагол несовершенного вида с имперфек- тивным или итера- тивным суффиксом
I	<i>значить</i>	—	—
II	—	<i>рухнуть</i>	—
III	—	—	<i>наяривать</i>
IV	<i>плясать</i>	—	<i>приплясывать</i>
V	<i>видеть</i>	<i>увидеть</i>	—
VI	<i>кашлять</i>	<i>покашлять</i>	<i>покашливать</i>
VII	<i>читать</i>	<i>прочитать</i>	<i>прочитывать</i>
VIII	—	<i>дать</i>	<i>давать</i>

области положение в русском, болгарском и других славянских языках почти полностью одинаковое.

В области же *perfectiva tantum* между отдельными славянскими языками имеются большие расхождения. Здесь действуют не только семантические, но и технические причины видовой дефективности. Распределение этих причин в разных языках, например в русском и болгарском, разное. В русском языке преобладают семантически обусловленные *perfectiva tantum*. Однако в отдельных случаях наблюдается и формально обусловленная дефективность. Так, глаголы со словообразовательным суфф. *-у/-ов-* образуют вторичные имперфективные формы, если ударение падает на последний гласный перед окончанием инфинитива, например: *разрисовѣть* — *разрисовывать*, *обворовѣть* — *обворовывать*. Если же ударение падает не на последний гласный перед окончанием инфинитива, то от глаголов с этим суффиксом невозможно образовать такие формы, например; *увѣровѣть*, *израсхобовѣть*. (От *использовать* в просторечье образуется *использовывать*, однако литературная норма не допускает такую форму, следовательно, это случай стилистически обусловленной дефективности⁶). Но известны также глаголы с ударением на последнем гласном перед окончанием инфинитива, тем не менее не имеющие вторичных форм несовершенного вида, например: *забастовѣть*, *взбороновѣть*.

Иную картину представляют болгарские *perfectiva tantum*. Там, где в русском языке вступают в силу семантические причины видовой дефективности, в болгарском языке свободно образуются имперфективные формы. Например, следующим русским *perfectiva tantum* соответствуют болгарские глаголы с полной ви-

⁶ См.: С. П. Обно р с к и й. Глагол *использовать* — *использовывать* в современном русском языке. «Язык и мышление», т. III—IV. М., 1935.

довой парадигмой:

Русские	Болгарские
<i>закричать</i> } (начинательная	<i>завикам-завиквам</i>
<i>побежать</i> } совершаемость)	<i>побягна — побегвам</i>
<i>постоять</i> } (ограничительная	<i>постоя — постоявам</i>
<i>посидеть</i> } совершаемость)	<i>поседа — посеждавам</i>
<i>написать</i> } (результативная	<i>напиша — написвам</i>
<i>отшуметь</i> } совершаемость)	<i>отшумя — отшумявам</i>
<i>мигнуть</i> (однократная	<i>мигна — мигвам</i>
совершаемость) и т. д.	

Образование вторичных имперфективных форм в болгарском языке возможно почти от всех глаголов без ограничения, кроме нескольких единичных случаев, принадлежащих к эмоционально-экспрессивной лексике, например: *помина*, *почина се* (арх.). В результате количество непарных глаголов совершенного вида очень невелико. Редкие случаи, когда формы несовершенного вида не образуются, вызваны фономорфологическими причинами — образование такой формы оказывается фономорфологически неудобным или невозможным. Это бывает тогда, когда исходная форма совершенного вида уже содержит суффикс, имеющий в своем составе фонему [в]. Например, от *помишвам*, *потрябвам*, *посъветвам*, *нарисувам*, *завълнувам се* и пр. не образуются вторичные формы несовершенного вида, так как в них содержатся суффиксы *-ва-*, *-ува-*. Ю. С. Маслов считает, что дефективность в подобных случаях систематически преодолевается в болгарском языке развитием в соответствующих формах видовой двойственности. Например, совершенные *нарисувам*, *съгласувам*, *запрелистивам*, *възтържествувам*, *заинтересувам*, *обследвам*, *откозирувам*, *разшифрувам* и пр., от которых нельзя образовать вторичные имперфективные формы из-за суффиксов *-ува-*, *-ва-*, сами начинают функционировать и в несовершенном виде⁷. Вследствие этой особенности в болгарском языке система видовых пар является наиболее регулярной в сравнении с системами видовых пар в других славянских языках⁸.

⁷ Ю. С. Маслов. Морфология глагольного вида..., стр. 124—127.

⁸ См.: Ю. С. Маслов. О своеобразии морфологической системы глагольного вида в современном болгарском языке. — КСИС, т. 15. М., 1955; Он же. По въпроса за видовата дефективност (несъотносителност на глаголите от свършен и несвършен вид) в българския и руския език. «Български език», 1958, год VIII, кн. 6; Он же. Значение данных болгарского языка...; Л. Андрейчин. Към морфологичната характеристика на видовата система в съвременния български език. «Славистичен сборник по случай IV Международен конгрес на славистите в Москва», т. I. София, 1958; Петър Пашов. Българският глагол, I. София, 1966.

О СЛОВОВОЙ СТРУКТУРЕ МОРФЕМ РАЗЛИЧНОГО ТИПА В ЯЗЫКЕ СУАХИЛИ

В языке суахили, как представляется, можно определить тип и функцию морфемы по ее слоговой структуре, поскольку разные типы морфем стремятся к определенной модели слога.

Прежде чем выделить слоговые модели различного типа морфем, следует сказать вообще о структуре слога в данном языке. Как уже неоднократно отмечали многие исследователи, наиболее характерной особенностью слога в суахили, как и в большинстве языков банту, является его открытость, т. е. гласный исход слога¹. Лишь в неассимилированных заимствованиях возможно зафиксировать существование закрытого слога, например: *sultani* [ap.] 'султан' > *sul-ta-ni* CVC-CV-CV; *labda* [ap.] 'но, однако' > *lab-da* CVC-CV и др. Однако большинство слов такого слогового строения очень быстро ассимилируется языком и реализуется в речи с огласовкой. Ср., например: *ghafla* [ap.] 'внезапность, неожиданность' > *ghaf-la* CVC-CV и *ghafala* > *gha-fa-la* CV-CV-CV, *ghafula* > *gha-fu-la* CV-CV-CV; *daktari* /англ./ 'врач, доктор' > *dak-ta-ri* CVC-CV-CV и *dakitari* > *da-ki-ta-ri* (CV-CV-CV) и др.²

Второй характерной чертой слогообразования в языке суахили является то, что носовые согласные /m/ и /n/ могут образовывать слог, например: *mtu* 'человек' > *m-tu* C-CV; *wanne* 'четыре (человека)' > *wa-n-ne* CV-C-CV.

Вопрос о слогообразующем характере носовых согласных неоднократно ставился в работах по языкам банту и, в частности, по языку суахили. Однако разные исследователи решали его по-разному. Так, К. М. Док считает, что не только назальные, но и латеральные согласные в банту, а именно /m/, /n/, /ɲ/ /ɳ/, /l/, /r/ могут быть слогообразующими³.

По мнению других исследователей, слоговой характер носовых согласных зависит от их дистрибуции в слове или от того, составляют ли они самостоятельную морфему⁴.

¹ См.: С. М. Д о к е. *Bantu linguistic terminology*. London, 1935, стр. 207; Е. О. А ш т о н. *Swahili grammar*. London, 1959, стр. 5; А. Л о о г м а н. *Swahili grammar and syntax*. Louvain, 1965, стр. 7; И. Н. Т о п о р о в а. Типология фонологических систем языков банту. М., 1968, стр. 29, и мн. др.

² См. об этом: А. Н. Т у к к е р, Е. О. А ш т о н. *Swahili phonetics*. «African Studies», 1942, v. 1, № 23; Е. С. П а л о м ё. *Swahili language handbook*. Washington, 1967. стр. 50; Е. Н. М я ч и н а. Язык суахили. М., 1960, стр. 16, и др.

³ С. М. Д о к е. Указ. соч., стр. 207.

⁴ А. Н. Т у к к е р, Е. О. А ш т о н. Указ. соч., стр. 84; Е. В. С т о в и ц, J. G. M l e l a, F. N. N j e n g a. *Swahili basic course*. Washington, 1963;

Экспериментальные исследования обнаруживают, что в современном языке суахили носовые сонанты могут составлять самостоятельные слоги, если они образуют самостоятельную морфему, независимо от грамматической семантики этой морфемы и независимо от того, в какой позиции в слове они выступают. Но носовые сонанты не могут образовывать самостоятельного слога, если они входят в состав какой-либо морфемы или если за ними следует гласный и полугласные /w/ и /y/⁵.

Структура слога современного языка суахили может быть представлена следующими моделями: 1) $C_{n/m}$; 2) V; 3) CV; 4) CCV/ $C_{m/n}$ CV; $CC_{u/w}$ V; 5) CCCV/ $C_{m/n}$ $CC_{u/w}$ V; $C_{m/n}$ $C_{u/w}$ $C_{u/w}$ V⁶.

Из всех моделей слога, характерных для языков банту, в современном языке суахили не отмечается лишь модель CVC_{m/n}⁷.

1. Слог типа $C_{m/n}$ может совпадать или не совпадать с морфемным членением, например: mtoto 'ребенок' > m-to-to (C_m)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3}, где m C_m совпадает с морфемой m, показателем 1-го согласовательного класса; или: wanne 'четыре (человека)' > wa-n-ne (CV)_{m1}-(C_n)_{m2}-(CV)_{m3}, где слог n C_n входит в состав корневой морфемы m₂.

То, что в последнем случае /n/ является слогообразующим, подтверждается ударением, которое падает на данный слог: wa-n-ne. Однако наиболее частыми являются случаи, когда /m/ или /n/, входящие в состав какой-либо морфемы, не являются слогообразующими, но входят в состав слога типа CV, CCV, CCCV, например: nilifika 'я-прибыл' > ni-li-fi-ka (C_n V)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV-CV)_{m3}, где n входит в состав морфемы (m₁) приглагольного субъективного согласователя 1 л. ед. ч.; angesoma 'я-бы-прочитал' > a-nge-so-ma (V)_{m1}-(C_n CV)_{m2}(CV)_{m3}-(CV)_{m4}, где n входит в состав морфемы (m₂), имеющей слоговую модель C_n CV, показателя условного наклонения; mtumbwi 'каное' > m-tu-mbwi (C_m)_{m1}(CV)_{m2}(C_m CC_wV)_{m3}, где слог mbwi C_m CC_wV входит в состав корневой морфемы (m₃), и т. п.

Следует отметить, что слоговое и морфемное строение слова не всегда совпадают. Возможны случаи полного несовпадения слога и морфемы. Так, например, граница слога может проходить после границы морфемы или рассекать морфему, например: mwana 'сын' > mwa-na (CC)_{m1}(V-CV)_{m2}; alitumia 'он-использовал' > a-litu-mi-a (V)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3}-(CV)_{m4}-(V)_{m5}.

G. O. Milan de Lany. A phonological contrastive analysis north-american English — standard swahili. «Swahili», 1967, № 37/1, стр. 27—46.

⁵ Н. Г. Федорова. Морфемная структура имени в языке суахили. М., 1967, стр. 16—17.

⁶ В данном перечне не учитываются модели слога типа (CVC), характерные лишь для неассимилированных заимствований.

⁷ Ср.: И. Н. Топорова. Указ. соч., стр. 29.

2. Слог типа (V) может начинать слово, встречаться в средней позиции, а также завершать слово, например: *atariga* 'он-побьет' > *a-ta-pi-ga* V-CV-CV-CV; *maingiano* 'общество' > > *ma-i-ngi-a-no* CV-V-CCV-V-CV; *nyalio* 'верша' > *nya-li-o* CCV-CV-V и т. п.

Контактирование слогов типа V и V, или CV и V и т. п. в современном языке вполне допустимо, что является результатом морфологизации многих морфонологических изменений, характерных для языков банту в целом, в данном случае закона элизии и слияния гласных. Контактирование слогов, имеющих такие модели, допустимо и внутри морфемы и на границе морфем. Например: *nilizea* 'я-привыкал' > *ni-li-zo-e-a* (CV)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV-V-V)_{m3}; *aliiaua* 'он-ее (страну)-обозревал' > *a-li-i-a-u-a* (V)_{m1}-(CV)_{m2}-(V)_{m3}-(V-V-V)₄ и т. п.

Однако даже в современном языке фиксируются случаи слияния и консонантизации гласных на стыке морфем, в результате чего происходит переразложение слоговой структуры слова, например: *wasoma* 'ты-читаешь' > *wa-so-ma* (C)_{m1}(V)_{m2}-(CV-CV)_{m3}, где первый слог *wa* (C)_{m1}(V)_{m2} включает в себя две морфемы (m₁ и m₂), слоговая модель которых представляет собою V и V (*u* и *-a*), первая из которых при стыке консонантизовалась (*u* > *w*), образовав с последующей морфемой *-a* единый слог *wa* - CV; *mengi* 'много' > *me-ngi* (C)_{m1}(V-CCV)_{m2}, где первый слог *me* CV образовался в результате слияния гласного префиксной морфемы (m₁) *ma-* и первого гласного корневой морфемы (m₂) *-ingi* V-CCV: *ma + ingi* > *mengi*.

3. Наиболее продуктивным является слог типа CV. При этом согласным данного слога может выступать любой согласный или полугласный. Следует отметить возможности разночтения слогов данного типа в зависимости от понимания фонемного состава языка. Так, возможна трактовка фонем /*ry*/, /*fy*/, /*vy*/, /*ny*/ как палатализованных согласных, составляющих одну фонему и как сочетание двух самостоятельных фонем. В соответствии с этим слог, включающий данные фонемы, может определяться или как CV, или как CCV, например: *kirua* 'новая (вещь)' > *ki-rua* CV-CV или CV-CCV; *alifyeruka* 'он-злился' > *a-li-fye-ru-ka* V-CV-CV-CV-CV или V-CV-CCV-CV-CV; *nyu-mba* 'дом' > *nyu-mba* CV-CCV или CCV-CCV и т. п.

В данной работе принимается понимание указанных звуков как сочетаний соответствующих согласных и следующих за ними полугласных. Такое прочтение представляется более адекватным в отношении фонемной системы языка суахили, а также соответствует традиционному описанию набора фонем этого языка. Таким образом, слоги типа /*rya*/, /*fya*/, /*nya*/, /*vyu*/ и т. п. интерпретируются как имеющие модель CCV.

Так же в данной работе интерпретируются и сочетания носовых с разного характера согласными. А именно, не как назализованные согласные, составляющие одну фонему, но как сочетание назальных согласных с последующими согласными, например: *mzungu* 'европеец' > m-zu-ngu C_m -CV-CCV; *kumbwaya* 'барабан' > ku-mbwa-ya CV-CCCV-CV, и т. п.

Исключение составляет в этом случае /ng'/ [ŋ], являющийся самостоятельной фонемой, и, следовательно, обозначающийся в слоге знаком одного согласного (C), например: *ng'ombe* 'скот' > >ngo-mbe CV-CCV.

Следует отметить, однако, что возможны случаи и сочетания носового сонанта /n/ с согласным /g/, когда оба согласных функционируют как самостоятельные фонемы, и следовательно, модель слога, в который они будут входить, фиксирует два согласных, например: *nyonga* 'бедро' > nyo-nga CCV-CCV и т. п.

4. Слог типа CCV менее продуктивен в языке, чем вышеотмеченные модели. Однако подобная модель слога не составляет исключения.

При сочетании двух согласных в слог типа CCV наиболее продуктивным можно считать сочетания назальных с последующими согласными, чаще губными или полугласными, например: /mb/, /mp/, /mv/, /mw/, /ny/, /nw/. Возможны также комбинации следующих друг за другом согласных в слог: /nd/, /ng/, /mt/ и т. д. Достаточно продуктивны и сочетания согласных с последующими полугласными, например: /dw/, /kw/, /gw/, /tw/, /pw/, /py/, /fy/, /vy/ и т. п. Именно поэтому при описании данной модели слога следует отметить как наиболее типичные следующие структуры слога: $C_{m/n}$ CV и $CC_{w/y}$ V.

Вполне допустимы, однако, сочетания и других согласных в слог типа CCV, например: /ks/, /sht/, /sk/, /sp/, /st/ и т. п. Такие сочетания согласных более характерны для заимствованных слов, чем для собственно бантуских, например: *askari* [ap.] 'солдат' > a-ska-ri V-CCV-CV; *hospitali* [англ.] 'больница' > ho-spi-ta-li CV-CCV-CV-CV; *bastola* [порт.] 'револьвер' > ba-sto-la CV-CCV-CV и т. п.

5. Тип слога CCCV мало продуктивен в языке суахили. Такой конструкции слоги, как правило, встречаются в заимствованных словах, например: *sabalkheri* [ap.] 'доброе утро' > sa-ba-lkhe-ri CV-CV-CCCV-CV и т. п.

Для слов бантуского происхождения допустимы сочетания в слог трех согласных лишь при определенных ограничениях, когда первым согласным является назальный /m/ или /n/, а последним полугласный /y/ или /w/ или когда за первым, назальным, следует два полугласных, например: *mtumbwi* 'каное' > m-tu-mbwi C_m -CV- C_m CC_wV; *jangwa* 'пустыня' > ja-ngwa CV- C_n CC_wV; *nywele* 'волосы' > nywe-le C_n C_yC_wV-CV и т. п.

Анализ слоговой структуры морфем в современном языке суахили обнаруживает стремление языка к более или менее строгой слоговой маркированности морфем различного типа. Предварительно можно выделить следующие слоговые структуры морфем:

1. К первому виду можно отнести почти все служебные морфемы, как синтаксические, так и несинтаксические, любого позиционного класса. Слоговая структура этих морфем будет следующая: $V, C_{m/n}, CV, CCV$.

Морфемы префиксного позиционного типа могут иметь слоговую модель $V, C_{m/n}, CV$, например: *a-*, приглагольный согласователь 3 л. ед. ч. *alipiga* 'он-бил' $\rightarrow a-li-pi-ga (V)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV-CV)_{m3}$; *m-*, префикс 1-го согласовательного класса: *mtoto* 'ребенок' $\rightarrow m-to-to (C_m)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3}$; *ha-*, префикс отрицательной формы глагола: *hatusomi* 'мы-не-читаем' $\rightarrow ha-tu-so-mi (CV)_{m1}-(CV)_{m2}-CV-C (C)_{m3} (V)_{m4}$.

Следует оговорить, однако, что префиксы согласовательных классов 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15 могут преобразовываться в зависимости от фонетической структуры морфем, следующих за ними. То же нужно сказать и о префиксах-согласователях при прилагательных и о некоторых субъектных согласователях при глаголе. В этих случаях фиксируется слоговое переразложение морфемы, если следующая за ней морфема имеет гласный звук. Переразложение слоговой структуры данных морфем происходит за счет увеличения консонантных элементов слога и введения в состав данного слога гласного звука последующей морфемы. Следовательно, в подобных случаях происходит переразложение слоговой структуры всего слова и нарушение соответствия границ слогов и морфем⁸.

В этих случаях модель слога имеет вид $(CC)_{m1}(V)_{m2}$, при том, что гласный переходит в данный слог из последующей морфемы, например: *mwana* 'сын' $\rightarrow mwa-na (CC)_{m1}(V-CV)_{m2}$; *(jina) jema* 'хорошее (имя)' $\rightarrow je-ma (C)_{m1}(V-CV)_{m2}$; *twasoma* 'мы читаем' $\rightarrow twa-so-ma (CC)_{m1}(V)_{m2}-(CV-CV)_{m3}$ и т. п.

Отмеченное переразложение слоговой структуры префиксных морфем, однако, не изменяет модели слога, оставляя их в пределах однослоговости.

⁸ Анализ морфологических процессов в современном языке суахили показывает, что консонантизация гласных префикса перед гласным последующих морфем не является живым процессом, а носит рудиментарный характер, переходя в класс морфологических чередований. Об этом подробно см.: N. V. O k h o t i n a. Zur Frage der Distribution der präradikalen Nominalaffixe im Swahili. «Kalima na Dini (Festschrift für E. Dammann)». Stuttgart, 1969, стр. 28—33.

Слоговые модели морфем инфиксного позиционного класса также в подавляющем большинстве являются однослоговыми. Наиболее продуктивным типом слога данных морфем является структура CV, что объясняется прежде всего внутрислоговой позицией этих морфем и существующим в языках банту законам слияния, элизии или консонантизации гласных на стыке морфем. Однако в связи с тем, что в языке суахили данный закон не является живым, здесь возможны слоговые модели инфикса V, например: *aliiazima* 'он-его-одолжил' *a-li-i-a-zi-ma* (V)_{m1}-(CV)_{m2}-(V)_{m3}-(V-CV-CV)_{m4} и т. п.

Интересно отметить, что в других языках банту, где данные закономерности действуют, например в зулу, соответствующие морфемы имеют слоговую структуру C_{w/y}V: *siwuthanda* 'мы-его-любим' > *si-wu-tha-nda* (CV)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV-CCV)_{m3} и т. п.

Переразложение слога инфиксных морфем в современном языке — явление редко встречающееся. Можно лишь указать случай переразложения слоговой структуры объектных согласователей при глаголе 3 л. ед. числа и 2 л. мн. ч.: *niliwona* 'я-его-видел' > *ni-li-mwo-na* (CV)_{m1}-(CV)_{m2}-(CC)_{m3}-(V-CV)_{m4} и т. п.

Модель CCV для инфиксов представлена двумя несинтаксическими служебными морфемами: *-nge-* C_nCV, морфемой условно-сослагательного наклонения, и *-nga-* C_nCV⁹, рудиментной морфемой, встречающейся только в служебных словах, например: *ingawa* 'хотя, хотя бы, даже если' > *i-nga-wa* (V)_{m1}-(CCV)_{m2}-(CV)_{m3}, а также синтаксической служебной морфемой *-vuo-* CC_yV, релятивным объектным согласователем при глаголе, например: *vituvuvunjika* 'вещи, которые он сломал'.

Данную морфему, однако, можно трактовать как состоящую из двух морфем *vi-* + *o*, где *vi-* — показатель 8-го согласовательного класса, а *-o* — релятивный показатель. И, следовательно, данная форма может быть понятна как включающая в себя явление переразложения слога в результате консонантизации /i/ перед морфемой, состоящей из гласного /o/.

Особо следует рассмотреть инфиксные морфемы, имеющие якобы двуслоговую структуру, а именно *-паро-* (морфема наст. вр. условного наклонения), *-лиро-* (прош. вр. условного наклонения), *-жаро-* (морфема сослагательного наклонения), *-сиро-* (морфема отрицательной формы вышеуказанных показателей). Прежде всего обращает на себя внимание то, что второй слог этих морфем является повторяющимся элементом во всех четырех показателях, что является само по себе симптоматичным. Анализ грамматической семантики данных морфем обнаруживает их аналитический характер. Следует учесть, что морфемы *-на-*, *-ли-* являются показа-

⁹ Эштон отмечает данную морфему как грамматически функционирующую, см.: О. Е. А ш т о н. Указ. соч., стр. 186.

телями времени, которые могут функционировать в грамматической системе самостоятельно, например: *pinašoma* 'я-читаю'; *nilišoma* 'я-читал' и т. п. То же можно сказать и о морфеме *-si-*, грамматическая семантика которой четко маркирована — это показатель отрицательной формы некоторых наклонений (кроме указанных), например желательно-побудительного: *asišome* 'чтобы-он-не-читал' и т. д.

Что же касается морфемы *-ro-*, то следует иметь в виду прежде всего, что данная морфема может также функционировать самостоятельно и являться синтаксической служебной морфемой, например: *pahali niliřoona* 'место, которое-я-видел'; *nchini nikaaro* 'в-стране, где-я-живу'.

В этих контекстах морфема *-ro-* выступает как объектный релятивный согласователь по 17-му локативному классу, аналогичный релятивным объектным показателям других согласовательных классов, ср., например: *kitabu alichosoma* 'книга, которую-он-читал' и т. п.

В некоторых грамматических контекстах морфема *-ro-* меняет наклонение глагола, переводя его из изъявительного во временное или условное. Этим и объясняется то, что именно данная составная часть элементов *-naro-*, *-liřo-*, *-siřo-* выступает как постоянная величина.

Заменимость первой части данных элементов с одновременным изменением грамматической семантики, возможность функционирования частей этих элементов как самостоятельных морфем дает основания считать элементы *-naro-*, *-liřo-*, *-siřo-* — не одной двуслоговой морфемой, но двумя морфемами различной грамматической семантики, имеющими однослововую структуру. Таким образом, модель слога и морфемную структуру слов, включающих указанные элементы, целесообразно представлять следующим образом: *aliroona* 'когда/если-он-увидел' $>$ *a-li-ro-o-na* $(V)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3}(V-CV)_{m4}$; *anaposema* 'когда/если-он-говорит' $>$ $>$ *a-na-ro-se-ma* $(V)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3}-(CV-CV)_{m4}$; *asiřosoma* 'если/бы когда-он-не-прочел' $>$ *a-si-ro-so-ma* $(V)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3}-(CV-CV)_{m4}$.

Легко разложимым на морфемном уровне, несмотря на неразложимость в плане содержания в современном языке, является и инфикс *-jaro-*, показатель условно-уступительного наклонения. Как отмечают многие исследователи языка суахили, данный инфикс представляет собой составной элемент, включающий в себя элемент *-ja-* (от глагола *ja* 'идти') и релятивный показатель *-ro-*¹⁰. Таким образом, слоговая структура данного инфикса не нарушает общую для служебных морфем модель однослововости, поскольку в данном случае имеет место функционирование двух однослововых морфем *CV-CV*, например: *nijaromkataza* 'хотя-я-ему запретил' *ni-ja-ro-m-ka-ta-za* $(CV)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3}-(C)_{m4}-(CV-CV-CV)_{m5}$ и т. п.

¹⁰ См., например: О. Е. Аштон. Указ. соч., стр. 186.

Неразложимый в плане содержания, во всяком случае для современного языка, но с менее очевидной морфемной этимологией является элемент *-ngali* — показатель условно-сослагательного наклонения. Предположительно можно считать, что данная инфиксная морфема происходит от сочетания морфемы *-nga-* и связочного глагола *-li-* 'быть', подтверждением тому может служить, с одной стороны, относительная близость грамматической семантики показателей *-nga-* и *-ngali-*, ср. например: *Angaenda juu kipungu, hafikilii mbinguni* 'Даже-если-поднимется высоко, орел не достигнет неба'; *Mti huu ungalianguka ungaliniua* «Если-упадет это дерево, оно-меня-убьет» и т. п. С другой стороны, возможность употребления как самостоятельных морфем обеих частей данного элемента, например: *Kipua ki nyema kingawa kidonda* 'Новое — хорошо, даже-если-это-есть язва'; *Aliye mpishi* 'Он-который-есть повар' и т. п.

Однако для современного языка более корректно считать *-ngali*-неразложимым элементом, тем более что употребление морфемы *-nga-* как самостоятельного грамматически значимого показателя весьма ограничено и носит рудиментарный характер, в то время как показатель *-ngali-* достаточно продуктивен. Таким образом, данная морфема с точки зрения слоговой структуры представляет собой исключение, поскольку она является двуслоговой CCV-CV.

Несомненным исключением с точки зрения слоговой структуры является также еще одна инфиксная морфема, а именно: показатель условного наклонения будущего времени *-takapo-* (CV-CV)_{m1}-(CV)_{m2}. Данный элемент состоит из двух морфем — *-taka-* — показателя будущего времени и *-po-* — показателя условно-временного наклонения. При этом, если слоговая структура второй морфемы является однослоговой CV, то первая морфема, показатель времени, является двуслоговой CV-CV, поскольку он неразложим на морфемном уровне. Следует сказать, что данный показатель синонимичен в плане грамматической значимости показателю *-ta-* CV будущего времени изъявительного наклонения, а также релятивным формам будущего времени изъявительного наклонения, где он также выступает в виде *-taka-*, ср., например: *Nitamwona* 'я-его-увиджу' > *ni-ta-mwo-na* (CV)_{m1}-(CV)_{m2}-(CC)_{m3}-(V-CV)_{m1}; *nitakapo-mwona* 'если-я-его-увиджу' > *ni-ta-ka-po-mwo-na* (CV)_{m1}-(CV-CV)_{m2}-(CV)_{m3}-(C_mC)_{m4}-(V-CV)_{m1}¹¹ и т. п.

Из этого следует, что данный показатель может выступать в определенном строго обусловленном морфемном окружении и как однослоговая морфема, и как двуслоговая. Естественно, возникает мысль о направленности процесса, а именно: шло ли измене-

¹¹ Наблюдение над современным языком газет позволяет установить возможность употребления, и в данном грамматическом контексте *-ta-* вместо *-taka-*, например: *atauerigania uchaguzi* (он-который-будет-баллотироваться).

ние данной морфемы от моносиллабичности к бисиллабичности или, наоборот, в сторону упрощения слогового состава морфемы. Представляется более целесообразным считать, что процесс шел в сторону упрощения слоговой модели, превращения ее из /CV-CV/ в /CV/. Косвенным доказательством тому может служить анализ этимологии данного элемента, а именно, превращение лексически значимого корня глагола *-taka* 'хотелось, желать' в служебную морфему будущего времени *-taka-* с последующей редукцией второго слога *-ta*¹². Именно такое направление процесса фиксируется в языке суахили и в случае превращения глагола *-isha* 'кончать, завершать' в служебную морфему совершенного вида *-sha*¹³.

Таким образом, исключительность слоговой модели *-taka-* среди служебных морфем, имеющих односложную структуру, так же как и модификация глагола *-isha*, служат основанием утверждать, что грамматикализация элементов языка сопровождается изменением и их слоговой структуры, т. е. проходит одновременно и на морфонологическом уровне языка. И, следовательно, нельзя считать случайным однотипность слоговой структуры служебных морфем. Возможно, что именно на анализе слоговой структуры морфем, так же как и на анализе некоторых других морфонологических изменений или следов этих изменений, фиксируемых в современном языке, можно основывать классификацию различного типа морфем, поскольку изменения на уровне морфологии сопровождается изменениями и на всех прочих уровнях языка от семантики до морфологии.

Что касается суффиксных служебных морфем, то в данном случае можно выделить следующие модели слога: V; CV; CC_vV, например: деривационные суффиксы имен существительных *-i*, *-e*, *-o*, *-fu*, *-vu*; локативный суффикс *-ni*; суффиксы производных форм глагола *-wa*, *-na*, *-ma*, *-ka* и другие, релятивные суффиксы *-ye*, *-yo*, *-cho*, *-vuo*, *-lo* и др. Среди суффиксов производных форм глагола по слоговой структуре четко выделяются следующие двуслоговые суффиксы направительной и обратной форм: *-ia*, *-ua*, *-ea*, *-oa*, имеющие модель VV, а также суффиксы, в современном языке рассматриваемые большинством исследователей как алломорфы каузативного, пассивного суффиксов, а также стативной (квазипассивной) формы, имеющие усложненную слоговую структуру VCV, например: *-isha*, *-esha*, *-iza*, *-eza*, *-iwa*, *-ika*, *-eka* и проч.

Анализ на морфонологическом уровне процессов, сопровождающих или, вернее, сопровождавших образование данных гла-

¹² См. об этом: C. Meinhof. Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen. Berlin, 1948, стр. 113.

¹³ См. также: Н. В. Охотина. Морфемная структура служебных слов и так называемых наречий в языке суахили. «Язык Африки». М., 1966, стр. 135.

гольных категорий, обнаруживает, что такие слоговые модели суффиксов явились: а) или результатом морфонологических изменений, а именно: потеря смычности предшествующих согласных при фузионном слиянии двух суффиксов, например суффикса каузатива *-y-* и предыдущего стативного суфф. *-ka*, или, например, каузативного суфф. *-y-* и предыдущего суфф. *-ka* направительной формы — *-ela*, *-ila* > *-eza*, *-iza*¹⁴; б) или в результате нефузионного сочетания двух суффиксов, например направительного суфф. *-ia*, *-ea* и последующих однослоговых суфф. *-wa*, *-ka* и т. д. Такое понимание многосложных глагольных суффиксов типа указанных выше не снимает, однако, того положения, что морфемы, участвующие в образовании производных форм глагола, кроме стандартных слоговых моделей, могут иметь и двуслоговые модели, а именно: VV, например: *-ea* VV, *-ia* VV, *-oa* VV, *-ua* VV, при удвоении которых получаются еще более усложненные модели, а именно: *-ilia* VCVV; *-lia* CVV и т. п.

Оставляя за пределами данной работы анализ и окончательное решение вопроса о природе глагольных производных суффиксов, следует фиксировать, однако, возможность нахождения в данном позиционном типе морфем двуслоговых моделей. При этом, если учесть рудиментарный, морфологизированный характер процессов, сопровождающих данные образования, то нет достаточных оснований относить появление двух- и многослоговых морфем только за счет фузии элементов, во всяком случае для современного языка. Продуктивность двуслоговых морфем суффиксного позиционного типа в современном языке также достаточно высока.

Таким образом, для данного позиционного типа морфем следует отмечать особые двуслоговые модели, а именно VV и VCV.

Тем не менее наиболее распространенной моделью слога суффиксных морфем следует считать для глагола однослоговую структуру, даже для морфем, участвующих в образовании производных форм, а тем более для морфем, образующих прочие глагольные категории, например желательное наклонение (суфф. *-e* V), отрицательную форму глагола (суфф. *-i* V), релятивную форму глагола (суфф. *-o*, *-ye*, *-lo*, *-po*, *-ko*, *-to* и др.).

Двуслоговая модель морфем, образующих производные формы глагола, может быть косвенным указанием на особый характер указанных морфем в отношении их грамматической семантики. Возможно, что данные морфемы являются по своей семантике скорее основообразующими, чем словообразующими или формообразующими, и стоят на грани между служебными и неслужеб-

¹⁴ C. Meinhof and H. Warmelo. Bantu-phonology. Berlin, 1932, стр. 129.

ными (корневыми) морфемами, образуя самостоятельный подтип морфем. Следует отметить, что морфемы, участвующие в образовании таких производных форм, которые имеют более регулярно грамматический характер и которые воспринимаются как реляционные морфемы типа залоговых, имеют однослоговую структуру, например суфф. *-wa* (пассивный), суфф. *-na* (взаимный) и т. п.

Однослоговую же структуру имеют и наименее продуктивные суффиксы, на современном уровне развития языка уже трудно отделимые от корня, а именно суфф. *-pa*, *-ma*, *-ta*, например: *пепера* 'становиться жирным' > *пепе* + *ра* (CV-CV)_{m₁}-(CV)_{m₂} от *пепа* 'жиреть'; *fichama* 'быть припрятанным' > *-ficha* + *ma* -CV-CV)_{m₁}-(CV)_{m₂} от *-ficha* 'прятать'; *kamata* 'хватать' > *-ka* + *ta* (CV-CV)_{m₁}-(CV)_{m₂} от *-ka* 'жать, давить' и т. п.

Разнотипность глагольных суффиксов, имеющих различную слоговую модель, в какой-то мере подтверждается их неодинаковой дистрибуцией при именном словообразовании. Так, суфф. *-wa* при образовании имен существительных, как правило, не сочетается с деривационными именными суффиксами типа *-i*, *-ji*, *-o* и т. п. Исключение составляет лишь суфф. *-e*, который может следовать за основообразующим суфф. *-wa*. Такое сочетание, по всей видимости, возможно в силу близости грамматической семантики обоих суффиксов, имеющей оттенок пассивности, например; *mshinde* 'побежденный' < *-shinda* 'побеждать'; *kitobwe* 'отверстие' < *-toboa* 'делать отверстие', где суффикс пассивного залога *-wa* сочетается с деривативным суфф. *-e*.

Таким образом, возможно, конечно, с некоторым приближением, считать, что различие в слоговой структуре морфем в какой-то мере отражает различие и в функционировании морфем, и в их значении. Слоговая структура морфемы, возможно, является маркером морфемы, она значима и на уровне грамматической семантики.

Следовательно, исходя из анализа служебных морфем, можно выделить два подтипа слоговой их структуры:

1. Однослоговые морфемы:

V; C_{m,n}; CV; C_nCV; CC_yV;

2. Двуслоговые морфемы:

VV; VCV, CVCV (трансформируемые в CV);

II. Что касается неслужебных морфем, т. е. корневых, то, как представляется, они также тяготеют к определенному единообразию слоговой структуры, которое противопоставляется слоговой структуре служебных морфем. Можно фиксировать

следующие слоговые модели корней:

1. CVCV; VCV; $VC_{n/m}CV$; $C_{m/n}CVCV$ (или $CVC_{m/n}CV$) $CVCC_{y/w}V$; CVV; VV например: -lala 'спать' CV-CV; -ona 'видеть' V-CV; -enda 'идти' V- C_nCV ; -ngoja 'ждать' C_n -CV-CV; -tenda 'делать' CV-CV $_nCV$; -fanya 'делать' CV-CC $_yV$; -ua 'убивать' V-V и т. п.

Такой тип слоговой структуры характерен для корня бантуского происхождения и является наиболее продуктивным. Слоговая структура заимствованных корней не подчиняется данным условиям. В заимствованных корнях возможны нарушения данной структуры за счет увеличения количества слогов до четырех, например:

tafadhali [ap.] 'пожалуйста' > ta-fa-dha-li CV-CV-CV-CV; mo-tokaa [англ.] 'автомобиль' > mo-to-ka-a CV-CV-CV-V и т. п.

Корни бантуского происхождения, на современном уровне имеющие более чем два слога, как правило, являются легко трансформируемыми в двуслоговые путем сопоставления различных форм этих корней, даже в том случае, когда исходный, двуслоговый, корень и не является продуктивным в современном языке, например: -tukufa 'великий, величественный'; -tukuza 'возвышать, возвеличивать'; -tukuka 'стать великим'; или -simama 'стоять'; -simika 'ставить, устанавливать'.

При этом в современном языке нельзя выделить как продуктивные двуслоговые корни -tuku или -sima.

2. Существует, однако, целый ряд однослоговых корней, имеющих следующие модели: CV; CC $_yV_w$, например: -tu CV (mtu 'человек'), -ja CV 'идти'; -nya 'дождить' CC $_yV$ и т. п.

Данные корни, тем не менее функционируя в языке, имеют особенности, которые, как представляется, могут служить подтверждением того, что данные типы морфем стремятся к двуслоговой модели в противоположность служебным морфемам.

Прежде всего следует отметить, что однослоговые корни, образующие слова согласовательных классов, по своей семантике, как правило, заметно отличаются от большинства двуслоговых корней. Многие из однослоговых корней имеют более абстрактную, широкую семантику, которая конкретизируется при оформлении корня префиксом того или иного согласовательного класса, ср., например:

mtu 'человек' (m-tu); kitu 'вещь' (ki-tu); jitu 'великан' (ji-tu); utu 'человеческая сущность' (u-tu); или: mti 'дерево' (m-ti); kiti 'стул' (ki-ti); uti 'деревянность' (u-ti) и т. п.

Как очевидно, на формальном уровне это выражается в том, что данные корни при переходе из класса в класс регулярно заменяют

согласовательные префиксы, а не совмещают их, что можно констатировать при префиксном переоформлении двуслоговых корней, ср., например: *kijana* 'юноша' > *ki-j-ana* (CV)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3} и т. п.

Однослововые корни, таким образом, менее закреплены за определенными согласовательными классами, чем это наблюдается в случаях с двуслововыми корнями, которые, если и могут переоформляться префиксами, то такое переоформление влечет за собою скорее изменение оттенка значения за счет деминутивности или аугментативности и т. п., но не полную перекодировку слова, как это происходит в случае переоформления, например, корней *-fu* или *-ti*.

Кроме того, однослововые корни скорее, чем двуслоговые, могут сохранять непродуктивную форму префикса, например: *mithe* 'мужчина' > *mi-me*; *jiŋho* 'глаз' > *ji-cho* и т. п.

Анализ некоторых двуслоговых корней, входящих в разряд так называемых прилагательных, также обнаруживает некоторые особенности, могущие быть релевантными в вопросе маркированности слоговой структуры корневых морфем. Так, отмечается ряд корней, которые воспринимаются как двуслоговые на современном уровне языка, но операционным путем могут быть трансформированы в однослововые, например, корни *-refu* 'высокий', *-bivu* 'перезрелый' и нек. др.

Сопоставление данных корней, с одной стороны, с идентичными по значению корнями в других языках банту (например, *-ge* 'длинный, высокий' в языке гереро; *-bi* 'плохой, перезрелый' в языках зулу, луганда, луньоро и т. п.) и, с другой стороны, с системой словообразования имен и прилагательных в языке суахили обнаруживает, что второй слог данных корней (*-fu* или *-vu*) является деривационным суффиксом, имеющим строго фиксированную грамматическую семантику (свойства или качества). Однако отмеченные корни в однослововом виде в современном языке являются непродуктивными. И, более того, эти корни при дальнейшем оформлении служебными морфемами суффиксного позиционного типа выступают как неделимые двуслоговые морфемы, поскольку могут принимать суффиксы основообразующие, например *-refusha* 'удлинять' > *refu* + *sha*, что невозможно в случае с двуслововыми корнями, где в аналогичных случаях происходит замещение деривационных суффиксов.

Как кажется, именно тяготение корневых морфем к двуслоговой структуре объясняет возможность омертвления указанных суффиксов в данных случаях и восприятия некогда разложимых на морфемном уровне элементов как монолитных корневых морфем.

Анализ парадигм спряжения однослововых глаголов также обнаруживает особенности, говорящие в пользу маркированности

двусложной структуры корня в современном языке. Так, однослоговые глаголы, например -ja, 'идти', -fa 'умирать', -la 'есть', -ra 'давать', -wa 'быть' и т. п., при оформлении их морфемами времени, вида или наклонения принимают дополнительный предкорневой элемент *-ku-*, расширяющий корень до двуслоговой модели /CVCV/. При этом элемент *-ku-* не несет какого-либо грамматического значения, как это можно считать в случаях образования отрицательных форм прошедшего времени изъявительного наклонения, где формант *-ku-* выступает в качестве показателя отрицания совместно с префиксом *ha-*. Появление элемента *ku-* при спряжении данных глаголов связано не с определенной прадигматической формой, но с тем, какую слоговую структуру имеет корень глагола, поскольку данный элемент входит в целый ряд конструкций, имеющих альтернативную грамматическую семантику. Например: наст. вр. изъявит. наклонение: anakufa 'он умирает' > a-na-ku-fa (V)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3}-(CV)_{m4}; прошед. вр. изъявит. наклонения: alikufa 'он умер' > a-li-ku-fa (V)_{m1}-(CV)_{m2}-(CV)_{m3}-(CV)_{m4} и т. п.

То же самое фиксируется при образовании императивного наклонения однослоговых глаголов. Если глаголы, имеющие слоговую модель корня /CVCV/ (или более слогов, в случае основы), образуют императив ед. ч. без посредства каких-либо служебных морфем, употреблением чистого корня или основы, например lala 'спи!' soma! 'читай!' и т. п., то односложные глаголы употребляются с элементом *-ku-*, преобразуясь, таким образом, в двуслоговые, например: kula! 'ешь!' kufa! 'умри' и т. п. Более того, супплетивные формы императива односложных глаголов также имеют двуслоговую модель, например: njoo! 'иди!' CCV-V < -ja 'идти' CV.

Можно с определенной обоснованностью полагать, что элемент *-ku-* в перечисленных грамматических контекстах выступает как слоговой расширитель корня односложных глаголов.

Учитывая нестандартность функционирования односложных корней, тенденцию к расширению слоговой модели их до CVCV, можно констатировать стремление языка к разграничению слоговой структуры служебных и неслужебных (корневых) морфем. Если служебные морфемы стремятся к односложной структуре, то корневые морфемы, наоборот, задерживают двуслоговую структуру. На границе слогового противопоставления, как очевидно, стоят морфемы переходного (от неслужебных к служебным) типа, слоговая структура которых, однако, отличается от слоговой структуры неслужебных морфем, если не за счет количества слогов, то за счет сочетания вокализма и консонантизма составляющих слог.

Можно фиксировать следующие наиболее продуктивные модели слогов различного типа морфем, которые, очевидно, противопоставляются друг другу:

I. 1. Служебные морфемы однослоговые:

V; C_{тп}; CV;

2. Пограничные морфемы (служебные — неслужебные) двуслоговые:

VV, VCV;

II. Неслужебные морфемы двуслоговые:

CVCV; CCVCV CVCCV.

Таким образом, делается вероятным положение, что морфологический уровень языка релевантен в вопросе определения функции и типологизации морфем языка суахили. При этом, видимо, необходимо учитывать не только изменения, происходящие на границах морфем различного позиционного класса и грамматической семантики, но и их слоговую структуру.

М. В. Ганов

ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Из мелкой сволочи вербую рать
(А. Пушкин).

Когда в языке формируется новый грамматический класс, в него стекаются самые разные по происхождению единицы, иногда — с темным, причудливым прошлым. Однако в новой грамматической общности, в новой семье их не попрекают происхождением: неважно, откуда они. Важно — где.

За последние полвека в русском литературном языке сложилась особая часть речи: аналитические прилагательные. Лингвисты не торопятся признать *de jure* этот новый лингвистический класс. Мешает в первую очередь диахроническая пелена на глазах: помнят, откуда пришли эти слова, и не видят их новых и прочных связей.

Что же, проверим происхождение этой грамматической «сволочи» (сволакивается она в группу аналит-прилагательных); выясним, существенно ли сегодня это прошлое. Или они уже прошли грамматическую перековку? ¹

¹ Далее намечены группы аналит-прилагательных по их происхождению. Современность классифицируется с диахронической точки зрения. Конечно,

1. *Форма хаки, цвет беж; язык хинди; поезд bis, коми писатель, коми литература.*

Парфюмерия люкс и иной ходкий товар («Неделя», 11.VIII. 1968); Идея люкс! Будем действовать на базе полного кооперирования! (М. Левитин. Конец короля липы. М.— Л., 1962); [В посылках]... шелка-экстазы: цвет-гаван и цвет-фисташ, фетры, гетры, газы, стразы, шевииот и трикотаж (А. д'Актиль. Синяк под глазом. М., 1926); Они были... говорящими, «шпрех клоунами» (Л. Никулин. Карандаш. М., 1951).

¶ Fremdwort'ность таких прилагательных не тускнеет в современном русском языке; они не имеют омонимов-существительных, примыкание к существительному у них постпозитивное (необычное для русского языка, явно Fredmwort'ное)². Впрочем, не у всех; последнее благоприобретение этой группы: прилагательное *мини-* (широко употребительное из-за повсеместного ношения мини-юбок) — препозитивно: Макси-долг в мини-фунтах [заглавие статьи об английском валютном курсе]... Итак, подведем итоги: долги стали максимальными, а фунты минимальными («Известия», 9.XII.1967)³.

Группа в языке малопродуктивна: она слишком Fremd-.

2. *Киносценарий, радиоизвестия⁴, авиаконверты, электроприборы, телепостановка, аэропочта, фотоматериалы.*

Константин На каток Не ходок, Сидит и сидит В помещении, При электро сидит Освещении (Э. Мошковская. На каток не ходок. «Пионер. правда», 4.I.1963); Уже работают кружки художников-оформителей, автомото, музыкальный и другие («Веч. Москва», 27.X.1955)⁵; Почему вступление «авиа»? Просто я писал в самолете: на высоте лучше работается (А. Вознесенский. Почта

такая классификация не может претендовать на полную последовательность и стройность: сквозь диахронические очки современность видится мутно и расплывчато.

² Впрочем, не всегда: Пара туфелек бежцвета (П. Халов. Три огонька. Хабаровск, 1960).

³ Еще любопытный пример: Кто знает, может он решится нарисовать на напалмовых бомбах эту такую белокурую бестию в мини-юбке? А может в макс-и? («Веч. Москва», 18.X.1967; пример из картотеки Е. В. Красильниковой).

⁴ Хорошую словесную радиоколлекцию с аналитическими прилагательными собрала В. Л. Воронцова (см.: «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис». М., 1968, стр. 125—130). Могу добавить только один красивый пример: «Радиопингвины. Сорок пингвинов были доставлены на Южный полюс. Каждое животное снабжено миниатюрным радиопередатчиком. Что будут делать пингвины, каков их путь с полюса? Теперь ученые смогут ответить на эти вопросы. На трассе к Южному полюсу летают самолеты, на которых установлены приемники, ловящие радиосигналы пингвинов» («Моск. комсомолец», 2 дек. 1965 г.).

⁵ Эти два примера подарила мне В. Л. Воронцова; глубоко благодарен ей за них.

со стихами. Авиавступление. «Знамя», 1963, № 11); Микро- и полумикрометоды органической химии («Новые книги», № 35); Радио- и телевизионные центры («Правда», 14.IV.60) ⁶.

Такие аналитические прилагательные отличаются от предыдущей группы: они соотносятся с существительными того же корня (*радио, кино, авиация, телевизор, аэроплан*). Эти существительные — интернационализмы; группа перспективная. Недаром В. Маяковский быт будущего рисовал именно такими словами:

Кричит радиобудильник вежливый...

Гражданина остановила авиамилиция...

Летают аэростоловые нарпита...

Гражданин включил электросамобритель...

3. *Пресс-офицер, эрзац-литература, программа-минимум, требования-максимум.*

Проповедь эрзац-патриотизма («Лит. газета», 21.III. 1963); Секретариат редакции объявил блицконкурс на лучшее название [статьи] («Вопросы лит-ры», 1962, № 11); «Модерн»-мещанство и его обличители («Октябрь», 1962, № 3); Глава из повести-гротеск (сб. «Бизнес». М., 1929).

Кроме того, в картотеке автора статьи представлены: *пресс-офицер, пресс-информбюро, пресс-бюллетень, пресс-хищники* (Из газет). Как и в предыдущей группе, у таких аналитических прилагательных (*пресс-, эрзац-, модерн-*) есть однокоренные существительные: *пресса, эрзацы, минимум* и т. д. Но сочетания типа *пресс-офицер* не понимаются как бывшие сложные слова. Мешает то, что они оканчиваются согласным. Скорее их можно принять за сочетание существительных; первое из них — интернационализм. Но новое функционирование этих единиц в современном русском языке такое эрзац-объяснение вовсе не объясняет. Ведь порядок их закреплён (не *офицер-пресс*, не *литература-эрзац*, не *минимум-программа*), а это говорит о том, что препозитивная часть — не существительное.

4. *Чудо-молот, горе-изобретатель.*

Чудо-мост («Молодая гвардия», 1968, № 2), чудо-человек [робот] (Г. Мамлин. Двадцатый век... М., 1962); чудо-химия (Ю. Каменецкий. Для тебя. М., 1962); вокзальный чудо-кипяток (Б. Шаховской. Каспийские зори. М., 1957); чудо-кубрики (В. Семернин. Синие широты. М., 1962); чудо-машины («Лит.

⁶ Ср. еще: Летчик ... задумчиво сказал: — Погоды не дают. — Ерунда! Я справлялся на метео: погода есть (И. Грекова. На испытаниях. «Новый мир», 1967, № 7; пример из картотеки Е. В. Красильниковой).

Группа настолько жизненная, что захватывает (в речи некоторых граждан) и то, что ей не принадлежит. На Рижском взморье в одном из домов отдыха объявление: «Завтра экскурсия в Ригу. В соборе на органе будет исполнена «АВИО МАРИЯ» («Москва», 1965, № 3).

Россия», 25.I.1963, «Комс. правда», 7.III.1963); чудо-молот («Известия», 25.VII.1965); чудо-клубень (С. Смирнов. Русская красавица. М., 1960); чудо-цехи («Комс. правда», 8.XII.1963); чудо-склад («Известия», 2.IV.1965)⁷; чудо-ящик («Огонек», 1963, № 13); чудо-камень («Комс. правда», 10.X.1963); чудо-печка («Моск. правда», 29.IX.1963); чудо-бриллиант («Лит-ра и жизнь», 29.VII.1960); чудо-закон («Известия»... 30.IX.1960); чудо-плавание; чудо-коренья (Г. Корешев. Океанский ветер. Владивосток, 1961); чудо-лес (А. Фатьянов. Стихи и песни. М., 1962); горе-воспитатели («Комс. правда», 18.IX.1968); горе-медик («Комс. правда» 16.V.1965 и 13.IV.1965); горе-председатель (сб. «Пером и карандашом». М., 1961)⁸ и т. д.

Приложения потеряли свою субстантивность и стали прилагательными. Им помогла утвердиться в языке другая группа, но того же морфемного типа: *радио-*, *кино-* и проч. Прилагательные *чудо-* и *горе-* широко употребительны, но сама-то группа малопродуктивна, не пополняется. Недавно «пополнилась» двумя словами: *чудо-*, *горе-* (раньше их было всего ноль) — и стоп.

В студенческом аргументе: — Вот пшено-кино!; — На пшено-доклады я не хожу⁹.

Нет шансов, что это горе-прилагательное преодолеет барьер аргумента; и в аргументе оно скорее всего малоупотребительно (именно как аналит-прилагательное).

5. *Царь-взятка, генерал-предатель, рассказ-газета...*

— Тебя, Егор Васильевич, надо взять на учет, как памятник московской старины наравне с царь-пушкой или царь-колоколом. В общем ты у нас есть царь-дворник... (В. Ардов. Коварный лунатик. М., 1945); Из-за царь-воды [загл.]. Якорь был велик, как скелет кита. За такой якорь цеплять бы в океане небольшую флотилию в шторм. Или ставить его на каменный фундамент для обозрения в качестве двоюродного родственника царь-пушки. Но царь-якорю уготовили иную судьбу (Е. Матвеев. Вот такие караси! М., 1968); Это была царь-взятка — властная, ... бесстыжая («Правда», 21.II.1961); Царь-буря (М. Цветаева. Царь-Девушка. М., 1922); Удивительная метаморфоза с незадачливой искусствовед-девицей... («Комс. правда», 12.XI.1964); ... На этот пост они посадили не просто генерала, а генерал-предателя¹⁰

⁷ Прилагательное *чудо-* обычно относится к неодушевленным существительным; исключения редки: чудо-актеры («Сов. культура», 20.V.1958); чудо-мастер («Неделя», 17.III.1968); чудо-парень (С. Наровчатов. Стихи. М., 1960).

⁸ Прилагательное *горе-* относится обычно к личным существительным (редкое исключение — см. далее в тексте).

⁹ *Пшено-* — в студенческом аргументе 'дрянь'.

¹⁰ Ср.: Так началось знакомство [с Кореей] с этим бывшим генерал- (не больше!) губернаторством японским (Ю. Гордиенко. Анэко-сон. «Знамя», 1954, № 12). Здесь вряд ли *генерал-* — аналитическое прилагательное.

(«За рубежом», 1961, № 3); На подоконнике — строй «матрешек», румяных, ярких, от правофланговой царь-бабы... до совсем малюсеньких («Лит. газета», 9.XII.1965); Царь-турбина [заглавие]... Она не знает себе равных по мощности в мировом турбостроении («Известия», 28.XI.1964; два последние примера из собрания Е. В. Красильниковой).

Тоже из приложений, но иного морфонологического строя. Этим прилагательным не помогает никакая другая, более сильная группа, и вся группа малопродуктивна. Не интернационализмы: воспринимаются как свое. Из речи в язык они проникают слабо. 6. *Экс-президент, суперкризис, оберпредатель, ультра-правые, псевдооткрытие.*

...Картины А. Пластова очень хороши. А что в них ультра-нового? («Искусство», 1962, № 3); ...Американский обер-шпион не был, разумеется, расположен давать интервью («Известия», 15.VI.1960); ...Может быть, ученым... удастся сконструировать «супермозг», который в известных отношениях будет совершенней нашего... («За рубежом», № 18, 1967); Были сделаны кинопробы экс-шахینی («Известия», 17.III.1962).

В одном из фантастических стандарт-рассказов говорится, что космонавты на одной планете оказались во власти массовых иллюзий, «псевдоматериализации» всяких чудищ: Я и сам знаю, что это не щука, а «псевдо», откуда здесь щуке взяться?... Ну и «псевдо», скажу я вам! («Дон», 1967, № 6).

Извращенное сознание ультра-диахрониста может видеть в таких прилагательных приставки. Как были, так-де и остались. Эта квази-осторожность не идет на пользу дела. Действительно, по происхождению это приставки-интернационализмы. Но сейчас-то они уже псевдо-префиксы, обрели все признаки слова, а, став словами, они неизбежно попадают в класс аналитических прилагательных. Какие признаки? Свободная, нефразеологическая сочетаемость с существительными (приставки-то фразеологичны! это в их природе). Сочетаемость с частицами. Фонетическая примета слова: особое, персональное ударение.

Из устной речи: — Наш экс-то чемпион того гляди уже не экс... Разгромил Шишкина. Обыграл; — Это ультраформализм, ультра, если хотите... наплевать на все; — У тебя суперскромность. Просто супер. Сверх.

Группа продуктивна.

7. *х-лучи, СКЧ-двигатель, гамма-излучение, скин-эффект, ку-лихорадка, satəm-язык...*

Соединение [...] языка-с и языка-х... (А. Соболевский. Русско-скифские этюды. М., 1924). Эффект Т-слов («Комс. правда», 4.X.1968).

Очень сомнительная группа (хотя дьявольски продуктивна). Вряд ли сочетание *ку-лихорадка, скин-эффект* более двусловны,

чем, например, *брюшной тиф, удельный вес*. Двусловность этих последних сочетаний вовсе не так очевидна, как кажется (см. рассуждение об $N^a + N^a$ -единицах в кн.: «Русский язык и советское общество». Алма-Ата, 1962, стр. 52—55).

8. *Космонавт-два, командарм-четыре, страница сто двадцать пять, около объекта двадцать три, журнал индекс пятьдесят шесть*.

Цветы и улыбки космонавту-два («Комс. правда», 18.I.1962); А жители африканского государства Того, отправляя письма, с удовольствием наклеивают на них марки с изображением советского космонавта-один Юрия Гагарина («Веч. Ленинград», 20.IV.1964).

Вместо порядковых (согласуемых) прилагательных употребляются несогласуемые числовые прилагательные, омонимичные количественным словам *один, два, три* и т. д. Они, в отличие от омонимов, не склоняются.

Прилагательные группы 8 широко распространены в речи (и уже факт языка), но — непродуктивны, ввиду исчерпанности ряда слов, которые могли бы пополнить данный тип. Чисел-то бесчисленное множество, а числительных немного.

9. *Партбилет, профсобрание, сельсовет, госучреждение, совслужащий*.

Мы все говорим телеграф-языком (Н. Огнев. Дневник Кости Рябцева. М., 1932); — Что ж, пойдем, сыграем? — сказал парень в папаче, и мы пошли в шахкружок (Н. Огнев. Исход Никпетожа, М., 1932); Маленький радиорепродуктор с пластмассовой чайкой по утрам бередил их души: «Хабаровский педагогический институт объявляет набор...» У многих из них был мечтой этот самый, белый, в тени старых тополей, «пед» («Комс. правда», 5.IV.1962);... По Сибирской желдороге (Я. Тугендхольд. Искусство октябрьской эпохи. Л., 1930); Какой-нибудь зав или зам какой-нибудь кино- или коопорганизация... (Там же); На танц-ниве («Сов. культура», 12.V.1962);... Любители балет-словесности и блат-литературы («На посту», 1923, № 4); И вновь надолго человек забезмолвствовал над большим листом, над рубриками Наркомвнудела, Полит- и Эконом-отделов ОГПУ... (Б. Пильняк. Повесть непогашенной луны. «Новый мир», 1926, № 5); Что происходит сейчас? Браконьерство — это дело каких-то «охотегерей», и прочим не забота («Лит-ра и жизнь» 22.IV.1961); Меня оттуда выгнали за проф., Так называемую, непригодность (Б. М. Слуцкий. Музшкала имени Бетховена в Харькове. «Тарусские страницы», 1961);— Мы должны будем сделать если не орг, то хотя бы просто выводы... (Е. Матвеев. Вот такие караси! М., 1968); Он славится в кружках «изо» и «тех» (А. Адалис. Новый век. М., 1960); На долгие годы — высокий пост, до конца жизни — спецбифштексы из спецстоловой и спецвнимание спецтерапевтов

из спецполиклиники (Б. Егоров. Здравствуй, Ромашкин! М., 1966) ¹¹.

Существует небольшое количество стабилизированных, прочно уязыковленных аналит-прилагательных: *сов-, проф-, парт-, гос-, спец-, лит-, хоз-, полит-...* И множество окказиональных новаций; см. в примерах *шах-, танц-, блат-, балет-, телеграф-* и т. д.

Нередко слышишь возражения: но ведь и какие-нибудь *спец-бифитексы* тоже окказиональны. В этом сочетании оба слова *танц-* и *нива-*, конечно, обычны и узаконены языком: а их сочетание, бесспорно, окказионально: свободное сочетание двух слов имеет право быть окказиональным. Здесь неокказиональное аналит-прилагательное входит в окказиональное сочетание слов.

Очень продуктивная и яркая группа ¹². Язык пестро, но упорно отбирает себе пополнение из массы речевых новообразований.

Из устной речи: — Всякие смехвыступления были, эстрада, но они все не смешные; — Отрывкижечку для метро не забудь купить, с отрывкой удобно; — Взрослый я тип, а люблю читать пионержурналички. Для отдыха.

10. *Лжеучение, хлебоуборка, лесозаготовки, стеклотара, стекло-банки...*

Примеры словосочетаний с прилагательным *лже-*: лжедрузья («Лит. газета», 31.X.1957); лжегерой («Лит. газета», 27.X.1962); лжесвятыня («Лит. Россия», 5.VII.1968); лже-Орфей (Арагон. Соч., т. 9. М., 1960) и т. д. ¹³

Как показано В. Л. Воронцовой, эта группа аналитических прилагательных менее обжилась в литературном языке, чем предыдущая. По происхождению прилагательные *лже-, лесо-, хлебо-...* — части сложного существительного. Их первая часть непосредственно соотнесена с существительным: *ложь, лес, хлеб...* Но так как единицы *лже-, лесо-, хлебо-* обладают свободной, не фразеологической сочетаемостью, то *хлебоуборку, лесозаготовки* и следует признать лжесловами: в современном языке это уже словосочетания, словосоположения, слово-, так сказать, -кортежи, последовательности. Слово же — фразеологично: см. дальше.

¹¹ Ср. еще: Он, Юрий Михайлович, — «опытный ИТР-практик» и посему принципиально требует «восстановления на должности ст. инженера». Многие организации... изучали Юрочкины претензии. У «ИТР-практика» скопилось богатая коллекция отказов («Правда», 11.XI.1966.; пример из карточки Е. В. Красильниковой). Сюда ли?

¹² В просторечии — явно злоупотребляют ее продуктивностью: «12 апреля 1968 г. в 18 час. в Доме культуры назначается общее собрание владельцев коров пос. Нев. Дубров[ка]. Повестка дня:

1. Отчет скот-тройки за 1968 г.

2. Выборы скот-тройки»

(Объявление. Опубликовано: «Крокодил», 1963, № 18).

¹³ Примеры на прилагательные *хлебо-, лесо-* см. в кн.: «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис», стр. 120—122, 131.

В устной речи окказиональные образования этого типа встречаются редко. Вообще продуктивность их невелика ¹⁴.

11. *Белоказаки, синебрюки, златолира* ¹⁵.

Редкий тип. Прилагательные типа *бело-* тоже походят на часть сложного слова, но сами соотнесены с прилагательным (неаналитическим) ¹⁶.

Может быть, такие редкостности — не словосочетания, а все же сложнослова? Это не вполне ясно. Подозрительная группа.

12. *Ал-заря, синь-заря, бел-свет...*

Образования редкие, окказионально-речевые (язык их чужается), мелькают только в поэтической речи.

Пылает ал-заря, рассвет вошел в июль... («Нева» 1965, № 1); Синь-заря пылает в поле. Кони скачут на зарю («Огонек» 1938, № 41).

Бесперспективная группа (но среди прочей «сволочи» и она занимает свое — окраинное — место).

13. *Женищина-жох, мужчина-хват.*

Помещик-жох (О. Мандельштам. Шум времени. М., 1925); Не писатель, а женищина-жох! («Крокодил», 1960, № 27).

Из устной речи: — Такой мужчина-хват попался, все по дороге меня подсаживал, хоть и незнакомый.

Были устойчивые сочетания: *баба-жох, парень-хват* (но не *мужик-жох, дядя-жох, баба-хват*). Произошло — хотя бы в речи — освобождение этих закрепленных привесков от фразеологических цепей.

Ср. еще сочетания: *зауряд-поручик, зауряд-офицер*; они породили такие новшества: *зауряд-полк* (у Н. Сергеева-Ценского), *зауряд-инженер, зауряд-бюрократ, зауряд-клеветник* (в газетной и устной речи).

Полумертвая группа.

¹⁴ Сложные слова другого типа: *перекати-поле, сорвиголова, держидерево* — не породили особых типов аналитических прилагательных. Редкие случаи возникновения в речи новообразований с более или менее семантически свободной (нефразеологизованной) связью компонентов — это ведь и отличается словосочетание — очень капризные и явно не уязковылены: Если берлинский вопрос, раскаляемый западногерманскими «Держись!»-идиомами, станет и дальше двигаться к кризисным обострениям, тогда возможно все, даже самое худшее («Правда», 26.VIII.1962).

¹⁵ У И. Северянина есть несколько таких образований.

¹⁶ Ср. еще: У нас имеются всероссийские... шахматные и шашечные матчи, — пишет Владимир Владимирович [Маяковский], — конкурсы парад, загадок, ребусов, и только поэтам не везет: соревнования тут не идут дальше изысканного буриме на задворках уныло-журналов («Лит. Россия», 24.III.1967); Они — не классики. Пока серьезный литератор только еще раздумывает, они уже несут под мышкой роман «Комлы», бодродраму «Вот так химия» или песенку «Эх, про силосные башни соловей поет на пашне». Бодродрама оснащена припиской: «По материалам III конференции неоргаников» («Лит. газета», 11.I.1967). Обе эти крайне интересные иллюстрации из карточки Е. В. Красильниковой. Очень благодарен ей за позволение привести в моей статье эти примеры.

14. *X — это Z сегодня*¹⁷, *яйцо всмятку*; *жулик поневоле*; *волосы торчком*.

Пишет вам снабженец по профессии и толкач поневоле («Известия...» 13.VII.1962); *Сабля наотмашь* — вот его любимая поза (Н. Торганов. Боевые денечки. М., 1938); *Каша доотвала* — вот моя любимая каша! (Устная речь).

Хитры такие аналитические прилагательные из наречий! Почему возможны сочетания *яйцо всмятку*, *сабля наотмашь*, *волосы торчком*, но невозможны *бревно вниз* (Бревно вниз было трухляво); *Петров со зла* (Петров со зла сегодня не успел пообедать), *крышка вчера* (Крышка вчера подпрыгивает на чайнике) и т. д. В последних примерах между существительным и наречием можно «провести» несколько глагольных значений: *бревно, направленное вниз, сброшенное вниз, склоненное вниз, сдвинутое вниз*; *Петров, похудевший со зла, который всегда дерется со зла*; *крышка, прорывленная вчера, прикрепленная вчера, покрашенная вчера*. Разные глаголы (в том числе причастия) здесь равновозможны и притом не синонимичны. Только в этом причина непонятности и неупотребительности сочетаний типа *бревно вниз*.

Другие сочетания: *яйцо всмятку*, *сабля наотмашь*, *волосы торчком* — тоже равны сочетаниям, включающим глагол: *яйцо, сваренное (приготовленное) всмятку*; *сабля, откиннутая (протяннутая) наотмашь*; *волосы, стоящие (вставшие) торчком*. Но все глаголы здесь синонимичны — поэтому-то и возможны такие сочетания. Глагол в них не то, чтобы опущен (его естественно нет), — но он готов явиться из небытия¹⁸.

Только некоторые из таких сочетаний принципиально безглагольны (и, следовательно, без сомнения прилагательны): *жулик поневоле*, *X — это Z сегодня* и нек. др. Ср. еще: Он полностью импотент (Из устной речи); Я... коренной насквозь-американец («Крокодил», 1953, № 1; стихотворение в переводе С. Маршака).

Таким образом, эта группа состоит из двух подгрупп: а) тип *волосы торчком* (с готовым воскреснуть глаголом) и б) тип *жулик поневоле* (полностью безглагольный). Продуктивен тип «а».

В разговорной речи прилагательные этой группы обычно свидетельствуют о хорошем настроении говорящего и желании пошутить: — У меня сегодня особое угощение: пирог на бегу. Я готовлю его, а сама все по другим, все по другим делам; — Катя у нас прыжки страхует. Мы ее зовем: Катя на подхвате.

Такие прилагательные хороши лишь в том случае, если они ни на что не претендуют и не пытаются проникнуть в язык.

¹⁷ Емкая формула. Например: *Утесов — это Собинов сегодня*, и под.

¹⁸ Более того: временная плоскость, которая представлена этим «отпущенным» глаголом, должна быть той же, что и временная плоскость реального глагола в предложении; невозможны предложения: *Волосы торчком были приглажены* (= *Волосы, ранее стоявшие торчком...*); *Сабля наотмашь теперь висела на стене* (= *Сабля, которую обычно держали наотмашь...*); *Яйца всмятку оказалиськрутую* (= *Яйца, варенные всмятку...*)

Другое дело — наречия при отглагольных существительных (*бег наперегонки, чтение вслух, еда всухомятку*); вряд ли их можно считать аналитическими прилагательными. Нет, это все же наречия — хотя и в роли аналит-прилагательных.

Приведу параллель. «В роли наречия, кроме краткого прилагательного в ср. роде, может употребляться также сравнительная форма прилагательного, когда она относится не к существительному»¹⁹. Итак, краткие формы прилагательных: (*рассказал умно, ярко, сжато, вызывающе*, если относятся к глаголу, выступают в роли наречий. Ср. (*рассказ умный, яркий, сжатый, вызывающий*). Не становятся наречиями, неизменяемой частью речи, а только играют их роль. Симметричен этому обратный случай: наречия *наперегонки, вслух, всухомятку*, когда они встречаются не при глаголе, а при отглагольном существительном, выступают в роли прилагательных. Только в роли. Отглагольность существительного важна: она гарантирует, что семантически наречие тождественно тому же, что при глаголе. Семантический сдвиг в сторону качественности, признаковости превращает наречие в аналит-прилагательное, а здесь его нет.

15. Редкий случай — если аналитическое прилагательное выражено предложной конструкцией. Вот пример: Академия после работы [заглавие статьи]. Когда-то академик С. И. Вавилов, оценивая работу радиолюбителей, любовно назвал их «народной лабораторией». Сейчас скромная лаборатория выросла в большую советскую радиолюбительскую академию («Известия»... 29.X.1962). Ergo: Академия после работы — не «отдыхающая академия», а «любительская академия». Значение слов *после работы* семантически сдвинуто в сторону признаковости.

Возможны случаи, когда предложная конструкция только предлогом и представлена: Вот ведь как бывает! Давно уже камня на камне не осталось от вздорных обвинений против Степанова, а некоторые работники все еще безответственно повторяют их. А «факты помимо», которые смакует тов. Генералов, просто кощунственны. Василий Николаевич — инвалид Отечественной войны. Ему положена бесплатная путевка. О какой взятке может идти речь? («Известия», 29.XII.1967); Мне кажется, что главная черта детского чтения — театр для себя, непреодолимая и естественная склонность к театральной игре. ...Так, в отличие от растущего год за годом реального опыта жизни, создается другой, особый, книжный опыт — опыт «над», «вне» (В. Каверин. ж. «Детская лит-ра», 1968, № 1).

16. Фразеологические сочетания превращаются в аналитические прилагательные: — Он так себе писатель; — Не люблю я всех этих так себе романов (Из устной речи); Разве миссия всего

¹⁹ Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров. Очерк грамматики современного русского литературного языка. М., 1945, стр. 147.

лишь советника предусматривает это? («Лит. Россия», 1967, з. II.)²⁰.

Все это факты речи, а не языка. Пока это вроде как бы прилагательные; неполноправные, незрелые. О продуктивности говорить не приходится.

17. *Тоже-лингвисты, тоже-политики...*

Редкий (единичный?) случай, когда частица (вообще: служебное слово) становится аналитическим прилагательным. Пожалуй, это уже факт языка. Не вроде-прилагательное, а настоящее. Конечно, аналитическое.

18. Е. И. Голановой была высказана очень интересная и смелая мысль о том, что некоторые приставки (не интернационализмы! не *ультра*, *супер*, *квази*!) тоже стали аналитическими прилагательными. Такова, например, приставка *со-* в сочетаниях: *созачинщик, соисследователь, сопроектировщик* и др.

Мысль может показаться рискованной, но, думаю, она верна. Общие поиски и соисследования грамматистов разъяснят этот вопрос (подробности см. в статьях Е. И. Голановой).

19. Наконец, в качестве аналитических прилагательных могут употребляться обычные, неаналитические. Пора уже считать допустимыми в литературном языке такие конструкции (не рекомендованными, а лишь допустимыми): *Наша врач пришла; Молодая доктор наук прочла лекцию; Новая чемпион по плаванию улыбалась*. Здесь везде используются прилагательные женского рода при существительных нового общего рода.

Если считать деривационные значения словообразовательными (наиболее распространенная точка зрения)²¹, то *молодая* надо считать особым словом по сравнению к *молодой* в том же контексте. А падежные изменения здесь невозможны: существительные с нулевым окончанием, относящиеся к общему роду, употребительны только в именительном падеже, если к нему относятся прилагательные женского рода. Невозможны сочетания: *Я видел нашу врача; Говорили о молодой докторе наук; Подошел к новой чемпионке*. Вряд ли такие сочетания и появятся, а это делает достаточно бесперспективной судьбу и таких сочетаний, как *Наша врач пришла*. Недаром они так неохотно были приняты языком (но все-таки сейчас они — факт языка, хотя, вероятно, и недолговечный. Впрочем, где же им замена? *Наша врачиха? Молодая докторша наук? Новая чемпионесса?* Вряд ли).

Ergo: у прилагательных²² в сочетаниях типа *наша врач* не обусловлены контекстом ни значения рода (оно деривационно, т. е. словообразовательно), ни значения падежа (его нет), т. е. у таких прилагательных нет согласуемых категорий. Но прила-

²⁰ Ср.: Рукопожатие — это не кивок и не простое, между прочим, здравствуй («Нева», 1965, № 1). Конечно, *между прочим* здесь не вводные слова; пример все же спорный.

²¹ Но не единственная. См. лингвистическую литературу.

²² Конечно, в том числе и местоименных.

гательные, которые не согласуются, — это аналитические прилагательные. Не похожи на другие аналиты? Да. Недолговечны? Может быть.

Перечень прилагательной «аналит-сволочи» окончен. Все они (кроме, может быть, девятнадцатой группы) образуют единый, целостный класс слов.

Во-первых, надо доказать, что именно слов (не частиц, не приеп и т. д.). Об этом уже написано²³; главное в том, что эти единицы обладают свободной сочетаемостью — основным признаком слова. Морфемы (приставки, части сложных слов) ведут себя как части фразеологизма: значение их варьируется в разных словах так, что предсказать тот семантический кулштук, который выкинет слово в данном контексте — в данном слове, в сочетании с такими-то морфемными соседями, — как правило, невозможно. Лишь только часть слова становится семантически стабильна в сочетании с любой единицей данного типа, она перестает быть частью слова. Она дорастает до отдельного слова. Так и появляются многие аналит-прилагательные.

В этом главное: они приобретают свободную сочетаемость с рядом единиц (существительных). Свободная сочетаемость, т. е. сочетаемость с неограниченным рядом единиц, всегда обусловлена либо семантической невариативностью этой бесконечно сочетающейся единицы, либо закономерным, позиционно обусловленным варьированием значения. Таковы как раз аналиты. Они — отдельные слова. Как правило, у аналитических прилагательных как особых слов есть и второстепенные признаки.

Но прилагательные ли они? Конечно, это особый класс слов, особая часть речи, их объединяет такой признак: они все неизбежно присуществительны, т. е. они указывают признак предмета. Важно и то, что многие из них семантически «сдвинуты» по отношению к своим неприлагательным омонимам (ср.: *чудо-печка* и *не верю ни в какое чудо*; *царь-взятка* и *царь с царицей*; *академия после работы* и *педакадемия после работы кажется безлюдной*).

Изоморфен семантическому сдвигу акцентный перенос; происходит: *кинб «Путешествие»*, *кинб «Работник»*, но *кинопутешествие*, *киноработник*; *метрб «Городок»* (будь такая станция, так бы ее, несомненно, именовали в непринужденной речи, ср.: — Где купили книгу? — В киоске у метрб «Кировская»), но *Метро-городок* (трамвайная станция у городка работников метро) и т. д. О других второстепенных признаках словности, свойственных большинству прилагательных, см. в указанных уже статьях.

Поэтому целесообразно называть их аналитическими именно прилагательными.

Напротив, признаков, которые бы явно свидетельствовали о

²³ См.: М. В. П а н о в. О слове как единице языка. «Уч. зап. МГПИ», 1956, т. 1, стр. 161—162; «Русский язык и советское общество. Проспект.» Алма-Ата, 1962, стр. 52-58; «Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис», стр. 111—114.

«сволочном» прошлом этих слов (т. е. о том, что они сошлись из разных, иногда темных углов русского языка), у этих прилагательных нет. Все они носители ударения (редукции гласных нет), притом — одного ударения. Даже у прилагательных типа *так себе* = [тáк-с'иб'и] оно одно.

У некоторых заимствованных по происхождению аналитов нередуцированность гласного была показателем пришлости (*кино-, псевдо-*). Была; а теперь она показатель отдельнословности. У некоторых аналитов дополнительное ударение было свидетельством, что они — часть сложного слова (*лесо-* и пр.). Было когда-то; а сейчас это дополнительное ударение столь же дополнительно, ничуть не больше, как всякое ударение на недлинном прилагательном при существительном: обычно существительное ударнее прилагательного (впервые об этом написал, наверное, Ф. Е. Корш). Различия сгладились. Разношерстная толпа единиц стала особым и целостным классом.

Однако до сих пор немногие решаются признать, что это новый грамматический класс слов.

1. Мешает неумение разграничивать синхронию и диахронию; сознание многих языковедов все же агрессивно-диахронично. Помнят, что это «сволочь», и не видят, что она образовала новую и прочную грамматическую целостность.
2. Мешают консервативные языковые вкусы. Для многих все аналитические прилагательные — это «фи!»-слова, неполноценные однодневки. Но день-то оказался долг — и, видимо, будет длиться и длиться.
3. Мешает и орфография. Аналит-прилагательные с ней не поладили: то пишутся вместе с существительным, к которому относятся, и вроде бы не отдельные слова, то пишутся отдельно, но в несколько буквенных куп — и вроде бы несколько слов (*академия после обеда, как бы писатели, так себе роман*); все это сбивает с толку. А привычка внешность принимать за суть — неискоренима. О ней еще Бодуэн де Куртене писал, именно в связи с орфографическим самообманом у лингвистов.
4. Мешает и непродуктивность многих подгрупп в этом классе слов. Эмпирически близоруко рассматривая эти группы, размыкая их и уединяя, приходишь к выводу, что чуть ли не каждая из них мало пополняется. Упускается из виду общая картина: в целом эта группа от нуля выросла до полтораэта — двухсот хорошо уязковленных слов (не считая речевых однодневок). И выросла всего за каких-нибудь полвека. Для языка это стремительные темпы.
5. Мешает внешнее сходство у большинства аналит-прилагательных с чем-либо иным. Одни напоминают сложные слова, другие — предложно-падежные конструкции, третьи — аббревиатуры, четвертые... Наконец, есть и такие, что ничего не напоминают, и это тоже сбивает с толку (*беж, хаки*). То внутреннее

отличие, которое отделяет новые аналитические единицы от внешне похожих на них, требует теоретического осмысления, требует умения проникнуть в сущность фактов, не поддаваясь иллюзиям внешнего сходства. Легко ли?

6. А между отдельными группами — мало сходства. Чем похожи радио- и так себе-?-после обеда и проф-? со- и хаки-?-вмятку и тоже-? -два и псевдо-? Внешне ничем. А ведь всегда хочется остановиться на внешнем (ср. Брижитт Бардо).
7. Мешает старая привычка: всякие аналиты сваливать в кучу, и кучу не разбирать, а только попирать ногами: «Второстепенная-де мелочь».
8. Мешает привычка грамматическое отождествлять с морфологическим. У аналит-прилагательных с морфологическими показателями плоховато: они в лучшем случае нулевые. На то они и аналитические.
9. Мешает неумение видеть дальше одного языка, неумение русские факты сопоставлять с иноязычными. Наши аналитические прилагательные (в сочетании с существительными) однородны с английскими сочетаниями типа stone wall и с немецкими типа Steinpflaster. Это сопоставление не снимает всех спорных вопросов (английские и немецкие сочетания трактуются разными лингвистами по-разному), но поиски решения и понимание качественной «особливости» этих аналитических слов — облегчаются. Облегчались бы — если бы эти параллели принимались во внимание.
10. Мешает неумение видеть факты языка в их индивидуальности, не приравнивать их механически к фактам иных языков. В такой разнообразии форм, как в русском, в других славянских языках аналитические прилагательные отсутствуют. Боязливая оглядка на другие языковые системы не помогает уяснить каждую из них в ее своеобразии. Даже и сейчас эти преграды мешают лингвисту аналитические прилагательные признать аналитическими прилагательными. Как же трудно было в первый раз установить их особый грамматический статус! Отделить их от похожего, но качественно иного! Здесь нужна раскованность и широта теоретической мысли, нужны пронизательность и умение, отойдя от «кажимости», понять суть сложного и движущегося новшества в языке, нужна смелость в преодолении ложных лингвистических традиций и еще большая смелость в создании новых. Строгое испытание для лингвиста — эти аналитические прилагательные. А ведь, казалось бы, простая вещь ²⁴.

²⁴ Проблема аналитических прилагательных во всей ее теоретической сложности была впервые освещена в работах А. А. Реформатского, см.: «Введение в языкознание». М., 1955, стр. 226; «Введение в языкознание». М., 1960, стр. 236—237; «Упорядочение русского правописания». — РЯШ, 1938, № 1.

О ВЫБОРЕ ПАДЕЖА ПРЯМОГО ДОПОЛНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛАХ С ОТРИЦАНИЕМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Для русского языка характерна общая тенденция к постановке прямого дополнения ($D_{пр}^1$) при переходных глаголах с отрицанием (*не* $V_{пер}$) в род. пад., однако в этой позиции может ставиться и вин. пад. Многочисленные подсчеты показывают с достаточной очевидностью, что употребление род. пад. в такой позиции не только перестало быть обязательной нормой русского языка, но что, наоборот, появилась тенденция к более частому употреблению вин. пад. $D_{пр}^2$.

Анализу случаев вариативного употребления падежей в конструкциях данного типа и выяснению причин такого противопоставления посвящено большое количество работ, однако, к сожалению, истинные причины, обуславливающие оппозицию вин. или род. пад., пока не раскрыты. Нам кажется полезным для дальнейшей работы в этом направлении суммировать результаты исследований по данному вопросу и перечислить все известные в настоящее время формальные факторы, которые предположительно влияют на выбор падежа $D_{пр}$. Вполне вероятно, что, до тех пор

¹ Пограничные случаи, где появление отрицания при глаголе влияет на падеж синтаксически связанного с глаголом существительного типа: ... *не боюсь мести*, ... *не боюсь Машу*, ... *не спали двух часов*, но ... *не спал два дня* не рассматриваются, хотя, вероятно, закономерности выбора вин. или род. пад. здесь те же, что и для $D_{пр}$.

² Небольшая выборка из научно-технического текста, сделанная нами, показала, что из 1207 переходных глаголов 129 употреблены с отрицанием, из них: 83 — с род. пад. $D_{пр}$ ($\approx 2/3$), а 37 — с вин. пад. $D_{пр}$ ($\approx 1/3$); в выборке из текстов по художественной литературе — по данным Ю. В. Соловцова — на 2460 переходных глаголов с отрицанием 1630 случаев — с род. пад. $D_{пр}$ ($\approx 2/3$), 830 случаев — с вин. пад. $D_{пр}$ ($\approx 1/3$). См.: Ю. В. С о л о в ц о в. Некоторые лексико-грамматические факторы, обуславливающие выбор падежа прямого дополнения при отрицании. «Очерки по русскому языку». Киров, 1962, 99—116.

Рост употребления вин. пад. при *не* $V_{пер}$ по данным Г. Шафаревичевой: XVIII в. — 14%; XIX в. — И. С. Тургенев: 24%, Л. Н. Толстой: 27%; XX в. — А. М. Горький: 40%, «Правда», январь 1955 г.: 30% (см.: H. S a f o g e w i c z o w a. Forma dopełnienia bliźszego. «Slavia orientalis», 1959, VIII, № 4, стр. 77—109; 1960, IX, № 1, стр. 69—137).

По данным П. Рестана: «Известия» за 1918—1923 гг. — 21,7%; «Известия» за 1959 г. — 38% (см. P. A. R e s t a n. The objective case in negative clauses in Russian: the genetive or the accusative, «Scando-Slavica», 1960, VI, стр. 92—112).

пока не будет разработана такая исходная семантическая запись текста, где в эксплицитной форме будут зафиксированы семантические факторы, от которых зависит падеж прямого дополнения при не $V_{пер}$, выбрать падеж $D_{пр}$ при автоматическом синтезе текстов адекватно не удастся.

Прежде всего необходимо четко разграничить все случаи употребления вин. и род. пад. $D_{пр}$ при не $V_{пер}$. Сначала следует выделить: 1) формально обязательные случаи (= по-русски необходимо употребить один определенный падеж $D_{пр}$) и 2) формально необязательные случаи (= по-русски можно употребить любой из двух указанных падежей). В первой группе всякие чередования исключаются: употребление того или иного падежа не связано с какими-либо смысловыми различиями, а диктуется только грамматическими закономерностями русского языка. Во фразе *Книги по математике он не просматривает, а штудировует* вин. пад. $D_{пр}$ обязателен (объяснение см. ниже), а во фразе *Книги (или книг) по математике он не читает* формально правильно употребление любого падежа $D_{пр}$ (из двух возможных). В данной заметке перечислены случаи, относящиеся к первой группе. С точки зрения синтеза выбор падежа в таких случаях производится на уровне синтаксического синтеза на основании только синтаксической и морфологической информации, без обращения к информации более глубокого — семантического уровня, т. е. исходная семантическая запись текста не используется.

Вторая группа — формально необязательные случаи — в свою очередь подразделяются на семантически обязательные и семантически необязательные случаи. Для первой подгруппы адекватный выбор падежа не может быть произведен без обращения к смыслу текста. Трудность выделения случаев, в которых с точки зрения заданного смысла правильна постановка либо только вин., либо только род пад., объясняется тем, что неясно, какие именно семантические различия (часто очень тонкие и трудно уловимые!) обуславливают оппозицию падежей и какая семантическая информация необходима для адекватного выбора.

Что касается случаев, в которых оба падежа допустимы с точки зрения заданного смысла и равноценны стилистически, т. е. чистых дублетов, не обусловленных ни синтаксически, ни семантически, то их достаточно много постольку, поскольку старая норма обязательного род. пад. $D_{пр}$ разрушена, а новая находится в процессе становления.

Наиболее важное семантическое противопоставление, лежащее в основе выбора вин. или род. пад., отмечено А. А. Реформатским: «В русском языке, где нет артикля., грамматические значения определенности и неопределенности выражаются... употреблением род. пад. вместо вин. пад. при отрицании: *Я не*

вижу книгу (определенность), Я не вижу книги (неопределенность)³. Однако это противопоставление несимметрично: когда мы анализируем текст, то факт, что данное прямое дополнение стоит в вин. пад., действительно означает, что оно «определенно», но при синтезе существительное, имеющее помету об определенности, может ставиться и в род. пад.: *Он не видел эту книгу* (можно и ...этой книги). Что же касается род. пад., то он не является однозначным показателем неопределенности (с точки зрения анализа). Например, *Он не выпил вино* обычно означает только: 'Он не выпил определенную порцию вина', а *Он не выпил вина* может означать как то же самое, так и 'Он вообще не выпил никакого вина'. Таким образом, вин. пад. в данной ситуации сигнализирует наличие определенности у $D_{пр}$, а род. пад. означает не отсутствие данного признака, а безразличие к нему⁴.

Однако определенность и неопределенность не являются единственными семантическими факторами (не говоря уже о формальных факторах), обуславливающими адекватный выбор падежа $D_{пр}$, и поэтому нельзя установить однозначного соответствия: определенность $\rightarrow$ вин. пад. $D_{пр}$.

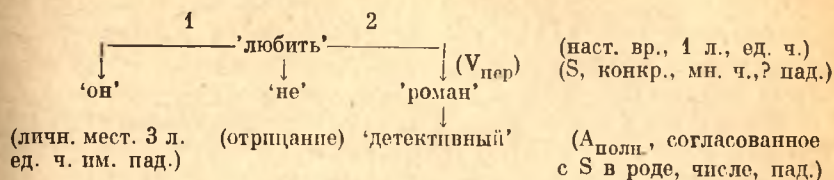
Прежде чем перечислить условия формально обязательного и факультативного выбора падежа $D_{пр}$, укажем более подробно, когда при синтезе вырабатывается помета о падеже $D_{пр}$ и каков характер используемой для этого информации. Естественно предположить, что необходимость выбора возникает на том этапе синтаксического синтеза, когда синтаксическое дерево реальной русской фразы уже построено: стрелки связывают синтаксически зависимые элементы ($V_{пер} \rightarrow D_{пр}$), а номер стрелки указывает на тип синтаксических отношений между ними (2 — первое объектное отношение). В узлах дерева помещены реальные русские лексемы с полным набором информации, необходимой для их реали-

³ А. А. Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967, стр. 298. — Мы будем понимать определенность и неопределенность приблизительно в том смысле, который вкладывает в эти термины А. А. Реформатский: «Категория, сопровождаемая определенным артиклем, в языках, где есть артикли, как правило, выражает грамматически то, что уже известно собеседникам, либо то, что у собеседников во время разговора перед глазами, либо нечто особо индивидуально. Категория же, сопровождаемая неопределенным артиклем, наоборот, показывает грамматически, что речь идет о том, что не окрашено индивидуальным, что берется в обобщенном плане и чего нет перед глазами во время данного разговора» (Там же, стр. 298).

⁴ Описываемая ситуация является частным случаем общего положения, установленного Р. О. Якобсоном, согласно которому в русском языке при противопоставлении двух грамматических категорий одна из них маркирована по некоторому признаку (в нашем случае «определенность»), а другая — не маркирована (см.: R. O. Jakobson. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. «Readings in linguistics», II. Chicago — London, 1966, стр. 51—89).

зации словоформами синтезируемой фразы; при этом графы, отведенные для указания о падеже, заполнены у всех лексем, кроме $D_{пр}$ и форм, согласованных с ним.

Пример: ⁵



Он не любит детективных романов (можно и ...романы).

Отрицание может влиять на падеж $D_{пр}$ при следующих условиях:

1. Когда оно непосредственно связано с переходным глаголом, управляющим $D_{пр}$. $V_{пер}$ может при этом быть либо вершиной дерева: *Я не пишу стихов* (или ...стихи), либо отличным от вершины узлом дерева *Я могу... не писать стихи* (или...стихов). Во втором случае вершиной может быть глагол или предикативное наречие: *нельзя, невозможно*, от которого и зависит данный $V_{пер}$: *Нельзя не признать его правоту* (или ...правоты) ⁶.

2. Когда отрицание опосредствованно (но только через форму, управляющую глаголом! ⁷) связано с переходным глаголом, от которого зависит $D_{пр}$. Здесь возможны варианты: а) отрицание стоит только при вершине дерева — глаголе, кратком прилагательном или предикативном наречии типа: *стбит, надо, следует*, от которого зависит данный $V_{пер}$. От вершины может исходить целая цепочка синтаксически связанных глаголов, где последний — переходный: *Я не могу... захотеть писать стихи; Не следует делать поспешных выводов*; б) отрицание стоит и при вершине (глаголе типа *мочь, сметь*) и при отличным от вершины узле дерева: *Я не могу не захотеть писать стихи* (ср. сноску 6).

Источниками получения информации, на основе которой вырабатывается помета о падеже $D_{пр}$ для формально обязательных и необязательных случаев (без учета семантических факторов), служат сведения, содержащиеся в синтаксическом дереве: данные

⁵ В дальнейших примерах для простоты фразы даются в линейной последовательности, хотя правильнее было бы в каждом случае сохранять указанный здесь способ записи.

⁶ Возможность чередования падежей $D_{пр}$ при таких, утвердительных по смыслу, конструкциях: *нельзя не* = ‘необходимо’; *не могу не* = ‘должен’ показывает, что формальное влияние отрицания сильнее, чем семантическое.

⁷ В остальных случаях отрицание не влияет на падеж $D_{пр}$: *Я не очень люблю писать письма; Он говорит не правду, а полуправду.*

о лексемах, стоящих в узлах дерева, их морфологических признаках и синтаксических связях, а также сведения из словаря синтеза, а именно — данные о лексической сочетаемости слов (для выбора падежа $D_{пр}$ в несвободных словосочетаниях).

Что касается обязательной и факультативной постановки того или иного падежа, то здесь провести абсолютно строгую границу невозможно. Обязательными разумно считать такие случаи, в которых чередование падежей возможно лишь крайне редко.

Ф о р м а л ь н ы е факторы, влияющие на обязательный выбор вин. пад., могут быть двух типов: А. — Частные, связанные с употреблением определенной конструкции, при которой род. пад. невозможен, и Б. — Общие, отражающие основные закономерности русского языка; выбор вин. пад. в таких случаях является следствием проявления этой общей закономерности (подробнее см. ниже табл. на стр. 261—263).

Рассмотрим более подробно вопрос о выборе падежа в несвободных словосочетаниях. Такие идиоматические словосочетания, в которые входит более двух элементов, нами специально не рассматривались, но возможность изменения у них падежа $D_{пр}$ на род. пад. при появлении отрицания маловероятна; во всяком случае во всех встретившихся нам примерах род. пад. $D_{пр}$ при появлении отрицания дал бы грамматически неправильное выражение: *принимать белое за черное, держать нос по ветру* и пр.

По отношению к выбору падежа $D_{пр}$ при появлении отрицания все несвободные словосочетания « $V_{пер} + D_{пр}$ » можно разделить на следующие группы:

1. Идиоматичные и/или устойчивые словосочетания, в которых вин. пад. $D_{пр}$ всегда остается неизменным. Словосочетания этой группы отличаются следующими особенностями: с точки зрения смысла общее значение словосочетания не равно сумме значений составляющих его компонентов: *отирать очки* = 'обманывать' (т. е. они обладают высокой степенью идиоматичности). С точки зрения формы эти компоненты обычно имеют фиксированный вид и число. В силу этого безразличное отношение к отрицанию может служить одним из признаков высокой степени идиоматичности словосочетания. В качестве $D_{пр}$ употреблены либо слова, вообще имеющие только одно число: *взять верх, снимать сливки*, либо слова, имеющие одно определенное число в данном контексте; при изменении числа $D_{пр}$ меняется смысл словосочетания: *сжечь мосты* = 'отбросить прошлое' vs *сжечь мост (через реку)*. Что касается слов, которые могут в рамках данной конструкции менять ед. ч. на мн. и соответственно сов. вид на несов., то изменения их формы не влияют на смысл словосочетания в целом: *выкинуть номер/выкидывать номера*. Словосочетания этой группы не могут иметь таких зависимых от $D_{пр}$, которые можно было бы вставить перед ним. В омонимичных им свободных словосочета-

ниях, где падеж $D_{пр}$ варьируется, у $D_{пр}$ могут появляться зависимые словоформы: *Общественность не может более закрывать глаза на истинное положение вещей с Не закрывая слезящихся глаз, старик...* Большинство таких словосочетаний относится к лексике разговорного языка, для которого вообще характерно более частое употребление вин. пад. $D_{пр}$ при не $V_{пер}$; в частности, они включают несвободные словосочетания, в которых в качестве $D_{пр}$ употреблено слово, обозначающее часть тела: *вешать нос, душить голову, заткнуть глотку, намылить шею, волочить ноги* и т. д.).

2. Устойчивые словосочетания, в которых при появлении отрицания $D_{пр}$ меняет падеж на род. К ним относятся, в частности, параметрические словосочетания, где $D_{пр}$ — абстрактные существительные, выражающие чувства и эмоции: *возбуждать — печалиться, удивление, зависть,...*; *выразить — одобрение, сожаление...*, *испытать — злость, недоверие, страх...*

3. Несвободные словосочетания, в состав которых входит отрицание; в таких случаях род. пад. $D_{пр}$ также обязателен: *не говоря худого слова, не сводить глаз, не находить себе места* ($\neq$ не + находить место). Словосочетания последнего типа должны целиком входить в словарь синтеза, а во всех остальных случаях несвободным словосочетаниям должна приписываться специальная помета об их отношении к отрицанию.

4. Для таких несвободных словосочетаний, где всегда возможно варьирование падежей $D_{пр}$., выбор следует производить по тем же критериям, что и для свободных словосочетаний.

Естественно, что выделение семантически обязательных случаев представляется более серьезной задачей, чем описание формально обязательных случаев. Однако в настоящее время не удастся выделить такие семантические факторы, которые могут быть однозначно соотнесены с формальными средствами их выражения в тексте. Проанализированные Р. О. Якобсоном⁸ общие закономерности оппозиции род. и вин. пад. показывают необходимость учета ситуации, описываемой предложением. Если понимать под определенностью в частности и то, что уже известно из контекста фразы, то исходная смысловая запись должна приписывать словам фразы сведения об определенности и неопределенности. Тогда неопределенность означала бы, что наиболее вероятно постановка $D_{пр}$ в род. пад., а определенность, что вин. пад. предпочтителен (при этом, однако, следует учитывать влияние формаль-

⁸ «Род. пад. означает отсутствие (= не наличие) предмета в ситуации, описываемой предложением. Однако если на это отсутствие не делается акцента, а напротив, указывается наличие предмета в контексте или во внеязыковой ситуации, предшествующей той, которая описана в предложении, то род. пад. после глаголов вытесняется вин. пад.» (см.: R. O. Jakobson. Указ. соч.).

ных факторов, например, в ситуации, описываемой следующим текстом: «На столе лежали две книги. Вы их не брали? *Никаких* книг я не брал»). Мы не рассматривали категории определенности и неопределенности и способы их выражения в русском языке. Однако следует отметить самое очевидное свойство этих категорий: в основном они проявляются в к о н т е к с т е, во всяком случае в русском языке, где эти категории не выражены грамматически; поэтому сведения о наличии этих категорий не могут относиться к числу исходных данных при синтезе и, естественно, не могут быть приписаны словарным единицам в словаре синтеза. Вопрос о том, каким словам и как приписывать сведения об определенности и неопределенности, относится к числу очень сложных и пока не решенных лингвистических задач, тем более для русского языка, где нет универсальных способов выражения этих категорий в отличие от языков с развитой системой артиклей.

В связи с тем, что четко определить все семантические различия, обуславливающие значимую оппозицию падежей в формально необязательных случаях крайне сложно, была сделана попытка связать эти неясные для нас семантические различия с внешними — формальными способами выражения исходных семантических особенностей. На основе анализа примеров из текстов по математике и материалов работ⁹, были выделены формальные факторы, в значительной степени предсказывающие тот или иной падеж $D_{пр}$, и описаны формально предпочтительные случаи постановки $D_{пр}$ в вин. или род. пад. (см. табл. на стр. 264—265)

Поскольку данный перечень не учитывает семантическую разницу в употреблении падежей, то он является лишь собранным воедино для дальнейшего использования «сырым» материалом. Что касается построения формальных правил адекватного выбора вин. или род. пад. $D_{пр}$ при автоматическом синтезе с использованием семантических критериев, обуславливающих значимую оппозицию падежей, то эта задача еще ждет своего решения.

⁹ Л. А. Д е р и б а с. Прямое дополнение при переходных глаголах с отрицанием.— РЯШ, 1956, № 2, 21-25; И. К о у т. Прямое дополнение в отрицательных предложениях в русском языке.— РЯШ, 1960, № 2, 27—32; А. И. Т о м с о н. Винительный падеж прямого дополнения в отрицательных предложениях в русском языке.— РФВ, 1903, XIX, стр. 192—234 (см. также сноску 2).

Случаи формально обязательной постановки Д_{пр} в вин. пад.

	Информация, необходимая для выбора падежа Д _{пр}	Условия выбора падежа Д _{пр}	Примеры
А. 1.	Данные о синтаксических связях в дереве.	Структурная удаленность Д _{пр} от отрицания, которое стоит при вершине или отличном от вершины узле — глагольной лексеме; между отрицанием и V _{пер} два или более последовательно связанных глагола. ^{1*}	<i>Я не могу Вам позволить начать писать стихи; Я не собираюсь начинать коллекционировать марки; ср.: Я не собираю марок (можно [и ... марки]);</i>
А. 2.	Данные о глагольных лексемах, стоящих в узлах дерева.	V _{пер} — глаголы с двойной предикацией (обе валентности должны быть насыщены): а) с моделью управления: кого/что/кем / чем/каким; кого/что за что (считать, полагать, находить, называть, делать); б) с моделью управления: кого/что чего / чем (лишать, удостоивать); в) с моделью управления: кого/что чем ^{2*} (обеспечивать, снаб-	<i>Я не считаю диссертацию интересной;</i> <i>Я не хочу называть эту женщину интриганткой;</i> <i>Они не лишили страну хлеба; Она не заотела удостоить девушку своим вниманием;</i> <i>Штаб не обеспечил полки оружием;</i>

Примечание:

^{1*} Если Д_{пр} — ничто или же в группе зависимых от Д_{пр} имеются никакой, ничей, ни ... ни, то возможен род. пад. Д_{пр}: *Я ничего не собираюсь начинать читать на эту тему.*

Один глагол, разделяющий отрицание и V_{пер}, для выбора падежа не релевантен. Обязательность род. пад. Д_{пр} (см. ниже) при этом сохраняется: *Я не имею денег. Я не хочу иметь денег.*

Однако, согласно подсчетам И. Рестана и др., при одном глаголе, разделяющем отрицание и собственно переходный глагол, предпочтительно употребление вин. пад. Д_{пр} (60%). Объясняется это не только тем, что ослабевает сила влияния отрицания, но также и тем, что с точки зрения смысла отрицание может относиться только к первому из двух глаголов: *Два века ссорить не хочу* (известное рассуждение А. С. Пушкина о силе влияния отрицания).

^{2*} При появлении в группе зависимых от Д_{пр} ни ... ни, ни один и т. п. вин. пад. может замещаться род. пад. Д_{пр}: *Он не смог обеспечить жильем ни [одной] женщины.*

	Информация, необходимая для выбора падежа Д _{пр}	Условия выбора падежа Д _{пр}	Примеры
А. 3.	Данные о лексической сочетаемости, полученные из словаря синтеза	жать, поить, кормить, насыщать и т. д.); г) безличные глаголы (устрашать; тошнить и пр.) а) V_{пер} и косвенное дополнение входят в состав одного и того же несвободного словосочетания: б) V_{пер} и Д_{пр} входят в состав несвободного словосочетания, у которого пад. Д_{пр} не меняется при появлении отрицания.	Ни одну улицу не замело снегом; Сестру не тошнило; Мы не сможем довести проверку до конца; Не стирайте мне очки! Не стоит морочить мне голову;
Б. 1.	Данные о синтаксических связях в дереве.	Одно и то же Д _{пр} синтаксически связано с двумя или более однородными V _{пер} в рамках той же фразы, причем отрицание стоит только при одном V _{пер} ^{3*}	Книги по математике он не просматривает, а штудирует;
Б. 2.	Данные о морфологических признаках Д _{пр} и о синтаксических связях в дереве	Д _{пр} — S _{ед. ч.} , имеющее омонимичные формы ед. ч. род. пад. и им.-вин. пад. мн. ч. ^{4*} типа: работы. В группе зависимых от Д _{пр} отсутствуют словоформы, помогающие снять омонимию: Я не читаю газеты (= ед. ч., род. пад.) может быть интерпретировано как Я не читаю газеты (= мн. ч. вин. пад.); Я не читаю эти газеты никогда.	Я не читаю газету; но: Я не читаю газет.
Б. 3.	Данные о Д _{пр}	Д _{пр} — количественное числительное ^{5*} .	Мы не будем делить десять пополам

^{3*} Постановка Д_{пр} в род. пад. нарушила бы общезыковое положение об одинаковом управлении у зависимых от однородных членов предложения. Невозможно: *Книг... штудирует.

^{4*} Постановка Д_{пр} в вин. пад. отражает общее стремление языка избежать излишней омонимии форм.

^{5*} Возможно, что обязательность вин. пад. Д_{пр} связана здесь с глаголом, действие которого может распространяться только на весь объект целиком, т. е. оттоном партиципности в принципе невозможен. Я не буду делить десять (яблоко, число множество...).

Случай формально обязательной постановки $D_{пр}$ в род. пад.

	Информация, есбходимая для выбора падежа $D_{пр}$	Условия выбора падежа $D_{пр}$	Примеры
A.1.	Данные о лексемах, стоящих в узлах дерева	а) $V_{пер}$ — <i>иметь</i> ^{1*} б) $D_{пр}$ — <i>ничто</i> ^{2*}	<i>Он никогда не имел денег; Я ничего не могу сказать по этому поводу;</i>
A.2.	Данные о лексемах, стоящих в зависимых от $D_{пр}$ или $V_{пер}$ узлах	а) В группе зависимых от $D_{пр}$ словоформ имеются лексемы: <i>никакой, ничей, ни один, ни . . . ни</i> — при однородных $D_{пр}$; б) В группе зависимых от $D_{пр}$ словоформ имеются словоформы, усиливающие отрицание: <i>даже, усиленное и, вообще и пр.</i> ^{3*}	<i>Он не хотел читать никаких книг по этому вопросу;</i> <i>Он не прочел даже одной книги на эту тему;</i>
A.3.	Данные о лексической сочетаемости, полученные из словаря синтеза	$V_{пер}$ и $D_{пр}$ входят в состав несвободного словосочетания, у которого при появлении отрицания перед $V_{пер}$ пад. $D_{пр}$ меняется на род. ^{4*}	<i>Не вызывает сомнения тот факт . . . ; Он не заслуживает доверия.</i>

Примечания:

^{1*} Во всех несвободных словосочетаниях с этим глаголом за исключением *иметь зуб, иметь руки* отрицание обязательно меняет пад. $D_{пр}$ на род.: *Понятия не имею, о чем надо говорить с ней.*

^{2*} Только в том случае, если *ничто* синтаксически связано со сравнительным оборотом так . . . как, возможен вин. пад. $D_{пр}$: *Я не люблю ничего сладкого; ср.: Ничто я не люблю так сильно, как . . .* См. выше пункт Б. 1 об однородных членах. Данный пример доказывает, что формальные факторы могут влиять на выбор падежа с равной силой. Так, синтаксические связи слов в дереве (наличие однородных членов) обладают большей силой, чем семантика $D_{пр}$ («ничто»).

^{3*} Данное правило верно и для случаев с так называемым вин. времени: *Он не прошел и восьми километров; Он не читал даже трех минут.*

^{4*} Хотя вопрос об употреблении род. пад. у форм, зависимых от непереходных глаголов с отрицанием, не рассматривался нами специально, укажем на некоторые очевидные случаи обязательной постановки род. пад. Сюда входят: пассивные конструкции, образованные от переходных глаголов, например: *Писем получено не было*; безличные предложения с переходными глаголами типа: *видеть, слышать*, например: *Не слышно шума городского . . .*; безличные предложения с возвратными глаголами, образованными от переходных глаголов типа: *иметь, давать, делать*, например: *Сведений по этому вопросу не имеется*; глагол *быть*: *нет, не было, не будет*, например: *От него не было известий*; безличные предложения с глаголом *существовать*, например: *Не существует таких правил и т. д.*

Случай формально предпочтительной постановки $D_{пр}$ в вин. пад.^{1*}

	Информация, необходимая для выбора падежа $D_{пр}$	Условия выбора падежа $D_{пр}$	Примеры
А. 1	Сведения о $D_{пр}$, полученные из словаря синтеза	а) $D_{пр}$ — одушевленное имя собственное, $A_{субст.}$ одушевленное: раненый, больная; S , обозначающие группу лиц: полк, народ и пр. б) $D_{пр}$ — $S_{конкретное}$ ед. ч. (часто сочетается с глаголом сов. вида)	<i>Я не люблю Машу; ср.: Никакой Маши я не знаю; Врач не застал больную в палате; ср.: Он не вылечил ни одной больной; Он не встретил тетку на вокзале; Они не смогли сагитировать полк солдат; Он не прочел журнал; ср.: Он не читал толстых журналов;</i>
А. 2	Сведения о $V_{пер}$, выбранные из набора грамматической информации.	а) $V_{пер}$ — в повелительном накл. б) $V_{пер}$ — сов. вида (обычно управляет $D_{пр}$ в ед. ч.) в) $V_{пер}$ входит в состав вопросительно-отрицательной фразы.	<i>Не решайте этот вопрос сами! Он не написал письмо; ср. Он не писал писем; Неужели он не решил такую легкую задачу?</i>
А. 3**	Сведения о синтаксических связях в дереве	а) Наличие в группе зависимых от $D_{пр}$ более трех последовательно связанных словоформ в род. пад. б) Наличие придаточного определительного к $D_{пр}$, вводимого союзным словом «который»	<i>X^2 не определяет абсолютные значения вероятности появления координат . . . Он не прочитал статью, которую отложили для него друзья.</i>

П р и м е ч а н и я:

^{1*} Ср. таблица частотности вин. пад. по П. Рестану (указ. соч.): средняя частотность 31% (657 из 2119 примеров); инверсия порядка слов 35%; $V_{пер}$ сов. вид — 40%; «который» 52%; V повелит. накл., 54%; $S_{конкретные}$ 56%; вопросительно-отрицательные предл. 70%; личные имена 77%. Ср. причастия и деепричастия 12%; глаголы восприятия 20%; усиленное отрицание 4%; двойное отрицание 22%; $S_{мн. ч.}$ 30%.

^{2*} Если в результате работы правил установления порядка слов при синтезе $D_{пр}$ ставится перед группой переходного глагола, то предпочтительно ставить $D_{пр}$ в вин. пад.

Случай формально предпочтительной постановки $D_{\text{пр}}$ в род. пад.

	Информация, необходимая для выбора падежа $D_{\text{пр}}$	Условия выбора падежа $D_{\text{пр}}$	Примеры
1	Данные о $V_{\text{пер}}$, взятые из словаря синтеза.	а) $V_{\text{пер}}$ — один из глаголов восприятия, мысли: <i>видеть, слышать, чувствовать, понимать, знать, помнить, замечать</i> . б) $V_{\text{пер}}$ один из глаголов с вариативным управлением, требующих либо вин., либо род. пад. $D_{\text{пр}}$ (т. н. глаголы «стремления» ^{1*}): <i>желать, жаждать, хотеть, искать, просить, требовать, заслуживать, избегать</i> и пр.	<i>Она не видела этих фильмов; ср. Она не видела эту женщину.</i> <i>Он не ждал от нее писем; ср. Он не ждал девишку.</i>
2	Данные о $D_{\text{пр}}$, полученные из словаря синтеза и данные о морфологических признаках $D_{\text{пр}}$	а) $D_{\text{пр}}$ — абстрактное или вещественное S б) $D_{\text{пр}}$ — $S_{\text{конкретное}}$ мн. ч. (обычно зависит от $V_{\text{пер}}$ — несов. вида)	<i>Он не ценил красоты.</i> <i>Он не пил вина. Он не читал таких толстых книг.</i>
3	Данные о морфологических признаках $V_{\text{пер}}$	а) $V_{\text{пер}}$ — стоит в форме деепричастия б) $V_{\text{пер}}$ — несов. вид. (обычно управляет $D_{\text{пр}}$ мн. ч.).	<i>Не получив ответа . . . ср. Не считая дачу своей собственностью . . .</i> <i>Он не ел конфет. Ср. Он не съел конфету.</i>

Примечания.

^{1*} Интересно отметить, что у глаголов «стремления» в историческом плане вариативное употребление падежей было обусловлено семантически: вин. пад. $D_{\text{пр}}$ означал, что $D_{\text{пр}}$ — «определенный» предмет, а род. пад., что $D_{\text{пр}}$ — «неопределенный». В современном русском языке смысловое различие между вин. и род. пад. в этих случаях стирается, но одушевленные существительные после таких глаголов всегда (а при появлении отрицания во многих случаях) ставятся в вин. пад., а неодушевленные — как правило, в род. пад. (см. А. А. Зализняк. Русское именное словоизменение. М., 1967, стр. 49).

Безусловно, кроме того, что разница смыслов в формах без отрицания чувствуется гораздо яснее: *ждал поезда VS ждал поезд*.

-ИЗМ и -ISMUS

**(пример материального тождества
при функциональном различии)**

Более десяти лет тому назад автор в небольшой заметке¹ обратил внимание на несоответствие между немецкими словами с суфф. *-ismus* и русскими словами с суфф. *-изм*. Поскольку эта заметка опубликована в забытом издании, служившем лишь для предварительных публикаций, позволю себе начать с повторения приведенных там фактов.

Для слова *буквализм* нет немецкого соответствия с суфф. *-ismus* (возможные переводы — *Buchstäblichkeit* и *Wörtlichkeit*, что скорее соответствует структуре русского слова *дословность*).

Слово *хвостизм*, интересное тем, что здесь *-изм* соединяется с чисто русской основой², имеет три соответствия в словаре³: *Chwostismus*, *Schwanzpolitik*, *Nachtrabpolitik*. Перевод **Schwanzismus* в немецком языке невозможен, ибо образования такого рода возможны лишь в студенческом жаргоне и, кроме того, такое стилистическое качество слова усиливает, вообще говоря, побочное, но в студенческом жаргоне главное значение слова *Schwanz*, а именно, *mentula* (впрочем, от таких ассоциаций не свободен и перевод *Schwanzpolitik*).

В немецком языке имеются полные соответствия для

классицизм — *Klassizismus*

натурализм — *Naturalismus*

реализм — *Realismus*,

однако отсутствует соответствие для *романтизм* (говорят *Romantik* или *Romantische Schule*).

В русско-немецком словаре *туризм* переводится как *Tourismus*. Однако это слово употребительно лишь в Швейцарии (где несомненно влияют французское *le tourisme* и итальянское *il turismo*). Немецкое соответствие — *Touristik* (или в австрийском варианте *Turistik*), когда речь идет об участии в пешеходных экскурсиях, и *Fremdenverkehr*, когда речь идет о посетителях из других стран.

¹ И. И. Ревзин. Суффикс-изм в переводе. «Тетради переводчика», № 1. Издание кафедры перевода 1-го МГПИИЯ. М., 1958, стр. 20-21 (стеклограф. изд.)

² См. другие примеры: В. В. Виноградов. Современный русский язык, вып. II. М.—Л., 1938, стр. 61.

³ «Русско-немецкий словарь». Под. ред. А. Б. Лоховиц. М., 1943.

Наконец там, где по-русски говорят *комизм*, *трагизм* (ситуации), *лиризм* (стихотворения) и т. п., по-немецки невозможно *der Komismus*, *Tragismus der Lage*, *der Lyrismus des Gedichts*. Нужно сказать *die Komik*, *Tragik (der Lage)*, а еще лучше *das Komische*, *Tragische (der Lage)*, *das Lyrisch-Poetische (des Gedichts)* и т. п.

Заметка ограничивалась констатацией этих несоответствий. А. А. Реформатский не только обратил внимание на эту заметку, которая казалась автору малозначительной, но со свойственной ему «охотничьей хваткой» сразу же указал, что за этими фактами должны скрываться более общие законы.

Ниже излагается попытка сформулировать отношение между *-изм* и *-ismus* в более общем виде.

Прежде всего из приведенных соответствий следует, что хотя русскому слову на *-изм* часто нет соответствия с *-ismus*, обратное верно всегда, а именно, немецкое слово с *-ismus* всегда может быть переведено с помощью русского суфф. *-изм*.

Это соответствие подтверждается и другими примерами (во всяком случае автор не нашел примера, где такой перевод был бы невозможен). Таким образом, на абстрактном уровне немецкая система оказывается как бы вложенной в русскую. Любое правило употребления *-ismus* можно переформулировать как правило употребления *-изм*, в то время как обратное неверно.

Так, для немецкого языка можно сформулировать следующее правило: суфф. *-ismus* употребляется с латинско-греческими основами для обозначения:

- 1) отдельных, как правило, овеществленных явлений в ряду сходных с ними, и тогда соответствующее слово имеет множественное число, например: *Dialektismus* — *Dialektismen*, *Konsonantismus* — *Konsonantismen*, *Organismus* — *Organismen*;
- 2) направлений в философии, искусстве, общественной жизни, если отдельный представитель данного направления оформляется словом с суфф. *-ist*. Тогда соответствующее слово не имеет множественного числа.

Поскольку соответствующее правило абсолютно [верно] и для русского языка, то мы дадим для простоты русские примеры, из которых немецкие можно получить простой транслитерацией (разумеется, надо добавить в конце *-изм*): *классицизм* — *классицист*, *натурализм* — *натуралист*, *реализм* — *реалист*, *идеализм* — *идеалист*, *фовизм* — *фовист*.

Однако в русском языке круг слов с *-изм* не ограничивается этим правилом (ср. хотя бы перечисление слов с этим суффиксом в «Грамматике иностранных слов» Н. В. Юшманова⁴). А главное, здесь необязательно действует в пункте 2 ограничение, касающееся связи с *-ист*.

⁴ Приложение к «Словарю иностранных слов». Под ред. Ф. Н. Петрова. Изд. 2. М., 1941.

Хотя и для русского языка соотнесенность *-изм* с *-ист* весьма существенна для понимания места *-изм* в русской словообразовательной системе⁵, явно имеются случаи, где эта соотнесенность отсутствует, например *реализм* при *реалист*, но *романтизм* при *романтик* (а не **романтист*).

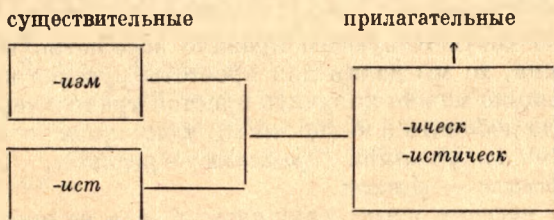
Имеется еще ряд случаев, где *-изм* соотнесен не с *-ист*, а с другими суффиксами⁶ лиц, например: *алкоголизм* (ср. *алкоголик*), *героизм* (ср. *герой*), *акробатизм* (ср. *акробат*), *идиотизм* (ср. *идиот*), *большевизм* (ср. *большевик*).

Первые два слова имеют прямые соответствия в немецком языке: *Alkoholismus*, несмотря на то, что имя лица здесь *Alkoholiker*, и *Heroismus* при имени лица *Heros* или *Heroe*. Однако эти слова очень мало употребительны и почти всегда заменяются соответственно через *Trinksucht* и *Heldentum* или *Heldenmut*.

Гораздо показательнее, что русскому *акробатизм* (или *акробат*) соответствует *Akrobatik*, а не *Akrobatismus*. Что касается соответствия слову *идиотизм*, то ему в немецком соответствует *Idiotismus* лишь в первом значении (допускающем мн. число), а именно в том, которое переводится при помощи русского *идиоматизм*. Во втором значении, которое нас здесь только и интересует, в немецком выступает слово *Idiotie*.

Наконец, паре *большевизм* — *большевик*, собственно говоря, соответствует *Bolschewismus* — *Bolschewist*. Транслитерация этого имени лица (*Bolschewik* и во множественном числе *Bolschewiki*), принятая официально, остается весьма искусственным образованием.

Итак, немецкий язык, как правило, избегает *-ismus*, если оно не поддержано *-ist*. В русском же языке *-изм* связан, по-видимому, не только с суффиксами лица существительных, но и с суффиксами прилагательных. При этом связь с прилагательными лишена однозначности: наряду с *материализм* — *материалистический* имеются пары типа *классицизм* — *классический*. Таким образом, связи суфф. *-изм* сложнее:



⁵ Ср.: В. В. Виноградов. Указ. соч., стр. 55; «Грамматика русского языка», т. I. М., 1952, стр. 225; M. Fogarasi. Материалы к истории суффиксов *-изм* и *-ист* в русском языке. «Studia Slavica», v. II. Budapest, 1956, стр. 333 и сл.

⁶ См. J. Jiráček. Přípona *-ist* v ruštině a *-ista* v češtině a polštině. «Studie ze slovanské jazykovědy». Praha, 1958, стр. 304.

Существование пропорции:

классицизм/классический = *х/романтический*

привело к заполнению пустой клетки, и сразу же возникло слово *романтизм* (одинаково частое с *классицизм* у Пушкина). По-видимому, связь с суффиксом прилагательного оказалась в русском языке более весомой, чем связь с *-ист*, которая — в отличие от немецкого языка — стала факультативной.

Более того, наличие вариативности приводит к тому, что для возникновения существительного с суфф. *-изм* становится достаточным вообще наличие прилагательного с какой-либо заимствованной (*тоталитаризм* из *тоталитарный*) или даже квази-заимствованной основой (таково возникновение *буквализм* из *буквальный*, ср. *буква*).

Это обстоятельство приводит к наиболее существенному различию между *-ismus* и *-изм*. Немецкий суфф. *-ismus* является суффиксом *к л а с с и ф и ц и р у ю щ и м*, и только *к л а с с и ф и ц и р у ю щ и м*: при его помощи из одного существительного (например, имеющего суфф. *-ист*) создается другое с другим значением — но в пределах класса существительных (это же свойство *-ismus* сохраняет и в первом из приведенных значений).

Русский суфф. *-изм*, кроме того, является суффиксом *т р а н с п о н и р у ю щ и м*, переводящим слова из одной части речи, а именно, из прилагательных в другую — при полном сохранении семантики. Эта транспонирующая функция становится основной в примерах типа *трагизм ситуации* (ср. *ситуация трагична*) или *лиризм стихотворения* (*стихотворение лирично*). Здесь *-изм* приобретает ту функцию, которая является основной для имен действия и имен свойств⁷.

Здесь *-изм* успешно конкурирует с суфф. *-ичность*, который материально ближе к соответствующему суффиксу прилагательного, ср. *трагичность*, *комичность* (ситуации). Предпочтение, оказываемое в ряде случаев суфф. *-изм*, может объясняться краткостью последнего⁸. Если это верно, то здесь ясно проявляется еще одно отличие *-изм* от *-ismus*. Немецкий суффикс не только двусложен (двусложен и *-изм* в косвенных падежах), но и несет на себе второстепенное ударение.

Во всяком случае суфф. *-ismus* лишен транспонирующей функции, и именно в этом его функциональное отличие от русского *-изм*.

Отмеченный «гомоморфизм» в отношении систем значений немецкого и русского суффикса (своеобразная вложенность первой

⁷ Анализ этой группы слов см: О. Г. Р е в з и н а. Структура словообразовательных полей славянских языков. Изд. МГУ, 1969.

⁸ Я. Малькиль видит именно в выразительности кратких форм типа *ход* (ср. *хождение*) причину их распространенности в поэзии, ср.: Y. Malkiel. Genetic analysis of word formation. «Current Trends in Linguistics» v. III. The Hague, 1966.

во вторую) может оказаться существенным и для выяснения направления заимствования: поскольку заимствуются слова, а не правила их образования, то естественно ожидать, что в заимствующем языке эти правила будут менее строгими.

Поэтому внутренними соображениями можно подтвердить тот факт, что многие из соответствующих слов приходили через немецкий язык. С другой стороны, наличие более тесной связи *-изм* с соответствующими суффиксами прилагательных может объясняться обилием заимствований из французского языка, где эта связь была, по-видимому, более сильной.

Так или иначе заимствованный суффикс не только развил высокую степень продуктивности вплоть до присоединения к исконно русским основам, но и оброс оригинальной системой значений, резко отличающих его от материально тождественной ему единицы.

В. Ю. Розенцвейг

ОБ ОДНОМ ТИПЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

«Именно в области синтаксиса возникает момент сообщения, коммуникации»

А. А. Реформатский¹

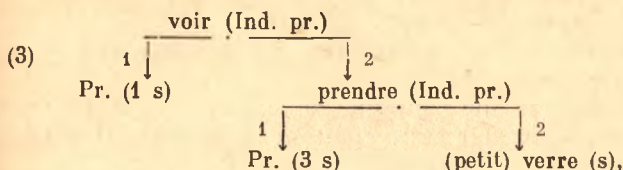
Носители русского языка, усваивающие французский язык, строят без видимых затруднений французские предложения типа (1) *Je vois qu'il prend un petit verre* 'Я вижу, что он берет стаканчик'², в то время как соответствующие инфинитивные предложения (2) *Je le vois prendre un petit verre* даются им лишь после длительной устной практики французской речи. Нетрудно догадаться, что подобная разница в запоминании и спонтанном употреблении правил порождения предложений (1) и (2) связана с тем, что правила первой из них совпадают с соответствующими правилами русского синтаксиса, инфинитивных же предложений типа (2) в русском языке нет. Оставляя в стороне вопрос о психологической сущности такого рода интерференции, относящийся к компетенции психологии, хотелось бы наметить здесь лингвистическое

¹ А. А. Реформатский. Введение в языковедение. М., 1968, стр. 324.

² Французское предложение может означать также 'Я вижу, что он выпивает рюмку', но на уровне грамматической абстракции это различие в значении нерелевантно.

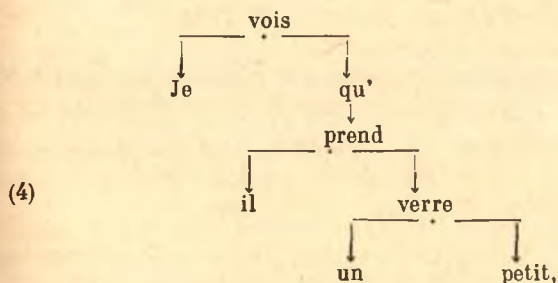
описание рассматриваемого отклонения от нормы французского синтаксиса.

Предложения (1) и (2) являются поверхностно-синтаксическими вариантами одной и той же глубинной структуры, которую можно представить следующим образом:

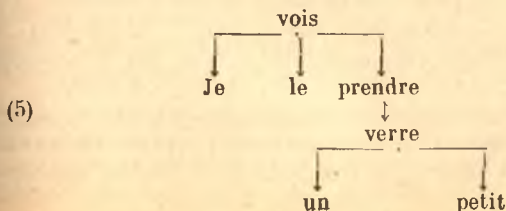


где Pr (1 s) обозначает личное местоимение соответствующего лица, s — ед. число, Ind. pr. — настоящее время изъявительного наклонения, а стрелки указывают на синтаксические отношения между словами — субъектное (стрелка 1) и объектное (стрелка 2).

Рассмотрим следующий вопрос: какими правилами должен владеть воспринимающий конструкции (1) и (2), чтобы обнаружить в них синтаксическую структуру (3)? Легко доказать, что правила анализа конструкции (1) значительно проще сформулировать, чем правила анализа конструкции (2). В самом деле, если полагать, что описание строится в терминах грамматики зависимостей, т. е. что конструкция (2) изображается деревом



то очевидным станет, что для перехода от такого дерева зависимостей к структуре (3) достаточно задать правило замены способов обозначения грамматических связей, свойственных французскому языку, глубинным их представлением, лишенным «идиоматичности». Что касается конструкции (2), то для перехода от его дерева зависимостей



Чтобы дать представление о сложности таких правил, приведем следующие типичные предложения:

- (6) Je veux chanter 'Я хочу петь'
- (7) J'entends chanter 'Я слышу, что поют'
- (8) J'entends chanter un chansonnier 'Я слышу, что поет шансонье'
- (9) J'entends chanter une chanson 'Я слышу, что поют песню'
- (10) Je m'entends chanter cette chanson à Robert 'Я слышу, что я пою эту песню Роберту'
- (11) Je m'entends chanter cette chanson par Robert 'Я слышу, что Роберт поет мне эту песню'
- (12) Je m'entends chanter cette chanson 'Я слышу, что я пою эту песню', 'Я слышу, что мне поют эту песню'.

(13)

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{vouloir (Ind. pr.)} & \\
 1 & \text{-----} & 2 \\
 & \text{chanter} & \\
 & \downarrow & \\
 & 1 & \\
 \text{Pr (1 s)} & \text{-----} & \text{Pr (1 s)}
 \end{array}$$

(14)

entendre

1 ↓ ↓ 2

Pr (1 s) chanter

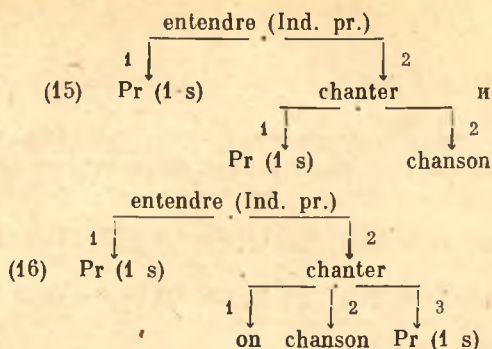
1 ↓

on

Конструкции (8) и (9) на поверхности синтаксически также идентичны, между тем в (8) действующим лицом является *championnier*, а в (9) — неопределенное лицо. Для того, чтобы при анализе обнаружилось это различие, требуется использование сведений о значении *chansonnier* и *chanson*.

272

Конструкция (12) омонимична. Ей могут соответствовать две разные глубинные структуры:



Чтобы выявить, какую из них имел в виду говорящий, т. е. разрешить омонимию и понять сообщение, требуются контекстуальные сведения. Сказанное о (12) верно и для случаев, когда в конструкциях этого типа инфинитив дополняется придаточным предложением, вводимым союзом *que*. Ср:

(17) *Je m'entends chanter que la vie est belle* 'Я слышу, как я пою, что жизнь прекрасна' и 'Я слышу, как мне поют, что жизнь прекрасна'.

Заметим, что в (12) и (17) омонимия возникает, лишь если глагол в инфинитиве имеет три валентности, если же он одновалентен или двувалентен, то омонимии не возникает. Ср.:

(18) *Je m'entends descourir que la vie est belle* 'Я слышу, как я разглагольствую, что жизнь прекрасна'.

Ясно, что рассматриваемые правила анализа должны строиться с учетом валентности глагола в инфинитиве.

Уже из приведенных примеров видно, что для анализа инфинитивных конструкций требуются многочисленные, нерегулярные и специальные правила, использующие сведения о синтактико-семантических свойствах глагольного слова, вводящего инфинитивное предложение, глагола в инфинитиве, а в некоторых случаях и контекстуальные сведения³.

Сложны также и правила синтеза. Укажем хотя бы на то, что переход от глубинной структуры типа (3) к поверхностной конструкции далеко не всегда допускает вариацию: придаточное предложение с глаголом в личной форме — инфинитивное предложение.

³ Правила анализа французских инфинитивных конструкций, насколько нам известно, еще не сформулированы. Описание этих конструкций в терминах трансформационной грамматики см.: M. Grass. *Grammaire transformationnelle du français. Syntaxe du verbe*. Paris, 1968.

Так, грамматично

(19) Je dis qu'il part 'Я говорю, что он уезжает', но не

*Je le dis partir

(20) Je le laisse partir 'Я даю ему уехать', но не *Je laisse qu'il part

(21) Je peux partir 'Я могу уехать', но не *Je peux que je parte.

Если же допускается вариация, то выбор правила порядка слов в инфинитивном предложении может зависеть от синтактико-семантических свойств глагола, управляющего инфинитивом. Ср.:

(22) J'ordonne de lui acheter un billet 'Я приказываю купить ему билет' и

(23) Je lui ordonne d'acheter un billet 'Я ему приказываю купить билет'.

Из сказанного можно, казалось бы, сделать вывод, что интерференция, о которой говорилось в начале этой заметки, лингвистически моделируется следующим образом. При построении на французском языке высказывания, эквивалентного по смыслу русскому высказыванию

(24) *я вижу, что он берет стаканчик*

носитель русского языка, не овладевший сложными правилами построения французского инфинитивного предложения

(25) Je le vois prendre un petit verre,

непосредственно переходит от русского предложения к французскому

(26) Je vois qu'il prend un verre.

Попросту говоря, отклонение от норм французского синтаксиса происходит под влиянием синтаксиса родного языка.

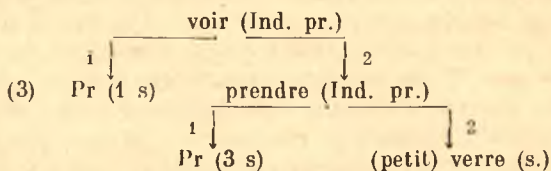
Подобное описание представляется нам неадекватным по следующим соображениям:

(а) оно подходит к процессу интерференции лишь со стороны говорящего — двуязычного индивида, строящего высказывание на не усвоенном им неродном языке. Тот, кому предназначено высказывание, собеседник, остается вне описания. Между тем не только общелингвистические положения, но и то, что известно о социальных условиях общения при языковых контактах, требует, чтобы интерференция лингвистически описывалась как явление речевой коммуникации.

(б) При описании интерференции исключительно со стороны говорящего учитываются лишь отклонения от нормы неродного языка. Между тем, как показывают наблюдения, в процессе языковых контактов, взаимного приспособления говорящего и слушающего происходит переустройство не только неродного, но и родного языка двуязычного индивида.

(в) Если интерференцию описывать лишь со стороны синтеза речи на неродном языке, то окажется неясным, есть ли и какая именно связь между синтезом (говорением) и анализом (пониманием), между правилами, по которым двуязычный индивид строит высказывание на неродном языке, и правилами анализа, которые он усваивает в ходе общения с носителем этого языка. Так, например, окажется непонятным, при подобном описании, каким образом носитель русского языка понимает французские инфинитивные конструкции, не имеющие своего соответствия на русском языке.

Описание синтаксической интерференции целесообразно, на наш взгляд, начать с изменения правил построения высказывания на родном языке, в нашем случае — на французском. Сущность этого изменения состоит в упрощении правил перехода от глубинной структуры, общей двум языкам по способу представления синтаксических отношений, к поверхностным конструкциям, оформляющим эти отношения по правилам лишь одного из контактирующих языков. Крайним случаем такого упрощения будет линейное развертывание глубинной структуры в поверхностную конструкцию с фиксированным порядком слов. Так, например,



будет оформлено в предложение

(27) *Moi voir lui prendre petit verre.

При определенных социальных условиях протекания процесса контактов и резком различии в строе контактирующих языков возможность максимального упрощения становится реальной. Так, предложения типа (27) являются нормальными во франкокреольских языках. Известно также, что сходная «ломаная» речь часто слышится и при столкновении носителей «культурных» языков. Синтаксически она столь же универсальна, сколь и мимика и жесты, сопровождающие ее.

Упрощение правил может быть и не предельным, не исключать полностью морфологические способы оформления синтаксических связей. Так, если предположить, что в речи носителя французского языка, контактирующего с носителем русского языка, сохраняются предложения типа

(28) Je vois

(29) il prend un petit verre,

то включение в его синтаксис правил построения фраз типа

(1) Je vois qu'il prend un petit verre

и исключение правил построения соответствующего инфинитивного предложения окажется значительным упрощением синтаксиса, несмотря на то, что в нем сохраняется правило, предусматривающее парадигматическое изменение глагола *prendre*.

Более того — и это особенно важно заметить, — упростив правила синтеза на родном языке говорящего, мы тем самым упрощаем правила анализа на неродном языке слушающего. В самом деле, если мы из нашего описания речи носителя французского языка исключили правила построения инфинитивных предложений, оставив лишь правила построения соответствующего ему по смыслу придаточного, то мы, естественно, не включим правил распознавания французских инфинитивных конструкций носителем русского языка, воспринимающим французскую речь, — они ему не нужны. С другой стороны, мы не можем включить в описание его французского синтаксиса и правил синтеза инфинитивных конструкций: не воспринимая таких предложений, он не может вывести и усвоить правил их построения. В его речи на французском языке, как и в речи контактирующего с ним носителя французского языка, не будет, следовательно, свойственной французскому синтаксису вариаций придаточного с глаголом в личной форме и инфинитивного предложения. Соответствующие синтаксические отношения будут оформляться лишь предложением типа

(1) Je vois qu'il prend un petit verre.

Рассмотренная здесь синтаксическая интерференция является отклонением от нормы французского литературного синтаксиса, его упрощением. Подобную интерференцию можно назвать скрытой, в отличие от явной синтаксической интерференции, приводящей к нарушению грамматических правил.

Лингвистическое описание синтаксической интерференции разумно, видимо, моделировать как процесс обучения и самообучения контактирующих между собой людей — носителей разных языков, их вынужденное и конечно же неосознанное стремление найти общий язык. Упрощение, о котором здесь говорилось относительно инфинитивных конструкций, представляет собой поиск пути к подобному оптимальному языку-посреднику. Конкретное протекание этого процесса зависит, в конечном счете, от социально-исторических условий контактов.

К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРЯТЯЖАТЕЛЬНЫХ СУФФИКСОВ В ТЮРКСКИХ И УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

Происхождение притяжательных суффиксов в тюркских и уральских языках представляет большой теоретический интерес. Оно интересно в плане типологическом, поскольку притяжательные суффиксы чаще являются атрибутом определенного языкового типа, в плане историческом, системном и, наконец, в плане чисто типологическом, помогающем раскрыть некоторые особенности архаического человеческого мышления.

Прежде всего возникает вопрос, почему притяжательные суффиксы чаще всего встречаются в языках агглютинативного типа. Правда, здесь имеются и некоторые исключения, например, притяжательные суффиксы известны семитским языкам, они существуют даже в некоторых диалектах новогреческого языка. Однако для языков иного морфологического типа они не характерны, тогда как трудно найти агглютинативный язык, в котором бы не было притяжательных суффиксов.

Появление притяжательных суффиксов в агглютинативных языках, по нашему мнению, находится в прямой зависимости от их двух особенностей — первоначального отсутствия родительного падежа и так называемого суффиксального тонуса: в агглютинативных языках есть суффиксы, но нет префиксов. Наличие префиксов в некоторых финно-угорских языках, например в эстонском и венгерском, возникло под влиянием индоевропейских языков.

Наличие суффикса родительного падежа могло бы быть очень удобным средством для образования притяжательных местоимений от основ личных местоимений. Когда в тюркских и уральских языках появился суффикс родительного падежа, они стали широко использовать этот способ, ср. татарск. *без-нең* 'наш' от *без* 'мы', *сез-нең* 'ваш' от *сез* 'вы', финск. *minu-n* 'мой' от *minä* 'я', *sinu-n* 'твой' от *sinä* 'ты' и т. д. Но первоначально суффикса родительного падежа в этих языках не было. В тюркских и уральских языках древнейшей поры отношение принадлежности могло выражаться путем соединения способом примыкания двух имен существительных, как это имеет место в некоторых современных кельтских языках, например в бретонском и валлийском, ср.: бретонск. *repp ann dragon* 'голова дракона' (букв.: 'голова дракон'), валлийск. *capten y llong* 'капитан корабля' (букв.: 'капитан корабль'). В современных обско-угорских языках — хантыйском и мансийском — этот древний способ выражения принадлеж-

ности сохранился лучше всего, ср.: манс. *jā wata* 'берег реки', хант. *johan хопә* 'берег реки' (букв. 'река берег').

При первоначальном отсутствии суффикса родительного падежа, конечно, трудно было создать притяжательные местоимения. Их можно было бы создать путем присоединения к основам личных местоимений какого-нибудь префикса. Такой способ образования, действительно, в некоторых тюркских и финно-угорских языках встречается, ср.: татарск. *мине-ке* 'мой', *сине-ке* 'твой' и т. д., финск. *mei-kā-läinen* 'наш, один из наших' и т. д.

В настоящее время, однако, признано бесспорным предположение о генетическом единстве личных местоимений и притяжательных суффиксов в уральских языках. Ниже мы восстанавливаем древнейшую систему притяжательных суффиксов в уральских языках:

1л. *-*mγ*¹

2л. *-*tγ*

3л. *-*sγ*

Элемент *m* содержится в формах личных местоимений 1-го лица, ср. удм. *м-он*, финск. *m-inä*, коми-зыр. *ме* 'я' и т. д., элемент *t* также содержится в формах 2-го лица ед. числа, ср. удм. *т-он* 'ты', коми-зыр. *те*, финск. *s-inä* (из *t-inä*) 'ты' и т. д. и, наконец, элемент *s* содержится в формах личных местоимений 3-го л. ед. числа, ср. удм. *с-он* 'он', коми-зыр. *с-ийö* 'он' и т. д.

ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ

1л. -*m*

2л. -*η*

3л. -*i(-y)*, -*si(-sy)*

Элемент *m* также содержится в формах личных местоимений 1-го лица ед. ч., ср. татарск. *мин*, азерб. *ман* 'я', казахск. *мен* 'я' и т. д. Происхождение других форм не выяснено с достаточной ясностью. В таком случае остается предположить, что притяжательные суффиксы в вышеуказанных языках развились из словосочетаний типа *дом я*, *дом ты*, *дом он* > *мой дом*, *твой дом*, *его дом* и т. д.

Однако такое предположение, несмотря на всю его заманчивость, маловероятно. В некоторых современных тюркских и уральских языках, действительно, встречаются подобные сочетания, но они имеют совершенно другое значение. Личные местоимения, находящиеся в постпозиции, обычно выполняют роль глагола связи, ср.: казахск. *мен аңшы-мын* 'я охотник', *сен аңшы-сын* 'ты охотник' и т. д.

¹ Знаком *γ* нами обозначается трудно определяемый гласный.

Следовательно, такой путь развития притяжательных суффиксов не был естественным. Непосредственно притяжательные суффиксы из личных местоимений развиться не могли. Остается допустить, что притяжательные суффиксы образовались в тот период исторической жизни уральских и тюркских языков, когда личных местоимений еще не было, а было нечто совершенно другое.

Материалы уральских языков наглядно свидетельствуют о том, что отношения принадлежности возникли в результате переосмысления первоначальных пространственных отношений. Это может быть доказано тем, что некоторые притяжательные суффиксы и указательные местоимения содержат одни и те же элементы.

Так, например, в пермских указательных местоимениях обнаруживается два элемента *t* и *s*. Элемент *t* служит для обозначения ближнего локального плана, например: *m-айō* 'этот' (находящийся ближе к собеседнику), *m-ан* 'здесь', *m-ат* 'по этому месту', *m-атысь* 'отсюда', *m-атчō* 'сюда', тогда как элемент *s* обозначает более дальний локальный план, например: *s-ийō* 'тот' (находящийся на известном расстоянии от говорящего), *s-ен* 'там', *s-ет* 'по тому месту', *s-есь* 'оттуда'. Те же элементы *t* и *s* содержатся в формах притяжательных суффиксов 2-го и 3-го лица ед. числа, ср. коми-пермяцк. *вож-ыт* 'твой брат', *вож-ыс* 'его брат'.

Учитывая эти обстоятельства, нетрудно уяснить, что понятие 'мой' развилось из понятия 'ближе всего ко мне лежащий', понятие 'твой' — из понятия 'лежащий немного подальше от меня', и понятие 'его' — из понятия 'наиболее от меня удаленный'.

Следовательно, для выражения отношений подобного рода к именам существительным присоединялись не личные местоимения, а указательные местоимения, способные обозначать различную пространственную градацию, например 'мясо, лежащее ближе ко мне', позднее 'мое мясо' и т. д.

На базе этих указательных местоимений и развились притяжательные суффиксы. На базе этих же указательных местоимений уже по особой линии развития позднее оформились личные местоимения.

Любопытно отметить, что притяжательные суффиксы первоначально не имели числовых различий. Если попытаться восстановить древнейшую систему притяжательных суффиксов в уральских языках, то она будет выглядеть примерно таким образом:

- 1 л. **-m* (γ)
- 2 л. **-t* (γ)
- 3 л. **-s* (γ)

То же самое можно сделать и применительно к системе притяжательных суффиксов тюркских языков:

- 1 л. **-m*
- 2 л. **-γ*
- 3 л. **-i* (-y), *-si* (-sy)

Некоторые языковеды, как например И. Я. Марр, объясняли это тем, что первобытный человек вообще не выделял себя из коллектива. Вряд ли это было так. Отсутствие числовых различий скорее всего свидетельствует о том, что первобытного человека интересовала не абстрактная множественность предметов, а скорее собирательная множественность предметов определенного качества. Только этим, например, можно объяснить значительное количество древних суффиксов собирательной множественности, обнаруживаемых в различных уральских языках. Позднее в уральских языках множественность объектов обладания стала выражаться в уральских языках особым показателем *-n*.

- 1 л. *-n-mʏ*
- 2 л. *-n-tʏ*
- 3 л. *-n-sʏ*

В тюркских языках никакого особого показателя множественности объектов обладания в составе притяжательных суффиксов не обнаруживается.

Очевидно, в еще более позднюю эпоху у притяжательных суффиксов появился показатель множественности субъектов обладания, в результате чего в уральских и тюркских языках оформились особые формы притяжательных суффиксов множественного числа.

УРАЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ

Ед. число

Мн. число

- 1 л. *-mʏ*
- 2 л. *-tʏ*
- 3 л. *-sʏ*

- mʏk*
- tʏk*
- sʏk*

ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ

Ед. число

Мн. число

- 1 л. *-m*
- 2 л. *-ŋ*
- 3 л. *-i(-y), -si (-sy)*

- miz*
- niz*
- i (-y), -si (-sy)*

Трудно сказать, откуда возникли показатели множественности субъектов обладания. Есть некоторые основания предполагать, что первоначально они были показателями двойственного числа, позднее переосмысленного как множественное число. Возникли они, вероятнее всего, в системе личных местоимений и уже отсюда проникли в систему притяжательных суффиксов.

В финно-угорских языках можно найти слова, обозначающие парные предметы, в составе которых обнаруживается формант *k-*. В настоящее время этот формант уже прочно вошел в основы

слов и может рассматриваться только как десемантизованный детерминатив. Вот эти слова: фин. *jal-k-a*, эст. *jal-g* 'нога' (перв. 'две ноги'), венг. *gyalo-g* 'пешком', эрзя-морд. *ял-го* 'пешком' (из *ялг-го*), фин. *ol-k-a* 'плечо' (перв. 'два плеча'), фин. *kyl-k-i* 'бок' (перв. 'два бока'), фин. *ken-k-ä* 'ботинки' (перв. 'два сапога'), ср. эрзя-морд. мар. *кем* 'сапог', эрзя-морд. *пиль-г-е* 'нога' (перв. 'две ноги'), коми-зыр. *ко-к* 'нога' (перв. 'две ноги'), арх. манс. *ме-г-и* 'мы двое', совр. манс. *мен* 'мы двое', венг. *kő-puő-k* 'локоть' (перв. 'два локтя'), хант. вах. *н'ылэ-ү* 'восемь' (перв. 'две четверки'), манс. *киты-г* 'двойка, пара' и т. д.

Сюда же, по всей видимости, относится элемент *k*, встречающийся в финно-угорских названиях числительного «два», ср.: фин. *ka-k-si* (*ka-h-te*), коми-зыр. *кы-к*, эрзя-морд. *кавто* (из *ка-ү-to*) и т. д.

Древний показатель двойственного числа *k*, по-видимому, позднее утратился, совпав с показателем собирательной множественности *k*. Слова, содержащие этот показатель, были переосмыслены как слова единственного числа, ср. фин. *jalka* 'нога', коми-зыр. *кож* 'нога' и т. д., хотя в некоторых контекстах они не могли иметь значение двойственного числа.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что древнеуральские личные окончания 1-го и 2-го лица множественного числа первоначально выражали двойственное число, которое позднее было переосмыслено как множественное.

Поразительный параллелизм обнаруживается также в истории развития личных окончаний 1-го и 2-го лица множественного числа в тюркских языках, ср. ед. число: 1 л. *-mi-n* (*-my-n*), 2 л. *-si-n* (*-sy-n*); мн. число: 1 л. *-mi-z* (*-my-z*), 2 л. *-si-z* (*-sy-z*).

Элемент *z* в составе личных окончаний 1-го и 2-го лица множественного числа тоже можно рассматривать как древний суффикс двойственного числа, поскольку и он обнаруживается в составе слов, обозначающих парные предметы, ср. тур. *göz* 'глаз' (перв. 'два глаза'), татарск. *kü-z*, каз. *kö-z*, ногайск. *kö-z*, узб. *kö-z* 'глаз' и т. д.; тур. *omu-z* 'плечо' (перв. 'два плеча'), тур. *iki-z* 'двойня, близнецы', каз., татарск. *mügə-z* 'рог, рога' (перв. 'два рога') и т. д. Личные окончания 1-го и 2-го лица множественного числа в тюркских языках *-miz* и *-siz* также когда-то были личными окончаниями двойственного числа, позднее переосмысленного как множественное.

Притяжательные суффиксы наложили особую специфику на грамматический строй тюркских и уральских языков. С помощью притяжательного суфф. 3-го лица в тюркских языках довольно рано образовалась так называемая изафетная конструкция, которая в древности, очевидно, долго заменяла более позднюю конструкцию с родительным падежом, да и сейчас она сильно ограничивает сферу употребления родительного падежа. В уральских языках, за исключением венгерского, особого развития изафет-

ная конструкция не получила. В некоторых уральских языках, например в пермских и марийском, притяжательный суфф. 3-го лица ед. ч. приобрел артиклевые функции, функцию определенного артикля. В среде тюркских языков этой особенностью обладает в наиболее ярко выраженной форме только чувашский язык.

Н. И. Толстой

НЕ — не 'НЕ'

Да будет слово ваше «да, да» — «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого (Мф. V, 37). А тут лукавый попутал.

Для нас привычно, что *не* всегда значит 'не', всегда — отрицание, указание на отсутствие свойства, качества, действия или на противоположность, полярность. Нам кажется, что славянское *не* (*nie*, *ně* и т. п.), во всяком случае в словообразовательном аспекте, — одна из форм проявления языковой универсалии — отрицания, свойственного всем языкам мира. И это наше представление, безусловно, правильно¹. Тем интереснее оказываются немногочисленные случаи, когда *не* в русских говорах и литературном языке выполняет другую функцию, выступает в ином значении. В каком? И почему?

Случаи, когда *не* не означает отрицания — разнородны, но в основном они сводятся к трем моментам: а) ироническому, б) табуистическому, в) усиливающему (но не отрицающему). Между этими моментами можно установить некоторую связь, но правильнее было бы говорить об их принципиальном различии, обнаруживаемом и в синхронно-функциональном, и в генетическом плане.

А. Ироническое *не*. Это *не* — самое понятное для нашего языкового сознания и самое употребительное. В. И. Чернышев приводит свои записи из владимирских говоров *А би выпить-та не любит!* и поясняет «очень любит!» (Черн., стлб. 27). Однако такое мы можем найти и в литературном употреблении у интеллигентных носителей русского языка. В той же Владимирской губернии В. И. Чернышев записал *За это вам будет неплохо!* (т. е. 'достанется'), (Черн., стлб. 27), что полностью соответствует смоленскому *Аббим нам будить ня плоха, як пыймають у горбси*

¹ Русскому *не* посвящена интересная работа В. И. Чернышева «Отрицание „не“ в русском языке» («Словарь русского языка», т. VIII, вып. 1. Изд. II Отд. АН СССР. Л., 1927, приложение. — Мною из этого приложения заимствована часть примеров).

(Добр. СОС, 494). Аналогичного характера, видимо, употребление наречия *нявольна* в смоленском выражении *За вумный свикровую погулять нявольна* ('свободно можно погулять') (Добр. СОС, 494). Примеры показывают, что *не* в таких случаях связано преимущественно с глаголами и наречиями и, что более существенно, — с определенным контекстом и конкретной внеречевой ситуацией. Отдельно, изолированно взятые слова *нелюбить*, *неплохо* (*няплоха*), *невольно* (*нявольна*) не означают 'любить', 'плохо', 'вольно'. Эта связь с контекстом и ситуацией остается и при случае, если глагол или наречие заменить существительным типа *непьющий* (здесь, однако, субстантивированное причастие), *непьяница*, или *неалкоголик*²: *Он, ведь, непьющий!* (о человеке любящем выпить), что по сути дела равно антониму *трезвенник* — *Он, ведь, трезвенник!* (о том же человеке). Подобные примеры употребления антонимов в иронических целях нередки, и мы их постоянно встречаем в повседневной речи и жизни.

Б. Табуистическое не. Случаи табуистического употребления антонимов многочисленны и довольно хорошо отражены в этнографической литературе. Д. К. Зеленин отмечает, что «русские на р. Тереке, исходя из соображения, что сказать дитяти какую-нибудь похвалу — значит сглазить его, вместо «здоровый ребенок» говорят: *больной*; вместо «красивый» — *дурной*; вместо «трудолюбивый» — *лентяй*» (Зел. II, 29, со ссылкой на П. Семенова)³.

Несколько иная задача ставится при табуистическом употреблении отрицания *не* в случае называния сербами рогатой гадюки — *непоскок*, которую обычно зовут *пдскок*. Важно помнить при этом, что в сербском языке существует и омоним *пдскок* 'прыжок вперед'. Именно по способности нападать прыжком на человека рогатая гадюка получила свое имя. Наделить ее другим именем, лишаящим ее возможности совершать разящий скачок, именем, «которое своим содержанием способно воздействовать на поведение называемого им существа» (Зел. II, 45) — такова цель прибегающего к табуированию.

Того же рода и смоленское *нячорт* 'черт', *никайнный* 'то же', появившееся из опасения вызвать чёрта, называя его по имени и равносильное в табуистическом отношении таким антонимистическим названиям чёрта, как орловское *святоша* (Даль IV, стлб. 96) и мн. др. (см. богатейшую коллекцию примеров у Д. К. Зеленина II, 97—99). На Смоленщине говорят: *Нячорт тябе нёс на дирёвый мост* или *Никайнный* (= 'окаянный, чёрт') *мине змустіѣ* (Добр. СОС, 484).

² Правда, такие сочетания вне предикативного употребления неустойчивы и не свойственны русскому языку.

³ См. также богатое собрание южнославянских запретов хвалить ребенка, человека, скот и т. п. из-за опасности сглазить в кн.: Т. Ё р ђ е в и њ. Зде очи у веровању Јужних Словена. — СЕЗБ, LIII, Београд, 1938.

Сюда же следует отнести карпатское бойковское *ниворіг*, *неворіг*, *неворог* 'враг', 'открытый враг', очевидно, также со значением 'чёрт' (с. Горішній Дзвиняч, с. Хащів — Оныш. БС. со ссылкой на Ю. Кмита и С. Охримовича). Ср. сербское *враг* 'чёрт', великорусское диалектн. *враг*, *вброд* 'то же' и т. п. Наконец, есть все основания предположить, что по этому же принципу создан (бурсаками, дьячками, попами?) украинский демонологический термин *анциболот*, *анциболотник*, *анцибол* (Гринч. I, 8), что должно было иметь табуистическую внутреннюю форму 'не чёрт' (о названиях чертей по месту их жительства и соответствующей в связи с этим чертовской иерархии см. примеры в кн. Тол.). Предположение Д. К. Зеленина, данное, правда, под вопросом, о том, что в первой части слова «надо видеть *антий анти* (*христ*)» (Зел. II, 95), нам кажется менее вероятным.

Не столько табуистического, сколько магического характера оказывается *не* (*ни*) в системах счета: *ниодин*, *нидва*, *нитри...* (=один, два, три...), известных у гуцулов (в ночь на Ивана Купалу, ср. тогда же чтение христианских молитв с отрицанием *не* перед каждым словом), у украинцев бывш. Херсонской губ. (при счете людей, живности и хлебных изделий), у украинских детей на Черниговщине (при детских играх), на Полтавщине в народной медицине и др. (подробнее см. Зел. I, 85—87). Поскольку у поляков сохранилось верование, что разные особи нечистой силы (например лесные «дикие люди») пользуются человеческими словами с отрицанием, не исключена возможность, что в ряде случаев употребление слов *нечерт*, *неврог* и т. п. было не табу, а обращение к черту на его же языке (на охоте, при колдовстве, при заклинании нечистой силой), хотя Д. К. Зеленин считает такое предположение, во всяком случае в отношении счета, маловероятным (Зел. I, 87).

В. У с и л и т е л ь н о е *не*. Это *не* представляется нам противоречащим нормам нашего современного языкового мышления. Оно в большинстве случаев не связано с табуистическими представлениями, хотя по имеющимся материалам в русских, вернее белорусских, народных говорах наиболее распространено на той территории, где и табуистическое *не* — на Смоленщине. Наблюдая это явление, В. Н. Добровольский отмечал, что «*ни* (безударное *не*. — Н. Т.) — частица не отрицающая, а усиливающая часто значение слова, к которому она присоединяется» (Добр. СОС, 484, см. также СРЯ, т. VIII, вып. I, стлб. 26—27) и приводил такие примеры, как *низанапрасна* 'напрасно', *нивопримитью* 'опрометью', *низанявіння* 'невинно', *нипаскудный* 'скверный, паскудный': *Низанапрасна мы прападаім; Низанапрасна пирятарпеў; Низанявіння мы прападаім; Низанявіння пьсадили у каптелку; Нивопримитью іон побіжаў* (Добр. СОС, 484—485) ⁴.

⁴ Того же типа эпитет *неўкрамешная* к существительному *тьма* в значении 'кромешная' ('сплошная') в духовном стихе о Страшном суде, записанном

На тех же основаниях, что и в приведенных выше примерах (см. *нипаскудный* и т. п.), возникло в Рязанской Мещере (в с. Деулино) слово *непростушки* 'простушки' ⁶, где отрицание *не* также лишь подчеркивает отрицательность значения, заложенного в слове *простушки*, а не снимает его.

Наконец, и русская литературная речь не избежала этой семантической тенденции, хотя случаи такого рода пока единичны. Таково, например, наречие *непроизвольно*, оказавшееся синонимичным наречию *произвольно* (а также прилагательные *непроизвольный* — *произвольный*). Ср.: *Простите, пожалуйста, у меня это получилось непроизвольно* и *Простите, пожалуйста, у меня это получилось произвольно*, наряду с *Простите, пожалуйста, у меня это получилось непреднамеренно* (но: *преднамеренно*).

Краткий вывод. Если в первых двух случаях — ироническом и табуистическом — отрицание как таковое все же присутствует, ибо без него не было бы и *р о н и и* или не выполнились бы условия *т а б у* (отрицание, как форма неназывания), то в третьем случае — *у с и л е н и я* — оно полностью исчезло, о чем свидетельствуют примеры слов, употребляемых в нейтральной речи, являющихся даже терминами (например географическими) и встречающихся наряду с такими же словами без отрицания (правда, видимо, не всегда в одной диалектной микросистеме). Внимание к этому, хотя и мелкому, факту может быть полезно при этимологических наблюдениях ⁷. Он во всяком случае любопытен как пример специфического преломления народного «языкового мышления».

ИСТОЧНИКИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Бяльк.— I. К. Б я л ь к е в і ч. Краёвы слоупік усходняй Магчільшчыны. Мінск, 1970.

Гринч.— Б. Д. Г р и н ч е н к о. Словарь української мови, т. I—IV. Київ, 1907—1909.

⁶ См.: Т. С. Коготкова. О некоторых особенностях диалектной лексики в связи с устной формой ее существования. «Славянская лексикография и лексикология». М., 1966, стр. 296.

⁷ Так, например, известно мнение славянских этимологов о том, что слово *medvědь/-ь 'медведь' появилось в результате табуирования («подставное слово», по Д. К. Зеленину). Можно предположить, что современное польское niedźwiedź 'медведь', чешск. диал. nedvěd оказалось результатом вторичного табуирования (в значительно более позднюю эпоху) с обращением к магическому отрицанию *nie* (*ne*). Еще Рей в XVI в. употреблял форму miedźwiedz, сохранившуюся в ряде польских диалектов. Дистантная ассимиляция здесь, вероятно, не была импульсом к переходу *m* > *n* > *n'*, ибо она не захватила такие слова, как чешск. medovník, medovina (от *medь), meděný (от *mēdь) и т. п. (ср. объяснения у М. Фасмера и В. Махка). Ср. также представление о медведе как об оборотне, лешем, нечистой силе и т. д. и общие подставные слова для медведя и черта вроде *дед*, *дедушко*, *хозяин* и т. п. (подробнее Зел. Табу слов I, 29—111).

- Даль — В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I—IV. СПб. М., 1904—1912.
- Добр. СОС — В. Н. Добровольский. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1814.
- Добр. СЭС IV — В. Н. Добровольский. Смоленский этнографический сборник, ч. IV. М., 1903.
- Зел. Табу слов I, II — Д. К. Зеленин. Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии, ч. I. Запреты на охоте и иных промыслах, ч. II. Запреты домашней жизни. «Сборник Музея антропологии и этнографии», т. VIII, Л., 1929, стр. 1—151; т. IX, Л., 1930, стр. 1—166.
- Нос. — И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
- Оныш. — М. О. Онышкевич. Бойковский словарь (рукопись). Буква Б с указанием источников и списком сокращений опубликована в кн.: «Славянская лексикография и лексикология». М., 1966, стр. 61—105.
- Опыт — «Опыт областного великорусского словаря». СПб., 1852.
- СРЯ — Словарь русского языка, сост. II отд. имп. АН. СПб., 1891 и сл.
- Тол. — Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология. М., 1969.
- Черн. — В. И. Чернышев. Отрицание «не» в русском языке. Л., 1927.

Ф. II. Филип

К ИСТОРИИ ФОРМ ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Воздействие склонения основ на *-и* на склонение основ на *о* в дательном падеже началось очень рано. Уже в памятниках старославянского языка, особенно в Супрасльской рукописи, окончания *-ови*, *-еви* на месте *-у*, *-ю* довольно часто встречаются в собственных именах и названиях лиц: *Петрови*, *богови*, *господеви*, *мѣжеви* и т. п. Распространение *-ови*, *-еви* было, по-видимому, общеславянским явлением и началось еще до возникновения славянской письменности. Однако это распространение в разных диалектных областях с самого начала его возникновения и особенно в дальнейшем было неравномерным, что привело к полной утрате в одних районах и, наоборот, к еще большему расширению в других данного окончания. В современных южнославянских языках (сохранивших именное склонение) *-ови*, *-еви* утрачено. В западнославянских языках окончания *-ови*, *-еви* получили широкое развитие. В польском языке в односложных и некоторых двусложных существительных обычно *-и* (*bratu*, *panu*, *ojcu*, *chłopcui* и т. п.),

а во всех остальных существительных, независимо от того, обозначают ли они категории живых существ или предметы, господствует окончание *-ovi*¹. В чешском языке существительные, обозначающие не лица, имеют *-u*, но могут употребляться и с *-ovi* (*věku* и *věkoví* и т. д.), в названиях же живых существ обычно *-ovi*, хотя при обозначении животных нормально и *-u* (*oslu* и *oslovi*, *volu* и *volovi* и т. д.)². Известно окончание *-ovi*, *-evi* и в других западнославянских языках.

История форм на *-u* (*-ю*) и *-ови* (*-еви*) на восточнославянской почве является сложной. Исследователи уже с давних пор пытались уяснить себе их взаимосвязь и употребление в древнерусском языке. П. А. Лавровский в свое время предполагал, что окончания *-ови* (*-еви*) в древнерусской письменности было явлением чисто книжным, заимствованным из языка старославянских текстов, а в народном языке древней Руси его вовсе не было³. Как мы увидим ниже, это предположение не оправдалось.

Рано был поставлен вопрос о диалектном распространении интересующей нас формы в древнерусскую эпоху. И. В. Ягич предположительно писал: «В связи с тем, что этой формы в современном великорусском наречии нет — она свойственна югу и юго-западу — то встает вопрос, не обязан ли древнерусский литературный язык — чисто народного языка мы так и не знаем — значительным распространением этой формы во всех памятниках как юга, так и севера зарождению русско-славянской письменности именно на юге? Иными словами, не есть ли дательный падеж на *-ови*, *-еви* в древнерусском языке — южнорусская особенность? Я оставляю и этот вопрос пока без окончательного ответа, будучи уверенным, что будущие исследования не обойдут его молчанием»⁴. Окончательный ответ на поставленный И. В. Ягичем вопрос будет дан тогда, когда все древнерусские памятники, с учетом их жанрово-стилистических различий, будут обследованы с применением статистических подсчетов. И все же уже теперь накоплены материалы, которые позволяют с большой долей вероятности сделать определенные выводы.

Говоря о языке ранних древнерусских памятников, А. А. Шахматов еще в 1886 г. писал: «Окончание *-ови* мы находим как в собственных, так и во многих других существительных в древнерусском языке очень часто, причем как в северных, так и в южных памятниках»⁵. Позже А. А. Шахматов окончательно утверждает

¹ S. Szober. Gramatyka języka polskiego. Warszawa, 1957, стр. 166—167.

² Фр. Травничек. Грамматика чешского литературного языка, I. М., 1950, стр. 309 и сл.

³ П. А. Лавровский. О языке северных русских летописей. СПб., 1852, стр. 37.

⁴ И. В. Ягич. Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889, стр. 106—107.

⁵ А. А. Шахматов. Исследование о языке новгородских грамот XIII—XIV вв. СПб., 1886, стр. 199.

ся в своем мнении: «В современном великорусском окончание *-ови* неизвестно совсем. Но памятники доказывают, что его знал старый язык. Нет основания думать, что Новгородские и Суздальские летописи или Двинские акты употребляют формы на *-ови* под влиянием книжного южнорусского языка»⁶. Как полагает А. А. Шахматов, окончание *-ови* на севере и северо-востоке исчезло сравнительно поздно, в процессе становления русского языка. Далее он приводит довольно много примеров на *-ови* из различных древнерусских памятников (старшим из них является *Географи* из грамоты Мстислава около 1130 г.), без попытки установить частоту употребления этой формы в письменности различных местностей и ее стилистическое использование. Он устанавливает, что *-ови* в раннем древнерусском языке получило особое значение: отличать имена одушевленные от неодушевленных. По его мнению, в связи с тем, что старые основы на *-ѡ* заимствовали в родительном и местном падежах имен неодушевленных окончание *-у* из основ на *-ѡ*, совпавшее с дательным падежом (таким образом, в словах с неподвижным ударением все три падежа оказались тождественными, ср. *Торжку*), окончание *-ови* стало ассоциироваться с другими окончаниями в склонении имен мужского рода, именно с окончаниями *-а* и *-ѣ* (род. и местн. пад.), которые были единственно возможными в склонении имен одушевленных. Значение одушевленности с окончаний *-а*, *-ѣ* перешло на окончание *-ови*. Однако уже довольно рано на юге и западе *-ови* стало употребляться и в склонении имен неодушевленных (например, в Галицко-Волынской летописи в топонимических названиях типа *к Санови*, *к Донови* и в других существительных с основой на *-ѡ*: *по ручаеви*, *к боеви* и т. п.), тогда как на севере такое применение окончания *-ови* «почти неизвестно»⁷. Таким образом, по А. А. Шахматову, диалектное распространение окончания *-ови* в истории восточнославянских языков имело два этапа: 1) в древнерусскую эпоху юг противопоставлялся северу семантически и 2) во время разделения восточнославянских языков на юго-западе (в том числе и в белорусском языке) *-ови* сохранилось, а на севере и северо-востоке исчезло.

Положение А. А. Шахматова о преимущественном употреблении формы *-ови* в склонении имен одушевленных (прежде всего названий лиц) верно. Что касается объяснения самого «механизма» возникновения основного значения *-ови*, то оно представляется искусственным. Проникновение в склонение основ на *-ѡ* окончаний *-у* (род. и местн. пад.) и *-ови* происходило одновременно, окончания *-а* и *-ѣ* были двузначными (применялись не только в склонении имен одушевленных, но очень широко и имен неодушевленных), так что о переносе значения по ассоциации форм вряд ли можно

⁶ А. А. Шахматов. Историческая морфология русского языка. М., 1957, стр. 257.

⁷ Там же, стр. 259.

говорить. Как заметила С. В. Фролова, к тому же имена не лица имеют факультативное *-ови*, *-еви*. По мнению С. В. Фроловой, форма *-ови*, *-еви* употреблялась в склонении только тех имен, от которых образовались притяжательные прилагательные на *-ов* и *-ев*. Если же притяжательные прилагательные образовались с помощью других суффиксов (*-ј*, *-ѣ*), то дательный падеж имени имеет только окончание *-у*. С. В. Фролова обследовала Лаврентьевский список летописи и Хронику Георгия Амартола. Она отмечает, что эта соотношенность имеется как в собственных, так и в нарицательных именах со значением лица: *Александрови*, *Борисови* и т. п., но только *Брячеславу*, *Володимиру* и пр., *цареви*, *кесареви*, *стрыеви*, *мужеви*, но только *князю*, *старцю*, *отцю*, *брату*. Впрочем, С. В. Фролова замечает: «Материал, извлеченный из двух памятников, требует проверки путем более широких наблюдений»⁸. Это замечание совсем не лишне, так как в других памятниках встречаются исключения из сформулированного правила: *отъцєви*, *братови* и др., как и в Лаврентьевской летописи довольно часто употребляются *богови*, *господеви*. Объясняя дифференциацию употреблений окончаний *-у* (*-ю*) и *-ови* (*-еви*), как и других вариантных форм, создавшихся в результате разрушения старых типов склонения, надо всегда иметь в виду как воздействие многих других факторов (например, акцентологических), так и то обстоятельство, что в дифференциации окончаний часто намечались лишь тенденции, а не строгие закономерности. То, что употребления окончаний были факультативны, создавало широкие возможности разного рода колебаний и новообразований, неодинаково реализовавшихся в разных диалектах.

После А. А. Шахматова накоплено много новых материалов и наблюдений. Почти все исследователи отмечают распространение *-ови*, *-еви* в ранний период древнерусской письменности на всей восточнославянской территории, в том числе и на севере. В то же время констатируется факт, что степень (частота) употребительности этой формы на севере и на юге была неодинаковой. Т. А. Якубайтис приходит к выводу, что *-ови* в южнорусских памятниках «встречается очень часто, между тем в памятниках северной и восточной Руси число примеров дательного единственного на *-ови* крайне ограничено, а к XIV в. они исчезли совсем»⁹. Того же мнения придерживается и П. С. Кузнецов: «Особенно широко распространены формы, унаследованные от склонения с основой на *-ѣ* (дат. пад. ед. ч. на *-ови*, им. пад. мн. ч. на *-ове* и т. п.), в юго-западных памятниках и, в частности, в Волинской части Ипатьевской летописи. Много остатков старых форм с ос-

⁸ С. В. Фролова. Об одной грамматической особенности древнерусского языка. «Уч. зап. Куйбышевского гос. пед. ин-та», 1955, вып. 13, стр. 283.

⁹ Т. А. Якубайтис. История окончания дательного единственного существительного мужского рода в восточнославянских языках (автореф. канд. дисс.), М., 1954, стр. 7.

новой на -ъ мы находим и в западных памятниках, т. е. в памятниках тех земель, где формировался белорусский язык»¹⁰. И. Х. Тот даже приходит к выводу, что отличительной чертой древнего новгородского говора «по сравнению с южными и юго-западными говорами является отсутствие флексий *-ovi*, *-evi* в дательном падеже единственного числа мужского рода»¹¹. И. Х. Тот полагает, что примеры с *-ovi*, *-evi* в древненовгородской письменности являются продуктом влияния книжного языка. С этим, однако, трудно согласиться. В новгородских письмах на бересте *-ovi*, *-evi* употребляются в применении к именам конкретных лиц в языке, насыщенном местными особенностями, наряду с *-у(-ю)*, причем без какой-либо видимой стилистической окраски. Данные этих писем очень показательны, поскольку дательный падеж лица в них употребляется часто. Соотношение окончаний *-у(-ю)* и *-ovi(-evi)* показывает, что хотя вариант *-ovi(-evi)* не был чужд разговорной речи древних новгородцев, однако употреблялся он редко, что позже и вызвало его исчезновение. На 119 подсчитанных мною примеров дательного падежа лица на *-у(-ю)* в берестяных грамотах приходится всего 9 примеров форм на *-ovi(-evi)* (7% всех случаев): ω Жировита къ *Стонови* (грамота № 246, 1-я половина XI в., — самый ранний пример *-ovi* в древнерусской письменности¹²); от Гостяты к *Васильви* (№ 9, XI в.); посьли къ томоу *моужеви* грамотоу (№ 109, XI в.); τ Петра грамота къ *Влѣтъкови*. То еси ты повѣдалъ къ *Рождѣнѣтови* (№ 336, XI—XII вв.); а водаи *Михалеви* (№ 79, XII в.); ω Михала к *атцеву* (№ 404, XIII в.); а что обилие... *митрови* (=Дмитрови) (№ 266, XIV в.), Науму *Соленови* (Солену) (№ 44, XIV в.).

Интересно сопоставить эти данные с данными граффити Софии Киевской. В этих граффити встретилось 22 примера дательного лица муж. рода, из них 11 примеров (половина) содержит *-ovi*, *-evi* и 11 — *-у*: *Ставърови*, *Иванъви*, *Геѡргиеѡви*, *Васильви* (как в новгородской берестяной грамоте!), *Григореву*, *попову*, *Сѣмеоновъ[и]*, *Фсѣипорови* (XII в.), *Лазореву* забойнику (XIII—XIV вв.), *Борисови* (без даты), *Павѣлову* (без даты) и *Георъги(ю)* (пример спорный, здесь может быть и *Георгиеви*), *Акуну*, *Михаилу*, *Меркурию*, *Иоанѣ*, *Петру*, *Феодулоу*, *Ивану* (дважды), *Никону* и *Феогностѣ*. Правда, почти все эти примеры встретились в религиозной формуле «Господи, помози рабу своему (имярек)». Однако на севере и в этой формуле обычно *-у(-ю)*, ср: ги помози рабу своему

¹⁰ П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953, стр. 13.

¹¹ И. Х. Тот. К истории склонения имен существительных в русском языке (на материале музейного евангелия). «Dissertationes slavicae. Slavistische Mitteilungen. Материалы и сообщения по славяноведению». Szeged, 1962, стр. 9.

¹² А. В. Арциховский и В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1956—1957 года. М., 1963, стр. 227.

Оноиму (берестяная грамота № 203, XII—XIII вв.); *ги помози рабу своему Борису* (три раза на полоцких камнях XII—XIII вв.; *ги помози рабу своему Антону* (надпись на воздвизальном кресте новгородского архиепископа Антония, умер в 1238 г.) и др., а *-ови*, *-еви* встречаются редко (ср., например, надпись на новгородском кратире XII в.: «*ги помози рабоу своему Ёлорови*»; к сожалению, мы не знаем, кем был выбивший эту надпись мастер Братило, новгородцем или киевлянином). В примерах, взятых мною из книги Б. А. Рыбакова¹³, выясняется та же картина: в формуле «господи, помози», содержащейся в надписях на памятниках севера, представлена почти исключительно форма дательного падежа *-у* (*-ю*): *ги помози раб8 своему Костаньтин8* (надпись на дне кратира Софийской ризницы в Новгороде XII в.); *ги помози рабоу своєм8 Лазорю* (надпись на напрестольном кресте Ефросинии Полоцкой 1161 г.); *ги помози рабоу своєм8 Василию* в крещеніи именем *Рогволоду* (надпись на Рогволодовом камне у Друцка 1171 г.); Михаиле помози раб8 своем8 *Θевдор8* (надпись XII—XIII вв. на шлеме, найденном на месте Липицких битв близ Юрьева Польского; правда, где и кто сделал эту надпись, неизвестно); *ги помози дому великѹму* (надпись — граффито XII в. в развалинах храма в Смоленске); *ги помози рабоу своєм8 Кюрилоу* (граффито 1279 г. в новгородской церкви Спаса на Нередице). Лишь только в надписи на змеевике XIV в. (тверского происхождения?) имеется «*ги помози рабоу своєм8 Андръеви*». Таким образом, и в религиозно-словесных штампах *-ови* (*-еви*) было редким на севере.

В дальнейшем форма *-ови* (*-еви*) вовсе исчезает на севере, изредка сохраняясь в письменных памятниках с ярко выраженной книжной стилистической окраской. Б. В. Куликов, исследовавший язык свыше 250 северовосточных памятников 1380—1505 гг. по изданию «Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси конца XIV — начала XVI вв.» (т. I, М., 1952), отмечает, что в этих памятниках употребляется только окончание *-у* (*-ю*)¹⁴. Интересные цифры приводит Т. А. Якубайтис, изучавшая язык Уваровского списка XVI в. Московского летописного свода 1479 г.: на записях XI—XII вв. (южных по своему происхождению; 90 стр. текста) приходится 128 словоформ с *-ови* (*-еви*), соответственно на XIII в. (60 стр.) — 37, на XIV в. (70 стр.) — 8 и на XV в. (100 стр.) только 2 словоформы¹⁵. Нет ни одного новообразования (неизвестного в «Слове о полку Игореве») в тексте «Задонщины»¹⁶.

¹³ Б. А. Рыбаков. Русские датированные надписи XI—XIV вв. М., 1964.

¹⁴ Б. В. Куликов. Именное склонение в памятниках письменности северо-восточной Руси конца XIV — начала XVI в. «Труды Узбекского гос. ун-та им. Алишера Навои». Новая серия, вып. 95. Самарканд, 1959, стр. 80.

¹⁵ Т. А. Якубайтис. Указ. соч., стр. 8.

¹⁶ А. Н. Котляренко. «Задонщина» как памятник русского языка конца XVI века. «Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та», 1956, т. XV, вып. 4, стр. 134.

Ни одного примера с формой *-ови(-еви)* не находит в южновеликорусской письменности XVII в. С. И. Котков¹⁷. Тот же результат получился и у М. Х. Партенадзе по данным языка русских грамот XVII в.¹⁸. Другие исследователи, отмечавшие наличие окончания *-ови (-еви)* в русских памятниках XIV—XVII вв., дружно говорят о его книжно-стилистическом употреблении. «Флексия *-ови (-еви)* встречена только у слов: *бог, дом, господь, муж, змий, царь*, причём в произведениях церковнокнижного стиля», «следовательно, в языке второй половины XVI в. эта флексия была неживой», писал С. Д. Никифоров¹⁹. «В языке «Хождения» флексия *-ови* стилистически окрашена и употребляется при цитации церковных текстов, рассказе о святых, о боге и т. п.»²⁰. О стилистической ограниченности окончания *-ови* пишут также М. А. Соколова²¹, С. В. Фролова²² и другие исследователи.

По-видимому, на восточнославянском севере в речи основной массы населения в XIV—XVI вв. форма дательного падежа ед. ч. имен муж. рода *-у (-ю)* бывших основ на *-ѡ* становится единой. Вариант *-ови, -еви*, и ранее бывший побочным, вовсе выходит из употребления. Изоглосса *-ови, -еви* постепенно передвигается все далее на юг. Передвижение этой изоглоссы захватывает и белорусскую территорию. Как отмечает Е. Ф. Карский, «древнейшие памятники западнорусского языка не без поддержки, вероятно, соседних украинских говоров и польского языка, также знают это окончание»²³. Эти окончания в редких случаях выступают и в нарицательных именах, не обозначающих категорию лица: *ко инееви, иленеви, розумови*. Все же «обыкновенным окончанием» является *-у (-ю)*, которое постепенно становится единственным. Однако на белорусской территории *-ови (-еви)* задерживается дольше, чем на русской. А. А. Шахматов приводит примеры на *-ови (-еви)* из сокольских, гродненских, пинских, слущких, свеницких

¹⁷ С. И. Котков. Южновеликорусское наречие в XVII столетии. М., 1963, стр. 175—177.

¹⁸ М. Х. Партенадзе. Значения дательного падежа в грамотах XVII века. «О некоторых вопросах русского языка и лит-ры». Батуми, 1958, стр. 3—34.

¹⁹ С. Д. Никифоров. Из наблюдений над именами существительными в памятниках второй половины XVI в. «Вопросы славянского языкознания», кн. 1. Львов, 1958, стр. 144—145; Он же. Из наблюдений над языком «Домостроя» по Коншинскому списку. «Уч. зап. Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина», 1947, т. XLVII, стр. 61.

²⁰ Л. С. Измайлова. Именное склонение в «Хождении игумена Даниила» (автореф. канд. дисс.). Л., 1966, стр. 13.

М. А. Соколова. Очерки по языку деловых памятников XVI в. Л., 1957, стр. 121; Она же. Очерки по исторической грамматике русского языка. Л., 1962, стр. 107.

²² С. В. Фролова. Именное склонение в русской оригинальной бытовой повести XVII—XVIII столетий. «Уч. зап. Куйбышевского гос. пед. ин-та, 1942, вып. 5, стр. 29—30.

²³ Е. Ф. Карский. Белорусы. Язык белорусского народа, вып. 2-3, М., 1956, стр. 125.

и пружанских говоров белорусского языка (примеры эти единичны) и на основании этих довольно скудных данных делает ошибочное заключение, будто данная форма свойственна не только украинскому, но и современному белорусскому языку²⁴. Лучший знаток белорусских говоров Е. Ф. Карский решительно утверждает, что окончание *-ови(-еви)* известно только на крайнем белорусском юго-западе — в говорах, соседящих с польским и украинским языком²⁵. То же говорят и современные белорусские диалектологи, которые указывают, что это окончание имеют и имена существительные неодушевленные, в том числе среднего и даже женского рода, причем в предложном падеже (*на лугови, на пн'бвы, в гныздб'у, на грэбл'ев'у* и т. п.). Изоглосса этого явления идет от границы с Польшей на юго-восток через Пружаны, Дрогичин, Иваново и восточнее Пинска круто опускается на юг к границе с Украиной²⁶. Как считают многие слависты, на севере от формы дательного падежа древнего склонения на *-й* остались наречия *домой, долой* (< *домовъ, доловъ* < *домови, долови*).

Иной оказалась история формы *-ови (-еви)* на восточнославянском юге. Как было сказано, уже в ранних южнорусских памятниках эта форма употребляется довольно часто (значительно чаще, чем на севере). В дальнейшем происходит ее закрепление и семантико-грамматическое расширение. Еще А. И. Соболевский отметил: «Формы дат. на *-ови* встречаются также в грамотах галицких, но особенно часты в Волынской летописи, сохранившейся в Ипатском списке: *Воицелгови, Данилови, холмови, ледови, соньмови, Юрьеви, цареви* и т. п.»²⁷

По наблюдениям Н. С. Антошина, форма *-ови, -еви* типична для одушевленных имен существительных, а sporadически встречается и в неодушевленных, в молдавских грамотах XIV—XV вв.²⁸ Л. В. Веневцева, исследовавшая язык молдавских грамот, указывает, что обычно с этим окончанием употребляются и собственные заимствованные имена: *Аж-Гериеви, Т'утулови, Станчулови, Ольбрах'тови* и др. Это свидетельствует о значительном расширении *-ови, -еви* в живой речи буковинцев XV в.²⁹ Как отмечает Л. И. Коломиец, если в белорусских грамотах XV—XVI вв. *-ови, -еви* представлено единичными случаями, то в украинских грамотах, изданных Розовым и Богданом, это окончание имеет массовое распространение. Та же картина наблюдается и в украинских грамо-

²⁴ А. А. Шахматов. Историческая морфология, стр. 260.

²⁵ Е. Ф. Карский. Указ. соч., стр. 125.

²⁶ «Нарысы па беларускай дыялекталогіі». Мінск, 1964, стр. 155—157.

²⁷ А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. М., 1907, стр. 171.

²⁸ Н. С. Антошин. Язык молдавских грамот XIV—XV вв. (автореф. докт. дисс.). Л., 1958, стр. 18.

²⁹ Л. В. Веневцева. До характеристики морфологічних особливостей мови молдавських грамот XV ст. «Вісник Харківського ун-ту», 1965, № 7. Серія філологічна, вип. 1, стр. 103.

тах XVI—XVII вв.³⁰ Язык украинских грамот XIV—XV вв. исследовал и Ф. Ф. Медведев. В этих грамотах представлен и другой вариант интересующей нас формы — *-ово, -евъ*³¹. В некоторых говорах *-ови* становится единственной формой, вытеснившей собой форму *-еви*. В лемковских «войтовских книгах» XVI—XVII вв. И. М. Керницкий находит *Зятови, Федови, Грицови* и др. В современных лемковских говорах процесс вытеснения формы *-еви* формой *-ови* завершен³².

Особый интерес представляет окончание *-овѣ, -евѣ*, которое в современном украинском языке закономерно произносится как *-ові, -еві*. А. Е. Крымский предполагал, что это окончание появилось очень рано. Уже в Изборнике 1076 г. имеется форма дательного падежа *дѣвѣ*³³. Правда, в древнейших памятниках такого рода примеры единичны. В украинских грамотах XIV—XV вв. и других южных памятниках того же времени они уже не редки. А. И. Соболевский еще в 1884 г. объяснял появление *-овѣ, -евѣ* как результат аналогического воздействия со стороны форм, исконно имевших окончание *-ѣ* (дат. пад. *женѣ, вин. мн. конѣ, род. ед. и им. мн. землѣ*)³⁴. С. П. Бевзенко указывает на возможность воздействия смещения им. вин. дв. ч. притяжательных прилагательных с дат. пад. ед. ч. имен мужского рода. Некоторые примеры оказываются омонимичными: «далъ свою рѣчь *Васковѣ* роуцѣ» можно понять и как «*Васковѣ* в роуцѣ» (существительное), и как «в *Васковѣ* руцѣ» (прилагательное). Нужно также учитывать особую связь дательного и местного падежей: ср. современное укр. на *братові, на синові, при дідові* и т. п. Очень вероятен перенос *-ѣ* в дательный падеж из местного падежа твердого варианта склонения основ на *-ѣ*³⁵. Так или иначе, появление *-овѣ, -евѣ* на месте *-ови, -еви* в результате аналогического воздействия представляется несомненным. Время возникновения этого *-овѣ, -евѣ*, по-видимому, следует приурочивать к периоду, непосредственно предшествующему изменению *ѣ* в *і* в большинстве южных диалектов, т. е. к XIII в. Единичные случаи употребления *-овѣ, -евѣ* могли возни-

³⁰ Л. І. Коломієць. З історії флексії давального відмінка однини іменників чоловічого роду *-ові*. «Питання історичного розвитку української мови». Харків, 1962, стр. 213—214.

³¹ Ф. П. Медведев. Українські грамоти XIV—XV століть як пам'ятки мови української народності.— Там же, стр. 176.

³² І. М. Керницький. Морфологічні особливості мови «війтівських книг» XVI—XVII ст. с. Одрехови, колишнього сяноцького повіту, на Лемківщині. Дослідження і матеріали з української мови, т. V, Київ, 1962, стр. 91.

³³ А. Е. Крымский. Украинская грамматика, т. I, вып. 1. М., 1907, стр. 101—102.

³⁴ А. И. Соболевский. Очерки из истории русского языка. Киев, 1884, стр. 88.

³⁵ С. П. Бевзенко. Історична морфологія української мови. Ужгород, 1960, стр. 41.

кать и раньше. Написание *-ovъ*, *-evъ* в южноукраинских памятниках XIV—XVII вв. соответствовали *-ovi*, *-evi* в произношении.

Формы *-ovi*, *-evi* и *-ovi*, *-evi* — характерная особенность украинского языка, выделяющая его среди восточнославянских языков. В свое время замечательный украинский диалектолог К. Михальчук предполагал, что украинский язык делится на западное и восточное наречия. В западном (правобережном) наречии преимущественно употребляется *-ovi*, а в восточном (левобережном) *-u*, хотя и в восточной все же имеется *-ovi*³⁶. Дальнейшие исследования не оправдали этого предположения. В именах существительных — названиях людей и живых существ окончание *-ovi* является основной формой и в юго-восточных говорах.

Как отмечает В. С. Ващенко, в полтавских говорах обычнее *кон'ев'т*, *кон'ов'и*, но часто и *кон'у*, причем основная форма и ее вариант в целом географически не различаются, географические различия касаются только отдельных слов. Та же картина и в полтавских «Актах книг» XVII в. В именах муж. рода неодушевленных (*дуб*, *ліс*, *гай*) основная масса словоформ тоже приходится на *-ovi*, *-evi*, а *-u*, *-ю* являющаяся сосуществующим вариантом. И в этих именах территориальное различие в употреблении форм реализуется по отдельным словам: форма каждого слова имеет свою собственную изоглоссу. Изредка в полтавских говорах употребляется и *-ovi*, *-evi*. В словах на *-ен* (*пл'ем'а*, *в'ім'а*, *тім'а*) побочным вариантом оказывается *-evi* (*пл'емнев'и*, *пл'емн'ovi*), а основной формой — *-en'и* (*пл'емен'и*)³⁷. Когда речь идет о географическом распределении форм дат. падежа муж. рода ед. ч. на украинской территории, можно говорить о преимущественном распространении какой-либо из форм в определенных группах говоров, а не об абсолютных диалектных зонах. Старая форма *-ovi*, *-evi* преимущественно сохраняется в юго-западных говорах, но и в этих говорах, наряду с этим окончанием, употребляются и иные. Например, в закарпатских говорах, согласно данным И. Панкевича, выступают окончания *-ovi*, *-ovi*, *-oi* (< *ovi*) и *-u*³⁸. В праводнестровском селе Ройлянки обычно *-ovi*, но там же известно и *-ovi*³⁹. Это *-ovi* (на письме *-ovъ*) отмечается в лемковских «войтовских книгах» XVI—XVII вв.: *Фешдорovъ*, *Лукачovъ*, *Василovъ* и т. д.⁴⁰, следовательно, данное окончание существовало на юго-западе давно, а не было занесено в наше время литературным языком. Окончание *-ovъ*,

³⁶ К. М и х а л ь ч у к. Наречия, поднаречия и говоры южной Руси. «Труды этнографо-статистической экспедиции», т. VII. СПб., 1877, стр. 531.

³⁷ В. С. В а щ е н к о. Полтавські говори. Харків, 1957, стр. 112—119.

³⁸ И. П а н ь к е в и ч. Українські говори Підкарпатської Русі сумежних областей. Прага, 1938, стр. 184—185, 188, 199—200.

³⁹ В. П. Л о г в и н. Морфологічна система говірок нижньої правобережної Наддністрянщини. «Територіальні діалекти і власні назви». Київ, 1965, стр. 35—36.

⁴⁰ І. М. К е р н и ц ь к и й. Указ. соч., стр. 92.

-евъ в старой буковинской письменности находит В. Ярошенко ⁴¹. Вариантность -ови и -овѣ имела в старших памятниках среднего Поднепровья ⁴². Все же, по-видимому, можно сказать, что преимущество -ови и -овѣ над формой -у (-ю) усиливается на украинской территории по направлению с востока на запад и с севера на юг. Впрочем, это предположение нуждается в проверке на массовых материалах.

В современном украинском литературном языке происходит процесс стилистического ограничения флексии -ові. Эта форма в названиях живых существ последовательно сохраняется только в художественной прозе и в поэзии. В деловых жанрах, особенно в послевоенный период, ее употребление начинает заметно ограничиваться. Зато она распространяется на имена — названия собирательных, абстрактных и иных понятий для устранения морфологической омонимии, ср. *допомога заводу* и *допомога заводові* ⁴³.

Остается еще один вопрос: является ли окончание -ові, -еві продуктом спонтанного развития грамматической системы украинского языка или же оно заимствовано из западнославянских языков, прежде всего из польского. Н. Грунский в свое время решал этот вопрос в пользу заимствования ⁴⁴. Поскольку -ові, -еві широко распространено и в польском языке, в пользу заимствования высказывался и В. Курашкевич ⁴⁵. Однако эта точка зрения бездоказательна. Этому вопросу специальную работу посвятил С. П. Бевзенко ⁴⁶. С. П. Бевзенко прав, когда говорит, что окончания -ові, -еві было унаследовано украинским языком от его исходной основы — древнерусского языка. Гипотеза заимствования не объясняет также, почему -ови, -еви сосредоточено главным образом на юго-западе, в непосредственном соседстве с польским и словацким языками, тогда как -ові, -еві преимущественно распространено на юго-востоке. Кроме того, значение украинской формы шире, чем в западнославянских языках, поскольку оно охватывает и другие классы имен (прилагательные, местоимения, числительные и даже причастия). Форма -ові, -еві к тому же появляется в южно-

⁴¹ В. Я р о ш е н к о. Українська мова в молдавських грамотах XIV—XV вв. «Збірник комісії для дослідження історії української мови», т. I. Київ, 1931, стр. 292.

⁴² Ф. Т. Ж и л к о. Про виникнення діалектних груп української мови, стр. 9.

⁴³ П. Д. Тимошенко, «Зміни в морфологічній структурі української мови пожиттєвого періоду. Підсумки і проблеми наукового вивчення української мови в пожиттєвий період (Тези доповідей республіканської наукової конференції). «Радянська школа», 1967, стр. 20.

⁴⁴ М. Г р у н с ь к и й. Історія форм української мови. Київ, 1931, стр. 33 и сл.

⁴⁵ W. K u r a s z k i e w i c z. Gramoty halicko-wołyńskie XIV—XV wieku, «Bizantinoslavica», IV, 1932, стр. 108—110.

⁴⁶ С. П. Б е в з е н к о. Форми давального однини на -ові українських іменників на тлі загальнослов'янському. «Тези доповідей IV міжвузівської республіканської славістичної конференції 12—14 жовтня 1961 року». Одеса, 1961, стр. 49—51.

русских письменных памятниках в то время, когда о значительном польском влиянии не может быть речи.

Итак, еще в XI в. (а может быть, и раньше) восточнославянская языковая территория делилась на две диалектных зоны — южную и северную. На юге в дательном падеже ед. ч. имен муж. рода, обозначающих лицо, получила широкое применение форма *-ови*, *-еви*, а на севере эта форма оказалась второстепенным, редко употребляющимся вариантом окончания *-у*, *-ю*. В XIV—XV вв. на севере окончание *-ови*, *-еви* вовсе выходит из употребления, в письменности по традиции сохраняясь как стилизованная книжная форма, тогда как на юге оно, наоборот, становится жизненным грамматическим явлением. Может быть, этому способствовало воздействие на украинский язык польского языка.

А. А. Холодович

КЛЕОПАТРА ИЛИ ПАТРОКЛ?

(из типологического синтаксиса
японского языка)

1. Прежде всего — краткая глосса к именам, стоящим в заголовке статьи. Греческие *Клеопатра* и *Патрокл* — сложные имена; второе состоит из тех же самых корней, что и первое, но только в обратном порядке; взяв для простоты только согласные, будем иметь $кл + нтр = нтр + кл$ ¹. Помимо распорядка корней эти имена отличает друг от друга только внутренний синтаксис или, что то же, разное сигнификативное значение. По денотативному значению эти два имени тождественны и, таким образом, взаимозаменяемы; они описывают одну и ту же ситуацию: *Клеопатра* — это 'та, у которой славный отец' и *Патрокл* — это 'тот, у которого славный отец'.

2. После этой краткой справки об именах перейдем к постановке задачи. Нам дана элементарная ситуация: целое, его часть и признак этой части, например: человек (= целое), его лицо (= часть целого) и смуглый цвет (= признак этого лица). Спрашивается, как такая ситуация выражается в языке?

3. Для выражения описанной ситуации есть минимум две возможности. Изобразим их в виде деревьев:

¹ Ср. русские *скалозуб* и *зубоскал*; впрочем, русские *скалозуб* и *зубоскал* отличаются только распорядком корней: внутренний синтаксис в этих словах одинаков, в отличие от греческого. Абсолютно точным будет сопоставление с *Сухорук* и *Святослав*.

Д е р е в о А Д е р е в о В

человек
↓
лицо
↓
смуглое

человек
↓
смуглый
↓
лицом

Как видим, для одной реальной ситуации имеются две языковых ситуации. Назовем условно левую ситуацию «ситуацией Клеопатры», а правую — «ситуацией Патрокла». Об этих названиях будет сказано позже. Эти деревья сходны в том, что абсолютным хозяином и тут и там является морфема со значением целого; отличаются же они разным распределением «слуг»: в дереве А морфема со значением части является слугой первого уровня, а морфема со значением признака части — слугой второго уровня; в дереве В имеет место обратный порядок.

4. Как реализуются в языке оба дерева, если все три морфемы оформлены как слова, т. е. на уровне словосочетания?

В случае дерева А словосочетание будет иметь вид: *человек с лицом смуглым* = *человек со смуглым лицом*. В разных языках возможно разное оформление, т. е. разная морфология слуги 1 и слуги 2 (например, *человек со смуглым лицом*, *человек смуглого лица* и т. д.). Важно, однако, то, что при любой морфологии слуг (а теоретически, возможно, также и хозяина) всегда будут сохраняться одинаковые отношения: *лицо* (а в общем виде — слово со значением части целого) является при любом оформлении определением к *человек* (в общем виде — к слову со значением целого), а *смуглый* — квазипредикатом к *лицо* (в общем виде — к слову со значением части).

В случае дерева В словосочетание будет иметь вид: *человек смуглый лицом*. И здесь в разных языках возможно разное оформление, т. е. разная морфология слуг (например, *человек смуглый в отношении лица*, *человек со смуглостью лица* и т. д.). И в данном случае важно то, что при любой морфологии всегда будут сохраняться одинаковые отношения: *смуглый* (в общем виде — слово со значением признака части) является квазипредикатом к *человек* (в общем виде — к слову со значением целого), а *лицо* (в общем виде — слово со значением части) — уточнением к *смуглый*.

Дерево А типично для русского языка, дерево В — для японского языка.

5. Морфология русского дерева на уровне словосочетания для русского читателя очевидна. Поэтому ограничим себя описанием морфологии японского дерева на этом уровне.

В парах типа *смуглый человек* семантическая и синтаксическая связь слуги 1 с абсолютным хозяином обозначается формой слуги. Прилагательное принимает форму квазипредиката: для одного подкласса прилагательных это *-и*, для другого это *-та*, для третье-

го это -на, например: *курои хито* 'смуглый человек', *маккурона хито* 'черный как смоль человек', *ясэти хито* 'худой человек'.

В парах типа *смуглый лицом* семантическая и синтаксическая связь слуги 2 со слугою 1 (= хозяином слуги 2) обозначается формой слуги 2. Существительное принимает форму атрибутивности: морфему -но (морфема, не входящая в японском языке в систему падежей), например: *каоно аой* 'бледный лицом' или 'с бледностью лица', *ироно маккурона* 'черный как смоль цветом (лица)', *катано ясэти* 'худой в плечах'.

Кроме того, каждый слуга линейно занимает место слева от своего хозяина согласно общему закону расположения слуг в японском языке, не знающему исключений; например, *ироно курои хито* 'цветом (лица) смуглый человек'. Ср. еще: *мэно курои хито* 'глазами черный человек' = 'черноглазый человек', *мэно нагаи мэ* 'ресницами длинные глаза' = 'глаза с длинными ресницами', *хитаино сэмаи као* 'лбом низкое лицо' = 'лицо с низким лбом', *агохигэно сирои хито* 'бородой седой человек' = 'седобородый человек', *асино нагаи хито* 'ногами длинный человек' = 'длинноногий человек', *кубино фуюи хито* 'шеей толстый человек' = 'толстошей человек', *карадано ёваи хито* 'телом хрупкий человек', *никудзукино ёи хито* 'мясистостью хороший человек' = 'человек в теле', *сэйно такай хито* 'ростом высокий человек', *тосино вакаи хито* 'возрастом молодой человек'.

Обычно словосочетание типа *каоироно курои хито* 'цветом лица смуглый человек' рассматривают как соединение определяемого слова *хито* 'человек' с группой определения *каоироно курои* 'цвет лица смуглый', представляющей собою сочетание имени подлежащего в родительном падеже (*каоироно*) с прилагательным-сказуемым (*курои*): [*каоироно курои*] *хито*, т. е. придаточное определительное предложение. Это распространенное в японоведении понимание легко согласуется с развиваемым нами выше взглядом, если мы примем, что любое зависимое предложение вступает в отношение зависимости только через абсолютного хозяина в этом зависимом предложении и что таким абсолютным хозяином является не подлежащее, а сказуемое. Тогда будем иметь

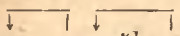
┌───┐
└───┘
[*каоироно курои*]*хито*,

т. е. дерево В.

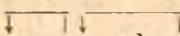
6. Оформляя минимум две морфемы в дереве А или В как части сложного слова, мы переходим от уровня словосочетания к уровню основосложения. Как правило, сложное слово в деревьях А и В образуют лишь слуги (часть целого и признак).

В случае дерева А сложное слово имеет вид: *смуглолицый (человек со смуглым лицом)*. Морфология прилагательного в целом и его компонентов может быть разной в разных языках. Важно, однако, то, что при любой морфологии между компонентами слож-

ного слова будет сохраняться одно и то же отношение: элемент *смугл(о)* (в общем виде — основа со значением признака) будет зависеть от элемента *лиц(ый)* (в общем виде — от основы со значением носителя признака). Иными словами, и на уровне основосложения сохраняются основные свойства дерева А:


 [смуглолицый] человек.

В случае дерева В сложное слово имеет вид: *лицесмуглый* (*смуглый лицом, смуглый в отношении лица*). И здесь морфология прилагательного в целом и его компонентов может быть разной в разных языках. Важно, однако, то, что при любой морфологии между компонентами сложного слова этого типа будет сохраняться одно и то же отношение: элемент *лиц(е)* (в общем виде — основа со значением части целого) будет зависеть от элемента *смугл(ый)* (в общем виде — от основы со значением признака части). Иными словами, и на уровне основосложения основные свойства дерева В сохраняются:


 [лицесмуглый] человек.

7. Морфология русского дерева на уровне основосложения для русского читателя очевидна. Поэтому ограничимся описанием морфологии японского дерева на этом уровне.

Сложное прилагательное типа *лицесмуглый* можно представить себе как трансформацию словосочетания типа *смуглый лицом*. Разумеется, способ представления в принципе не имеет никакого отношения к реальному процессу образования сложного слова, хотя в частном случае может с ним совпадать.

Японское сложное прилагательное типа *иродзирона* 'цветосветлый' является трансформом словосочетания *ироно сирой* 'цветом светлый' путем а) устранения морфемы *-но* у первого слова (см. 5), б) замены морфемы *-и* прилагательного одного подкласса морфемой *-на* прилагательного другого подкласса, в) замены акцентологического контура каждого слова одним акцентологическим контуром сложного слова и г) фонетических изменений на стыке основ: $иРОно (\nearrow \searrow)^2 сиРОи (\nearrow \searrow)^2 \rightarrow иРО сиРОи \rightarrow иРО сиРОна \rightarrow \rightarrow иРОСИРОНА (\nearrow \text{---} \searrow)^3 \rightarrow иРОДЗИРОНА^4$. Ср. еще *иродзирона хито* 'цветосветлый человек' = 'человек не смуглый', *хонэбосона као* 'костетонкое лицо' = 'нескуластое лицо', *асибаяна хито* 'ногобыстрый человек' = 'быстроногий человек', *омонагана хито* 'лицеделинный человек' = 'длиннолицый человек' (у этого прилагательного исходное словосочетание ныне не-

² восходяще-нисходящий акцент

³ восходящий акцент

⁴ Разумеется, для прилагательных подкласса *-на* правило «б» избыточно.

употребительно), *ковадакана* → *ковадакани* 'голосогромко' = 'громким голосом' (у этого прилагательного ныне употребительна только наречная форма; кроме того, при основосложении происходят фонетические изменения на стыке основ в первой основе: *кова* вместо *ко(э)э* 'голос').

Число сложных прилагательных описываемого типа в современном японском языке невелико. Таким образом, основным средством выражения дерева В ныне является уровень словосочетания, а не уровень основосложения.

8. Сложные прилагательные типа *асибаяна* 'ногобыстрый' легко субстантивируются, теряя при этом, разумеется, морфему квазипредикативности (см. 5). Многие сложные прилагательные мы ныне знаем только в такой субстантивированной форме. Такие сложные существительные по своему значению являются именами деятеля (*nomina agentis*). Например, *асинага* 'ногодлинный' = 'длинноногий', *асиёва* 'ногослабый' = 'слабый на ноги' (японский слэнг), *тэнага* 'рукодлинный' = 'длиннорукий' (в слэнге также 'клептоман'), *тосивака* 'годоюный' = 'юный годами', *мэкура* 'глазотемный' = 'слепой' (ср. русское 'темный' = 'слепой'), *тосиёва* 'годослабый, годонеполный' = 'ребенок, родившийся во второй половине года', *тосидзү* 'годосильный, годополный' = 'ребенок, родившийся в первой половине года'. Ср. еще *асидакано дзэн* 'столик с высокими ножками', где целое и часть с ее признаком выражают ситуацию, не связанную с человеком и частями его тела.

9. А теперь опять краткая глосса к именам, стоящим в заглавии статьи. Обычно имена деятеля *Клеопатра* (греч. Kleo-pátre)⁵ и *Патрокл* (греч. Pátro-klos)⁶ относят к одному и тому же синтаксическому типу так называемых посессивных *Composita* (по-санскритски Bahuvrīhi) 'кто (имеет) отца славного'. Они различны лишь по линейной структуре, т. е. по порядку своих элементов. Внутренняя синтаксическая структура, т. е. сигнификативное значение их, одинакова, и аналогом этой внутренней структуры является внешняя син-

таксическая структура словосочетания *кто (имеет) отца славного*. Это то, что мы изобразили выше в виде дерева А. Нам кажется, однако, что такую структуру имеет только имя *Клеопатра* с первым элементом, обозначающим признак части целого, и со вторым элементом, обозначающим часть целого. Имена же типа *Патрокл* с обратным порядком этих элементов соотносятся с другой внешней синтаксической структурой, известной уже гомеровскому диалекту, и состоящей из при-

⁵ По Вакернагелю, -patrē < patriā 'просхождение по отцу'. См.: E. R i s c h. Wortbildung der homerischen Sprache. Berlin, 1937, § 83b.

⁶ По Ришу, сокращение от вокатива: Pátroklēēs > Pátrokle.

лагательного и зависимого от него имени в винительном падеже отношения (accusativus relationis); например: *podōkēs* = *pōdas ōkūs* 'быстрый ногами', *Podārgēs* = *pōdas ārgōs* 'белый ногами' и т. д. ⁷

Аналогом внутренней синтаксической структуры слов типа *Патрокл* является внешняя синтаксическая структура *кто слабее отцом (своим)*. А это то, что мы изображали выше в виде дерева В⁸.

Аналогом слов типа *Клеопатра* в русском языке являются слова типа *Сухорук*, а слов типа *Патрокл* — слова типа *Святослав*. В японском языке, как мы стремились показать, есть только аналоги слов типа *Патрокл*, *Святослав*, и это соответствие прослеживается как на уровне основосложения — субстантивного и адъективного, так и на уровне словосочетания. Само собою разумеется, морфология как внешнего, так и внутреннего синтаксиса в японском языке не имеет ничего общего с морфологией как греческих имен сложных, так и греческих словосочетаний, которые являются их аналогами: например, в греческом часть целого оформляется винительным отношения, в японском родительным (genitivus subjectivus) в традиционном понимании, показателем атрибутивности в нашей интерпретации; кстати, в 'латинском это будет ablativus limitationis.

10. В заключение должен сказать, что тема этой статьи была предметом нашего исследования двадцать лет назад⁹. Тогда эта проблема решалась в сугубо диахроническом плане. Ныне она рассмотрена вновь, но уже в сугубо синхроническом плане и типологически.

Н. А. Янко-Триницкая

ОСНОВА И ФЛЕКСИИ В РУССКОМ ГЛАГОЛЕ

Сопоставление разных форм одного изменяемого слова позволяет установить границу между постоянной¹ его частью, или основой, содержащейся во всех формах данного слова, и переменной частью, или флексией, которая различается по формам.

⁷ Ср. русск. *Мартышка в старости слаба глазами стала*.

⁸ По этому поводу см.: Н. F r e i. *Sylvie est jolie des yeux*. «Mélanges de linguistique offerts à Ch. Bally», Genève, 1932.

⁹ А. А. Холодович. Партийный атрибут в японском языке. «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1948, том VII, вып. I, стр. 45—57.

¹ Термин «постоянная часть» в применении к основе слова представляется более точным, чем термин «неизменяемая часть», потому что тождество

Ни основа, ни флексия, будучи только частями слова, не имеют в языке самостоятельного употребления. Так, не употребляется, например, отдельно взятая основа *чита-*, извлеченная из формы *читать*, или отдельно взятая флексия *-ую*, извлеченная из формы *красную*². Самостоятельное употребление в языке свойственно только словам (неизменяемым) и формам слов (изменяемым).

Основы изменяемых существительных и прилагательных всегда оканчиваются на согласный. Это свойство имен позволяет без труда выделить основу и флексию в любом существительном или прилагательном. Этому же способствует и то, что окончания имен начинаются с гласных (за исключением творительного падежа единственного числа существительных третьего склонения: *сол'-ју* и творительного падежа множественного числа некоторых слов: *лошад'-ми*, *дет'-ми* и под.).

Только в некоторых случаях могут возникать чисто практические затруднения, связанные с орфографией и фонетикой, например, в словах типа: *землей, семьей, сараи, лисьи* и под.

* * *

Выделение основы и флексии в глаголе представляет, напротив, значительные трудности и выявляет специфические особенности системы словоформ глагола.

Сопоставим формы одного глагола:

<i>читать</i>	<i>читају</i>	<i>читал</i>	<i>читај</i>
	<i>читајешь</i>	<i>читала</i>	<i>читајте</i>
	<i>читајет</i>	<i>читало</i>	<i>читаја</i>
	<i>читајем</i>	<i>читали</i>	
	<i>читајете</i>		
	<i>читајут</i>		

На первый взгляд все кажется очень просто: постоянная, общая часть всех форм — *чита-*, стало быть, это основа, а остальные части — флексии. Однако при рассмотрении «флексийных» частей возникает целый ряд вопросов. Только флексия инфинитива (*-ть*) не вызывает никаких особых замечаний, разве лишь то, что после основ на согласный она может выступать в своем варианте *-ти*: *нести, везти* и под., но *лезть*.

звукового и фонематического состава основы может при словоизменении нарушаться различными фонетическими и морфологическими чередованиями, а также изменением места ударения.

² Деривационные аффиксы иногда допускают подобное употребление, выступая в функции существительных, например: ... моменты, которые должны быть отражены в поурочном плане (так называемые этапы урока: закрепление, подкрепление, повторение и прочее «ение») (Комс. правда, 12.XII1965).

Что касается форм времени, то во всех формах настоящего времени данного глагола есть *j*, а во всех формах прошедшего времени в флексийной части есть *л*, тогда как в инфинитиве нет ни *j*, ни *л*. Естественно предположить, что звуковые отрезки *-j-* и *-л-* связаны со значением времени.

Чтобы утвердиться в этом предположении или отказаться от него, необходимо посмотреть, как обстоит дело в других глаголах. Оказывается, что присутствие *л* характерно для всех без исключения глаголов в формах прошедшего времени и только при наличии перед этим *л* согласного (что имеет место в очень немногочисленном разряде глаголов) в форме мужского рода это *л* отсутствует: *несла, несло, несли, но нес; гребла, гребло, гребли, но греб*³.

Флексии *-ю, -а, -о, -и* являются окончаниями рода и числа глаголов. Эти же флексии для обозначения рода и числа встречаются и в других классах слов, не связанных с понятием времени, например в кратких прилагательных (*свеж, свеж-а, свеж-о, свеж-и*), поэтому они совершенно недостаточны для выражения значений склонения и времени. Эти значения передаются аффиксом *-л-*. Отсюда следует, что в формах прошедшего времени на лицо два аффикса со словоизменительным значением. Поскольку такое явление в общем мало свойственно русскому словоизменению, *-л-* часто называют «формообразующим суффиксом», хотя это и затемняет существо явления: два словоизменительных аффикса (иначе говоря, две флексии) в одной форме! Самое понятие формообразования «характеризуется порой очень туманными и расплывчатыми признаками, и достаточных оснований к тому, чтобы заменить им четко определенное понятие словоизменения, не имеется»⁴.

Теперь обратимся к формам настоящего (будущего простого для глаголов совершенного вида) времени: может быть, в них *j* является таким же выразителем значения настоящего времени, как *-л-* — прошедшего?⁵ Оказывается, что положение *j* в формах настоящего (будущего) времени коренным образом отличается от положения *-л-* в формах прошедшего времени.

Во-первых, флексии настоящего (будущего) времени, служащие для выражения значения лица и числа: *-у, -ош / -иш, -от / -ит, -ом / -им, -оте / -ите, -ут / -ат*, ни в каком классе слов не повторяются в системе. Только некоторые отдельные флексии, на-

³ В незначительном числе глаголов такое стечение согласных возникает в результате усечения гласного основы в формах прошедшего времени: *умереть — умерла — умер, запереть — заперла — запер*.

⁴ П. С. Кузнецов. О принципах изучения грамматики. Изд. МГУ, 1961, стр. 41.

⁵ То, что *j* бывает еще в дееспричастиях и в формах повелительного склонения, не имеет существенного значения, так как дееспричастие, в котором может быть *j*, тоже настоящего времени, а в формах повелительного склонения *j* является вариантом флексии *-и* после гласных: *толкн-и, почита-й*.

пример *-у* (1-го лица единственного числа) или *-ом / -им* (1-го лица множественного числа), имеют омонимы в именном склонении: *вижу — руку — брату; несем — конем — голубом; лежим — чу-жим*. Поэтому флексии настоящего (будущего) времени вполне достаточны для выражения не только значения лица и числа, но и значения изъявительного наклонения настоящего времени.

Во-вторых, — и это самое главное, — далеко не во всех разрядах есть этот *ј* в настоящем (будущем) времени. Он налицо в глаголах типа: *читају — читајут, жалеју — жалејут, советују — советујут*, но его нет в других разрядах глаголов: *шал'у — шал'ат, толкну — толкнул, сижу — сид'ат* и др.

Все флексии лица и числа, используемые в формах настоящего (будущего) времени, начинаются с гласных ⁶. Это обстоятельство чрезвычайно важно для понимания всей системы глагольных форм.

Если основа глагола оканчивается на согласный, то эти флексии присоединяются к ней без всяких затруднений: *нес-у, нес'-ош, нес'-от* и т. д. Но глаголов, основа которых оканчивается всегда на согласный, очень немного.

У большинства же глаголов, в том числе у всех глаголов продуктивных классов, основа оканчивается на гласный, и присоединение к гласному основы окончаний, начинающихся с гласного, затруднительно по морфонологическим причинам. Несоединимость этих морфем (основы и флексии) устраняется за счет преобразования основы. Это осуществляется двумя основными способами:

1. К основе присоединяется интервокальный *ј*: *гуля- — гуляј-ут, красне- — краснеј-ут, советова- — советуј-ут*.

Особого замечания требуют глаголы III продуктивного класса, где происходит чередование в различных формах конечного звукового отрезка основы *-ова- с -у-*. Обычно этот чередующийся отрезок представляет собой суффикс отыменного глагола: *совет-ова-ть, атак-ова-ть, ноч-ева-ть* и под., но есть немногие глаголы, в которых этот звуковой отрезок не выделяется как суффикс, а входит в корень глагола: *снова-ть — снуют, соват-ь — суют, коват-ь — куют, жеват-ь — жуют, клеват-ь — клюют, плеват-ь — плюют, блеват-ь — блюют*.

2. Конечный гласный основы (обычно это процессуальный суффикс) отбрасывается: *шали- — шал'-ат, толкну- — толкн-ут, сиде- — сид'-ат, лежа- — леж-ат* и т. п.

Отсутствие процессуального суффикса в настоящем (будущем) времени не ослабляет процессуального значения глагола, поскольку личные флексии с достаточной полнотой передают его, даже если глагол отыменный, т. е. не указывает на действие лексическим

⁶ Исключение представляют только глаголы *дать, есть* и производные от них с помощью приставок, типа: *передать, выдать, наестся, поест* и под. Ср.: *да-м, пере-да-м, е-м, на-е-м-ся, да-шь, пере-да-шь, е-шь, на-е-шь-ся, да-ст, пере-да-ст* и под.

значением основы, например: *шоферит* — *шоферят*, *утюжит* — *утюжат*, *пылесосит* — *пылесосят* и под.

Первый способ преобразования основы характерен для глаголов I, II, III продуктивных классов, второй — для IV⁷, V продуктивных классов и для всех непродуктивных⁸.

Именно этой особенностью образования форм настоящего (будущего) времени объясняется возможность вариантных личных форм одного глагола типа: *машут* — *махают*, *движут* — *двигают*, *брызжут* — *брызгают*, *колышут* — *колыхают*, *рыцут* — *рыскают*, *гложут* — *глодают*, *каплют* — *капают*, *клеплют* — *клепают*, *кудахчут* — *кудахтают*, *мурлычут* — *мурлыкают*, *полощут* — *полоскают* и др. Здесь налицо использование обоих способов устранения сочетания гласных на морфемном шве.

Основным вариантом глагольной основы следует считать тот, который отличается большей контрастностью, т. е. находится, если можно так выразиться, в сильной позиции. Для подавляющей массы глаголов, в том числе для всех глаголов продуктивных классов, это вариант основы, используемый в инфинитиве.

Во-первых, основы инфинитивов могут различаться процессуальными суффиксами, отсутствующими в основе настоящего (будущего) времени, например: *смотре(ть)* — *смотр'-у*, *говори(ть)* — *говор'-у*, *толкну(ть)* — *толкн-у*, *коло(ть)* — *кол'-у*, *жда(ть)* — *жд-у*, *купи(ть)* — *купл'-у*, *терпе(ть)* — *терпл'-у* и под.

Во-вторых, варианты основы инфинитива могут различаться последними согласными основы, которые в формах настоящего (будущего) времени не различаются либо во всех формах, либо в части форм, например:

плака(ть) — *плач-у*, *плач-ешь*; *ворча(ть)* — *ворч-у*, *ворч-ишь*;
глода(ть) — *глож-у*, *глож-ешь*; *держа(ть)* — *держ-у*, *держ-ишь*;
ходи(ть) — *хож-у*, *ход-ишь*; *служи(ть)* — *служ-у*, *служ-ишь*;
пусти(ть) — *пуц-у*, *пуст-ишь*; *тащи(ть)* — *тащ-у*, *тащ-ишь*
и под.

⁷ Что касается глаголов IV продуктивного класса с вариантом основы на -*ж* в формах настоящего времени, типа: *гнож-ат*, *пож-ат*, *строж-ат*, *присвож-ат*, *утаж-ат*, *драж-ат*, *клеж-ат*, *струж-ат* и под., то в них конечный *ж* основы принадлежит к корню. В позиции перед -*и* этот *ж* после гласного закономерно не произносится: *гноить*, *поить*, *строить*, *присвоить*, *утайть*, *драить*, *клеить*, *струить* и под. Конечный гласный основы, извлекаемой из инфинитива, в формах настоящего (будущего) времени утрачивается перед гласным окончаний, следовательно, никакого исключения эти глаголы не представляют.

⁸ В единичных основах глаголов непродуктивных классов используются и некоторые другие способы преобразования основы, например, в глаголах типа *пить*, *бить* конечный *и* основы заменяется на *й*: *п'й-ут*, *б'й-ут* и т. д.; в глаголах типа *рыть*, *мыть* одновременно с присоединением *й* происходит чередование гласного в основе: *рож-ут*, *мож-ут* и под.

Поэтому-то и отсчет морфологических чередований, связанных с отсутствием гласного основы, ведется от основы инфинитива: *г, к, х // ж, ч, ш; д, т, с // ж, ч, ш; б, п, в, ф, м // бл', пл', вл', фл', мл'; ст // ц* и т. д.

В IV продуктивном классе чередование происходит только в 1-м лице единственного числа, например: *катить — качу, катишь, катят; возить — возжу, возишь, возят*; *бросить — брошу, бросишь, бросят*; в V продуктивном классе чередуются только *н* (1-е лицо единственного числа и 3-е лицо множественного числа) и *н'* (остальные формы). В глаголах непродуктивных классов чередования более разнообразны и по чередующимся звукам, и по охватываемым чередованием формам.

В-третьих, в формах прошедшего времени используется тот же вариант, что и в инфинитиве: *смотре-л, говори-л, толкну-л, коло-л, жда-л* и т. п.

Большая контрастность основы инфинитива приводит к тому, что и отсчет преобразований основы удобнее вести от инфинитивной основы.

Только в двух, незначительных по количеству, разрядах глаголов непродуктивных классов более контрастной представляется основа настоящего (будущего) времени, а именно:

- а) в глаголах с флексией инфинитива *-ти*: *нести, пасти, вести, плести, грести, брести, везти* (з только орфографически), но: *несу, пасу, веду, плету, гребу, бреду, везу*. Сюда же *клясть, клясть, красть, прясть, лезть* — *клян-у, клад-у, крад-у, пряд-у, лез-у*;
- б) в глаголах с инфинитивом на *ч*, которое представляет и конечный согласный основы, и флексию инфинитива: *берегу, бережешь — беречь; стерегу, стережешь — стеречь; стрижу, стрижешь — стричь; пеку, печешь — печь; привлеку, привлечешь — привлечь* и под.

В основах прошедшего времени этого разряда глаголов используется также один из вариантов основы спрягаемых форм: *некла, берегла*.

В обоих этих разрядах основным вариантом основы является основа спрягаемых форм.

Если можно условно говорить об «основах» настоящего и прошедшего времени, т. е. об общей части определенной группы форм слова, то «основа прошедшего времени», т. е. общая часть всех форм прошедшего времени, характеризуется наличием словоизменительного аффикса *-л-*, служащего для выражения грамматического значения прошедшего времени, так как флексий рода и числа для этого недостаточно. «Основа настоящего времени», т. е. общая часть всех форм настоящего времени, характеризуется либо наращением после гласного основы звука *ј*, либо отсутствием гласного основы.

Графически это можно представить так:

Основа глагола	Общая часть всех форм настоящего времени	Общая часть всех форм прошедшего времени
чита- беле- снова-	читај- белеј- снуж-	читал- белел- снова-
говори- толкну-	говор'- толкну/и'-	говорил- толкнул-

Что касается глагольных флексий, то они также существенно отличаются от флексий имен существительных. В существительных различные системы флексий не могут рассматриваться как варианты одной системы, потому что нестандартность систем флексий существительных связана с многозначностью каждой отдельной флексии, причем отдельные флексии обладают разной суммой грамматических значений в разных классах слов. Например, в формах творительного падежа флексия *-ом* связана с значениями муж. или средн. рода единственного числа, флексия *-ой* — с значениями муж. или жен. рода единственного числа, флексия *-ју* — с значением только жен. рода единственного числа, а флексия *-ами* с значением множественного числа без указания на род и т. п. Ср. в числительном *четырьмя*, где флексия *-мя* связана с значением только творительного падежа. Отсюда в склонении существительных значительное количество различных систем флексий. Да и характер основы (особенно в морфологически невыводимых существительных) не оказывает никакого влияния на выбор той или иной системы флексий.

В глаголах же можно говорить о единой для всех глаголов системе флексий с постоянным значением или постоянной суммой значений для каждой флексии. Варианты системы флексий (или вариант каждой отдельной флексии) заданы характером основы морфонологически. Так, для глаголов продуктивных классов:

1. Основа на *-а (+j)* — 1-е спряжение (флексии безударные),
2. Основа на *-е (+j)* — 1-е спряжение (флексии безударные),
3. Основа на *-ова/-у (+j)* — 1-е спряжение (флексии безударные⁹),
4. Основа на *-и* (усечение гласной) — 2-е спряжение (флексии ударные и безударные),

⁹ Исключение представляют только те упомянутые выше (стр. 306) глаголы III продуктивного класса, в которых конечный звуковой отрезок основы *-ова/-у-* принадлежит к корню, а также выводимые из них префиксальные и возвратные образования. У этих глаголов флексии ударные: *спуют*, *суют*, *кляют*, *жуют*, *куют*, *плюют*, *блуют*; *перекуют*, *плюются*, *накляются* и под.

5. Основа на -у (усечение гласной) — 1-е спряжение (флексии ударные и безударные).

В глаголах непродуктивных классов вариант системы флексий тоже задается характером основы. Большинство глаголов непродуктивных классов имеет вариант флексий 1-го спряжения, и только глаголы 2-й группы 1-го непродуктивного класса с основами на -а и -е присоединяют вариант системы флексий 2-го спряжения: *гореть* — *горят*, *кричать* — *кричат* и под. Кроме того, конечно, есть несколько глаголов-исключений, присоединение флексий в которых чисто фразеологично, например разноспрягаемые глаголы *бежать* и *хотеть* или глаголы с особой системой флексий типа *дать*, *есть* и соответственно префиксальные и возвратные образования от них ¹⁰.

* * *

Итак, в глаголе, как и во всяком изменяемом слове, одна основа ¹¹, т. е. одна постоянная часть, общая для всех форм одного глагола. Формы настоящего и прошедшего времени различаются не только системами флексий: лица и числа (для настоящего — будущего времени) или рода и числа (для прошедшего времени), но и другими формальными показателями: флексией -л- для прошедшего времени и различными преобразованиями основы для настоящего времени, приводящими к тому, что основа оканчивается на согласный.

Выделение единой основы глагола показывает, что в глаголе может быть две флексии в одной форме, каждая флексия со своим значением. Две флексии наблюдаются и в некоторых других формах, например в формах множественного числа повелительного

¹⁰ Что касается прилагательных, то можно считать, что в них система флексий тоже одна, а ее варианты заданы основой, хотя и не морфонологически, а с учетом семантики корня и суффиксации. К основному варианту относятся все непроезводные прилагательные и все производные с любыми суффиксами и любой семантикой корня, за исключением двух разрядов, где выступают варианты основной системы:

- а) прилагательные с корнем, обозначающим животное (реже — человека) и суфф. -j-: *медвежий*, *ребячий*, *чиновничий*;
- б) прилагательные с корнем, обозначающим лицо (реже — животное) и суфф. -ин, -ов: *соседкин*, *дедушкин*, *белкин*, *отцов*, *Владленов*.

¹¹ Об одноосновности русского глагола писал еще Р. Якобсон в своей работе «Russian conjugation» («Word», 1948, v. 4, стр. 155—167); см. также: Ф. П а п п. Морфологическая система глагольных основ в современном русском литературном языке. «Slavica», 1962, II (Debrecen); О н ж е. Классификация русских глаголов. «Русский язык в школе», 1963, № 4; М. Х а л л е. О правилах русского спряжения. «American contribution to the Fifth International Congress of slavists», The Hague, 1963; Е. К р ж и ж к о в а. Морфемный анализ русского глагола. «Československá rusistika», 1964, № 4.

наклонения глаголов продуктивных классов: *нес-и-те, чита-й-те*. Одна из них указывает на значение повелительного наклонения, другая — на множественное число ¹².

Система флексий в русском глаголе тоже одна, представленная вариантами, которые задаются морфонологически характером основы глагола.

¹² Чтобы не говорить о двух словоизменительных аффиксах в одной форме, некоторые лингвисты называют флексию *-и (-j)* единственного числа — флексией, а *-те* множественного числа — частицей; другие же, напротив, называют *-и (-j)* суффиксом повелительного наклонения, а *-те* — флексией. От названия не меняется существо дела — два словоизменительных аффикса в одной форме, т. е. своеобразная агглютинация. Если считать причастия формами того же глагола, от которого они образованы (а вопрос этот в науке спорен), то в них тоже следует выделять два словоизменительных аффикса: *нес-ущ-ий*. Так и рассматривает морфологический состав причастий М. В. Панов; см.: М. В. П а н о в. Русский язык. — В кн.: «Языки народов СССР», т. I. Индоевропейские языки. М., 1966, стр. 70.

СТИЛИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

А. Д. Григорьева

К ВОПРОСУ О ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Жизнь, с точки зрения, — ребус.
(Искандер Ислахи)

Русская поэзия XVIII — начала XIX в. при наименовании ряда наиболее активных объектов поэтического изображения приняла по традиции и соответственно развила специфические средства номинации этих объектов (метафорические картины символического характера, перифрастические и описательно-метафорические выражения), в основу которых ложились определенные образные представления. Одним из таких традиционно принятых устойчивых образов, обозначающих явления жизни и смерти, был образ *огня* или *светильника*¹.

1. Само по себе обращение к образу *огня* при поэтическом наименовании процесса жизни, существования не было широко распространенным. Практически это выливалось в оперирование рядом перифрастических и описательно-метафорических сочетаний, основанных на семантической модели «*огонь* (чей) *горит*», «*огонь* жизни (чьей) *горит*», обозначающих понятие «жить (существовать)» и сочетаний «*огонь* жизни (чьей) *погас*, *угас*», обозначающих смерть, умирание. Естественно, что и наименование понятия «жить» при посредстве глагола *гореть* встречается крайне редко, но глагол *гаснуть* и его синонимы, употребляющиеся со значением «умереть / умирать», очень активны, вошли по большей части в литературный лексический фонд, не утратив, впрочем, полностью своей связи с исходным зна-

¹ Горение и огонь — представления, привлекающиеся в поэзии не только при обозначении существования. Они были, как известно, воплощением активного проявления различных чувств и состояний, а *огонь* — поэтическим синонимом слова *любовь* и образным центром перифрастических наименований любви.

чением. Глагол этот может употребляться для обозначения «умирания» чувства или интеллекта, но в независимом применении в речи (без обязательных дополнений, уточняющих объект угасания) он закреплен только за значением «умереть / умирать» в применении к человеку.

Уже в пушкинское время, особенно в текстах позднего Пушкина, произошел отсев многих возможных ранее вариантов выражения старой традиционной фразеологической схемы. Сам Пушкин в зрелый период творчества предпочитал, как правило, обращение к символу вместо ранее активно функционирующих описательно-метафорических и перифрастических сочетаний. Символ, не ограниченный словом, уточняющим направление его толкования (например, словом *жизнь* в сочетании *огонь жизни*, *факел*, *светильник жизни*), позволял поэту оперировать конкретными представлениями, переводя их абстрактное наполнение в подтекст. Выдвижение на первый план предметной, «вещной», основы символа открывало широкие возможности для углубления эмоционального решения темы.

При выборе слова-символа Пушкин из ряда возможных лексических воплощений обращался к таким, которые вследствие широкой употребительности приобрели в литературном языке нормированный характер. Вполне естественным представляется тот факт, что поэты послепушкинской поры редко выходят из круга тех образов и называющих их слов-символов (если они к этим образам обращаются как к символам), которые были утверждены в качестве литературной и поэтической нормы Пушкиным².

Какова же судьба образов *огня* и *факела* как конструктивных элементов поэтического наименования и представления «жизни» и «смерти», «умирания» в поэзии послепушкинской поры?

Разница в лексическом и перифрастическом наименовании понятий «умереть / умирать», если рассматривать их как самостоятельные, не зависящие от текста языковые единицы, в поэзии пушкинского и послепушкинского периода не представляется значительной: *погаснуть* (Ты *погаснул*, собрат молодой. — Фет, На смерть Бразникова, 1845; и: *Жизнь погаснет* вскоре. — Фофанов, У прилива); *гаснуть* (Певец *угас* пред жертвенником брани. — Тютчев, Байрон, 1828; Догоревшая *жизнь* тускло *гаснет* в крови. — Фофанов, «Я отвык от горячего зноя любви»); *факел* (чей) *потух* (Ах, если б можно, чтоб дважды мой *факел потух* — Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу. — Цветаева, «Знаю, умру на заре! На которой из двух») — это случаи прямой номинации, где слово (метафора) или перифраза — эквивалент прямого лексического наименования, явление трафаретное в поэтической речи.

² См. об этом более подробно: А. Д. Григорьева, Поэтическая фразеология Пушкина. — В кн.: «Поэтическая фразеология Пушкина». М., 1969.

Традиционным представляется обращение к глаголам «горения» в сочетаниях *жечь дни* (Прости же, тихий уголок, где *жес* я *дни* в бесцельном гимне! — А. Белый, Совесть, 1907), *сжечь молодость* (И *сжог* я, *молодость*, тебя В безрадостном огне. — И. Анненский, «Развившись, волос поредел»). Ср. общезыковое — *прожигать жизнь*. (Ср. то же, но поэтически преобразованное у Бальмонта: И в этот час, когда я в нежном звоне Слагаю песнь высокому царю, Ты жжешь костры в глубоком небосклоне, И я светло, *сжигая жизнь*, горю. — «Гимн солнцу».)

Традиционным представляется и обращение к комплексам перифраз, замыкающих у Тютчева стихотворение «Графине А. Д. Блудовой», объединенных в тематически связанный пучок:

Как этих строк сочувственная сила
Всего меня обвеела былым:
*Храм опустел, потух огонь кадила,
Но жертвенный еще курится дым...*

или у Фета в стихотворении «Памяти Д. Л. Крюкова»:

Но *светоч* твой угас. Надежного союза
Судьба не обрекла меж нами и тобой —
И, лиру уронив, поникла молча Муза
В слезах над урной гробовой.

Впрочем, обращение к этим комплексам перифраз как в их тематически связанной комбинации-иносказании (Тютчев), так и в механическом соединении условных формул начала XIX в. (Фет) типично преимущественно для стихотворений «на случай» и «по поводу». Подобное обращение к традиционным сочетаниям в оригинальных стихотворениях авторов второй половины XIX в. — анахронизм, линия наименьшего сопротивления³, но обращение к образу-символу *огонь* и изображение смерти через образ угасания огня встречается нередко. В связи с психологизацией лирики расширяется сфера применения этого образа. К нему начинают обращаться и для обозначения духовной смерти человека, угасания интеллекта, что рассматривается как основной показатель подлинного существования.

Не отказываясь от слов-символов *огонь*, *факел*, хорошо учитывая их общелитературность, поэты стремятся к обновлению эмоциональных и экспрессивных функций этих образов путем подкрепления «вещной» основы символа. Достигается это преимущественно путем усиления в тексте удельного веса лексики, непосредственно поддерживающей эту вещную основу, исходное значение слова-символа.

³ Ср. у Бальмонта: В телах обманутых пловцов Иссаяк *светельник* жизни жгучей («Мертвые корабли»).

Обращение к эмоциональным усилителям в виде независимых картин или в виде прямых сопоставлений, включенных в состав текста, вначале идет по пути конкретизации, детализации условий существования, проявления *огня*. Это влечет за собой расширение словесного комплекса слова-образа *огонь*⁴.

Слова, называющие предметы, и явления, образующие этот словесный комплекс, обрастают дополнительными смыслами, идущими от символического значения опорного слова-образа, получают в целом логически связанном комплексе свое содержание, а вне этого комплекса выступают часто как представители всего комплекса, а иногда и как метонимические заменители самого исходного слова-символа (например, слово *дым* в логическом соединении со словом *огонь* — нечто иерархически подчиненное огню, его следствие, будучи поставленным в соответствующий контекст, может приобретать символические функции огня). Закрепление новой семантики за старыми и новыми словами-образами в поэтической речи определяется естественной преемственностью вновь найденных применений старого образа.

В поэзии XIX в. можно назвать два ряда словесных комплексов, принятых при перифрастическом наименовании умирания и опирающихся на образ *огня* как исходный образ: 1) *огонь* — *костер* — *искры* — *дым* — *пепел* — *зола*, откуда и глаголы-метафоры: *гореть* — *тлеть* — *пепелить*, 2) *огонь* — *пожар* — *дым*, откуда глаголы: *гореть* — *тушить*.

Обращение к этим словесным комплексам позволяет судить о преемственности поэтической традиции. Новацией для XIX в. здесь является только образ *костра*, а также активизация образов *дыма*, *пепла*, *зола*. Если появление слова-образа *костер* можно рассматривать как расширение ряда однофункциональных слов-образов *факел*, *светильник*, обычно в поэтических контекстах обозначающих жизнь—смерть (*костер* — это метонимически *огонь* или *носитель огня*, принявший конкретно-бытовую оболочку обычного для XVIII в. *факела* или *светильника*), то появление слов-образов *дым*, *пепел*, *зола* стимулируется необходимостью обозначить такие явления, которые относятся уже к области духовных ценностей. Слово *дым* прочно закрепляется за тем его смысловым наполнением, которое придано ему в стихотворении Полонского «Ф. И. Тютчеву» (Ночной костер зимой у перелеска) (1865) и ответе Тютчева «Нет больше искр живых на голос твой приветный» (1865).

⁴ Под словесным комплексом слова-образа понимаются слова, формирующие устойчивые перифризы или символические картины и несущие в них свои подчиненные основному слову-образу дополнительные символические смыслы. Например, если опорное слово-образ комплекса *путь* (чей) — символ жизни, то *путник* — человек, *розы* и *тернии*, *камни*, *бездны* на пути — символы благополучий и бед, неудач, *пристань* — покойная жизнь или смерть.

Стихотворение Полонского четко делится на две части. Первая представляет собой пейзажную зарисовку, сопровождающуюся раздумьями о значении для пешеходов и проезжих костра, запаленного в зимнюю ночь на опушке леса. Рассуждения носят обобщенный характер и способны сами по себе вызвать затекстовые параллели. Направление этих параллелей уточняется и закрепляется второй частью стихотворения, полной старых символов.

Так и к тебе, задумчивый поэт,
К огню, что ты сберег на склоне бурных лет,
Счастливцев не придет. *Огонь под сединами*
Не греет юности, летящей с бубенцами
На тройке ухарской, в тот теплый уголок,
Где ждет ее к столу кутил живой кружок
Иль полог, затканый цветами.
Но я — я бедный пешеход,
Один шагаю я, никто меня не ждет...
Глухая ночь меня застигла,
Морозной мглы сверкающие иглы
Открытое лицо мое язвят;
Где б ни горел огонь, иду к нему, и рад —
Рад верить, что моя пустыня не безлюдна,
Когда по ней кой-где огни еще горят!..

.....

Здесь *огонь твой, огонь под сединами* — символ духовного «горения», жизни, человеческого интеллекта: здесь (моя) *пустыня, «пешеход шагающий»*; *глухая ночь*, здесь *тройка юности* — многообразное соединение реалий-символов, строящих традиционное представление жизни как движения по жизненному пути. Здесь заложены недвусмысленные переключки с «Телегой жизни» Пушкина, также направляющие понимание прямого и переносного планов стихотворения. Но здесь и слияние символов *жизни-пути* и *жизни-огня*. В силу возможных логических связей вещественных основ символов (выдвижение на первое, ведущее, место одного — *путь* и подчиненное положение второго — *огонь*) эти символы, легшие в основу построения, функционально и иерархически расподоблены: *движение по пути* (пешее, или в кибитке, или на тройке) символизирует жизнь, определенным образом характеризуюмую (ср.: *ночь, морозная мгла* → холод жизни и *костер* → → *огонь*), то, что всего важнее, — духовную жизнь (*огонь под сединами* друга, другого человека).

Ответ Тютчева построен уже на основе заданной символики: *костер (огонь)* — символ жизни человеческого интеллекта, жизни чувств; (*глухая*) *ночь* — символ безнадежности и беспросветности, в чем, возможно, отличие от «глухой ночи», которая «застигла», в стихотворении Полонского; здесь же, как естественное овеществ-

ление символа *костер*, появляются *искры* и *дым* — не новые в поэзии, но поставленные в новые связи с символическим образом жизни-горения.

Нет боле *искр живых* на голос твой приветный —
Во мне *глухая ночь* и нет для ней *утра...*
И скоро *улетит* — во мраке незаметный —
Последний, скудный дым с *потухшего костра*.

Образ *дыма* приобретает у Тютчева особую активность. Он связан семантической преемственностью с традиционно оценочным употреблением этого слова: *дым* — нечто ненадежное и эфемерное. Ср. у Пушкина: «Что слава мира? *Дым* и прах!» в стихотворении: «Примите Невский альманах». Но в тексте Тютчева он исполнен дополнительных семантических наслоений, выступая символом полной опустошенности. *Дым* — это то зыбкое, что остается после умирания огня.

Для Тютчева образ *дыма* — образ устойчивый. Слово *дым* с символическими функциями встречается у него еще в начале 30-х годов в стихотворении, напечатанном в пушкинском «Современнике» 1836 г.:

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает
И огонь сокрытый и глухой
Слова и строки пожирает:

Так грустно *тлится жизнь моя*
И с каждым днем *уходит дымом*;
Так постепенно *гасну я*
В однообразьи нестерпимом.

О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле —
И не томясь, не мучась доле
Я просиял бы — и погас.

Стихотворение это, посвященное теме жизни и построенное на обычном уподоблении жизни огню (*я гасну, погас*) или свету (*просиял*), не ограничивается этим уподоблением, породившим общепозитические сочетания *огонь жизни погас, факел жизни погас*. Первая строфа стихотворения определяет огонь как среду, в которой тлеет свиток. Так как эта строфа дает установку на аналогическое восприятие последующих строф, то жизнь становится в один параллельный ряд со свитком, тлеющим на огне, результатом чего — *дым* — символ тления, тусклого однообразия жизни. В последней строфе сочетание *сей пламень* — опять-таки адресует к среде, общественным условиям существования. Возможно, что новая расстановка — *огонь* как символ среды и символ ду-

ховной жизни — определяется обращением к образу *огня* для характеристики жизни с ее процессуальной стороны, а не конца, смерти, что было более обычным для фразеологии допушкинского периода.

«Овеществление» символа, оживление внутренней формы слова, носителя символа, влечет за собой ввод в текст слов определенных словесных комплексов. Наличие большого количества этих слов, связанных непосредственной логической связью с исходным значением слова-символа, не подавляет восприятие символического значения данного слова. Становясь в соответствующие ассоциативные ряды, эти поддерживающие «вещное» значение символа слова сами приобретают символические функции, превращаясь в подчиненные элементы целого семантического комплекса.

С прямым сопоставлением *дыма* и *жизни*, закрепленным в личной поэтической традиции Тютчева, сталкиваемся в его стихотворении «Русской женщине» (1849—1850). Процесс безрадостной жизни сравнивается с исчезновением облака дыма «На небе тусклом и туманном, В осенней беспредельной мгле...»

Незаметность и бесплодность этого хода человеческой жизни-дыма подчеркнута и усилена окружением образа (*тусклое, туманное* небо, *мгла осенняя, беспредельная*), выдержанным в «дымных» тонах. В силу параллельности структуры первой и второй строф реалии, в них представленные, невольно накладываются друг на друга, определяя двойное смысловое наполнение почти каждого слова в границах стихотворения. Ср.:

Мелькнут твои молодые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои!..

И жизнь твоя пройдет незрима	Как исчезает облак дыма
В краю безлюдном, безымянном,	На небе тусклом и туманном
На незамеченной земле,—	В осенней беспредельной мгле.

В стихотворении 1849 г. автор идет дальше в своих сопоставлениях: *жизнь* нельзя уподоблять *дыму*, если он блестит, она — *тьень от дыма*, т. е. нечто предельно эфемерное.

Как дымный столп светлеет в вышине! —
Как тень внизу скользит неуловимо!..
«Вот наша жизнь,— промолвила ты мне,—
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бежущая от дыма»...

2. Сочетания, обозначающие в поэтическом языке смерть, умирание и опирающиеся на образ огня (*огонь еще пылает, огонь чей погас*), тесно связаны отношениями смежности явлений с пе-

рифрами, опирающимися на образ горящего или потухшего *светильника*, *факела*: *факел* (чьей) *жизни угас*; *смерть потушила факел* (чьей) *жизни*)⁵. По отношению к поэтической практике XVIII в. можно говорить о преобладании сочетаний последнего типа, поддержанных в своей устойчивости популярными живописными изображениями гения жизни с опущенным факелом. Последнее обстоятельство, способствующее активности сочетаний с опорным словом-образом *факел* (*светильник*) в конце XVIII — нач. XIX в. влекло за собой такое заштамповывание образного представления, что уже в 30-х годах XIX в. сочетания *факел* (чей) *погас* или *погашен* превратились в средство иронической поэтичности. Это было вызвано и чересчур тесными связями фразеологии и живописного штампа, препятствующими проявлению творческой индивидуальности при оперировании данным образом. Собственно, в более или менее чистом виде и со старым содержанием фразеологические сочетания с опорным словом-образом *факел* привлекает Фет, да и то в стихотворении «на случай» — «На смерть А. А. Дружинина» (1864), полном ходовых штампов.

*Умолк твой голос навсегда,
И сердце жаркое остыло,
Лампаду честного труда
Дыханье смерти погасило.
На мир усопшего лица
Кладу последнее лобзанье.
Не изменили до конца
Тебе ни дружба, ни призванье, и т. п.*

и далее: и *жизни мутною волной Ты чистым унесен в могилу, Муза* *строгая кладет Тебе на гроб венок лавровый*. Правда, здесь *лампада труда*, а не *жизни*, но это явления взаимосвязанные; правда, не *гений жизни гасит эту лампаду*, а *дыхание смерти*, т. е. *смерть*, — но все это не разрушает основы старого штампа. Ср. у того же Фета в стихотворении «Смерти» (1856—1857):

*Не верь, суровый ангел бога,
Тушить свой факел погоди,*

где тот же отход от живописного и мифологического канона

⁵ «Светильник... угасший, значит буйство, невежество, нерадение, кончину». «Факел угасший — потерянную или угасшую любовь или смерть» (Иконологическое описание вещей и орудий, стр. LIV и LV — в кн.: Избр. эмблемы и символы. СПб., 1811). Ср.: *Светильник жизни ея начал угасать*, и она вскоре закрыла навеки глаза свои (Е. Люценко, Ермак, 1805); В стенах колы на меня народ восстанет сих, *Угаснет уж тогда светильник дней твоих* (Капнист, Антигона).

(ангел бога тушит свой факел⁶), но не от принятого обозначения смерти как уничтожения огня жизни (чьей). По существу можно говорить, что в конце XIX в. модель: «кто (гений смерти, смерть, ангел смерти) гасит факел жизни (кого, чьей)» перестает существовать и как поэтический штамп, что находит соответствующую констатацию у Случевского в стихотворении «Забыт обычай похоронный»:

Да, факел жизни вечной темой
Сравненья издавна служил!
Как бы объятые эмблемой,
Мы шли за гробом до могил!
Так нужно, — думалось. Смиримся!
Жизнь — факел! Сколько их подряд!
Мы все погаснем, все дымимся,
А искры после отгорят.

Случевский сталкивает символ (факел — жизнь) с реальней (факел гробовщиков), отвлеченные рассуждения о содержании символа и обычные лексические выражения этого содержания (погаснем, дымимся, искры) с рассуждениями о похоронном ритуале (забыт обычай похоронный, ряды факелов, гарь смолы, оброненный огонь — старого обряда и копоть дешевого керосина фонарей, отсутствие искр прошлого и настоящего). Но рассуждения о символе жизни — горящем факеле, пересекающем рассуждения о бытовом похоронном ритуале, обогащены семантически оправданными дополнительными символами — искры и дым как результат горения — жизни, что старому символу факел в его специфическом семантическом окружении было мало свойственно. Этот символический комплекс в дальнейшем определяет второй план последующих строк о «чистом» уходе современников из жизни, что само по себе является показателем никчемности и ненужности и самой жизни (дорога в вечность не дымится; следом нет огня; не нарушаем порядка, бросая искры на пути), итог чего в строках:

И вслед нам нечего мести!..

Комплекс представлений, связанных со старыми условными формами обозначения, очень устойчив. Будучи вырванным из строго прикрепленного к нему лексического окружения, слово-образ возрождает свои символические функции, если даже пластически преобразованным оно попадает в ту тему, с которой его связывала старая традиция употребления. С подобной установкой на возрождение ассоциаций сталкиваемся в стихотворении Аннен-

⁶ Ср. у Бунина: Ангел изваян над ним с опрокинутым светочем жизни («Могилы поэта», 1903).

ского «Желание», полном преображенной фразеологии:

Когда к ночи усталой рукой
Допашу я свою полосу⁷,
Я хотел бы уйти на покой
В монастырь, но в дремучем лесу;

А когда надо мной зазвонит
Медный звон в беспросветной ночи,
Уронить на холодный гранит
Талый воск догоревшей свечи.

Здесь *догоревшая свеча*, выпавшая из рук умирающего на холодный гранит, — жест, деталь живописной картины смерти монаха. Но в этой строфе есть *беспросветная ночь* (символ смерти или безрадостной жизни), *догоревшая свеча* — символ смерти, даже слово *холодный*, обычный эпитет смерти, умирания: все это соединяет новый жест со старой фразеологией.

Проследивая судьбу слов-образов, несущих в поэтической традиции определенные символические функции при наличии определенной темы и определенного словесного комплекса, это слово-образ сопровождающего, можно сделать следующие выводы:

1. Старые слова-образы в XIX — начале XX в. сохраняются в составе устойчивой поэтической фразеологии как средство, характеризующее определенный временной период нашей поэзии (XVIII — нач. XIX в.), следовательно, выступают при необходимости типичной приметой поэтической речи этого времени.
2. Старый словесный комплекс слов-образов в поэзии конца XIX — начала XX в. может быть расширен за счет ввода новых слов, означающих новые реалии. Эти последние слова приобретают в данном старом комплексе свои символические функции, выступая иногда как метонимические заменители опорного слова-образа.
3. Старый словесный комплекс слова-образа (символ) может быть заменен новым словесным комплексом, что ведет к усилению пластического восприятия целого. Но старая тема, с которой был традиционно связан символ, способствует сохранению старого словесного комплекса в качестве затекстовой параллели.

⁷ Ср. у Пушкина в стихотворении «Родриг»: ... [Бедный] пахарь утомленный, Отрешись волов от плуга На последней борозде.

И. С. Ильинская

О ЧЕМ МОГУТ СКАЗАТЬ НЕСКОЛЬКО ЦИФР

(слова *холм*, *бор*, *ручей*, *ручеек* и *речка* у Пушкина)

В творчестве Пушкина начиная примерно с 1822—1823 гг. обращает на себя внимание резкое количественное сокращение употребления ряда слов, связанных с описанием природы: *холм*, *бор*, *ручей*, *ручеек*, *роща*, *дубрава*, *ветерок* и нек. др. Слово *холм*, например, в ранний период его творчества встречается 60 раз, а в последующий 30, слово *бор* соответственно — 7 и 3. Однако важно не только то, что эти слова Пушкин стал употреблять реже, а то, что они в разные периоды его творчества по существу — разные лексико-стилистические явления. *Холм* в раннем творчестве поэта — слово, соответствующее во французском слову *colline*, откуда оно и берет свое начало в его поэзии, это типичный, непрменный атрибут пейзажа, один из элементов, создающих его поэтическое звучание. *Холм* в поэзии зрелых лет творчества поэта — нейтральное слово, употребляемое им для воспроизведения реальных картин родной ему природы. Вспоминая Языкова, он шлет ему поклон «от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти» в последний свой приезд в родные места (письмо от 14 апреля 1836 г.). Они, эти холмы, стоят перед его глазами, когда он пишет:

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сживал недвижим и глядел
На озеро...

«...Вновь я посетил»; см. также «Осиповой».

С другой стороны, это тоже реальные холмы, холмы, на фоне которых возвышаются высокие горы Северного Кавказа:

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук...

Отрывки из «Путешествия Онегина».

Это также и мягкие в своих очертаниях возвышенности Грузии:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною...

В этом же плане следует рассматривать и слово *бор*. С начала 20-х годов Пушкин перестает его употреблять. Два случая, встретившиеся в более поздних его стихах, представляют собой

явления, совершенно отличные от того, как употреблялось это слово в ранних стихах и поэмах поэта. В этих последних в соответствии с французским *forêt* «густой хвойный лес» оно служило поэту элементом, передающим мрачный колорит оссиановского пейзажа наряду с другими типичными для него элементами: скалы, обросшие влажным мхом, мшистые берега, темный кров деревьев и т. п.

Вдали дремучий бор качают ветры с шумом,
Луна за тучами, и в море спит заря

Осгар.

С другой стороны, в ранних стихах поэта это слово — вообще поэтический синоним слова *лес*, в ряде случаев удобный для рифмовки:

Стремится конь во весь опор,
Исполнен огненной отваги;
Всё путь ему: болото, бор,
Кусты, утесы и овраги

«Кавказский пленник», 1;
см. также «Руслан и Людмила», 4.

В более поздних произведениях Пушкина употребление слова *бор* подчинено совсем другим задачам. В «Евгении Онегине» (V, 24) оно входит в перечислительный ряд слов по алфавиту в «гадательной книге» Мартына Задеки наряду со словами *буря*, *ведьма*, *ель*, *еж* и т. д. и не выполняет никакой изобразительной функции.

Совсем иное видим мы в стихотворении «Обвал» (1829), в котором слово *бор* намеренно использовано поэтом из-за его фонетической структуры, из-за его конечного *р*, для создания определенно-го акустического эффекта, основанного на неоднократно повторяющемся звучании того же сонорного в других имеющихся здесь словах:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и певаются валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор...

Перед нами один из приемов звукописи Пушкина, и в данном тексте не имеет значения, идет ли речь о хвойном или лиственном лесе. Совершенно иное в этом отношении представляет собой употребление того же слова в прозаическом тексте «Бориса Годунова», в речи хозяйки корчмы на Литовской границе: «Вот хоть отсюда свороти влево, да *бором* иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино...»

В этом тексте с его чисто местными географическими деталями слово *бор* выступает как название одной из разновидностей хвойного леса, которые Даль перечисляет в своем словаре: «красный или хвойный лес; строевой, сосновый или еловый лес по сухой почве, по возвышенности; преснина, чистый мендовый сосняк по супеси; хвойник с ягодными кустами и грибами».

Таким образом, слово *бор* как слово поэтического словаря, каким оно было в ранней поэзии Пушкина, перестает для него существовать. Оно понадобилось ему в его точном специальном значении только один раз в прозаическом тексте и только в речи персонажа, где можно усмотреть и некоторые его характерологические функции. В поэзии, а также в художественной прозе Пушкин зрелых лет своего творчества применяет только нейтральное слово *лес*, прибегая в необходимых случаях к разнообразным определениям — *еловый, сосновый, темный, суровый, глухой, дремучий*, к сочетаниям *тьма лесов, мрак леса* или к такому поразительному по силе образу, как во вступлении к «Медному всаднику»:

И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

Слово *речка*, типичное для народной поэзии, в раннем творчестве Пушкина употребляется всего в трех случаях (в лицейских стихах вообще ни разу), в то время как в последующей его поэзии мы встречаем его неоднократно — 15 раз. Место слова *речка* в ранних стихах Пушкина как бы занято другими, близкими по значению словами, — *ручей* и *ручеек*, которые в этот период широко применяются поэтом — более 30 раз. Рисуя стандартный, «узаконенный» традицией пейзаж, Пушкин включал в свое описание эти слова как неперменный атрибут изображения природы, восходящий к подобным описаниям во французской поэзии, в которой соответствующее понятие обычно обозначалось словом *ruisseau*. В своих ранних стихах Пушкин сам указывает на эти слова как на типичную принадлежность пейзажа поэзии его времени («К другу стихотворцу»; «Блажен, кто в шуме городском...») и иронически перечисляет аксессуары поэтического пейзажа с его неперменными *ручейками*:

«Ах, сударь! мне сказали,
Вы пишете стишки;
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, *ручейки*,
Конечно, *василечек*,
Иль тихий *ветерочек*,
И *рощи*, и *цветки...*»
К Дельвигу.

Тем не менее, отдавая себе отчет в условности этого штампа, молодой поэт широко применяет его в духе существовавшей в его время традиции. Достаточно указать на стихотворения «Городок», «Там у леска, за ближнею долиной» и др.

В более поздних произведениях Пушкина, когда он порывает с шаблонами предшествующей традиции, употребление подобных слов подчиняется уже иным целям. Слова *ручей* и *ручеек* в ряде случаев оказываются включенными в контексты, передающие романтическую настроенность героя, элегический характер его мироощущения. В подобных контекстах эти слова обнаруживают стилистическую установку автора как художника, воссоздающего определенный стилистический тон в соответствии с образом его героя, например в «Дубровском»:

Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; *ручеек* извивался молча около деревьев, подобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его... Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение *ручья*, уносящего несколько поблеклых листьев — и живо представляющего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное (гл. V; см. также описание могилы Ленского в «Евгении Онегине» — VI, 40).

Становясь «поэтом действительности»¹, Пушкин отвергает прежнее, типичные для его ранней поэзии темы, и слова, которые ранее отвечали этим темам и благодаря их частому употреблению придавали стихам молодого поэта характерный стилистический колорит, в последующем его творчестве, основанном на реалистическом изображении действительности, такой роли уже не играют. В его стихотворной речи они становятся в ряд стилистически нейтральных средств и употребляются поэтом для передачи реальных ситуаций. Так, «изучение отдельных элементов стиля литературного произведения, — как говорит В. В. Виноградов [или вообще отдельных элементов стиля во всем творчестве данного поэта или писателя, добавим мы. — И. И.], — нередко открывает путь к сложным внутренним структурным признакам художественного целого или дает ключ к пониманию отдельных его сторон или частей»².

¹ Денница. Альманах на 1830 год, изд. М. Максимовичем (А. С. П у ш к и н, Собр. соч., т. XI, стр. 104).

² В. В. В и н о г р а д о в. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, стр. 115.

О СОСУЩЕСТВОВАНИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ КОНЦА XVIII в.

В истории литературных языков бывают эпохи, отличающиеся особой сложностью, когда в письменности сосуществуют явления и факты, слабо соотнесенные друг с другом, с трудом уживающиеся в рамках единой стилистической системы. Таков в истории русского литературного языка конец XVIII в. Понятно поэтому, почему у исследователей появляется искушение ограничиться описанием только отдельных явлений или языка отдельных авторов этой поры — тех, которые кажутся исследователю наиболее существенными, или, в лучшем случае, сделать попытку описать все эти разнородные факты и процессы вне связи их друг с другом. Естественно, что такие описания, при всей их полезности, имеют все же ограниченное значение. В первом случае неизбежна односторонность оценок и характеристик, которая, если исследователь обнаруживает к тому же склонность абсолютизировать свои наблюдения, приводит к очевидным «перекосам» и прямым ошибкам¹; неудивительно, что разные исследователи приходят иногда к прямо противоположным выводам об основных тенденциях истории литературного языка этой поры. Во втором случае явления разного рода и, так сказать, «разнонаправленные» оказываются в одной плоскости, как равноправные; такое описание неспособно ни обнаружить системные отношения внутри литературного языка, ни вскрыть тенденции и перспективы его развития. В лучшем случае оно представит в относительно упорядоченном виде совокупность стилистических разновидностей литературного языка, но не всякая совокупность, как известно, составляет систему.

Между тем дисциплина, изучающая историю литературного языка, только тогда вполне осуществляет свою задачу, когда она представляет исторический процесс не как беспорядочный перечень отдельных изменений, а как историю стилистической системы языка, как смену таких систем. В этом случае и отдельные изменения должны быть рассмотрены на фоне этих процессов как их частные проявления, а это дает возможность отделить явления, полностью укладывающиеся в рамки самой системы, от процессов, направленных на разрушение или видоизменение системы, сигнализирующих о зарождении основ новой стилистической си-

¹ Например, на основе изучения языка «низких» жанров или сатирических журналов делается вывод о «демократизации» литературного языка как основном и решающем процессе развития литературного языка второй половины XVIII в.

стемы. Таким образом, историческая стилистика² стремится не только изложить процесс развития отдельных сторон языка, но и дать описание стилистической системы, системы норм на каждом этапе развития литературного языка. Такое описание принципиально — по своим методам и приемам — сходно с описанием литературного языка в его современном состоянии³. В нем должны найти свое место и архаические элементы описываемой системы, которые, однако, в этом случае должны быть интерпретированы в категориях и терминах данной, синхронно воспринимаемой системы⁴. Но своеобразие периода, о котором идет речь, — конца XVIII и самого начала XIX в., — периода, отличающегося резкими сдвигами в литературном языке, как раз в том и заключается, что не все попадающие в руки исследователя факты поддаются такой интерпретации. Очевидно, что в таком случае целесообразно пользоваться понятием синхронного сосуществования разных — старой и новой — стилистических систем (или элементов таких систем). Это понятие исходит из представления о том, что не все языковые факты, существующие одновременно в письменных памятниках (даже если отбросить случаи стилизаций разного рода), находятся между собой в системных отношениях, а не-

² Под исторической стилистикой мы понимаем ту научную дисциплину, которая исследует стилистические явления в истории литературного языка — в отличие от исторической фонетики, грамматики, лексикологии (см.: Г. О. Винокур. О задачах истории языка. «Избр. работы по русскому языку». М., 1949; В. В. Виноградов. О задачах истории русского литературного языка «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1946, вып. 3, и др. работы; см. также: В. Д. Лevin. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — нач. XIX в. М., 1964, стр. 4—6.

³ Нельзя в то же время забывать и о той специфике, которой обладает такая «синхрония в диахронии» и которая обусловлена необходимостью представить наличное состояние языка как определенный «момент истории». Так, современный язык мы можем соотносить только с прошлым, в то время как любое состояние языка в прошлом исследователь имеет возможность соотносить и с будущим (в отношении к этому состоянию). Это обстоятельство оказывается чрезвычайно важным прежде всего потому, что оно позволяет выявить динамические элементы системы, приметы — даже очень слабые — дальнейшего развития, «ростки нового».

⁴ Следует признать неточными рассуждения Э. Косериу относительно места архаизмов в системе литературного языка. Начав с бесспорного утверждения, что «архаизмы, поскольку они существуют и функционируют, представляют собой элементы современного языка», Косериу далее сводит функцию архаизмов к способности «придавать речи архаическую окраску» («Новое в лингвистике», вып. III. М., 1963, стр. 149). Но если функция языковой единицы этим и ограничивается, то это может служить очевидным доказательством того, что она как раз не является элементом современного языка. Историческая стилизация (независимо от того, выступает ли она как сознательный прием или отражение определенных речевых навыков) не входит в число живых категорий современного языка. Во всяком случае понятие архаического стиля современного языка, если признать его закономерным, как речь старшего поколения, требует особой интерпретации ввиду его несоотносительности с другими, живыми, стилистическими категориями синхронной языковой системы.

редко — более того — складываются в разнородные системы, обладающие каждая своими категориями, понятиями, терминами и соответственно — своими нормами. Само собой разумеется, что речь идет лишь об исследовательском приеме, о некоей абстракции; фактически носитель языка имеет дело со сложной совокупностью явлений разного рода и разного происхождения. В то же время, однако, такой подход имеет реальную почву в самой языковой действительности. Понятие сосуществования систем дает возможность избежать исследовательского насилия над языком, когда отживающие явления втискиваются во враждебную старым традициям новую языковую систему или — что, может быть, еще хуже — новые явления, складывающиеся в принявшие отчетливые очертания систему, рассматриваются в категориях, свойственных традиционной системе, в лучшем случае — как ее частные изменения⁵. (Надо заметить, что недостаток второго рода часто свойствен рассуждениям современников, неспособных — отчасти из-за естественного отсутствия отмеченной выше проекции современного языка на будущее его состояние — оценить принципиальное значение происходящих в языке сдвигов; можно вспомнить в связи с этим довольно обычное применение традиционных терминов и понятий ломоносовской системы трех стилей к чуждым ей явлениям начала XIX в. К сожалению, эта условная традиционность терминологии не всегда учитывается исследователями.)

Оценка языкового материала конца века с точки зрения его принадлежности к той или иной системе литературного языка дает возможность распределить синхронно существующие факты по разным плоскостям и определить их иерархию, создавая тем самым необходимую историческую перспективу, выявляя тенденции развития.

Так, существующие в конце XVIII в. резко отличающиеся друг от друга стилистические отношения, характерные или для системы «трех штилей», или для так называемого славяно-русского языка и соотносенного с ним «простого» (но не «низкого») стиля, или для карамзинского «нового слога», — соотносены между собой как разные этапы в развитии литературного языка этого времени. Это важно не только для уяснения иерархии этих явлений, но и для понимания самих этих исторических процессов. Так, выясняются исторические связи нового слога с «простым», а этого последнего — с низким стилем ломоносовской системы. Ста-

⁵ Легко увидеть, что такой подход резко смещает перспективу. Э. Косериу (указ. соч., стр. 155) тонко заметил, что «то, что называется «изменением в языке», является таковым лишь по отношению к языку предшествующей эпохи, а с точки зрения современного языка (т. е. любой синхронной системы. — В. Л.) — это кристаллизация новой традиции, т. е. как раз неизменение». Историк языка неизбежно сохраняет обе точки зрения на языковое явление — и как на результат изменения, и как на устойчивый элемент языка, но не должен смешивать эти разные точки зрения.

новится очевидной невозможность непосредственного соотнесения «карамзинской» и «лomonосовской» систем, без учета своеобразных и важных процессов второй половины века ⁶.

Эти процессы находят свое отражение в некоторой зыбкости, неопределенности стилистических функций и характеристики языковых единиц. Вот пример такого рода. Многие традиционно-книжные, «славянские» элементы в литературе этого времени могут характеризоваться в зависимости от контекста то как «высокие», то как «поэтические». Как хорошо разъяснено в работах Г. А. Гуковского и Г. О. Винокура, это обстоятельство отражает процесс изменения в новой литературе стилистической экспрессии многих славянизмов, превращения их из элементов «высокого стиля» в факты «поэтического языка» вообще. Но важно иметь в виду, что «высокая» (в старом, терминологическом смысле, как свойственная «высокому стилю») и «поэтическая» экспрессии принадлежат разным — но сосуществующим определенное время — стилистическим системам. В связи с явлениями такого рода становится очевидным, что простое хронологическое сосуществование языковых единиц недостаточно для сведения их в один синонимический ряд; члены синонимического ряда должны принадлежать одной системе, так как только тогда они вполне соотносительны. Иначе мы имеем дело с разными перекрещивающимися и лишь частично совпадающими рядами.

Отмечая плодотворность понятия сосуществования стилистических систем, нельзя в то же время не высказать опасение, что излишне прямолинейное его применение может скрыть всю сложность языкового процесса, сведя его к упрощенной и абстрактной схеме. Реальные стилистические отношения в этот период невозможно свести просто или к отношениям внутри старой или новой системы, или к отношениям между этими системами; появляются разного рода промежуточные явления, свидетельствующие о сложности и противоречивости исторического процесса. Дело в том, что стилистическая система языка — понятие сложное, обладающее многими признаками и характеристиками. Чтобы описать ее, оказывается недостаточным назвать речевые стили, составляющие внутренне организованную, нормированную систему противопоставленных друг другу «контекстов», и определить соотнесенные с ними стили языка — совокупности определенным образом окрашенных языковых единиц. Необходимо указать еще на принципы и приемы организации этих речевых стилей — так, например, важными признаками системы «трех штилей» являются связь стиля с определенными жанрами письменности, характер соответствия языка и содержания, «материи», стилистическая замкнутость контекстов и др., так же как для новой, сменившей ее системы, если рассматривать ее исторически, значимым окажется

⁶ См.: В. Д. Левин, Указ. соч.

отсутствие некоторых таких признаков. Чрезвычайно существенно для характеристики стилистической системы определение места в ней языка художественной литературы, его соотношение с общелитературной нормой, степень зависимости от этой последней, причем важно иметь при этом в виду и стилистические отношения внутри художественной литературы, отражающие своеобразие «литературных стилей» эпохи. Наконец, в характеристику литературного языка и его стилей не может не входить и оценка самих языковых норм — прежде всего в их отношении к живой речи и различного рода старокнижным традициям.

Значение этих различных сторон системы неодинаково. Одни из них определяют само существо системы, и поэтому происходящие в них изменения знаменуют разрушение, распад этой системы, изменение других, менее существенных признаков, свидетельствует лишь о модификации системы, не затрагивающей ее основ; тем не менее и эти последние оказываются небезразличными для судеб литературного языка. Если добавить, что эти признаки обладают относительной самостоятельностью, что их изменения происходят неравномерно и неодновременно, станет очевидным, что развитие литературного языка может принимать весьма сложные и разнообразные формы, интерпретация которых не укладывается в простую констатацию факта, что старая и новая системы сосуществуют как бы изолированно друг от друга.

Поэтому так важно, говоря о тех или иных изменениях в литературном языке, осмысливать их значение для системы в целом, включать их в «контекст» системы. Совмещение и столкновение в одах Державина элементов высокого стиля с просторечием склонны иногда рассматривать как революцию в высоком стиле, как разрушение ломоносовской системы и ее норм. Между тем, как уже отмечалось в научной литературе, вместе с нарушением одного из существенных признаков системы — стилистическое единство, замкнутость произведения — язык од Державина демонстрирует в то же время устойчивость свойственных этой системе языковых норм, неизменность стилистических свойств языковых фактов. Здесь нельзя сказать, что «все изменилось», но неправильно отрицать, что «что-то все-таки изменилось». Точно так же, как правильно заметил Г. О. Винокур, в «Путешествии» Радищева нет никаких отступлений от стилистических норм классицизма, если не считать отступлением соединением разных литературных стилей в одном переплете вследствие новosti самого жанра, и язык Радищева с этой точки зрения есть вполне язык своей эпохи⁷. Но это «если не считать отступлением...» и т. д. очень характерно; «соединение разных стилей» — это, разумеется, отступление от традиции, но оно не такого рода, чтобы можно было бы говорить о кризисе самой стилистической системы или разруше-

⁷ Г. О. В и н о к у р. Избр. работы по русскому языку, стр. 160.

ния ее языковых норм. Но отступления от предписаний системы «трех штилей» могут носить и другой характер. В том же «Путешествии» Радищева или в его «Житии... Ушакова» можно обнаружить вполне традиционные по языку и выдержанные в единой стилистической тональности описания, которые, однако, обращают на себя внимание необычностью для высокого стиля самого предмета, самой «материи», для которой, как правило, избирался другой стиль. И здесь, следовательно, сохранены и нормы высокого стиля, и традиционное понимание экспрессивных свойств языкового материала, но нетрадиционность самого понимания «высокого предмета», необычный выбор стиля не могут все же не быть отмечены.

Дальше отходят от основ домоносовской системы те тексты, в которых широкое употребление высокой лексики не сопровождается свойственной высокому стилю экспрессией. Здесь при сохранении некоторых внешних требований старой системы под ударом находится ее основа: изменяется функция высоких языковых средств, которые обнаруживают тенденцию превратиться из элементов высокого стиля в факты книжного языка вообще. Этот процесс знаменует новый этап в развитии книжного языка, характеризующийся сближением высокого и среднего стилей, складыванием так называемого славяно-русского языка.

Во всех упомянутых выше случаях мы не сталкивались, однако, со сколько-нибудь заметными попытками пересмотра самого материала литературного языка. В этом отношении самый конец века, когда формируются не только новые принципы употребления традиционного языкового материала, но и складывается новая норма словоупотребления и происходит отказ от целых серий архаических элементов языка, когда решительно изменяется отношение литературной нормы к разговорной речи и старокнижным традициям, — этот период имеет принципиальное значение для истории литературного языка.

Все эти факты, осложняя стилистические отношения, не снимают все же целесообразности понятия сосуществования стилистических систем. Анализ таких гибридных, смешанных явлений письменности и оценка их происходит на базе тех стилистических отношений, которые выявляются при характеристике «чистых» типов, определяющих данную стилистическую систему; но в то же время смешанные типы дают возможность выявить этапы и пути преобразования системы — и тем самым более четко представить себе эти «чистые» типы в их наиболее существенных характеристиках.

Однако и в тех случаях, когда мы имеем дело, бесспорно, с отражением новой языковой нормы, стилистические отношения могут оказаться не такими уж ясными и прямолинейными. Легко заметить, что в последние десятилетия XVIII и в первые десятилетия XIX в. определенной самостоятельностью обладают, с од-

ной стороны, общелитературная (нейтральная и книжная) норма и, с другой стороны, объем стилистически окрашенных элементов языка⁸. Даже у Карамзина, преобразования которого касались обеих сторон языка, обнаруживается все же некоторая неравномерность этого процесса. У других же авторов этой поры совмещение новых представлений об общелитературной норме со старыми, традиционными оценками высокого стиля, как и — реже — отказ от крайностей высокого стиля при сохранении некоторых архаических черт общелитературного языка, встречается довольно часто. Это обстоятельство, однако, связано уже с новыми вопросами, касающимися прежде всего развития художественной литературы. Проблема сосуществования стилистических систем литературного языка осложняется здесь проблемой сосуществования «художественных систем» — враждебных друг другу, но исторически преемственных. Рассмотрение этого вопроса, однако, не входит в задачи настоящей заметки.

⁸ «Как солнце в малой капле вод», этот факт находит яркое отражение в отношениях, которые складываются внутри синонимических рядов. Выше уже говорилось, что нередко приходится говорить о совмещении рядов, принадлежащих разным системам. Действительно, наряду с собственно синонимическими отношениями, основанными на стилистических различиях языковых единиц, или фактами вариативности языковых средств в пределах одной стилистической нормы, нередко мы имеем дело с сосуществованием во времени относящихся к разным нормативным системам современного и архаического словоупотребления — с тем, что Фонвизин называл «дурацким богатством синонимов» (см. также замечание Карамзина о том, что «в языке выработанном не может быть синонимов»). Очевидно, что для этого времени отношения типа *ночь* — *ночь*, с одной стороны, *премена* — *перемена*, с другой стороны, и, наконец, отношение типа *толь* — *столь*, *понеже* — *потому что* (или *затем что*) — принципиально различны.

В. А. Звегинцев

ЧТО ИЗУЧАЕТ ЯЗЫКОЗНАНИЕ?

Этот вопрос представляется по меньшей мере наивным и даже некорректным. Ведь совершенно очевидно, что языкознание — это наука о языке. Следовательно, язык и должен изучаться в языкознании. Но простота такого ответа нас не удовлетворит, если мы повнимательней постараемся разобраться в данном вопросе — с учетом истории языкознания и тех теоретических тенденций, которые проявляются в современном состоянии этой науки.

Очевидно, что с самого начала необходимость сделать некоторые ограничения в отношении самого понятия языка. Как известно, в последнее время понятие языка приобрело широкое значение. Под языком ныне разумеется любая знаковая система, обладающая: 1) совокупностью элементарных знаков; 2) правилами образования из элементарных знаков комбинаций знаков, допускаемых в данной знаковой системе, и 3) правилами преобразования одних комбинаций знаков в другие (правила вывода). Под это определение может подойти очень широкий круг явлений — не только, например, язык алгебраических нотаций или химических формул, но и язык логических исчислений. Таким образом, первое ограничение предполагает выделение из множества языков, покрываемых приведенной формулировкой, определенного языка. Мы можем сказать, что предметом изучения в языкознании является естественный язык, используемый человеком в его общественной жизни для разнообразных видов общения (включая сюда и тот своеобразный вид человеческого общения, который находит свое выражение в художественной литературе). Имея в виду, следовательно, лишь человеческий язык, мы таким образом устанавливаем и второе ограничение, в соответствии с которым исключаем из языкознания изучение языков животных.

Уже эти два ограничения требуют соответствующих оговорок. Говоря о том, что предметом изучения языкознания является естественный язык, мы вовсе не исключаем возможности изучения его с точки зрения широкого определения языка как частного вида знаковой системы, т. е. в семиотическом аспекте. Но такое изучение будет служить главным образом целям семиотики, а в самом языкознании может использоваться лишь как один из методических приемов (в ряду других) и для решения преимущественно частных задач. Отграничение же человеческого языка от языков животных не означает категорического запрета для лингвистов заниматься языками животных. Этими последними, правда, преимущественно занимаются естествоиспытатели (см., например, классические работы Карла Фриша о языке пчел), но их работы не могут не привлечь внимания и лингвистов (см., например, работу Э. Бенвениста¹, стимулированную исследованиями К. Фриша), хотя и составляют для них опять-таки всего лишь частную проблему. Следует при этом отметить, что изучение языков животных (кем бы оно ни осуществлялось) обычно производится под углом зрения человеческого языка, так как к языку у животных относят только то, что отвечает признакам человеческого языка. Но, с другой стороны, делаются первые опыты включения языков животных в более широкое — семиотическое — изучение, как один из видов знаковых систем (см. работы Т. Сибеока, посвященные зоосемиотике).

Далее идут не столько ограничения, сколько разграничения уже внутреннего порядка. Первое из них принадлежит В. Гумбольдту. Собственно, сам В. Гумбольдт, вводя понятия языка как «готового» продукта деятельности — *ergon* — и как деятельности — *energeia*, — вовсе не проводил разграничения, а — и это надо всячески подчеркнуть — дальнейшее ограничение предмета исследования. С абсолютной категоричностью он указывал, что язык есть не *ergon*, а *energeia*, и все дальнейшее рассмотрение посвящал именно языку как *energeia*. Однако последующая история языкознания сложилась так, что все внимание ученых было отдано языку как *ergon*. Так ограничение превратилось в разграничение, легализирующее альтернативность понимания языка, и, следовательно, подходов к его изучению.

Хотя В. Гумбольдт давно уже превратился в лингвистическую икону, перед которой многие лингвисты по утвердившейся традиции кладут поклоны, мало кто из них в действительности знает, какому богу он поклоняется и какой символ веры должен при этом исповедовать. Поэтому представляется необходимым напомнить ту расшифровку, которую В. Гумбольдт давал своему определению языка как *energeia*. Она понадобится нам и в дальней-

¹ E. Benveniste. *Animal communication and human language*. «Diogenes», 1953, № 1.

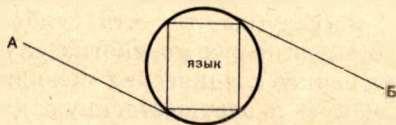
шем изложении, в частности тогда, когда мы перейдем к языковедческой современности.

Определение языка как деятельности у В. Гумбольдта самым тесным и неразрывным образом переплеталось с подчеркиванием творческого характера языка. Творческие качества языка входят у него в само определение языка. Этот творческий характер обусловливается тем обстоятельством, что «наряду с уже оформившимися элементами язык состоит из способов, с помощью которых продолжается деятельность духа, указывающего его пути и формы. Уже прочно оформившиеся элементы образуют в известном смысле мертвую массу, но в ней заключается живой зародыш нескончаемых формаций. Поэтому в каждый момент и в каждый период своего развития язык, подобно самой природе, представляется человеку — в отличие от всего уже познанного и продуманного им — в виде неисчерпаемой сокровищницы, в которой он вновь и вновь открывает неизведанные ценности и неиспытанные чувства. Это качество языка проявляется во все новом виде в каждом случае обращения к нему...»². Но было бы глубокой ошибкой думать, что творческие качества языка, заставляющие его находиться в непрерывной деятельности, заложены в самом языке как таковом, что он творит самопроизвольно. Хотя у В. Гумбольдта при всех видах и формах деятельности языка присутствует дух (не следует, кстати говоря, забывать, что немецкое *Geist* имеет значение и «духа», и «разума», так что гумбольдтовский дух — двойственной природы), этот дух во многих случаях выступает у него в роли одетых в черное сценических «невидимок», которые выполняют всякую мелкую и несущественную для действия пьесы работу по перестановке на глазах у публики мебели, декораций и пр. И когда надо В. Гумбольдт прямо и недвусмысленно называет все вещи своими действительными именами. Так он поступает и в отношении источника творческой силы языка. Она у него заключается в неразрывной связи языка с мышлением. Эта «неразрывная связь мышления... с языком обусловливается первичным и необъяснимым в своей сущности устройством человеческой природы»³. И именно она и превращает язык в «орган, образующий мысль», вследствие чего и язык обретает творческое беспокойство мысли. В. Гумбольдт при этом подчеркивает, что связь языка с мышлением носит не односторонний характер, что она не ограничивается лишь включением мысли говорящего, но требует такой же мыслительной активности и на другом конце речевого акта — со стороны слушающего. Об этом он говорит также с полной опре-

² В. Г у м б о л ь д т. О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человеческого рода. — Цит. по кн.: В. А. З в е г и н ц е в. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. 1. М., 1964, стр. 99.

³ Там же, стр. 96.

деленностью: «Процесс речи нельзя сравнить с простой передачей материала. Слушающий, так же как и говорящий, должен его воссоздать своею внутренней силой, и все, что он воспринимает, сводится лишь к стимулу, вызывающему тождественные явления... Таким образом, в каждом человеке заложен язык в его полном объеме, что означает лишь то, что в каждом человеке заложено стремление, регулируемое, стимулируемое и ограничиваемое определенной силой, осуществлять деятельность языка в соответствии со своими внешними или внутренними потребностями, притом таким образом, чтобы быть понятым другим»⁴. Даже и эти краткие высказывания В. Гумбольдта с предельной ясностью показывают, в какую сторону стремился он направить исследования языка. Случилось, однако, так, что его глубокие мысли были оставлены втуне и языкознание, видимо, внутренне не готовое к выполнению столь сложной исследовательской задачи, какую ставил перед ним В. Гумбольдт, обратилось к изучению языка как *ergon*. Таким оно и оставалось вплоть до наших дней, хотя в пестрой смене методических направлений формулировало по-разному предмет своего изучения — как резульативное образование, как «обычный речевой акт», как средство общения, как высказывание, как корпус и т. д. Схематически этот подход к изучению языка можно изобразить следующим образом:



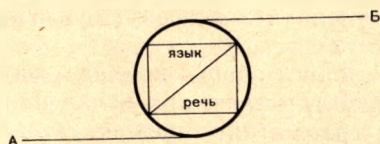
где А и Б представляют собеседников, между которыми осуществляется акт общения посредством языка. Кругом выделена область, которая при данном подходе подлежит изучению.

Это определение области исследования требует своих оговорок, как и первые два ограничения. Во многих случаях круг, устанавливающий границы исследования в языкознании, как бы раскрывался для влияний, источник которых находился за пределами круга. Эти влияния и воздействия были логической, психической, исторической, социальной и прочей природы. Надо, однако, со всей категоричностью подчеркнуть, что все они изучались с точки зрения своей резульативной проекции на плоскость языка, а не в живом и постоянном взаимодействии друг с другом, и отнюдь не под углом зрения раскрытия творческих потенциалов языка. Таким образом, в действительности раскрытия магического круга, замкнувшего собой область исследования в языкознании, не происходило. И если что и менялось, то только методы описания язы-

⁴ В. Гумбольдт. Указ. соч., стр. 98,

ка, к смене которых и сводилась история языкознания от В. Гумбольдта до наших дней. Весь этот период *п о з н а н и е* языка заменялось *о п и с а н и е м* языка. Ничего не менялось от того, что методы описания варьировались в зависимости от учета логических, психологических, социальных или иных факторов. Ничего не изменилось и от того, что в одном случае описание проводилось в историческом (а, точнее, хронологическом) аспекте, а в другом случае — в статическом. Круг оставался на своем месте.

Затем наступило новое разграничение, связанное с именем Ф. де Соссюра. Уже в первом абзаце своей знаменитой книги он говорит о делении истории науки о языке на периоды в зависимости от установления «истинного и единственного объекта своего изучения». Вычленению этого объекта и посвящена книга Ф. де Соссюра. Им при этом, правда, было введено несколько разграничений (или дихотомий), но, по справедливому замечанию Л. Ельмслева, все они являются производными от основного разграничения — между языком и речью. Схематически подход Ф. де Соссюра можно изобразить таким образом:



Сколь ни примечательно и плодотворно разграничение Ф. де Соссюра, оно, как это ясно видно по схеме, ничего не изменило в положении освященного традицией круга. Соссюровское разграничение носит внутренний характер, оно остается в пределах круга и еще больше узаконивает его замкнутость тем знаменитым положением, которым заканчивается «Курс общей лингвистики»: «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя»⁵. Все послессоссюровские лингвистические направления, взявшие на вооружение структурную доктрину, строго придерживались этого завета. Все они ныне объединяются в таксономическую лингвистику, неудовлетворенность которой постепенно создавала предпосылки для нового подхода к изучению языка. Новый подход — сознательно или бессознательно — стремился разорвать, наконец, волшебный круг.

⁵ Р. Гodelю, изучавшему в течение многих лет бумаги, оставшиеся после Соссюра, видимо, удалось доказать апокрифичность этих строк. Но для истории языкознания это обстоятельство не имеет никакого значения, так как она следовала именно этой заповеди, независимо от ее подлинности.

Призыв к этому мы обнаруживаем уже в первых строках книги О. Есперсена «Философия грамматики», вышедшей в 1924 г. «Сущностью языка, — писал О. Есперсен, — является человеческая деятельность — деятельность одного индивида, направленная на передачу его мыслей другому индивиду, и деятельность этого другого, направленная на понимание мыслей первого. Если мы хотим понять природу языка и, в частности, ту его область, которая изучается грамматикой, мы не должны упускать из виду упоминутых двух людей — производящего и воспринимающего речь, назовем их проще — говорящим и слушателем. В прежние времена этот процесс оставался незамеченным; слова и формы слов рассматривались как естественные предметы, существующие сами по себе. В значительной мере это объяснялось, вероятно, чрезмерным вниманием к написанным или напечатанным словам; однако такая концепция совершенно несостоятельна, что можно ясно понять, если хоть сколько-нибудь вдуматься в этот вопрос»⁶. К сожалению, сам О. Есперсен не смог систематическим образом выполнить программу исследований, набросанную в приведенных строках. Он сделал лишь первый шаг по направлению к новому подходу — в своем учении о понятийных категориях, связывающих в единый узел человеческую мысль и человеческий язык.

Задачу осуществления нового подхода, изучающего язык как деятельность (*energeia*), в наши дни взяла как будто на себя теория порождающих грамматик, противопоставляющая себя таксономической лингвистике. Во всяком случае Н. Хомский, подвергая критическому обозрению таксономическую и классическую лингвистическую теорию, многократно отмечал как ее самый существенный недостаток то обстоятельство, что в ней «творческому аспекту языка уделяется мало внимания»⁷, что «она совершенно не отражает «творческий» аспект использования языка, т. е. способность говорящих строить и понимать не слышанные ранее предложения»⁸. Чтобы преодолеть данный недостаток, Н. Хомский предлагает использовать «на более строгой основе» учение В. Гумбольдта о форме как главном факторе, лежащем в основе всех актов творчества в языке. По его мнению, в основу современной лингвистики должен быть положен «принцип — понимание языка как порождающего устройства»⁹. Н. Хомскому, по всей видимости, близки и идеи В. Гумбольдта о двухсторонности речевого акта.

⁶ О. Есперсен. Философия грамматики. М., 1958, стр. 15.

⁷ Н. Хомский. Логические основы лингвистической теории. «Новое в лингвистике», вып. 4. М., 1965, стр. 479.

⁸ Там же, стр. 567.

⁹ Там же, стр. 472.

У представителя теории порождающих грамматик в советском языкознании — С. К. Шаумяна есть некоторые расхождения с Н. Хомским, но вместе с тем и много общего в главных принципах. Здесь не место заниматься подробным сопоставлением их теоретических взглядов, и мы остановимся лишь на тех моментах, которые представляют интерес для данного изложения.

Оставаясь в рамках структурной лингвистики (в противоположность Н. Хомскому, который характеризует ее как сугубо таксономическую лингвистику), С. К. Шаумян полагает, что на данном своем этапе она должна трактоваться «как особая абстрактная лингвистическая дисциплина, основное содержание которой составляет теория порождающих грамматик»¹⁰. Понятие порождения С. К. Шаумян связывает с динамическим аспектом языка. Но так как довольно сложно, оставаясь в рамках структурной лингвистики, которая, как известно, занимается синхроническим планом языка, перебазироваться на динамичность, то С. К. Шаумян производит, как он выражается, «расщепление понятия синхронии на статику и динамику». Это расщепление фактически состоит в переосмыслении утвердившихся в лингвистике понятий. В результате такого переосмысления структурой языка оказывается «сеть лингвистических отношений, относящихся к динамике синхронии», предметом структурной лингвистики делается «динамический аспект синхронии языка», а сама структурная лингвистика — наукой «о динамическом аспекте синхронии языка»¹¹. К области же таксономической лингвистики отходит изучение статического аспекта синхронии языка, как оно представлено, например, в дескриптивной лингвистике. Иными словами, фактически к ней, по С. К. Шаумяну, относится все то, что обычно включается в структурную лингвистику, как она определяется во всех трудах, посвященных ей.

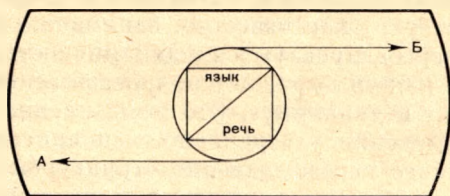
Расщепление или переосмысление синхронии, проделанное С. К. Шаумяном, следует признать довольно произвольным и находящимся в прямом противоречии с самим понятием синхронии, со времен Соссюра отождествляющимся со статичностью. Но оно чрезвычайно характерно для теории порождающих грамматик и делает явным то, что не сразу становится ясным — в особенности при чтении работ Н. Хомского и при ознакомлении с теми задачами, которые обязуется выполнить теория порождающих грамматик.

Раскрывает ли в действительности теория порождающих грамматик механизм динамичности языка, секрет его творческого характера? Представители этой теории заявляют, что они только этим и занимаются. Вопреки пословице, однако, сказанное еще не является сделанным.

¹⁰ С. К. Шаумян. Структурная лингвистика. М., 1965, стр. 7.

¹¹ Там же, стр. 16.

Для того чтобы получить доступ к познанию творческого или динамического аспекта языка, первое, что нужно, — это изучать язык в его деятельности, а для этого разомкнуть, наконец, магический круг, который все еще включает исследование языка в тесные рамки и закрывает доступ к адекватному изучению его природы. Нельзя говорить о творчестве в языке, если отсекается источник творчества. Говорящий, речевой акт и слушающий должны включаться в единую цепь, к языку необходимо приплюсовать мыслительную деятельность людей, осуществляющих деятельность общения и этой мыслительной деятельностью сообщающих языку качества динамичности, способности к творчеству. Иными словами, схематически область исследования языка следует представлять следующим образом:



Н. Хомский как будто именно таким образом и рисует себе область исследования в теории порождающих грамматик, когда говорит о своем намерении рассмотреть лингвистическую теорию «в рамках более общей теории — учения об интеллектуальной деятельности человека и ее специфических особенностях». Но когда он и С. К. Шаумян от слов переходят к делу, все их благие порывы не достигают свершения. Происходит это главным образом в результате сужения понятия творчества или, на худой конец, динамичности.

Динамичность или творчество предполагают изменение существующего, его развитие, эволюцию, прогресс — как его ни назови, этот вид деятельности, но он всегда связан с внесением нового. И такое понимание «творчества в языке» лежит в основе всей концепции В. Гумбольдта о языке как деятельности. Как уже указывалось, Н. Хомский, ставя перед собой задачу раскрыть механизм этого творчества, на последних этапах развития своих идей решил опереться на учение В. Гумбольдта о форме языка. С. К. Шаумян также стремится взять на вооружение идеи Гумбольдта и довольно неясно говорит о том, что его динамическое понимание структуры языка интересно сопоставить «с пониманием формы в лингвистической теории В. Гумбольдта» и что его «динамическая теория структурной лингвистики по своему духу в какой-то мере родственна концепции В. Гумбольдта о том, что язык есть деятельность — *ἐνέργεια*, а не вещь — *ἔργον*»¹².

¹² С. К. Шаумян. Указ. соч. стр. 16.

В своем недавнем исследовании, посвященном «картезианской лингвистике», Н. Хомский чрезвычайно красноречиво излагает идеи В. Гумбольдта относительно «творческого аспекта употребления языка» (так называется первая глава его исследования). «Для Гумбольдта, — пишет он, — язык представляет собой не массу изолированных явлений — слов, звуков, индивидуальных речевых актов, — а скорее «организм», в котором все части взаимосвязаны, а роль каждого элемента определяется его отношением к порождающим процессам, которые образуют лежащую в подоснове форму. В современной лингвистике, сосредотачивающейся почти исключительно на инвентаре элементов и фиксированных «моделях», сфера «органической формы» значительно уже, чем в концепции Гумбольдта... Для Гумбольдта, так же как и для его картезианских и романтических предшественников, нормальное пользование языком неизменно включает творческие мыслительные акты»¹³. Рассматривая учение В. Гумбольдта в рамках картезианской лингвистики, Н. Хомский отмечает, что человеческий язык здесь трактуется как «инструмент свободной мысли и самовыражения. Безграничные способности мысли и воображения отражаются в творческом аспекте употребления языка. Язык располагает конечными средствами, но бесконечными возможностями выражения, связанными лишь правилами образования понятий и образования предложений, которые частично носят конкретный, а частично универсальный характер»¹⁴. Как показывают эти цитаты, Н. Хомскому нет надобности объяснять, что следует понимать под подлинным творчеством в языке, которое находит у В. Гумбольдта выражение в его учении о форме¹⁵.

Существенно, однако, отметить, что как только речь заходит о порождающей грамматике, гумбольдтовское понимание формы в толковании Н. Хомского и в еще большей мере у С. К. Шаумяна теряет всякий творческий характер. Н. Хомский в этом случае фактически отождествляет гумбольдтовскую форму с правилами порождения. «Форма языка, — пишет он, — это постоянный и неизменный фактор, лежащий в основе любого нового конкретного речевого акта. Именно отображение формы языка в мозгу говорящих и позволяет им понимать друг друга, т. е. правильно пользоваться языком. Эта специфическая форма языка определяет каждый отдельный языковой элемент и всегда как бы присутствует в нем. Роль и значимость любого отдельного элемента можно правильно понять, только если рассматривать его по отношению

¹³ N. Chomsky. *Cartesian Linguistics*. New York, 1966, стр. 26—27.

¹⁴ Там же, стр. 29.

¹⁵ Кстати говоря, нельзя не отметить весьма субъективного толкования Н. Хомским гумбольдтовой формы. У Гумбольдта форма — это то, что разъединяет языки, а у Хомского то, что объединяет языки — некая универсальная способность или основа.

к определенным порождающим правилам, задающим способ построения этого элемента. Лингвист должен стремиться к тому, чтобы в основу описательной грамматики был положен указанный принцип — понимание языка как порождающего устройства»¹⁶ (разрядка моя. — В. З.). Таким образом получается, что достаточно перечислить правила порождения, и творческий характер языка будет изъяснен и исчерпан.

А что касается С. К. Шаумяна, то у него форма языка превращается просто в машину, в соответствии с чем «можно рассматривать систему знаков любого языка как разновидность кибернетической машины, перерабатывающий один вид лингвистической информации в другой»¹⁷ (разрядка моя. — В. З.). В этих условиях даже и о порождении просто неуместно говорить. И С. К. Шаумян честно признает: «Когда говорится, что минимальное требование к грамматике языка заключается в том, что она по крайней мере должна порождать все предложения этого языка, имеется в виду лишь то, что достаточно полная грамматика должна во всяком случае указывать способ механического перечисления всех предложений языка без обращения к интуиции или дополнительным рассуждениям... Важно подчеркнуть, что грамматика никоим образом не производит предложений, порождаемых ею»¹⁸. Вот тебе и порождающая грамматика, которая ни с каким порождением не имеет дела!

Но в чем же тогда заключается хваленая динамичность теории порождающей грамматики? Надо с полной определенностью сказать, что в порождающей грамматике столько же динамичности, сколько в машине, — недаром язык отождествляется с ней! — штампующей одну и ту же серию деталей — без разумения того, к месту эти детали или нет. Употребление слова динамический в применении к порождающей грамматике возможно лишь в результате полного переосмысления этого слова — прием, с которым в последнее время лингвистам часто приходится сталкиваться. В действительности порождающая грамматика представляет собой и счисление возможных в данном языке правил трансформаций (состиссеия глубинной структуры с поверхностной) на основе конечного набора единиц и конечного набора правил («формы», по словам Н. Хомского). Это становится особенно ясным, как только от демонстрации отдельных примеров переходят к достаточно полному описанию языка. И С. К. Шаумян простодушно раскрывает этот секрет порождающей грамматики, которая ничего не порождает: «Понятие порождения употребляется здесь в его

¹⁶ Н. Хомский. Логические основы лингвистической теории, стр. 473.

¹⁷ С. К. Шаумян. Указ. соч., стр. 21.

¹⁸ Там же, стр. 36.

математическом смысле, а именно как синоним перечисления, выбора посредством некоторого правила»¹⁹. И несколько ниже во избежание недоразумения повторяет: «... Термин „порождать“ является в структурной лингвистике синонимом термина “перечислять посредством некоторого правила”»²⁰. Эти объяснения С. К. Шаумяна ставят в порождающей грамматике все на свое место.

Интересно отметить, что в одной из последних своих работ, носящей до известной меры итоговый характер, Н. Хомский задачу порождающей грамматики сводит к характеристике «в возможно более нейтральных терминах знания языка (knowledge of language), которое обеспечивает основу конкретного использования языка». А конкретное использование языка или, иными словами, порождение конкретных предложений, наилучшим образом отвечающих потребностям ситуации, он относит к теории употребления языка (theory of performance), которая находится вне пределов порождающей грамматики. «Вне сомнения, — пишет он, — разумная модель пользования языком должна включать в себя в качестве основного компонента порождающую грамматику, выражающую знание языка говорящими и слушающим. Но порождающая грамматика сама по себе не предписывает характера функционирования модели восприятия или модели производства речи»²¹. Таким образом, и Н. Хомский творческое порождение в языке в конечном счете выводит из пределов своей теории и свою задачу видит только в о п и с а н и и знания языка, которое разделяется всеми членами данного языкового коллектива. При таком истолковании задачи «порождающей грамматики» она оказывается совершенно не соответствующей своему назначению. Это ясно и самому Н. Хомскому, но, касаясь этого вопроса, он считает тем не менее возможным сохранить это наименование лишь в силу того, что оно «уже утвердилось в логике и в лингвистической теории» и, по-видимому, наилучшим образом переводит употребляемый В. Гумбольдтом термин *ergeugen*.

Мимоходом следует остановиться на понятии правильности в порождающей грамматике — ведь она имеет дело только с «правильными» предложениями. Это понятие обладает сугубо коварным характером. Выражаясь языком С. К. Шаумяна, оно только и делает, что создает бесчисленные «фундаментальные антиномии». С одной стороны, порождающая грамматика нацелена на построение бесконечного множества предложений (на основе конечных наборов единиц и правил), а с другой стороны, оперируя лишь пра-

¹⁹ Там же, стр. 35.

²⁰ Там же, стр. 37.

²¹ N. Chomsky. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass., 1965, стр. 9.

вильными предложениями, она оказывается в тисках правильности и тем самым ограничивает свою свободу. С одной стороны, она стремится обойтись «без обращения к интуиции или дополнительных рассуждений», а с другой стороны, понятие правильности не имеет строгого определения и оказывается величиной иррациональной, проверяемой лишь на зубок чувства языка информанта, т. е. фактически интуитивной. В результате этого на наших глазах совершается голокружительный трюк трансформационного (в цирковом смысле) перевоплощения детища механической (или, еще хуже того, — таксономической) дескриптивной лингвистики в правоверную менталистическую лингвистику. С одной стороны, порождающая грамматика, ставящая себе задачу разрешения предсказуемости (не говоря уже о динамичности или творчестве), как будто должна быть обращена к будущему, а с другой стороны, ограничиваемая правильностью, которая основывается на предписаниях, сложившихся в прошлой истории языка, она фактически оказывается обращенной в прошлое²². Наконец, в связи с правильностью следует отметить и то, что она отнюдь не ограничивается соблюдением «правильности» переработки лингвистической информации «из одного вида» в другой, но должна неизбежно включать в себя «правильность» или уместность использования данного вида лингвистической информации в данной ситуации. Впрочем, это уже вопрос употребления, а порождающая грамматика не чувствует себя способной справиться с ним.

Из всего сказанного явствует, что порождающая грамматика, представляющая по существу исчисление «посредством некоторого правила», есть опять-таки всего лишь способ о п и с а н и я, а не познания языка и поэтому она ничего принципиально нового сравнительно с «традиционными» грамматиками не вносит. Надо отдать должное смелости и честности мысли Н. Хомского, открыто признавшего этот факт. «Не будет ошибкой, — пишет он, — если мы рассмотрим трансформационную модель как формализацию принципов, неявно используемых в традиционных грамматиках, а эти последние — как неявные трансформационные порождающие грамматики... Традиционная грамматика ставит перед собой такие же (по крайней мере) широкие цели, что и описанная

²² Кстати говоря, эту особенность правильности отмечал еще А. М. Пешковский. Говоря о языковом идеале правильности, он пишет: «Первой и самой поразительной чертой является его поразительный консерватизм, равно которому мы не встречаем ни в какой другой области духа. Из всех идеалов это единственный, который лежит целиком п о з а д и. «Правильной» всегда представляется речь старших поколений, предшествовавших литературных школ. Ссылка на традицию, на прецеденты, на «отцов» есть первый аргумент при попытке оправдать какую-либо шероховатость. Нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет» (А. М. Пешковский. Объективная и нормативная точки зрения на язык. — Цит. по кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях, ч. 2. М., 1965, стр. 293).

выше порождающая грамматика»²³. Но вместе с тем следует отметить, что это признание находится в прямом противоречии с теми широкообещающими обещаниями, которые делала теория порождающих грамматик, в частности, относительно намерения рассмотреть лингвистическую теорию «в рамках более общей теории — учения об интеллектуальной деятельности человека и о ее специфических особенностях». Как уже указывалось, выполнение данной декларации означало бы выход за пределы традиционного круга, очерчивающего область исследования в лингвистике. Однако эта декларация осталась, к сожалению, пока всего лишь декларацией, и порождающая грамматика с ее исчислениями продолжает оставаться в пределах все того же магического круга. Иными словами, она продолжает линию рассмотрения языка как *ergon*. Но это не значит, что теория порождающих грамматик не имеет никакой ценности. Сказать так, значит перечеркнуть почти всю историю языкознания XIX и XX вв. Порождающая грамматика находится в процессе становления, и ей еще рано выносить окончательный приговор, однако в современном своем виде она больше подходит для решения прикладных, чем теоретических, задач. Констатируя это, мы совершенно не касаемся философских выводов порождающей грамматики, которые должны составить предмет особого рассмотрения.

Итак, мы приходим к печальному выводу, что попытка В. Гумбольдта направить лингвистику в сторону изучения языка как деятельности так и не получила своего воплощения, и наука о языке в послегумбольдтовский период шла вплоть до наших дней по другому из указанных В. Гумбольдтом направлений. Однако мы можем похвастаться тем, что в наше время все больше и больше лингвистов проникается уверенностью, что единственным путем действительного познания языка является изучение его как деятельности. Соответственно с этим делается ясным ответ на вопрос — что должно изучать языкознание. Оно должно изучать язык в его деятельности и в связи с другими видами духовной (или интеллектуальной) деятельности человека.

²³ Н. Хомский. Логические основы лингвистической теории, стр. 472.

УСЛОВНОСТЬ И МОТИВИРОВАННОСТЬ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

«Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра несет на себе явные следы того, что книга эта написана не рукой автора, а является записью его лекций. Среди возникших в результате указанного обстоятельства непоследовательностей и несогласованностей между некоторыми положениями, высказываемыми в разных частях книги, едва ли не наиболее резкими следует считать расхождения, относящиеся к изложению принципа произвольности знака¹. Об этом принципе речь идет дважды: под заголовком — «Первый принцип: произвольность знака» (часть первая, глава 1, § 2)² и под заголовком — «Произвольность абсолютная и относительная» (часть первая, глава VI, § 3)³.

В первом из указанных параграфов не только не говорится об ограничении принципа произвольности, но всячески подчеркивается, что языковой знак полностью и обязательно произволен. Так, Соссюр отвергает термин «символ» для означающего именно на том основании, что символ «не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым»⁴. В языковом же знаке означающее, как пишет Соссюр, «произвольно по отношению к означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи»⁵.

После таких ясных и недвусмысленных формулировок следующие строки из шестой главы звучат неожиданно и неубедительно. «Основной принцип произвольности знака, — читаем мы, — не препятствует различению в каждом языке того, что в корне произвольно, т. е. не мотивировано, от того, что произвольно лишь относительно»⁶. И далее: «Знак может быть относительно мотивированным»⁷. Таким образом, мотивированность рассматривается как ограничение произвольности и вводится понятие «относительной произвольности». Вместе с этим устанавливается противопоставление: немотивированность, под которой подразумевается абсолютная произвольность, — относительная мотивированность, т. е. ограниченная произвольность. В качестве иллюстрации этого противопоставления Соссюр приводит французские названия

¹ Поскольку внутренняя форма слова «произвольность» вызывает ассоциации, не соответствующие подразумеваемому Соссюром понятию, целесообразнее пользоваться термином «условность», предлагаемым Ю. С. Масловым.

² Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1933, стр. 79.

³ Там же, стр. 127.

⁴ Там же, стр. 79.

⁵ Там же, стр. 80.

⁶ Там же, стр. 127.

⁷ Там же.

чисел *vingt* и *dix-neuf* (и замечает, что *dix* и *neuf* в отдельности столь же произвольны, как и *vingt*, но *dix-neuf* представляет уже случай относительной мотивированности (ограниченной произвольности)⁸.

Совершенно очевидно, что мы имеем в последнем рассуждении смешение двух разных планов. Свойство произвольности⁹ говорит об отношении, существующем между означающим и означаемым в знаке (в частности — в языковом знаке). Под мотивированностью же в языковедении имеется в виду, как известно, семантический анализ означаемого, семантическая структура знака, или его внутренняя форма. «Слова производные и с переносными значениями, — пишет А. А. Реформатский, — мотивированы и объяснимы в современном языке через слова непроизводные и прямого значения. Слова же непроизводные и прямого значения не мотивированы и необъяснимы, исходя из современного языка...»¹⁰.

Если устранить смешение разноплановых явлений, то не представляет труда доказать, что условность является необходимым свойством языкового знака. В самом деле, в огромном большинстве случаев не возникает никакого подозрения в том, что между тем или иным значением и тем звуковым обликом, который объединен с ним в языковом знаке, существует какая-либо связь. Уже само то, что физическая природа плана выражения (означающего) представляет собой в языке звук, говорит о возможной взаимозависимости между ним и планом выражения только при обозначении таких понятий, которые отвлечены от явлений объективной действительности, относящихся к сфере звуков. Иными словами, речь может идти только о звукоподражательных знаках. Строго говоря, в таких случаях следовало бы, вслед за Соссюром, употреблять термин «символ», а не «знак».

Относительно звукоподражательных слов уже Соссюр справедливо отмечал их зависимость от фонетического строя соответствующего языка. *Gav-gav* — это тоже в известной степени условное обозначение собачьего лая. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить это русское слово с французскими *oua-oua* и немецкими *wau-wau*. Но если даже пренебречь этими различиями и признать звукоподражательность подобного рода слов абсолютной, то следует помнить, что число их обычно весьма невелико.

В наши дни, когда вновь возрождается в мировой науке законный интерес к психологии языка и когда быстро развивается новая отрасль знания — психолингвистика, вполне естественным надо считать стремление искать ассоциативные связи между планом выражения и планом содержания, при которых слуховые

⁸ F. de Saussure. Cours de linguistique générale. Paris, 1949, стр. 181.

⁹ Мне представляется более точным в данном случае термин «свойство», а не «принцип», поскольку здесь подразумевается нечто, присущее самому явлению изнутри.

¹⁰ А. А. Реформатский. Введение в языковедение. Изд. 4. М., 1967, стр. 25.

ощущения оказываются ассоциированными с незвуковыми представлениями и с отвлеченными понятиями. Работы, рассматривающие эту проблему, основанные на строгом экспериментальном материале, перекликаются с работами, строящимися не на изучении восприятия анализируемых человеком явлений, а на сопоставлении звукового состава слов или морфем, относящихся к определенным семантическим или, большей частью, эмоциональным сферам¹¹.

Нельзя не отметить, что в подобного рода исследованиях авторам не удается избежать произвола как в отношении определения принадлежности данного слова к той или иной сфере, так и в отношении фонетической характеристики слов. Однако и при этом лексика, которая может трактоваться подобным образом, составляет ничтожную долю в словарном составе языка.

Я не хочу отрицать того, что звуковой облик слова может оказывать эмоциональное воздействие; факт использования звуковой символики в языке поэзии и художественной прозы неоспорим. Тем не менее, такие русские слова, как *смех*, *радость*, *восторг*, принадлежащие к одному семантическому кругу, фонетически далеко отстоят друг от друга¹². Дело, однако, не в этом, а в том, что между звуковым комплексом любого (по крайней мере, не явно звукоподражательного) слова и его значением нет внутренней обусловленности.

В этой связи уместно упомянуть следующее известное высказывание К. Маркса: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом»¹³. Интересно, что Маркс, по-видимому, считая это положение абсолютно очевидным, отправляется от него для того, чтобы сказать: «Точно так же (разрядка моя. — Л. З.) и в денежных названиях — фунт, талер, франк, дукат и т. д. — изглаживается всякий след отношения стоимостей»¹⁴.

Казалось бы, что это, действительно, очевидно, так как одни и те же понятия обозначаются в разных языках по-разному. Как справедливо говорил Соссюр: «Нет ведь никаких мотивов предпочитать одно из следующего ряда слов: *soeur* — *Schwester* и *boeuf* — *Ochs*»¹⁵. Кроме того, как говорит А. А. Реформат-

¹¹ Обширную библиографию см.: А. М. Газов - Гинзберг. Был ли язык изобразителен в своих истоках? М., 1965. — Автор этой книги пользуется в своих объяснениях «звукоизображения» также и соответствующим движением произносительных органов.

¹² Признаюсь, что меня не удивит, но и не убедит, если сторонники другой точки зрения скажут, что эти слова объединяет наличие в каждом из них согласного *c*.

¹³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 110.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Ф. де Соссюр. Указ. соч., стр. 83.

ский: «Если бы такая естественная связь слов и вещей существовала, то в языке не могло быть ни синонимов..., ни омонимов»¹⁶.

Опровергают ли все сказанное слова с ясной внутренней формой? Отнюдь нет. Звуковая цепочка $s' + e + m' + d' + e + s' + a + t$ столь же мало говорит о значении слова *семьдесят*, как и звуковая цепочка $s + o + r + a + k$ о значении слова *сорок*, хотя первое является мотивированным, а второе — немотивированным. Таким образом, мотивированность и немотивированность — это нечто совсем иное, чем условность языкового знака, которая не может быть ими ни доказана, ни опровергнута.

Условность — это такое свойство знака, которое позволяет понять ряд фундаментальных сторон и особенностей языка в целом. Два из них были отмечены еще Соссюром; это — изменчивость и неизменчивость знака в его терминологии. Отсутствие необходимой по природе связи плана выражения с планом содержания, условность такой связи, поддерживаемой только традицией, делает понятным наблюдаемую с обязательностью во всех языках изменчивость фонетической формы слова. Если бы характер плана выражения определялся природой плана содержания, то слова фонетически оставались бы неизменными и не возникало бы «сдвига отношений между означающим и означаемым», как говорит Соссюр, характеризуя сущность рассматриваемой эволюции знака¹⁷.

Пожалуй, еще более ярким следствием принципа условности является перенос наименования. Поскольку для знака в целом не имеет абсолютно никакого значения, каков в нем план выражения (необходимо только, чтобы он был связан традицией с планом содержания), то, естественно, не существует никаких препятствий для того, чтобы, например, нотный ключ назывался *ключом* или соответствующая часть ключа — *бородкой*.

Из свойства условности вытекает еще и то, что природа плана выражения в знаке может быть любой; единственное требование к ней состоит в том, что она должна быть материальна, чтобы быть доступной для органов чувств человека. Присоединяясь к мнению Уитнея, Соссюр писал по этому поводу: «Язык — условность, и природа условного знака безразлична. Вопрос о голосовом аппарате, следовательно, — вопрос второстепенный в проблеме языка»¹⁸. Подобно многим другим положениям Соссюра, этот тезис, как известно, поддерживался и развивался структуралистами разных направлений. Практически это сказывается в изгнании фонетики из языковедения. Вместе с тем он справедлив с точки зрения общей семиотики, т. е. для знака вообще, но не для языкового знака в частности.

¹⁶ А. А. Реформатский. Указ. соч., стр. 24.

¹⁷ Ф. де Соссюр. Указ. соч., стр. 84.

¹⁸ Там же, стр. 35.

Последователи Соссюра забывают его слова о том, что «задача лингвиста сводится к выяснению того, что делает язык как особая система в совокупности семиологических явлений»¹⁹. Они, напротив того, заняты поисками в языке общих законов семиотики, пренебрегая спецификой языка, его звуковой природой. Впрочем, (сравнением этому может служить несколько иная расстановка акцентов в следующих строках, заимствованных из того же параграфа: «Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен раньше всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же порядка»²⁰

Развитие науки, однако, со все большей очевидностью показывает несостоятельность такой точки зрения. Характерно в этом смысле следующее высказывание С. К. Шаумяна: «Как показывает многообразная исследовательская практика современной лингвистики, определение, исключаящее звуковую субстанцию из понятия естественного языка, не может служить эффективным инструментом познания языка»²¹.

Из свойства условности вытекает, наконец, еще одна особенность структуры языка — особенность, имеющая капитальное значение для теории фонемы. Еще Бодуэн различал два вида делимости произносительно-слухового языка: I. Постепенное деление с точки зрения фонетической, произносительно-слуховой... II. Постепенное деление с точки зрения семасиологически-морфологической»²². При этом последним звеном линейной делимости в первом случае будет фонема, во втором — морфема.

В недавнее время к идее двойного членения пришел (по-видимому, независимо от Бодуэна) А. Мартинэ, который также признает наименьшей линейной единицей плана выражения — фонему²³. Попытку заменить в этом смысле фонему звуком (или звуком языка) как некоей акустической или артикуляторной данностью нужно квалифицировать просто как наивную. Акустического или артикуляторного критерия членения потока речи на отдельные звуки не существует. Не удивительно поэтому, что исследователи, пришедшие в фонетику не от лингвистики, вообще отрицали реальность понятия отдельного звука речи. Ср., например, следующие слова одного из крупнейших специалистов по экспериментальной фонетике Э. Скрипчура: «Господствующее представление, что слово или предложение построены из соединенных отдельных звуков, должно быть перевернуто. Слово или предложение — это звуковой континуум, из которого могут быть

¹⁹ Ф. де Соссюр. Указ. соч., стр. 40.

²⁰ Там же, стр. 41.

²¹ С. К. Шаумян. Современное состояние двухступенчатой теории фонологии. «Исследования по фонологии», М., 1966, стр. 9.

²² И. А. Бодуэн де Куртене. Введение в языковедение. «Избр. труды по общему языкознанию», т. II. М., 1963, стр. 55—256.

²³ А. Мартинэ. Основы общей лингвистики. «Новое в языкознании», вып. III. М., 1963, стр. 376.

произвольно вырваны различные фазы, которые рассматриваются как отдельные звуки»²⁴.

Рассмотрение фонемы как единицы второго членения, как части морфемы, представляет собой логическую ошибку. В самом деле, если фонема сама по себе лишена значения (что признается всеми), то она не может быть частью морфемы в том же смысле, в каком морфема является частью слова, а слово — частью предложения.

Таким образом, можно сказать, что условность знака, проявляющаяся в двояком членении речи, свидетельствует об автономности плана выражения, т. е. звуковой стороны языка. Только благодаря такой автономности ничтожное число звуковых единиц — фонем²⁵ — дает возможность образовать практически неограниченное множество языковых знаков — слов, морфем. Если бы план выражения был однозначно связан с планом содержания и определялся последним, то в каждом знаке мы имели бы неповторимый звуковой комплекс. Это значит, что язык не мог бы выйти из первобытного состояния, так как человеческая память не могла бы вместить сколько-нибудь значительного числа таких единиц. Мы имеем здесь дело с тем, что А. Мартинэ называет принципом экономии в языке²⁶. Именно автономность звуковой стороны языка и обеспечивает столь высокую эффективность языка как кода.

А. А. Леонтьев

МЫСЛИ О ТРАНСКРИПЦИИ

Когда мы говорим о т р а н с к р и п ц и и, то в 99 случаях из 100 с этим термином связывается понятие ф о н е т и ч е с к о й транскрипции, т. е. такой условной записи, которая, по мнению крупнейших фонетистов, «передает... все многообразие живой звучащей речи»¹, «преследует цели точной графической записи произношения»².

²⁴ E. W. Scripture. Experimentelle Untersuchungen über die Betonung im deutschen Satz. «Die neueren Sprachen», 1925, стр. 282—283.

²⁵ Как известно, оно равно в отдельных языках в среднем 30—40.

²⁶ А. Мартинэ. Указ. соч., стр. 381.

¹ Р. И. Аванесов. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956, стр. 12.

² А. А. Реформатский. Введение в языковедение. Изд. 4. М., 1967, стр. 376.

Может ли, однако, существовать такой способ записи, который «передает все многообразие живой звучащей речи», учитывает в с е акустические и артикуляционные, или даже только акустические, характеристики потока речи? Нет, не может. Поскольку «фонетика устанавливает не все возможные звуки человеческого речи, а только все возможные типы таких звуков», постольку и «знаки фонетической транскрипции должны служить для обозначения только звуковых типов. Невозможно построить такую транскрипционную систему, которая... содержала бы знаки для обозначения всех вариаций звуковых типов»³.

Но что такое звуковой тип? С чисто физической стороны понятие звукового типа произвольно. И с акустической, и с физиологической точек зрения суждение о том, где кончается сходство звуковых типов и начинается их несходность или, напротив, тождество, имеет условный характер (так, скажем, при какой-то степени «точности» анализа можно различать более передний и более задний оттенки *о*, при другой степени «точности» их можно объединить в качестве одного звукового типа, при третьей — можно объединить все оттенки *о* с оттенками *у* и т. д.). Вследствие этого и фонетическая транскрипция, построенная на основе физических критериев, носила бы импрессионистический характер. Для того, чтобы она была строгой, н а у ч н о й, звуковой тип должен определяться при помощи каких-то иных критериев⁴.

Каковы же эти критерии? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, прежде всего, для какой цели используется фонетическая транскрипция. Л. Р. Зиндер называет две таких цели: 1) «при записях незнакомого или малознакомого языка (в данном случае записывающий не имеет никакого выбора)» и 2) «когда исследователь задается специальной целью выявить все возможные оттенки фонем»⁵ безотносительно к наличию их в данном языке — исходя из «всеобщего» инвентаря звуковых типов, так сказать, в плане о б щ е й ф о н е т и ч е с к о й т и п о л о г и и.

Обратимся сначала к первому случаю. Совершенно очевидно, что здесь знаки фонетической транскрипции служат для того, чтобы зафиксировать восприятие незнакомого или малознакомого языка носителем другого языка. Иначе говоря, мы начинаем анализ текста на незнакомом языке с того, что устанавливаем некоторую систему соответствий с системой звуковых типов родного языка, и лишь затем вносим в эту последнюю соответствующие коррективы, чтобы получить модель системы звуковых типов исследуемого языка.

Но, устанавливая эту, крайне грубую и приблизительную, исходную систему соответствий, руководимся ли мы критериями

³ Л. Р. Зиндер. Общая фонетика. Л., 1960, стр. 318.

⁴ Ср.: Г. А. Климов. О проекте единой фонетической транскрипции для кавказских языков. М.—Л., 1962, стр. 5—8.

⁵ Л. Р. Зиндер. Указ. соч., стр. 318.

научно-лингвистическими? По-видимому, нет. Впервые сталкиваясь с текстом на незнакомом языке, лингвист опирается исключительно на свое языковое сознание, «сравнивает» исследуемый текст с хранящимся в его, лингвиста, психике эквивалентом объективной фонологической системы языка, с системой, так сказать, звукопредставлений. Именно этим вызвана сложность интерпретации, казалось бы, вполне добросовестных фонетических записей, сделанных непрофессиональными фонетистами и не получивших необходимой автокоррекции: назовем уникальные записи крымско-готского языка, сделанные Бусбеком, а из более новых — вершикские записи Лоримера. Одним словом, употребляя в данном случае фонетическую транскрипцию, исследователь как бы проецирует на незнакомый текст систему звукопредставлений родного языка, «танцует от печки» родного языка.

Вернее было бы сказать, что он опирается не только на систему звукопредставлений родного языка, но вообще на весь доступный ему инвентарь звукопредставлений. Здесь необходимо сказать несколько слов о самом выражении «система звукопредставлений». Это, конечно, не система в строго лингвистическом смысле этого слова: речь идет о том, что Г. Улашин назвал «внешним» родством: «Это чувство внешнего родства рождается на основе большего или меньшего сходства акустико-артикуляционных представлений»⁶. Но такое чувство у лингвиста, владеющего несколькими языками, более «утончено», чем у носителя лишь одного языка; мы так же «слышим» средневропейское [l], литературное немецкое [ç] или французские носовые гласные, как любой звуковой тип русского языка; русский же, не знающий иностранных языков, не «услышит» всех этих звуковых типов?

Перейдем ко второму случаю употребления фонетической транскрипции — к фонетической типологии (следует сразу же подчеркнуть, что речь идет не о фонологической, а именно о фонетической типологии, т. е. о типологии всех возможных акустических и артикуляционных вариантов безотносительно к функции того или иного варианта в том или ином языке). И в этом случае мы исходим из более или менее эксплицитных данных языкового сознания. Так, говоря о различных возможных вариантах произношения звукового типа *t*, мы имеем представление о каком-то варианте этого звукового типа как эталоне (характерно, что русский по происхождению фонетист всегда скажет: «варианты *t*», произнеся это *t* как русское *т* или как средневропейское *t*, хотя бы речь шла о гораздо более широком круге вариантов).

Таким образом, в обоих случаях употребления фонетической транскрипции мы имеем дело не с «объективной» звуковой харак-

⁶ H. U l a s z y n. Laut, Phonema, Morphonema.— TCLP, t. 4. Prague, 1931, стр. 57.

⁷ Ср.: Е. Д. Поливанов. Субъективный характер восприятий звуков языка. «Статьи по общему языкознанию». М., 1968.

теристикой речевого потока, а с его характеристикой «субъективной» (в смысле Л. В. Щербы), с проекцией на поток речи наших звукопредставлений, данных языкового сознания. Этим мы, конечно, ни в коей мере не хотим «принизить» фонетическую транскрипцию: система звукопредставлений столь же объективна, как и любая другая система социальных ценностей, перенесенная в человеческую психику.

Итак, фонетическая транскрипция отнюдь не является простой регистрацией физических (акустических, артикуляционных) особенностей потока речи. Она, конечно, функциональна, хотя это и не бросается в глаза⁸. В ней отражена система звуковых типов родного языка исследователя. Впрочем, целесообразно было бы разграничивать звуковой тип как данность языкового сознания, как психолингвистическую в широком смысле единицу, и соответствующую ему единицу лингвистической модели, для которой в некоторых наших публикациях предложено название *сонемы* (от лат. *sonare* — звучать)⁹. Иначе говоря, можно сказать, что фонетическая транскрипция есть результат функциональной интерпретации звукового материала потока речи на уровне звукотипов или сонем.

Если так, то фонематическая транскрипция, «которая передает ...только те ее (живой звучащей речи) стороны, которые фонематичны, обладают различительной функцией, способны различать звуковую оболочку разных слов и форм»¹⁰, не отделена от фонетической принципиальной гранью. И та, и другая — функциональны, являются в определенной мере объективно-лингвистическими; только фонематическая транскрипция, в отличие от фонетической, претендует на то, чтобы быть результатом функциональной интерпретации звукового материала на уровне фонем.

Из сказанного ясно, что понятие фонетической и соответственно фонематической транскрипций отнюдь не абсолютно. Оно зависит от той модели описания языка, которая используется тем или иным языковедом. Различение фонетической и фонематической транскрипций, введенное Л. В. Щербой, соотносено с его пониманием фонемы. «Словофонематическая» и «морфофонематическая» транскрипции Р. И. Аванесова были бы невозможны без фонологической концепции Московской школы, причем в интерпретации этой концепции, предложенной Р. И. Аванесовым (но С. И. Бернштейна, например, эта транскрипция уже не удовлет-

⁸ Ср.: А. А. Леонтьев. О понятии формально-грамматического слова. «Проблемы морфологического строя германских языков». М., 1963, стр. 48—49.

⁹ А. А. Леонтьев. Слово в речевой деятельности. М., 1965, стр. 147.

¹⁰ Р. И. Аванесов. Указ. соч., стр. 12.

ворила бы ¹¹). И то, что обычно называется «фонематической» транскрипцией, по сути представляет собой смешанную фонолого-фонетическую транскрипцию, поскольку «фонема» Л. В. Щербы — как и «фонема» Московской школы — объединяет в себе функционально-фонетические особенности разной степени абстракции. Иначе говоря, мы отражаем в ней не только те признаки звукового материала, которые являются различительными. На это указывает уже сам факт использования в ней алфавитного письма, т. е. ее синтетический характер.

Не следует преувеличивать, впрочем, этот смешанный характер «фонематической» транскрипции. Он является закономерным отражением того факта, что анализ на любом уровне абстрагирования необходимо должен считаться как с (дифференциальным!) звучанием, так и с (дифференциальным!) значением ¹². В тех же случаях, когда фонетическая интерпретация вступает в противоречие с фонологической, мы всегда — на уровне фонемике — отдаем предпочтение фонологии. Например, при наличии нормативных вариантов, не являющихся, однако, смыслообразительными, мы их игнорируем, целиком «отдавая» фонетической транскрипции. Кстати, целесообразность выделения сонемного уровня в модели языка как раз и обуславливается существованием в языке большого числа функциональных (нормативных), но не смыслообразительных фонетических чередований, плохо поддающихся интерпретации в системе понятий пражской, ленинградской и московской фонологий.

Следовательно, фонетическая и фонематическая транскрипции коррелированы с двумя уровнями модели описания языка — именно, с уровнем звукотипов (сонем) и уровнем фонем. Однако во всех существующих моделях языка мы находим еще по крайней мере один уровень — уровень морфемике. Поскольку фонематическая транскрипция является результатом функциональной интерпретации звукового материала на уровне фонем, было бы логично поставить вопрос и о возможности морфематической транскрипции, которая явилась бы результатом аналогичной интерпретации на морфемном уровне. Эта мысль принадлежит американскому лингвисту З. Харрису ¹³. Морфематическая транскрипция целесообразна при различном понимании морфемы; однако она особенно существенна, если вслед за Харрисом считать фонологический и морфематический анализ независимыми друг от друга, т. е. полагать, что мы на каждом уровне оперируем не с единицами низшего уровня, а непосред-

¹¹ Мы имеем в виду: С. И. Бернштейн. Основные понятия фонологии. — ВЯ, 1962, № 5.

¹² Ср.: Г. А. Климов. К неоднозначности фонологического моделирования языковой структуры. «Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным проблемам фонологии (тезисы докладов)». М., 1963.

¹³ Z. S. Harris. Discontinuous morphemes. «Language», 1945, v. 21, стр. 122;

ственно со звуковым материалом, — концепция, разделяемая и нами ¹⁴.

Что же целесообразно отражать в морфематической транскрипции? По-видимому, те функциональные характеристики языкового текста, которые не находят отражения в более «элементарных» видах транскрипции. Если мы, вслед за Г. А. Климовым и В. А. Редькиным ¹⁵, будем рассматривать фонологический уровень лингвистического описания как уровень, описывающий правила построения звуковой оболочки слов и морфем из элементарных системных единиц, т. е. интерпретировать его как уровень в сущности морфофонологический ¹⁶, а «фонетический» или сонематический уровень соотносить с правилами н о р м а т и в н о й реализации этих системных единиц ¹⁷ и соответственно будем строить транскрипционные системы, то на долю морфематической транскрипции остается лишь обозначение номенклатуры морфем или морф (корневая; грамматическая; морфа падежа, числа и т. д.) и их сочетаемости в рамках больших единиц (формально-грамматических слов, грамматических словосочетаний или синтагм и т. д.): что касается их звуковой реализации, отражать ее было бы избыточным занятием.

В русской грамматической традиции, начиная с работ Л. В. Щербы, Е. Д. Поливанова, А. М. Пешковского, В. В. Виноградова, общепринято, однако, выделять еще один уровень лингвистического описания, комплиментарный морфологическому. Речь идет об уровне лексематики, т. е. уровне, описывающем номенклатуру и взаимоотношение семантических единиц языка. В последнее время о нем писал, в частности, Э. А. Макаев ¹⁸. Целесообразность его выделения очевидна хотя бы из того, что в ряде языков, а в других языках — при определенных условиях

Он же. *Methods in structural linguistics*. Chicago, 1951, стр. 15 и др. — Последовательно применяет морфемную транскрипцию английский грамматист У. С. Аллен, см.: W. S. Allen. *Structure and system in the Abaza verbal complex*. «Transactions of the Philological Society». Hertford, 1956, стр. 175 и др.

¹⁴ А. А. Леонтьев. О понятии формально-грамматического слова, стр. 48—49; Он же. Слово в речевой деятельности, стр. 73—74.

¹⁵ См.: Г. А. Климов. О проекте единой фонетической транскрипции для кавказских языков, стр. 5—8; В. А. Редькин. Принципы построения раздела «Морфонология». — «Принципы построения описательной грамматики современного русского литературного языка (тезисы докладов)». М., 1965, стр. 11.

¹⁶ Мы не употребляем этого термина сознательно, так как он скомпрометирован американской дескриптивной лингвистикой, понимающей его несколько иначе.

¹⁷ О различии системы и нормы (в подразумеваемом здесь значении этих терминов) см.: Н. Д. Арутюнова. Очерки по словообразованию в современном испанском языке. М., 1961; Н. Н. Коротков. Норма, система и структура как этапы анализа и описания языкового строя. «Спорные вопросы грамматики китайского языка». М., 1963, и др.

¹⁸ См.: Э. А. Макаев. К вопросу об изоморфизме. — ВЯ, 1961, № 5.

коммуникации — закономерности линейного расположения семантических единиц оказываются функционально даже более значимыми, чем закономерности построения грамматических конструкций из элементарных единиц морфематического уровня¹⁹. В силу этого приходится дополнить наш перечень транскрипций еще одним видом — именно, лексематической транскрипцией.

Таким образом, мы получили четыре вида транскрипции: сонематическую (фонетическую), фонематическую (фонологическую), морфематическую и лексематическую. Поскольку для второго и третьего видов уже существует более или менее общепринятая система условных обозначений, ее лучше всего сохранить. Для двух других видов можно предложить новые условные обозначения:

сонематическая транскрипция: квадратные скобки, курсив: [кот]

фонематическая транскрипция: косые скобки, прямой шрифт: /ко/а т/т'/

морфематическая транскрипция: фигурные скобки, прямой шрифт: $\left\{ R_N + A \begin{matrix} \text{nom} \\ \text{sing} \end{matrix} \right\}^{20}$

лексематическая транскрипция: обратные квадратные скобки, прописные буквы прямого шрифта: [КОТ].

Наконец, существуют такие случаи, когда, приводя тот или иной отрезок текста, мы имеем в виду не звуковую речь, а письменную. В этих случаях вслед за Г. Глисоном²¹ мы предлагаем употреблять угловые скобки и прямой шрифт: <кот> и называть этот вид транскрипции графематической транскрипцией²².

Все описанные выше виды транскрипции соотносимы с моделью языка. Они информируют нас лишь о том, как строится текст из единиц языка и из каких именно единиц. Между тем поток речи (речевой деятельности) может предоставить нам и иную, весьма существенную информацию, не поддающуюся закреплению с помощью пяти описанных транскрипций. Это прежде всего такие особенности речи, которые попросту не существуют в языке

¹⁹ Ср.: P. Meriggi. Sur la structure des langues «groupantes». «Psychologie du langage». Paris, 1933.

²⁰ Мы употребляем здесь, вслед за Харрисом и Алленом, алфавит условных символов, несколько его видоизменив. Данная формула обозначает: корневая морфа (R) с именным значением (N) плюс грамматическая морфа (A), совмещающая в себе алловарианты морфем падежа (именительный падеж — Nom) и числа (единственное число — sing).

²¹ Г. Глисон. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.

²² Строго говоря, можно было бы выработать специальные транскрипционные системы для разных уровней организации письменной речи. Однако это представляется уже излишним.

вне его конкретной реализации в речевой деятельности и связаны с психолингвистическим членением этой последней на сегменты или «кванты», обусловленные особенностями строения и функционирования речевого механизма. Правда, в случае необходимости лингвисты используют те или иные знаки для символизации, скажем, членения потока речи на слоги, но это делается несистематично и при помощи случайных средств, чаще всего — просто ряда дефисов: *не-о-пре-де-лен-но*. Что касается больших единиц, они не находят никакого транскрипционного отражения. Вернее, «квантование» речи на единицы большие, чем слог, отражается в фонетической транскрипции в виде значков для пауз. Легко, однако, понять, что пауза в фонетической транскрипции конкретного произнесения может носить и случайный характер, или быть обусловлена семантической спецификой именно данного речевого отрезка, или восходить к индивидуальной речевой манере, или быть связанной с грамматикой; нас в данном случае интересует как раз этот четвертый вид паузы — пауза, обусловленная внутренним синтаксическим строением потока речи²³. Так, отрезок *а сыр во рту держала* может быть разбит паузами очень различно. Человек может сказать: *а сыр во рту...*, затем его внимание будет отвлечено или он может забыть следующее слово; отсюда необычная пауза. Он может сказать: *а сыр во... рту держала*, выделив *рту* как особенно значимое слово и сделав перед этим *рту* «значащую» паузу с восходящей интонацией гласного *о*. Он может быть вообще немногословным и говорить примерно так: *А сыр. Во рту. Держала*, отделяя каждое фонетическое слово большой паузой. Но при всех этих возможностях наибольшей будет вероятность того, что он сделает паузы именно после *сыр* и *рту* и что пауза после *сыр* будет большей, чем после *рту*. Мы не владем, однако, транскрипционными средствами, которые позволили бы отличить такие «органические» паузы от «неорганических». Не следует забывать, кроме того, что и «органические» паузы могут быть разной природы и разной степени императивности. Однако ввиду того, что мы в настоящее время не имеем достаточных сведений об организации речевого механизма, обеспечивающего паузацию и другие психолингвистические характеристики потока речи, приходится воздержаться от попыток транскрибирования потока речи в соответствии с естественным «квантованием» этой последней.

Еще один вид информации, который мы получаем от потока речи, но не закрепляем (или закрепляем крайне несистематически) в транскрипции, — это информация о функциональном стиле речи. Поскольку на этот счет также не существует единства в научной литературе, выдвигать какие-либо конструктивные предложения нецелесообразно; ограничимся лишь наиболее общим предложени-

²³ См.: G. J. S u c i. The Validity of Pause as an Index of Units of Language. — JVLVB, 1967, v. 6, № 1.

ем использовать для обозначения функционального стиля речи значок типа нотного ключа перед началом транскрипционного текста.

Наконец, еще один вид информации, обычно совсем не учитываемый лингвистами, но в последнее время вошедший в обиход в связи с изучением проблемы метаязыка, — это информация о степени осознанности говорящим (или слушающим) языковых явлений. Эта информация отнюдь не избыточна. От степени осознанности зависит не только механизм говорения и восприятия речи, не только усвоение этих языковых явлений и их воспроизведение, но даже и судьбы этих речевых явлений в языке; это в особенности касается заимствований²⁴. В одной из наших работ²⁵ уже была предложена специальная буквенная нотация для обозначения степени осознанности речи в тех случаях, когда это целесообразно.

Таким образом, принципиально возможны по крайней мере 8 уровней закрепления на письме особенностей речевого потока. Пять из них соотносимы с моделью языка; остальные 3 соответствуют другим видам моделей речевой деятельности. Из названных пяти транскрипций первые четыре, так сказать, коррелятивны друг другу; полное лингвистическое описание потока речи дает лишь их совокупность, так сказать, «партитура» в целом. Что касается трех нелингвистических транскрипций, то они, взаимно дополняя друг друга и лингвистические транскрипции, дают вместе с ними полное функциональное описание потока речи или речевой деятельности; вне их остаются лишь заведомо индивидуальные особенности речи.

Однако такого рода полное функциональное описание и закрепление характеристик звучащей речи пока невозможно из-за недостаточной теоретической разработки проблем психолингвистического моделирования речевой деятельности.

Г. П. Мельников

ДЕТЕРМИНАНТА — ВЕДУЩАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЯЗЫКА

1. Как ни причудливо переплетаются разнообразные черты строя языка, каждый языковой тип имеет «общий источник отдельных своеобразий», и поэтому для каждого языка принципиально необходимо искать формулировку некоторого единого «понятия» которое дает «действительное представление о самом языке» и удерж-

²⁴ К сожалению, кроме некоторых лингвистов бодуэновской школы, проблемой заимствования с этой стороны, кажется, никто не интересовался.

²⁵ А. А. Леонтьев. Слово в речевой деятельности, стр. 123.

живает «вместе все частности». И хотя немало критики выпало на долю этих идей В. Гумбольдта о существовании такого «духа языка», многие лингвисты с самых разных сторон снова и снова приходили и приходят к мысли о существовании чего-то «самого главного» в языке, некоторого «организующего начала», по отношению к которому конкретное сочетание различных свойств языка оказывается неслучайным. К числу тех, кто верит в наличие «главного чертежа» языкового строя (Э. Сепир), относится А. А. Реформатский. Но он не просто декларирует положение о существовании такого «чертежа», называя его ведущей грамматической тенденцией, а показывает на конкретном лингвистическом материале, что, например, те черты языкового строя, которые связаны с понятием агглютинации, развиваются лишь при наличии тенденции к аналитизму, тогда как при появлении тенденций к синтезу в языке, в предельном случае, развиваются фузионные явления¹.

В связи с этим А. А. Реформатский справедливо обвиняет Э. Сепира в непоследовательности, так как он в своей классификации языков исходит из того, что техника оформления слов в языке любого из типов может быть какой угодно: агглютинативной, аналитической, синтетической и т. д. «Сепир не дал руку тем, кто хочет понять тип языка по ведущей грамматической тенденции», — говорит А. А. Реформатский², хотя «эти тенденции очень важны, и они проявляются обязательно в совокупности сопутствующих признаков»³.

В данной работе предпринята попытка развить идеи А. А. Реформатского о наличии ведущей грамматической тенденции в языках и вывести конкретную «совокупность сопутствующих признаков» из «общей формулы тенденции»⁴ как из того гумбольдтовского «общего источника отдельных своеобразий», который «удерживает вместе все частности». Для примера рассмотрен строй арабского, китайского и английского языков. Методика анализа основана на применении методов так называемой системной лингвистики⁵.

2. Исходным положением для системной лингвистики является не просто признание системности языка как социального явления, а утверждение, что язык входит в класс адаптивных (самонастраивающихся) и, следовательно, динамических систем.

¹ А. А. Реформатский. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова. «Морфологическая типология и проблема классификации языков». М. — Л., 1965, стр. 64—116.

² Там же, стр. 87.

³ Там же, стр. 89.

⁴ Там же, стр. 85.

⁵ См.: Г. П. Мельников. Системная лингвистика и ее отношение к структурной. «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов». М., 1967.

Поэтому структура языка (т. е. схема отношений между элементами каждого яруса и между самими ярусами) и субстанция (звуковая, артикуляционная, семантическая) в результате адаптации оказываются взаимосогласованными достаточно оптимальным образом для выполнения его функций. Различия же между конкретными языковыми системами возникают в связи с тем, что каждая из них может иметь специфический способ функционирования, который и является ведущей грамматической тенденцией языка, его детерминантой. Согласование структуры и субстанции языка и, следовательно, системная взаимообусловленность всех языковых ярусов при данной детерминанте возникает потому, что говорящий и слушающий, хотя и бессознательно, но обязательно отбрасывают те языковые средства, которые не обеспечивают гармонии между функцией, структурой и субстанцией языковой системы.

3. Впервые с позиций системной лингвистики рассматривался (хотя и в несколько иных, еще не установившихся в то время терминах) строй семитских языков⁶, где было показано, что детерминанта семитских языков может быть сформулирована как тенденция к максимальной «грамматикализации» (по терминологии Соссюра), т. е. к такому строю, когда по возможности каждая словоформа является производным словом с формально выраженным деривационным значением, и что это достижимо лишь при минимальном списке исходных корней и регулярности правил оформления производных значений. А отсюда, как показано далее, с логической необходимостью вытекают все наиболее характерные черты семитского строя: преобладание значения «глагольности» в корнях, консонантность корней, наличие прерывистых аффиксов, трехслогность корня, «не любовь» к использованию сложных слов и заимствований и т. д. Каждая из этих черт в свою очередь порождает новые черты языковых элементов на конкретном языковом ярусе, если учитывается их функция в общих системных взаимосвязях с другими ярусами языка и если производится оценка тех антропофонических возможностей, которыми располагает человек при их восприятии и воспроизведении. Именно таким способом удается объяснить своеобразие и динамику становления звукового состава семитских языков, например отсутствие аффрикат, лабиовелярных и т. п.⁷ Теперь применим приемы детерминантного синтеза к объяснению особенностей языка максимально аналитического, например китайского.

⁶ Г. П. Мельников. Взаимообусловленность структуры ярусов в языках семитского строя. «Семитские языки», вып. 2, ч. 2. Изд. 2. М., 1965, стр. 793.

⁷ Подробно об этом см.: Г. П. Мельников. Системный анализ причин своеобразия семитского консонантизма (доклад на II Всесоюзной конференции семитологов. Июнь. 1966. Тбилиси). Изд. МГПИ им. В. И. Ленина, 1968.

4. Если предположить, что ведущей грамматической тенденцией, т. е. детерминантой строя китайского языка, является тенденция к «лексикализации» (по терминологии Соссюра), т. е. к выражению максимума информации с помощью непроеизводных слов по возможности вещественного, но не грамматического (служебного) значения, то очень многие особенности китайского языка удастся истолковать как естественное следствие этой детерминанты. Действительно, если не только главное, лексическое, но и дополнительное, служебное, т. е. деривационное и синтаксическое (реляционное) значение должно быть выражено с помощью лексем, то из этого с необходимостью следуют многие семантические и синтаксические свойства китайского языка, необычные для таких языков, как русский. Например, тенденция не выражать часть информации, обязательной в русском предложении, если она очевидна из контекста. К такой информации относятся лексемы, выражающие множественность предметов, завершенность — незавершенность действия, связь действия с объектом и т. п. Но так как грамматически неоформленная лексема близка по своим семантическим свойствам к русскому «голому» корню, то в принципе она может быть неоднозначно связана с понятием, которое подразумевал говорящий. Для предотвращения этого в китайском языке приходится широко использовать «расширители контекста», т. е. другие лексемы, которые в смысловом сочетании с данной конкретизируют, делают очевидным понятие, подразумеваемое за основной лексемой. В качестве расширителей контекста чаще всего используются повторы, пары из антонимов, синонимов, название действия и самого типичного при этом действии объекта, любые уточнители типа «этот», «тот», «все», «одна штука» и т. п. Для расширения контекста используются и уточнители «семантического поля понятия» с общим значением «(такое-то) учение», «(такая-то) манера действия» и т. п. Все эти свойства, вытекающие из сформулированной детерминанты⁸, приводят объективно к тому, что число лексем (которые можно в русском языке сопоставить с числом корней) в китайской фразе чаще оказывается существенно большим, чем при передаче того же содержания средствами языка, имеющего большое количество специализированных служебных, т. е. чисто грамматических, элементов. Но чтобы

⁸ Широкое использование во фразе лексем во вспомогательной роли расширителей контекста главных лексем очень часто истолковывается как наличие грамматических аффиксов и частиц в китайском языке. Но тогда не удается дать удовлетворительного объяснения возможности опускания «грамматических» показателей, когда контекст уже содержит соответствующую информацию. Кроме того, приходится признавать большое число слов-оборотней: глагол-предлог, глагол-суффикс, существительное-предлог, наречие-инфикс и т. п. Чем больше в описании языка опоры на омонимию, тем меньше гарантии, что специфика языка понята верно.

при большом количестве лексем китайская фраза не оказалась гипертрофически длинной, необходимо наложить определенные ограничения на структуру лексем. Нужно, чтобы каждая лексема, оставаясь самостоятельной и легко выделяемой на слух речевой единицей, была при этом максимально короткой. Такой самой короткой и легко вычленимой единицей речи является слог. Отсюда понятно, почему в китайском языке границы слога, морфемы и слова так часто совпадают и почти любой слог в определенной конструкции может функционировать как самостоятельное слово. Ясно, что любые фонетические ассимиляции на стыках слогов-морфем затруднили бы их распознаваемость. Поэтому структура слога должна быть такой, чтобы слоговые границы однозначно выявлялись. Это условие может быть выполнено, если в языке используются те слоги, сама артикуляция которых подсказывает, какой произносимый звук с наибольшей вероятностью является концом слога, а какой — началом. Идеальной естественной структурой слога с этой точки зрения является тип СГ (согласный + гласный, в том числе дифтонг). Не случайно этот тип имеется во всех без исключения языках мира, тогда как слоги иной структуры, например ГС, используются в языке лишь после того, как комбинации СГ уже исчерпаны⁹.

Наблюдавшаяся в течение тысячелетий эволюция китайского звукового состава может быть сформулирована как постепенная перестройка слогов различных структур в единую схему (точнее — схему СПГП, где П — полугласный). В настоящее время в северных диалектах китайского языка и прежде всего в литературном пекинском путунхуа, только *п* и *п'* могут встречаться в конце слога, но и они вокализированы и фактически являются полугласными, поэтому не противоречат четырехэлементной структуре слога. Таким образом, литературный китайский относится к числу таких языков, в которых оптимизация в сторону лексикологичности привела почти к идеальной подгонке фонетической и фонологической системы под требования морфологии и синтаксиса, вытекающих из заданной детерминанты.

Использование в речи только слогов типа СПГП, все элементы которых, кроме гласного, могут отсутствовать, приводит к тому, что сочетание двух согласных на стыке соседних слогов-морфем-слов оказывается невозможным и границы морфем-слов распознаются однозначно¹⁰. Но так как укорочение древних корневых слов до одного слога современной структуры резко уменьшило возмож-

⁹ Эта универсалия приведена в сводных таблицах универсалий в кн.: Б. А. Успенский. Структурная типология языков. М., 1965, стр. 195.

¹⁰ Подробнее об этом см.: Г. П. Мельников. Морфологический строй языка и средства словоразграничения. «Исследования по фонологии». М., 1966, стр. 262.

ности различения корней, то развилась система противопоставления слогов по музыкальному тону и возникла тенденция к увеличению числа гласных.

5. Оценим, при заданной детерминанте, какие из дифференциальных признаков фоном оказываются наиболее предпочтительными, а какие в процессе адаптации системы китайского языка должны были быть «забракованы».

Чем четче элементы слога СГ противопоставляются по признаку «согласность — гласность», тем больше слог соответствует идеальному. Однако согласные по степени «согласности» далеко не равноценны. Максимально отличаются от гласных глухие согласные, минимально — сонорные. Из сонорных максимальной «слоγοподобностью» обладает дрожащий сонант *г*, который в ряде языков используется как слоγοобразующий без соседнего гласного (другие сонанты в этой функции встречаются значительно реже). Поэтому естественно, что в китайском языке с течением веков происходило постепенное вытеснение сонанта *г* из системы согласных и замена его специфическим ретрофлексным гласным¹¹.

При произнесении конечного носового полугласного вместо ротового резонатора включается носовая, а поток воздуха не прерывается, как и при артикуляции гласного. Поэтому сочетанию гласного с конечным носовым полугласным литературного языка в китайских диалектах нередко соответствуют назализованные гласные¹².

Поскольку звонкий согласный не столь идеален в роли согласного, как глухой (когда они противопоставляются в слоге гласному), то становится понятным, что в китайском языке должна была существовать тенденция замены противопоставления «глухость — звонкость» другим противопоставлением, различающим глухие согласные между собой. Этим можно объяснить тот факт, что в литературном китайском языке и в большинстве диалектов все несонанты являются глухими и противопоставляются по признаку «придыхательность — непридыхательность».

И, наконец, поскольку встреча согласных на стыках слогов-морфем-слов в китайском оказывается предотвращенной, то естественно, что «наличие большого числа аффрикат является одной из наиболее характерных особенностей звукового состава китайского языка»¹³. Действительно, то, что было недопустимо в структуре

¹¹ См.: А. А. Москалев. Ретрофлексация финалей и природа звука *е* в китайском языке. «Спорные вопросы грамматики китайского языка». М., 1963, стр. 47.

¹² См.: Юань Цзя-хуа. Диалекты китайского языка. М., 1965, стр. 23.

¹³ И. Н. Гальцев. Введение в изучение китайского языка. М., 1962, стр. 168.

семитских морфем, удовлетворяющих детерминанте максимальной деривации корней, совершенно не грозит китайским морфемам, организованным в соответствии с детерминантой максимальной неизменяемости, непроемкости корней, «лексикализации» языка.

Чтобы убедиться в действительном существовании указанных взаимосвязей системы фонем и структуры слога в китайском языке, обратимся к данным диалектологии¹⁴. Некоторые диалекты, особенно южные, сохранили ряд черт, свойственных древнекитайскому языку. Так, в этих диалектах возможны в конце слога *m*, *p*, *t*, *k*. Но, как и следовало ожидать, аффрикат в таких диалектах существенно меньше и частотность их ниже, чем в литературном, и в некоторых говорах противопоставление по звонкости не заменилось противопоставлением по придыхательности.

С еще большим «отставанием» по пути перехода к лексикализации и к слога́м типа СГ изменяются морфемы в тибетском языке. При этом исчезновение конечных согласных приводит к возникновению тонов. В тех же языках, имеющих тенденцию к лексикализации, где в исходе слога достаточно широко используются согласные, а деривация может оформляться консонантными префиксами и даже инфиксами, аффрикаты вообще не могут быть допущены как самостоятельные фонемы (например, в кхмерском языке¹⁵), дрожащий сонант *r* может стоять в начале слога и звучит раскатисто, как в русском (хотя в конечной позиции он обычно неустойчив). Соответственно в таких языках (например, в кхмерском) не развито противопоставление лексем по тону.

Конечно, морфология, синтаксис и семантика многих языков Юго-Восточной Азии не настолько еще изучены, чтобы достаточно полно можно было выявить специфику их детерминанты. Однако наиболее существенные особенности тенденций их развития в общих чертах ясны, во всяком случае понятно, какие порой диаметрально противоположные оценки получают те или иные субстантные возможности формирования языковых знаков, когда язык оптимизируется в соответствии с семитской или китайской детерминантой. С позиций этих различий подойдем к проблеме причин и динамики изменений в английском языке.

6. Со времени первых переселений германских племен на Британские острова строй складывающегося английского языка приобретал все более явные черты аналитизма, тогда как древнегерманским языкам была свойственна типичная синтетическая флективная структура с богатыми средствами словообразования и словоизменения, включающими и аффиксацию, и апофо-

¹⁴ Все сведения о китайских диалектах почерпнуты из книги Юань Цзя-хуа (указ. соч.).

¹⁵ См.: Ю. А. Горго́ниев. Кхмерский язык. М., 1961, стр. 29.

нию корня. Следовательно, в самых грубых чертах процесс развития английского языка можно охарактеризовать как перестройку с «грамматической» системы на «лексикологическую».

Следствия лексикализации языка в области синтаксиса, морфологии и структуры слова проявляются в английском достаточно наглядно. Строгий порядок слов, очень частое совпадение слога с морфемой и с самостоятельным словом, «конверсия» частей речи (фактическое стирание границ между формальными грамматическими категориями) — все это типологически сближает английский язык с китайским и отличает от классических индоевропейских, которые, как и семитские, относятся к группе «грамматических» языков. Но если верен тезис о системной взаимообусловленности всех ярусов языка, которая должна возникать при оптимизации системы по определенной детерминанте, то и в звуковой системе складывающегося английского языка мы должны заметить такие процессы, которые указывали бы на увеличение подобия между английским и китайским.

В германских диалектах англов и саксов, поселившихся в V в. на Британских островах, не было аффрикат¹⁶. Но к концу XI в. из палатализованных смычных развились аффрикаты, в полном соответствии с закономерностями оптимизации, вызывающей тенденцию к однослоговости морфемы и слова. Этим же объясняется постепенное, но неуклонное выпадение неударных гласных в слове и превращение возникающих при этом или существовавших ранее группы согласных (в начале, середине и в конце слова) в один согласный. В частности, сочетания двух согласных типа *nk* и *ng* превращаются в новую назальную фонему, которая, как и в китайском, все чаще занимает позицию после слогового гласного и сама вокализуется.

Плавные сонанты, и в первую очередь — дрожащий *г*, тоже разделяют судьбу китайского *г*. В конце слога *г* уже полностью вокализовался и лишь придает ретрофлексную окраску звучанию гласного. В начале слога он еще сохранился, но уже в значительной мере утерять свойства вибранта. В сторону лексикализации идет развитие всех германских языков, и английский выбран лишь потому, что в нем этот процесс продвинут дальше, чем в других. Во всех германских языках упрощаются группы согласных, возникает самостоятельная фонема *ŋ*, вокализуется сонорный *г*¹⁷. И, наконец, ряд фонологических процессов в германских языках, в том числе в английских «сленгах», следует

¹⁶ См., например: В. Д. А р а к и н. Очерки по истории английского языка, М., 1965.

¹⁷ Много интересного материала по данной теме содержится, например, в сб.: «Семинар по диахронической фонологии германских языков (тезисы докладов)». М., 1966.

интерпретировать как развитие тонов при утрате согласного в закрытых ранее слогах ¹⁸. Возможно, причины некоторого нетождества между германскими языками объясняются не только различными темпами их перестройки, но и какими-то тонкими различиями в детерминанте и, безусловно, определенными внелингвистическими факторами. Поэтому пока трудно объяснить, почему, например, немецкий язык, заметно отстающий от английского по степени аналитизма в морфологии, почти не отличается от него по степени вокализации и явно опередил его, утратив противопоставление согласных по глухости — звонкости. Однако и такими «незаконными» чертами немецкий язык подтверждает тезис о том, что система германских языков оптимизируется в соответствии с детерминантой лексикализации, и если не произойдет по каким-либо причинам смены детерминанты, то типологическая близость между языками Западной Европы и Юго-Восточной Азии будет возрастать.

Следовательно, причиной языковых изменений является не накопление фонетических сдвигов, не изменение акцентуации, не развитие мышления от более примитивных форм к более совершенным, а смена детерминанты языковой системы, смена ведущей грамматической тенденции. И в зависимости от того, какова была предшествующая детерминанта и какова новая, язык будет двигаться к новому оптимальному состоянию по-разному, через необходимое число промежуточных ступеней.

Здесь нет места для анализа строя других языков, для выявления их детерминанты, для демонстрации совокупности сопутствующих ей признаков и, наконец, для обсуждения причины смены языковых детерминант ¹⁹. Но хотелось бы надеяться, что рассмотренные примеры с китайским и английским языками подтверждают учение А. А. Реформатского о существовании ведущей грамматической тенденции языков и о возможности выявления общей формулы этой тенденции.

¹⁸ Эти факты были приведены в докладе Вяч. Вс. Иванова «Синхроническая и диахроническая типология просодических систем со сжатогортанными тонами», прочитанном 9.1.1968 в ИВЯ МГУ на объединении по структурной лингвистике. Дополнительные сведения об этом процессе в исландском и датском языках были сообщены там же, в выступлении Е. С. Клычкова.

¹⁹ Это — тема большой отдельной работы. Но она уже начата, так как произведен детерминантный анализ многих конкретных языков и составлена детерминантная классификация возможных типов языкового строя.

ДУБЛЯЖ SUB SPECIE *σημιωτικης*

Mondjam vagy mutassam?

(Венгерское ввфемистическое выражение)

Фонетика, фонология и грамматика охватывают очень широкий круг вопросов — и весь этот широкий круг является полем деятельности нашего дорогого юбиляра. Однако в дальнейшем я буду говорить об области, только поверхностно связанной с этой проблематикой и все же небезынтесной не только в общем плане, но, быть может, и для лингвиста с таким широким и современным кругозором, как Александр Александрович Реформатский. В самом деле, дублирование кинокартины связано с вопросами артикуляционной стороны фонетики (см. ниже, п. 5), а также с вопросами перевода и грамматики вообще (п. 6), однако центром тяжести являются, по нашему мнению, не эти вопросы, а проблематика общесемиотического порядка. Ведь пафос дублирования заключается в том, что в результате возникает креолизованная знаковая система, в которой зрительные образы (п. 1), неязыковые звуковые явления (п. 2), паралингвистические факты (п. 3 и 4) остаются неизменными, тогда как один из каналов в сложной семиотической ткани киноискусства — естественный язык — изменяется. Но в хорошей кинокартине естественный язык — это только один из коммуникационных каналов, порою даже не самый важный. Показательным в этой связи может быть тот факт, что в замечательной японской кинокартине «Голый остров» персонажи не произносят ни одного слова в течение полутора часов; естественный язык появляется только как музыка, оттеняющая картины, в сцене погребения ребенка. Важными сигналами в киноискусстве являются образы, неязыковые звуки, музыка, жесты, причем эти сигналы — лишь частично общечеловеческие, частично же они культурно, т. е. национально, обусловлены; и для полного их понимания иногда нужен перевод.

1. Казалось бы, наименее «знаковы», наиболее естественны и «само собою разумеются» именно зрительные картины и образы. Однако можно привести примеры, показывающие необоснованность подобного представления.

Образ болота в моем венгерском восприятии вызывает представление о гнилости, тлении и т. п. Кажется, близка к этому и русская реакция на данный образ. Но такое понимание далеко не универсально. Так, в одной из своих лекций несколько лет назад известный финский ученый Л. Хакулинен сравнивал финский язык с болотом, в котором, как поцавшие в болото сучья деревьев, ве-

ками сохраняются (в исконной или в слегка измененной форме) древние заимствования¹. Стало быть, для него болото — это нечто вполне «хорошее», с чем можно сравнивать родной язык, т. е. болото — не столько место тления, сколько место сохранения. Ср. в этой связи финское название Финляндии — Suomi, в котором первый элемент, вероятно, связывается в сознании говорящих с нарицательным существительным suo 'болото' (хотя старая этимология Suomi <suo 'болото' + ma 'страна, земля' признана ошибочной в современном финно-угроведении).

Деревянный дом для меня 15 лет тому назад был связан с представлением о нищете, убогости и т. п. На это обратила внимание Л. Н. Шатерникова. По ее наблюдению, я произнес соответствующее русское выражение применительно к одному венгерскому дому «не с такой интонацией», которая ожидалась бы в русской среде» (имелась в виду, очевидно, не языковая, а как бы семиотическая интонация): ведь вся Русь еще недавно практически знала только деревянные дома. Позже, когда однажды я сам переночевал в русском деревянном доме, когда я увидел замечательные кружева из дерева на этом доме и подобных ему домах, я стал лучше понимать, в чем разница между деревянными домами у нас и на Руси.

Дифференциальный признак леса для меня — темнота. Каково же было мое удивление, когда я недавно попал в березовый лес под Москвой! Оказалось, этот лес вовсе не темный: белые стволы деревьев как бы сияли, освещая лес. Освещение было совершенно необыкновенное: оно шло снизу вверх, тени соответственно не падали, а поднимались. С этого времени, как мне кажется, мне стала несколько понятней атмосфера некоторых русских народных сказок.

Болото, деревянный дом, березовый лес — это только три образа. А сколько таких образов перед объективом кинокамеры? И насколько более чутко профессионал-кинооператор, чем пишущий эти строки — сухой филолог? Ясно, что кинооператор пользуется этими образами в своей семиотической системе, — пойди пойми их, иностранец!

2. Следующая группа интересующих нас явлений — это мир звуковых образов. Я бы, пожалуй, и не понял всего своеобразия горящего белым светом березового леса, если бы был там один. Я лежал на спине, около меня неугомонно жужжал удивительно живой русский мальчуган: «Улитка, улитка, высунь рога. Дам тебе хлеба, кусок пирога» и «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого».

¹ «... az ősgermán szavak a finnbe való átkölcsönzésük után úgy megőrződtek a hangtani változásoktól, mint ahogy a mocsárba süllyedt fa megőrződik a korhadástól». (L. Hakulinen. A finn nyelv jellemzése. «Magyar nyelvjárások», 1957, IV, стр. 88.

Странная была эта музыка: своей примитивностью она напоминала некоторые мотивы, подхваченные Белой Бартоком у разных народов Карпатского бассейна, но все же была не совсем та. Дело, конечно, не в словах, не в русской речи — дело в музыке. Кстати говоря, русские и венгерские слова в данной ситуации чрезвычайно близки: венгерские дети тоже обещают улитке молока и масла, чтобы она вышла; вот их стишок в транскрипции: чйгабига дёреки — ээг а хаазад йдэки — кáпс тейет — вáйат — хóлна пра иш мáрад. Песенку, обращенную к божьей коровке, я не помню. Чем примитивней эта музыка, чем ближе к народной — тем менее она понятна сама по себе. Но музыка действует не одна; она связывается со зрительными образами. Если предположить, что эти образы сами частично непонятны без «перевода», то тут уже связывается два ряда непонятных, или, что еще хуже, — не так понимаемых вещей. К тому же само отношение между картинками и музыкой может быть своеобразным, т. е. национально, культурно обусловленным. Так, славянская музыка нам сама по себе кажется слишком мягкой, слишком насыщенной чувствами; наши ритмы (ср. ритм чардаша) более жесткие, острые. Многим зрителям-иностранцам, смотрящим хорошую венгерскую кинокартину и слушающим ее музыку, эта музыка может показаться неуместной в данной ситуации, т. е. отчасти непонятной остается сама музыка, отчасти же, и в еще большей мере, соотношение этой музыки и ситуации. Соответственно, незрелые венгерские зрители могут смеяться над некоторыми трагичными кадрами иностранных картин: настолько мягка, сентиментальна, по их суждению, вся постановка — и кадры и музыка.

Из многочисленных других возможных расхождений укажу еще на одно. Венгерской народной музыке органически чуждо многоголосье. Если поют, так уж все вместе, в унисон (кстати, поэтому нет и запевал). Когда слушаешь иностранную оперу или, тем более, концертную музыку, то специально готовишься к расхождениям; нравятся они тебе или нет, но ты стараешься их понять. (Мне известны очень культурные венгры, которые не выдерживают русских опер из-за хоров; для меня лично это — одна из прелестей русской оперы).

Во время показа кинокартин, когда актеры, в результате дублирования, говорят на родном языке зрителя, наивный зритель может (и должен) подумать, что он видит с в о ю картину. Естественный язык создает определенную атмосферу, эта атмосфера своя — значит, и вся картина своя. В такой ситуации адресату (зрителю) упомянутые маленькие расхождения могут мешать очень сильно, так что вся картина может распасться. И наивному зрителю непонятно, почему это происходит. А на самом деле ничего удивительного тут нет: мы учим своих студентов только тем или иным е с т е с т в е н н ы м языкам, но то, что есть и иные «языки»

(в смысле семиотических систем), обычно ускользает от нашего внимания. Даже в специальных курсах по киноэстетике об этом обычно не говорится.

Положение осложняется еще больше, когда от мертвого мира зрительных образов и звуков мы переходим к людям, играющим на экране.

3. Люди en masse стоят как бы на границе между мертвой природой образов и звуков, с одной стороны, и «настоящих» индивидуализированных актеров, с другой.

Эти люди прежде всего как-то одеты, и уже самой одеждой выражается некоторое содержание. Так, когда пишущий эти строки впервые смотрел шведский фильм «Она танцевала одно лето», он сначала не понимал, что действие происходит в деревне: одежда людей казалась ему городской, люди — рабочими, только неизвестно было, как это они попали в деревенские условия. Общеизвестна символика цветов и фасонов одежды в определенных условиях; так, в случае траура у разных народов возможны различные цвета — от черного до красного и белого.

Условны и, следовательно, знаковы также некоторые массовые звуковые явления. Так, в некоторых случаях для выражения одобрения, поддержки люди ударяют одной ладонью о другую («аплодируют»), чем производится довольно неприятный шум. Для выражения этого же содержания в немецких университетах студенты бьют ладонями о столы — шум также неприятный, но ему присвоено именно это «приятное» значение. В наших условиях звук свиста означает противоположное: неодобрение, несогласие и т. п. В других культурных кругах — наоборот: именно свистом выражается одобрение.

Два значения свиста — это крайний случай. Но в результате мелких звуковых различий общий гул, производимый в одних культурных кругах в определенных условиях, может значительно отличаться от подобного гула в той же ситуации, но в другой культурной среде. Разные гулы могут отличаться друг от друга даже самыми простыми компонентами. Например, как кажется, общий венгерский гул отличается от звукового моря некоторых окружающих нас народов по силе; мы шумнее, даже когда не сердимся, не ссоримся и т. д., а просто «разговариваем». Важно понять условный, знаковый характер этого фактора. При неправильном восприятии гула толпы иностранный зритель может не понимать ситуацию; из-за повышенной интенсивности звуков он может подумать, например, что идет оживленная дискуссия или что на экране нарочно изображается плохо воспитанная толпа («хулиганье»), а на самом деле может оказаться, что ничего подобного нет: на экране просто венгры, а не представители какой-нибудь иной нации. (Это — только для примера; очевидно, что есть еще более «шумные» народы и есть гораздо более тихие; важно лишь понять условный характер интенсивности коллективного шума).

Точно так же человеческие жесты могут отличаться не только качественно, о чем речь пойдет ниже, но и «количественно», по интенсивности, что замечаешь издали, видя только массу людей. Так, вполне возможно, что группа живейшим образом жестикулирующих итальянцев («громкие жесты») мирно и скучно говорит о погоде; с другой стороны, весьма сдержанная, казалось бы, скупая движущаяся группа англичан — это группа уголовников, собирающихся на какое-нибудь злодеяние, или группа друзей, самым оживленным образом обсуждающая вопросы, связанные с рыбалкой или с собаками (вопросов, более волнующих собеседников, в английской среде и быть не может).

4. Итак, мы подошли к индивидуализированному актеру. Актер сообщает то или иное содержание своим поведением, жестами, мимикой, иногда сопровождающими речь, а иногда выступающими самостоятельно. Проблемы паралингвистики разработаны сравнительно детально, хотя и не специально под углом зрения киноискусства². Упомянем в этой связи одну из последних работ: блестящую статью Р. О. Якобсона «Да и нет в мимике»³.

Так, общеизвестно, что актер-болгарин может делать совершенно неожиданные для нас жесты головой (эти жесты по нашим представлениям противоречат его словам); актер-японец в роли хозяина, принимающего своих дорогих гостей, сопровождает игру такой мимикой и жестами, которые однозначно внушают нам мысль, к сожалению, ошибочную, что он в отчаянии, и т. д.

Еще хуже обстоит дело с жестами, которым в другой системе соответствует нулевой жест. Так, среди некоторых кавказских народов распространен жест для выражения смысла «спасибо» («говорящий» — т. е. тот, кто хочет показать «спасибо» — ребром ладони прикасается к руке собеседника). В советской кинокартине «Республика ШКИД» один из маленьких актеров показывает поднятым большим пальцем «во как!» (т. е. «хорошо, на ять»). Кавказскому жесту ни в русской, ни в венгерской системе жестов ничего не соответствует; названному русскому жесту в венгерской — и во многих других системах — также ничего не соответствует и

² Обзор этих работ, с обширной библиографией, см.: Т. М. Николаева, Б. А. Успенский: О новых работах по паралингвистике. — ВЯ, 1965, № 6, стр. 116—122. — Отметим, что некоторые наблюдения в области паралингвистики говорят как будто о принципиальной невозможности дублирования. Так, одним из американских авторов приводится в качестве примера артист, выступающий на итальянском, английском и идиш: «Его движения, манера вести себя меняются в зависимости от выбранного языка так очевидно, что, выключая звук у телевизора, можно безошибочно сказать, на каком языке идет сейчас исполнение» (указ. соч., стр. 120). И это — в случае одного и того же актера!

³ Р. О. Якобсон. Да и нет в мимике. «Язык и человек (сб. статей памяти проф. П. С. Кузнецова)». М., 1970, стр. 284—289.

т. д. А в то же время эти жесты существуют на экране (иногда даже в случаях, когда сам жестикулирующий орган, в наших примерах — рука, палец, не виден; все тело немножко движется, соответственно изменяется и голос) и зрителю совершенно непонятны.

5. Только после этого мы переходим к собственно лингвистической сердцевине вопроса: к речи персонажа на одном естественном языке и к переводу этой речи на другой естественный язык.

Перед переводчиком («драматургом» — несколько непонятный термин в языке «дублировщиков») прежде всего встает задача понять все то, что было сообщено по другим каналам общения — образами, звуками, общим поведением людей, паралингвистическим поведением говорящего актера. Эта задача кажется тривиальной, а на самом деле она не такова. Переводчик может очень хорошо знать язык, с которого он переводит, и язык, на который переводит, но при этом он может не осознавать наличие других перечисленных выше каналов. В то же время переводчик должен помочь режиссеру, актеру, звукооператору (они могут не знать языка, на котором говорит актер оригинала) правильно понять замысел оригинала. С другой стороны, если идея правильно понята, очевидно, что хороший актер (режиссер) может помочь переводчику: актер иногда правильнее переводчика понимает, что должно быть в оригинале, по другим, не совсем ясным для переводчика каналам. После того, как правильно понято то, что показано или сказано в оригинале, переводчик должен заботиться о том, чтобы из этого содержания как можно больше передавалось естественным языком, на который он переводит, но чтобы передавалось именно то, что необходимо, и не больше. Так, когда жесты, образы и т. п. сильно отличаются от принятой системы, окружающей язык перевода, переводчик, по-видимому, должен больше рассказать словами. В то же время в некоторых случаях, если по другим причинам, о которых см. ниже, это не необходимо, переводчик может и не переводить некоторые высказывания. Так, если кадр очень выразительно указывает на ситуацию смерти, не в каждом случае надо переводить высказывание: «умер!», даже если оно и содержится в оригинале.

Отметим, что новые задачи возникают в зависимости от того, видно ли зрителю, как говорит актер, на первом ли он плане или на втором, лицом ли к зрителю или нет, воспринимаемы ли его артикуляционные движения или нет и т. д. Лингвистические и психологические проблемы дублирования кинокартин исследованы И. Фодором⁴. В решении этих задач переводчик может опираться

⁴ См. I. Fodor. A filmszinkronizálás nyelvtudományi és lélektani problémái «Filmkultúra», 1962, 5 (14), стр. 115—168 (приводится обширная библиография вопроса).

на результаты артикуляционной фонетики; интересной и полезной кажется формальная запись артикуляции оригинала, предложенная И. Фодором. Опыт переводчиков в этой области показывает, что и здесь и в других случаях недостаточно следить за написанным текстом. Одно и то же трафаретное высказывание *Now do you do?* 'Как вы поживаете?' может быть произнесено либо в соответствии с ожиданием — начальное широкое раскрытие рта и т. п., либо «против нормы» (т. е. не так, как ожидалось бы на основе абстрактной артикуляционной записи) — с узким, еле раскрытым ртом в начале и т. п. (В последнем случае английскому *a*, вообще говоря, может соответствовать венгерское *u*, с узкой щелью между губами, с близкими друг к другу или даже стиснутыми зубами). При этом возникают совершенно разные требования, разные критерии точности для случая, если герой снят лицом к зрителю или в профиль, и для случая, если видна только его спина (в этом случае все внимание должно быть обращено на то, когда и как он вдыхает и выдыхает воздух: воспринимаются движения его ребер) и т. д.

Здесь также может встать вопрос о нулевом языковом знаке, подобном некоторым движениям, не имеющим соответствия в некоторых языковых коллективах. Так, я хорошо помню, что самое первое русское выражение, которому я научился почти четверть века назад, было *Von m-a-k!*, которое часто произносят русские во время шахматной игры. Этому словесному «жесту» в венгерской речевой практике, сопровождающей шахматную игру, ровно ничего не соответствует: венгерские шахматисты чаще всего молчат при игре или говорят что-то необходимое, но такого знака не имеют. Очевидно, что драматург не может оставить подобные факты без внимания.

В результате изучения таких фактов у драматургов может быть накоплен небезынтересный и для лингвистов опыт. Так, в качестве примера укажу на то, что драматурги очень хорошо знают, с какого языка легко и с какого трудно делать дубляж. При этом их эмпирические наблюдения не полностью соответствуют тому, что ожидалось бы априорно на основе абстрактных типологических соображений, или тому, что мы наблюдаем в машинном переводе, где утверждается, например, что с русского языка по определенным причинам легче переводить, чем с английского, и, наоборот, на английский легче переводить, чем на русский. В венгерских условиях, по вполне понятным причинам, особенно трудны для дублирования такие языки, как китайский, японский и т. п. Трудность вызывается, очевидно, не только языковыми причинами, но и перечисленными выше неязыковыми. Другая противоположность — немецкий язык, для которого адекватный перевод получается наиболее легко. Где-то посередине находится русский язык: с него труднее переводить, чем с немецкого, но все же несколько легче, чем с английского или, особенно, с итальянского. Если вду-

маться в то, что говорят наши драматурги об итальянском «языке» оказывается, что в последнем случае их затрудняет не столько сам, итальянский естественный язык, сколько паралингвистические факты, наблюдаемые в итальянских картинах. С другой стороны, в случае английского языка в самом деле главную роль играет сам английский естественный язык: он (т. е. его состав гласных) слишком «узок», актеры «не раскрывают рта». Подобное «обвинение» высказывается со стороны венгерских драматургов и по отношению к русскому языку: их эмпирические данные полностью соответствуют экспериментально-фонетическим наблюдениям над произношением гласных в обоих языках⁵.

Несколько иной опыт, также достойный лингвистического осмысления, накоплен у режиссеров-дублировщиков. Ограничимся только одним примером. Режиссер должен подобрать актера, соответствующего по голосу и по общему типу актеру оригинала. Режиссер поэтому очень хорошо знает, какие внешние, «телесные» черты связаны с теми или иными индивидуальными способами говорения; какие внутренние, душевные качества связаны как с внешними чертами, так и со способом говорения. По сравнению с фонологом, интересующимся только явлениями системного порядка, режиссер представляет собою другую, но также небезынтересную для лингвиста крайность: он очень много знает об индивидуальных чертах речи, о разных индивидуальных способах говорения; у него в голове существует целая типология людей (актеров) с этой точки зрения. Все это, конечно, в имплицитной форме; задачей лингвиста является «эксплицировать» интуицию режиссера. (В этой связи стоит упомянуть также и о режиссерах радио: они способны найти подходящие голоса для хриплой белки, для старого мшистого камня, для ручья и т. д. — не совсем ясно, по каким критериям).

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что работа драматурга в дублировании сравнима с работой поэта-переводчика. Поэт-переводчик связан тысячами оков в ходе поэтического перевода, по-видимому, не меньшими и такими же многообразными путями связан и переводчик дубляжа. Для переводчика как поэтический перевод, так и перевод для дублирования — танец в цепях.

6. Стоит подумать еще об одном аспекте перевода для дублирования. Сравним процесс этого перевода с художественным переводом (пусть только прозаическим). При переводе романа все передается словами, задача переводчика сводится к нахождению соответствующих слов в другом языке. Правда, и в «написанном» тексте скрываются разные «болота», «березовые

⁵ Подробно об этом см.: «Курс современного русского языка». Будапешт, 1968. (Раздел «Фонетика-фонология»; автор раздела К. Болла.)

леса» и т. п., вызывающие определенные ассоциации в родной среде, но не вызывающие тех же ассоциаций в чужой среде. Основная трудность — как раз в том, чтобы все это (если возможно) передать, подчеркнуть словами. Переводчик должен быть крайне чутким к словам. Совершенно иное положение в кинокартине. Там, правда, многое тоже говорится на естественном языке и драматург получает в руки соответствующий написанный текст. Но что сказано в этом тексте? Нередко меньшая часть сообщаемого; сообщаемое в словах получает иногда слегка измененный или даже совсем противоположный смысл под влиянием других каналов, о которых речь шла выше. Стало быть, драматург вынужден работать, естественно, в проекционном зале: он должен всмотреться в кадры, вслушаться в музыку и т. д. и на основе всего этого уловить сообщаемое. Иными словами: обычный «традиционный» переводчик получает информацию по одному единственному каналу — по каналу естественного языка, и он должен быть достаточно чутким только к этому каналу; драматург-дублировщик получает информацию одновременно по нескольким каналам и должен быть чутким сразу к нескольким таким каналам. Драматург — устройство более сложное, чем переводчик; ввод у него осуществляется сразу по нескольким каналам, тогда как вывод и у него только один — линейный порядок текста на другом естественном языке. При этом переведенный текст должен соответствовать, гармонизировать с другими каналами оригинала, оставшимися неизменными.

7. По всем этим причинам можно утверждать, как нам кажется, что дублирование — это настоящее, самостоятельное искусство как для переводчика, так и для режиссера, актера, звукооператора. С другой стороны, сознательный научный анализ процесса дублирования — благодатное поле для семиотических исследований.

Дублированная кинокартина представляет собой такую же креолизованную систему, какая представлена в заглавии настоящей статьи, только, если дубляж удачен, креолизация остается незаметной.

В заключение два слова о нашем венгерском эпиграфе, который был объяснен только как «венгерское эвфемистическое выражение». Буквальный перевод этого эпиграфа таков: «Сказать его или показать его?» Подразумеваемое здесь слово-объект опущено по соображениям приличия: имеется в виду определенная часть тела коня. Стало быть, более точный перевод был бы что-то вроде: «Назвать мне тот предмет или показать его жестом?» (при этом надо учесть, что у венгров есть и определенный жест, выражающий это же понятие). Очень грубо — показать нечто жестом. Немного более приемлемо — назвать то же самое. Еще более эвфемистично спросить только издалека, сославшись на ситуацию: назвать ли

прямо или показать? Оказывается, в этом многоступенчатом процессе художественной «эвфемизации» и заключается соль киноискусства; этот процесс разлагается и потом снова синтезируется при дублировании: что показать и что сказать, что уже показано в неизменных формах кадров и что надо рассказать зрителю.

Дебрецен, ВНР

А. В. Суперанская

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ

Большой объем ежедневно транскрибируемых имен, восточных и западных, предъявляет определенный комплекс требований, не удовлетворяя которым, транскрибирующий оказывается не в силах передать на заимствующем языке ту информацию, которую несет слово в языке-источнике.

Информация не заключается в отдельных буквах, звуках или фонемах; ее несет все слово, представляющее собой цепь определенных звуков в определенной последовательности (или на письме — букв). Слово А отличается от слова Б тем, что это — иная последовательность иных фонем (букв, звуков), составляющих иную морфему — минимальную смысловую единицу. Прделана немалая работа в области практической транскрипции, но до сих пор основное внимание сосредоточивалось на произношении, что вполне оправдано как необходимый отход от транслитерации, имевшей место в прошлом. Хорошо разработав фонетико-фонологическую сторону, мы не только игнорируем, но порой и грубо нарушаем морфологическую, хотя морфема, а не фонема — простейший элемент смысла; именно с морфемы начинается семантика, из морфем конструируется слово, с помощью морфем осуществляется его соотношение с другими словами.

Игнорирование морфологии при транскрибировании, возможно, объясняется слабой связью имени собственного с понятием, что, однако, не означает полной семантической пустоты, поскольку любое имя все же несет информацию, заключенную в его морфемах, корневых и служебных. Если бы имена были абсолютно лишены всякого лексического значения (семантического содержания), их было бы трудно запомнить. Запоминаем же мы их нередко благодаря ассоциации с нарицательными, а значит, какое-то апеллятивное значение во многих из них сохраняется, и, следовательно,

имеет значение и их морфология, истинная или ложная, привносимая людьми в имена незнакомого им языка. Если такие топонимы, как англ. *False River* 'фальшивая река' и *River Falls* 'речные водопады', облечены апелятивным значением в языке-источнике, оно должно быть показано и в транскрипции: *Фолс-Ривер* и *Ривер-Фоллз*, а не *Ривер-Фолс* и не р(ека) *Фолс*. Различие между словами, похожими в языке-источнике, должно быть перенесено и в оформление этих слов в заимствующем языке. Во-первых, это даст возможность лицам, знающим языки, правильно понять информацию, которую несет топоним, во-вторых, это облегчает обратную транскрипцию, в-третьих, это позволяет различать, причем различать не просто на основе звуко-буквенной последовательности, а на основе различных морфологических единиц.

Аргумент, что для русского, не понимающего по-английски, такое различие бесполезно, не основателен, поскольку акт транскрибирования всегда двусторонен, а географическая номенклатура — это особая область, подобно тому, как и карта — особый контекст, который читается специалистом, и соответственно не каждому нужна и та информация, которую несет топоним. Но ориентироваться все же следует на более эрудированного потребителя, избегая вульгаризации. Для того, кто читает и понимает этот текст, информация должна быть полной. В связи с этим формальное правило, что иноязычные удвоенные согласные сохраняются в русской транскрипции лишь в интервокальном положении и на конце слова, должно быть отброшено как игнорирующее основную сущность названий, структуру их и внутреннюю форму.

Много лет ведется спор о написании удвоенных гласных в эстонских именах: *Сарема* или *Сааремаа*. Приводилось немало аргументов: фонетический — дескать, по-русски все равно не будет звучать так, как по-эстонски, графический — критерий экономии места на карте, семантический — имена все равно ничего не значат. Несмотря на все аргументы, эстонцы продолжают настаивать на удвоенной передаче, потому что на морфологическом уровне все выглядит иначе. Если считать, что имена отличаются друг от друга не буквами, а морфемами и что одно имя содержит морфему *ма-* 'я', а другое *-маа* 'земля', необходимость сохранения удвоенного написания для сохранения информации имени будет очевидной.

Вопрос о том, какую информацию несет имя, может иметь очень субъективный ответ, причем субъективный не только персонально для Иванова, Петрова, Сидорова, но и для каждого народа в зависимости от его традиций.

Если фамилии *Иванов*, *Петров*, *Сидоров* не имеют для русских апелятивного значения, как не имеют его и имена *Иван*, *Петр*, *Сидор*, а в фамилиях с ярким апелятивным значением мы стараем-

ся отмежеваться от последнего, прибегая для этого к различным способам — от перестановки ударения до изменения фамилий: *Рыба* — *Рыба́*, *Ку́рицын* — *Кури́цын*, *Ко́шкин* — *Кошкíн*, *Го́лопятов* — *Нобиков*, то это не значит, что точно так же дело обстоит и у других народов. Вещественно реальные многие чешские фамилии: *Страка* 'сорока', *Поливка* 'суп', *Налепка* 'наклейка, ярлык', *Свобода*, *Неедлы* 'неевший', *Грозный* и т. п.

Многие эстонские фамилии также оказываются словами общедоступного языка, почему их лексическое значение достаточно сильно и игнорировать его при транскрипции было бы по меньшей мере неразумно, не говоря уже о ряде юридических и практических недоразумений, которые при этом возникают.

В эстонских фамилиях наблюдается процесс, прямо противоположный процессу, отмеченному в русских фамилиях: реэтимологизация неэстонских элементов на основе эстонского языка. Так, заимствованные у немцев фамильные форманты типа *son* 'сын' (Peterson) эстонизировались в *soo* 'болото' (Petersoo), *man* (n) 'мужчина' (Tamman, *tamm* 'дуб') — в *maa* 'земля' (Tammaa) или *mäe* из *mägi* 'гора' (Tammemaа, Tammemäe, Tammemägi), Neumann, эстонизируется в *Uuemaa* и т. д.

Однако предлагаемую эстонцами передачу *üй* как *юю*, *ее* как *еэ*, *õõ* как *ёё*, *ää* как *яя* следует считать неверной с точки зрения русского языка. Русские буквы *е*, *я*, *ю*, *ё* выполняют две функции: 1) обозначают гласные *э*, *а*, *у*, *о* после мягких согласных (*няню*), 2) в начале слова и после гласных передают два звука (фонемы): [j] + соответствующий гласный (*ёлка*, *есть*). У эстонцев нет мягких согласных в том понимании, в каком они есть у русских. Поэтому мы прибегаем к попарной замене, считая эстонский «средний» согласный + гласный переднего ряда эквивалентным русскому мягкому согласному + гласному. Таким образом, краткие эстонские *tä*, *te*, *tõ*, *tü* заменяются русскими *тя*, *те*, *тё*, *тю* (первая функция русских «мягких» гласных). При передаче же долгих эстонских гласных мы имеем дело с обеими функциями русских «мягких» гласных — с первой функцией для передачи первого элемента эстонского долгого гласного и со второй — для второго. Передавая слог *tää*, мы пишем не *тяя*, а *тяа*, передавая долготу не «мягким», а обычным русским гласным и не вводя в транскрибируемое слово дополнительной фонемы (j), не делая второй элемент эстонского долгого гласного откровенно слогообразующим. Так же передаются слоги *tõõ* — *тёо*, *tüü* — *тюу*, *tee* — *меэ*. Эстонцы сами предложили хороший способ передачи долгого [i:] , который остается только поддержать: *Tiina* — *Тийна*.

То же касается и удвоенных гласных в эстонских географических названиях, которые могут отличаться друг от друга одной лишь долготой: *Пала* (Тартуский р-н) — *Паала* (р-н г. Вильянди), *Сяре* (Вырусский р-н) — *Сяаре* (Сааремаа). Слова, имеющие долгие гласные, часто сохраняют апелятивное значение в топонимике.

мии: Uue 'новый', Suure 'большой', Saare 'остров', vee 'воды', liina 'город', soo 'болото': Häädemeeste 'село хороших мужчин'. Особенно важно сохранить удвоенные гласные в начале слова, где они в силу фонетических особенностей эстонского языка произносятся особенно четко и никаким редукциям не подвергаются. Но главное, конечно, — живая связь многих названий и фамилий с апеллятивами и необходимость показа этого при заимствовании.

Киргизские удвоенные гласные также имеют морфологическое оправдание: *Ала-тоо* — это то же, что у других тюрков *Ала-тау*. Здесь долгий гласный соответствует дифтонгу и морфологически значим. То же касается алтайских долгих гласных: *аал* — *аул*, а не *ал* — морфема со значением 'красный', 'алый'.

С позиций русского языка и международных традиций следует осудить передачу литовского *e* через *я* как ломающую зрительный облик слова и переводящую слово в иной морфологический ряд. Имена, переданные через *я*, плохо понятны, ассоциируются с совершенно другими словами и нередко вызывают недоразумения: *Petros* — *Пятрос*.

Совершенно особую морфологическую роль выполняют удвоенные согласные в некоторых пока что мало известных нам африканских языках. Их даже нельзя назвать удвоениями в принятом у европейцев смысле слова. Это — не фонетические и даже не фонематические удвоенные согласные, а морфологический стык, где одна морфема представлена одной согласной, а другая может начинаться и с гласной, и с согласной, в том числе и с той же самой, что и префикс — показатель класса. В результате могут получиться совершенно чуждые европейцу сочетания типа *мм*, *гг* и т. п. в начале слова. И все же мы обязаны передавать их удвоенно, несмотря на кажущуюся нелепость подобных сочетаний. Ведь транскрипция преследует не максимальную легкость произношения заимствованного слова, а максимальную точность при максимальном сохранении информации. Отказываясь же передавать морфологическую структуру африканского слова, мы сводим информацию, которую оно несет, к нулю. Лишая слово показателя класса, мы превращаем слово в набор ничего не выражающих звуков, даже не составляющих слова. Так, в языке луганда *ссаабатака* — титул короля, *ннаабегерека* — титул королевы, *кквеби* — титул вождя о-ва Ссесе, *гганга* — племя, *ккооки* — название части страны и т. п. нельзя передавать без удвоения.

Приведенные примеры показывают обоюдность процесса транскрибирования как тесного межъязыкового контактирования, при котором оба варианта названия — исходный и получаемый — должны быть максимально друг с другом увязаны, коррелированы, максимально взаимобратимы и по возможности каждая морфема исходного языка должна найти единообразное выражение в языке

заимствующем. Возражение против такой передачи, основанное на том, что мы якобы нарушаем фонетические нормы заимствующего языка, передавая какое-либо лишнее удвоение языка-источника, — это опасения тех, кто не хочет вникнуть в сущность морфологии слова в языке-источнике. Точных фонетических соответствий иноязычному никогда нельзя достичь. Фонетическая система каждого языка индивидуальна, и, говоря на одном языке, невозможно передать все оттенки звучания другого языка. Заимствованные собственные имена способствуют расширению шкалы звучаний заимствующего языка. Так, например, русский язык пополнился звуком, а затем и фонемой *ф*, развил непалатализованные согласные перед *e*, получил передущие *o*, *e* в безударной позиции (*Отелло, Ференц, Шопен*). Подобные расширения фонетического и фонематического состава за счет заимствованных слов отмечаются и в других языках.

Там, где структура языка-источника требует обязательного различения явлений, не могущих быть однозначно выраженными в заимствующем языке (щелкающие звуки, глухие сонорные и т. п.), мы прибегаем к условному использованию знаков нашего алфавита, думая прежде всего о показе того, что это явление особое, а потом уже о том, как это будет звучать по-русски. Так, мы показываем специфику валлийского глухого [л] *Ллойд*, испанского раскатистого [р] *Ррас*, кавказских смычно-гортанных и т. п. Тем более необходимо показать особенность слов с особой структурой, каковыми являются африканские названия, содержащие, кроме того, и звуки, незнакомые европейцам.

Но структура слова (названия) — это не только определенная последовательность определенных фонем: это и определенная последовательность определенных морфем, несущих определенную информацию и передающих определенные отношения. К сожалению, об этих отношениях у нас также нередко забывают, о чем свидетельствуют, в частности, многочисленные переделки так называемых традиционных, а на самом деле отнюдь не «традиционных», а самых закономерных названий заливов, проливов, островов, полуостровов и т. п. Среди них немало названий, данных в честь первооткрывателей или выдающихся деятелей, вследствие чего топонимы этой группы обычно имеют в своем составе родительный падеж существительного или притяжательное прилагательное: *Бассов пролив, море Росса, Берингов пролив, залив Петра Великого*. Эта форма названий с принятым отношением компонентов представляет собой одну из ономастических универсалий, переходящих из одного языка в другой и выраженных в каждом языке его собственными грамматическими средствами.

В целях приближения форм заимствованных названий к их формам в исходном языке у нас нередко стремятся заменить названия в указанной форме их иноязычной формой, чем наносится по крайней мере тройной вред: 1) меняется привычное название

и связанные с ним ассоциации: *пролив Гекаты — Хекатес*; 2) понятные грамматические формы заменяются непонятными *Земля Аделаиды — Земля Аделейд*, а также утрачивается исходная форма имени того лица (а оно нередко бывает известно у нас как лицо!), в честь которого дано название; 3) международное название (а названия этого типа в каждом языке выражаются своими национальными средствами) «отдаются» одному (часто английскому) языку без всякого на то основания.

В состав гидронимов и хоронимов (названий областей) входит немало систематизирующих географических и топонимических определений. Эти определения очень часто не транскрибируются, а переводятся, потому что они несут информацию не регионального, а глобального характера, понятную и доступную представителям любого языка и народа. И тот факт, что они переводятся — вовсе не дань традиции, а вполне закономерный способ их передачи. И наоборот, отход от перевода подобных определений — это отход от закономерностей передачи названий, замена понятного непонятным, неоправданная и ненужная. Так, вполне закономерными представляются принятые в русском языке формы *Большое Соленое озеро*, оз. *Верхнее* (США), *Большое Верхнее озеро*, *Большое Медвежье озеро* (Канада), *Большое Горькое озеро* (ОАР) и незаконномерными: *Аппер-Ред-Лейк* (США), *Гранд-Лейк Виктория* (Канада). Закономерны названия: провинция *Новый Южный Уэльс* (Австралия), острова *Южный* и *Северный* (Новая Зеландия), графство *Западный Райдинг* (Великобритания) и незаконномерны: *Уэст-Райдинг*, *Нью-Гемпшир*.

Как раз наоборот обстоит дело с названиями городов (полионимами), в которых нельзя переводить систематизирующие географические определения: *Ист-Чикаго*, а не *Восточный Чикаго*, потому что иначе теряется информация: *Восточный Чикаго* воспринимается как восточная часть известного города *Чикаго*, а не как особый город, расположенный в другом месте. Перевод топонимических определений не дает подобной потери информации: *Нью-Орлеан* и *Новый Орлеан* — одинаково допустимые варианты, и употребление одного или другого — дело традиции и преемственности.

В названиях рек систематизирующие географические определения лучше переводить — это понятнее, и при этом лучше сохраняется информация, а систематизирующие топонимические определения лучше транскрибировать. Так, совершенно закономерны переводы р. *Восточный Делавэр*, *Западный Делавэр*, *Западный Рейн*, *Передний Рейн*, *Восточный Уайт-Ривер*, *Западный Уайт-Ривер* и незаконномерны: реки *Вестлихе Мюнц*, *Вестлихе Гюнц* (ФРГ), *Вестер-Дальэльвен*, *Эстер-Дальэльвен* (Норвегия). Из пары *Вестер Схелде* и *Западная Шельда* следует предпочесть второе, как более понятное и не рекомендовать первое, состоящее из двух непонятных для русского слов.

Наоборот, там, где в состав названий входят топонимические систематизирующие определения, предпочтительны варианты: реки *Луда-Камчия*, *Голяма-Камчия* (Болгария), *Чарна-Пшемша* (Польша), *Вайсер-Реген*, *Шварцер-Реген* (ФРГ), *Грейт-Фиш-Ривер* (Ю.-З. Африка), *Гранд-Ривер*, *Аппер-Хей-Ривер*, *Блэк-Ривер*, *Биг-Блу-Ривер* (США).

Исключения следует оставить лишь для названий с давней традицией: *Белый* и *Голубой Нил*, *Белый* и *Черный Носоп* (Африка) и для таких случаев, где иноязычная форма почти идентична русской: болг. реки *Белый* и *Черный Лом*, а не *Бели* и *Черни*.

При фонетической близости тюркских языков дискуссионным остается вопрос о целесообразности и правомерности сохранения в традиционном виде таких традиционных морфем, как *каля*, *ак*, *кент*, *абад*, *тепе*, *мулла*, *узень* и т. д. С точки зрения сохранения лексической информации целесообразнее было бы сохранение перечисленных и подобных морфем в указанном виде. Однако информация топонима не исчерпывается этим, и языковая принадлежность его — это также элемент его содержания. Ис этой точки зрения целесообразнее показать варианты перечисленных морфем в разных языках: узб. *обод*, азерб. *гара*, *аг*, *гент*, *депе*, *озен*, *молла*; монг., калм. *ах*, *хара* и т. д.

При отмечающемся в последнее время стремлении к слитному написанию тюркских названий, состоящих из нескольких компонентов, в ряде случаев может произойти потеря информации. В связи с этим мы не рекомендуем слитное написание тех тюркизмов, второй компонент которых начинается с гласного: *Кызыл-Арват*, *Кызыл-Атрек*, *Уч-Аджи*, *Дарган-Ата*, *Чолпон-Ата*, *Джалал-Абад*, *Кок-Янгак*, *Кочкор-Ата* и подобные названия должны писаться через дефис. Поскольку для русского языка характерно наличие внутри слова открытых слогов, при слитном написании подобные названия дали бы переразложение на стыке морфем типа *Уча-джи*, *Чолпо-ната* и т. д., что влечет за собой потерю информации.

Таким образом, проблемы практической транскрипции далеко не исчерпываются фонетическим аспектом, поскольку информация собственного имени заключена не в одних лишь фонемах. Морфемы и их сочетания — вот основные единицы, облеченные значением, и их передаче следует уделить особое внимание при транскрибировании.

КРУГОВОРОТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

В декабре 1930 г. состоялась Международная фонологическая конференция, созванная Пражским лингвистическим кружком. Готовя для пражской конференции свой доклад по систематике фонем, Николай Сергеевич Трубецкой подверг критическому пересмотру мою раннюю попытку выделить и определить понятие фонологических корреляций и внес знаменательный корректив в первоначальную формулировку. Цитирую его письмо на эту тему, посланное мне 31 июля 1930 г.:

«Размышляя о фонологии, пришел к заключению, что в учении о коррелятивных фонемах у нас есть существенные пробелы и недостатки [...] По-видимому, всякая (а может быть, и не всякая?) фонологическая корреляция приобретает в языковом сознании форму противопоставления наличия какого-нибудь признака его отсутствию (или максимума какого-нибудь признака его минимуму). Таким образом, один из членов корреляции непременно оказывается «положительным», «активным», а другой — «отрицательным», «пассивным». По крайней мере, — если противопоставление бинарное. Так, например, тембровые коррелятивные различия между согласными объективно сводятся к противопоставлению «максимально-высокий тембр : максимально-низкий тембр», но субъективно оно всегда преобразуется либо в противопоставление «повышенный тембр : неповышенный тембр» (= «максимально высокий : минимально высокий»), либо в противопоставление «непониженный тембр : пониженный тембр» (= «минимально-низкий : максимально-низкий»): первый тип реализуется, например, в корреляции «мягкость : твердость», второй — «например, в сев.-кавказской корреляции «нелабиализованная : лабиализованная согласная» (вероятно также в семиотической корреляции «неэмфатическая : эмфатическая согласная»). И в том и в другом случае только один из членов корреляции сознается как активно видоизмененный, как положительно обладающий известным признаком, другой же сознается только как необладающий этим признаком, как пассивно неизменный. Восприятие обоих противоположных членов как равно активных, равно отклонившихся от нормы в противоположные стороны возможно лишь там, где наряду с ними существует еще третий член, абсолютно пассивный или «нейтральный», т. е. только в том случае, где корреляция уже не бинарна, а триварна. Это имеет место, например, в абхазском языке, где у целого ряда архифонем (у свистящего спиранта, у шипящих, у переднедорсальных, у заднедорсальных) различаются три вида фонем: мягкие (палатализованные), лабиализованные и нейтральные. Замечательно при этом, что в том же абхазском языке наряду

с такими «трехтембровыми» архифонами имеются и архифоны «двухтембровые», но у таковых друг другу противопоставляются не мягкие и лабиализованные, а либо мягкие немаяким [...], либо лабиализованные нелабиализованным [...].

Плодотворная мысль о наличии п р и з н а к а, противопоставленном его отсутствию, и соответственное определение корреляции как соотношения между двумя рядами — п р и з н а к о в ы м и б е с п р и з н а к о в ы м — легли в основу всех дальнейших фонологических разысканий Трубецкого до его последней книги «Основы фонологии», где дана заключительная версия его взглядов на п р и з н а к к о р р е л я ц и и. То же противопоставление как основоположный принцип языкового строя было мною принято и развито в работах по фонологии с 30-х годов по сей день и одновременно применено к анализу соотнесенных морфологических категорий именных и глагольных.

Трубецкой перевел свои русские термины на немецкий язык. Для слов б е с п р и з н а к о в ы й и б е с п р и з н а к о в о с т ь легко нашлись эквиваленты *merkmallos*, *Merkmallosigkeit*, но было труднее передать прилагательное п р и з н а к о в ы й в соответствии с существительным п р и з н а к — *Merkmal*. Трубецкой совещался по этому поводу со своим венским коллегой Карлом Бюлером и колебался между вариантами *merkmalhaft*, *merkmalhaltig* и *merkmaltragend*. Для чешской терминологии мы использовали формы, близкие к русским, — *příznak*, *příznakový*, *bez příznakový*; по всей вероятности, русское существительное п р и з н а к исторически восходит к чешскому словарному фонду.

Стиховедческий термин *temps marqué*, перенятый у P. Verrier в моей книжке «О чешском стихе» (Берлин — Москва, 1923), побудил меня передать слова п р и з н а к, п р и з н а к о в ы й и б е с п р и з н а к о в ы й французскими эквивалентами *marqué*, *marqué*, *non-marqué*, а наша французская номенклатура позднее легла в основу английской: *marked*, *unmarked*.

Когда работы Н. С. Трубецкого и других лингвистов Пражского кружка стали появляться в русском переводе с иностранных языков, западная перелицовка прилагательных п р и з н а к о в ы й и б е с п р и з н а к о в ы й помешала переводчикам опознать первоначальный, русский, субстрат этих терминов; чужезычные образования, снабженные русскими суффиксами, *маркированный* и *немаркированный*, перекочевали из торгового и бильярдного обихода в лингвистическую лексику и получили здесь монополию.

Если во французском словаре Й. Вахека («*Dictionnaire de linguistique de l'Ecole de Prague*». Utrecht—Anvers, 1960, стр. 48, 67) четко противопоставлены друг другу по наличию и отсутствию

коррелятивного признака (*marque, mark, Merkmal příznak*) два ряда, признаковый и беспризнаковый (*série correlative marquée/non-marquée, marked/unmarked, merkmalhaltig/merkmallos, řada příznaková/bez příznaková*), тов превосходном русском переводе этого труда под редакцией А. А. Реформатского — «Лингвистический словарь Пражской школы» (Москва, 1964, стр. 167, 186) — не могли не быть зарегистрированы злополучные последствия местной терминологической неурядицы. Коррелятивные ряды, «характеризуемые наличием или, напротив, отсутствием одного и того же признака корреляции», первый под кличкой маркированных, а другой немаркированный, оба утрачивают этимологическую связь с тем краеугольным понятием, на котором базируется их противопоставление, т. е. с признаком, а главное, самый термин признак теряет единство значения, называя, с одной стороны, наличный атрибут (*marque, Merkmal*), противопоставленный его отсутствию, с другой же стороны, — любое различие фонем (см. стр. 167 и сл.), которое в книге Трубецкого «Grundzüge der Phonologie» (стр. 82, 86, 114, 179) именуется *distinktive Schalleigenschaft* (*propriété, vlastnost*), а в ее русском переводе — «Основы фонологии» (Москва, 1960, стр. 102, 106, 142, 206) — фигурирует неизменно под рубрикой признак. То же двусмысленное применение термина признак в новой русской языковедческой номенклатуре учтено в содержательном томе О. С. Ахмановой — «Словарь лингвистических терминов» (Москва, 1966, стр. 355—356).

Между тем Трубецкой передавал термином признак лишь первое из этих двух значений, а второе только термином свойство. Например, русская фонема (t') по сравнению с фонемой (d) характеризуется двумя отличительными свойствами — глухостью и мягкостью, т. е. отсутствием звонкостного признака и наличием признака мягкостного. Замена термина свойство, принятого в русских работах Пражской школы, новым обобщенным словечком признак затемняет приведенную фразу и вообще лингвистическую фразеологию.

По-видимому, в термине признак исторически слилось два несовместимых значения, связанных с этим обозначением в русском языковедческом наследии, а именно, почин Трубецкого, окрестившего признаком положительный член противопоставления между наличием и отсутствием, и узус Фортунатова, называвшего в своих грамматических рассуждениях признаком то общее свойство, которое лежит в основе данного категориального противопоставления, например число в таких двучленах, как *волк — волки, зверь — звери*, или глагольный вид, представленный двумя противоположными индоевропейскими формами — перфективной, обозначавшей «данный признак в полноте его проявления», и

имперфективной, которая «не имела этого значения, т. е. обозначала тот же признак без отношения к полноте его проявления во времени» (Ф. Ф. Фортунатов. Избранные труды. Москва, 1956, стр. 156, 161).

В наши дни, когда идея признака и построенное на ней противопоставление признаковых и беспризнаковых единиц приобретают, наконец, решающее значение в различных отраслях мировой лингвистики, не только в фонологии и морфологии, но также в синтаксисе и лексике, бесспорно становится насущной задачей исправление терминологических недочетов, затемняющих соотношение признака с противопоставлением признакового и беспризнакового ряда и препятствующих четкому разграничению признаков и свойств.

Вслед за предпринятой регистрацией наличных терминологических навыков встает необходимость их критического пересмотра и унификации. Ответственную роль в этой планомерной проверке всего лингвистического словаря современной Московской школы призван сыграть Александр Александрович Реформатский, чуткий и неустанный борец за четкость лингвистических формул и понятий.

Кембридж, Массачусетс, США

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	3
Александр Александрович Реформатский (вступительная статья) . . .	5
Список научных трудов А. А. Реформатского	18

ФОНЕТИКА

<i>Н. Д. Арутюнова.</i>	
О фонетической организации языка и иерархии его грамматических единиц	26
<i>Е. А. Бокарев.</i>	
Латеральные согласные в дагестанских языках	34
<i>Л. В. Бондарко, Н. Д. Светозарова.</i>	
О восприятии безударных слогов	38
<i>В. П. Григорьев.</i>	
Финали «согласный + сонант» в поэтической речи	43
<i>А. В. Десницкая.</i>	
К вопросу о так называемой палатализации губных в некоторых албанских и балканороманских диалектах	50
<i>Т. М. Николаева.</i>	
Место ударения и фонетический состав слова (расстановка ударения в неизвестных словах иностранного происхождения)	59
<i>Р. М. Фрумкина, А. П. Василевич.</i>	
Исследование «произносительной трудности» русских триграмм психометрическими методами	69

ФОНОЛОГИЯ

<i>Р. И. Аванесов.</i>	
Заметки по русской фонетике. О фонеме /н/	82

<i>Т. В. Булыгина.</i>	
О русских долгих шипящих	84
<i>И. Вазек.</i>	
Об одном сдвиге гласных в старочешском языке	91
<i>В. А. Виноградов.</i>	
<i>Озперанд</i> [ас'п'ирант]. К проблеме гиперфонемы	96
<i>Е. Л. Гинзбург.</i>	
Ударение морфемы?	106
<i>В. К. Журавлев.</i>	
К понятию «силы» фонологической оппозиции	114
<i>Вяч. Вс. Иванов.</i>	
О происхождении ларингализации—фарингализации в енисейских языках	125
<i>С. Д. Кацнельсон.</i>	
Фонемы, синдемы и «промежуточные» образования	136
<i>А. С. Либерман.</i>	
Фонема или различительный признак?	143
<i>М. И. Стеблин-Каменский.</i>	
Заметка по сандхимальной фонологии	150
<i>В. Н. Топоров.</i>	
О дистрибутивных структурах конца слова в современном русском языке	152

ГРАММАТИКА

<i>М. М. Гухман.</i>	
Единицы анализа словоизменительной системы и понятие поля . . .	163
<i>Н. А. Еськова.</i>	
О морфологических и морфонологических соотношениях между флексиями родительного падежа множественного числа существительных в современном русском языке	170
<i>В. А. Ицкович, Б. С. Шварцкопф.</i>	
О способах выражения фразового ударения в письменной речи . . .	178
<i>Л. П. Калакуцкая.</i>	
К вопросу об адъективации причастий—терминов	188
<i>Г. А. Климов.</i>	
Структурно-типологические параллелизмы картвельских и абхазско-адыгских языков	195
<i>Э. А. Макаев, Е. С. Кубрякова.</i>	
О морфологическом статусе основообразующих элементов в готском языке	204

<i>И. А. Мельчук.</i>	
К проблеме выбора описания при неединственности морфологических решений	244
<i>Т. Н. Молошная.</i>	
Глаголы perfectiva / imperfectiva tantum в русском и болгарском языках	220
<i>Н. В. Охотина.</i>	
О слоговой структуре морфем различного типа в языке суахили . .	226
<i>М. В. Панов.</i>	
Об аналитических прилагательных	240
<i>Р. Д. Равич.</i>	
О выборе падежа прямого дополнения при переходных глаголах с отрицанием в русском языке	254
<i>И. И. Ревзин.</i>	
-и з м и -i s t u s (пример материального тождества при функциональном различии)	266
<i>В. Ю. Розенцвейг.</i>	
Об одном типе синтаксической интерференции	270
<i>Б. А. Серебrenников.</i>	
К проблеме происхождения притяжательных суффиксов в тюркских и уральских языках	277
<i>Н. И. Толстой.</i>	
He — не 'HE'	282
<i>Ф. П. Филин.</i>	
К истории форм дательного падежа единственного числа имен существительных мужского рода в восточнославянских языках	287
<i>А. А. Холодович.</i>	
Клеопатра или Патрокл? (из типологического синтаксиса японского языка)	298
<i>Н. А. Янко-Триницкая.</i>	
Основа и флексии в русском глаголе	303

СТИЛИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

<i>А. Д. Григорьев.</i>	
К вопросу о поэтической традиции	312
<i>И. С. Ильинская.</i>	
О чем могут сказать несколько цифр (слова холм, бор, ручей, ручеек и речка у Пушкина)	322
<i>В. Д. Левин.</i>	
О сосуществовании стилистических систем в русском литературном языке конца XVIII в.	326

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

<i>В. А. Звегинцев.</i>	
Что изучает языкознание	333
<i>Л. Р. Зиндер.</i>	
Условность и мотивированность языкового знака	346
<i>А. А. Леонтьев.</i>	
Мысли о транскрипции	351
<i>Г. П. Мельников.</i>	
Детерминанта — ведущая грамматическая тенденция языка . . .	359
<i>Ф. Папп.</i>	
Дубляж sub specie συμμετωτικῆς	368
<i>А. В. Суперанская.</i>	
Морфологический аспект практической транскрипции	377
<i>Р. О. Якобсон.</i>	
Круговорот лингвистических терминов	384

Фонетика. Фонология. Грамматика
К семидесятилетию А. А. Реформатского

Утверждено к печати
Институтом языкознания АН СССР

Редактор издательства *Л. М. Гаврилова*
Художник *В. А. Назаров*
Технический редактор *И. Н. Жмуркина*

Сдано в набор 17/IX 1970 г. Подписано к печати 2/II 1971 г. Формат 60×90^{1/16}.
Усл. печ. л. 24,5. Уч.-изд. л. 24,8. Бумага № 2. Тираж 7900 экз.
Тип. зак 1267. Цена 1 р. 70 к.

Издательство «Наука». Москва К-62, Подсосенский пер., 21

2-типография издательства «Наука». Москва Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
48	21 сн.	Сосюоры	Сосноры
93	12 сн.	fenologického	fonologického
227	16 св.	морфемой m	морфемой m₁
383	13 св.	кая	кара
384	15 сн.	семиотической	семитической

«Фонетика, фонология, грамматика».